

У Н И В Е Р С И Т Е Т С К А Я

Б И Б Л И О Т Е К А

А Л Е К С А Н Д Р А

П О Г О Р Е Л Ь С К О Г О



С Е Р И Я

Ф И Л О С О Ф И Я



ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
ИЗБРАННЫЕ
РАБОТЫ

«ЛОГИКО-ФИЛОСОФСКИЙ ТРАКТАТ»
перевод с немецкого и параллельные комментарии
Вадима Руднева

«КОРИЧНЕВАЯ КНИГА»
«ГОЛУБАЯ КНИГА»
перевод с английского Вадима Руднева

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ТЕРРИТОРИЯ БУДУЩЕГО»
2005

УДК 1(09)

ББК 87

В 54

СОСТАВИТЕЛИ СЕРИИ:

А. Л. Погорельский, В. В. Анашвили, Н. С. Плотников

НАУЧНЫЙ СОВЕТ:

А. Л. Глазычев, А. И. Уткин, А. Ф. Филиппов, Р. З. Хестанов

В 54 **Людвиг Витгенштейн.** Избранные работы / Пер. с нем. и англ.
В. Руднева. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2005. — с. 440.

ISBN 5-7333-0151-1

© Издательский дом
«Территория будущего», 2005

СОДЕРЖАНИЕ

TRACTATUS LOGICO-PHILOSOPHICUS

От комментатора	11
Tractatus logico-philosophicus (с параллельными комментариями В. Руднева)	14
Литература	222

КОРИЧНЕВАЯ КНИГА

I	229
II	279

ГОЛУБАЯ КНИГА

От переводчика	341
Голубая книга	342

ПРИЛОЖЕНИЕ

<i>В. Руднев. Божественный Людвиг (Жизнь Витгенштейна)</i>	419
--	-----

TRACTATUS
LOGICO-PHILOSOPHICUS

Посвящается светлой памяти
Александра Феодосьевича Грязнова

ОТ КОММЕНТАТОРА*

Цель этой книги — попытка разобраться в одном из самых сложных произведений мировой философии. Не менее сложных, чем Библия, «Бхагавад-гита», «Даодедзин» или «Алмазная сутра». Не случайно я называю здесь восточные тексты, потому что по своей структуре «Трактат» тяготеет, как это ни покажется парадоксальным, к утонченному креативному мифологическому мышлению. Последнее не раз отмечалось в литературе (см., например, [Canfield 1986; Gudmundsen 1977; Налимов 1979]). Конечно, этот феномен будет обсуждаться применительно к каждому подходящему случаю из комментируемых нами в «Трактате». Сложность здесь в том, что, безусловно, Витгенштейн в «Трактате» построил некое подобие стройной логической системы, альтернативной системам Фреге и Рассела–Уайтхеда, но, как не раз подчеркивал Витгенштейн в письмах к друзьям (П. Энгельману, Л. Фон Фикеру), главным в «Трактате» является не логика, а то, что находится за ее пределами.

Но беда в том, что все замечательные комментаторы «Трактата» — а их было достаточно много и почти все они были блестящими философами (среди них рано умерший гениальный математик Фрэнк Рамсей, написавший первую рецензию на «Трактат»; первый автор книги о «Трактате» английский философ с русской фамилией — Александр Маслов; далее это классические исследования непосредственной ученицы Витгенштейна Маргарет Энком, финского логика и философа Эрика Стениуса, американского философа Макса Блэка и целой плеяды философов более молодого поколения) — все они с теми или иными оговорками изучали «Трактат» как исследование по философской логике.

Западная традиция почти не знает комментирования философских, а тем более логико-философских произведений «строка за строкой». О «Трактате» написано много книг, и это чаще всего замечательные книги. Ближе всего к непосредственному комментированию подошел Макс Блэк в своем «Путеводителе по “Трактату”», но только подошел. К тому же этот текст — довольно старый (середины 1960-х годов) и не раз критиковался.

* Этот проект был осуществлен при финансовой и моральной поддержке Сергея Славина, за что комментатор выражает ему глубокую признательность.

А именно так — строка за строкой — писались комментарии в восточной традиции, например, комментарий Шанкары на «Бхагавадгиту» или Аверроэса на Аристотеля. Так же, даже еще более утонченно, как известно, поступала талмудическая традиция.

Конечно, понять каждое предложение в «Трактате» невозможно. Я думаю, что Витгенштейн и сам не все там понимал (это тоже особенность восточного мышления). Настоящая книга является первой, возможно, эскизной попыткой такого понимания — «строка за строкой», следуя за мыслью Витгенштейна, от первого предложения до последнего. Даже если читатель сочтет эту попытку неудачной (а безусловно, она не может являться во всем удачной), он должен помнить, что это первая попытка, попытка попытки.

Второй немаловажной целью этой книги было прокомментировать некоторые, по нашему мнению, неверно понятые переводчиками места витгенштейновского текста. К сожалению, недостатки и первого перевода «Трактата» на русский язык 1958 года, и второго — 1994 года — очевидны. В соответствующих местах они будут проанализированы. Нам пришлось сделать новый перевод. Одной из его особенностей, которая бросится в глаза и многих, возможно, будет шокировать, является то, что мы писали некоторые наиболее важные для Витгенштейна слова и понятия с прописной буквы (правильнее будет сказать, оставляли в русском переводе их немецкое естественное — как существительных — написание с прописной буквы). Это такие слова и словосочетания, как Факт, Положение Вещей, Ситуация, Пропозиция, Истинностная Функция, Операция и под. Этим мы, как можно догадаться, старались подчеркнуть наибольшую важность данных слов и понятий для логико-философской концепции «Трактата».

Другая особенность нашего перевода заключалась в том, что мы старались разрушить привычные и уже потому некорректные («замыленные») переводческие штампы. Так, например, мы порой, переводили слово Sprache не как «язык», а как «речь», учитывая тот факт, что для Витгенштейна (в отличие, скажем, от Лакана) сосюрская оппозиция языка и речи не играла никакой роли); Sprache в контексте «Трактата» чаще всего означает именно звучащий поток речи. Так, знаменитая максима «Язык передевает мысли» в нашем переводе звучит как «Речь перелицовывает мысль» (это соответствует тому активному характеру, который придается Витгенштейном речи в поздних исследованиях — ведь по сути именно Витгенштейн, а не Джон Остин был подлинным основателем теории речевых актов).

К особенностям (осмелимся даже сказать — достоинствам нашего перевода) следует отнести и то, что нам удалось исправить некоторые принципиальные ошибки как первого, так и второго русского переводов

«Трактата». Это касается не только таких очевидных вещей, как *Sahverhalt*, который уже невозможно переводить, как «атомарный факт», но и гораздо более тонких вещей, которые подробнейшим образом прокомментированы сразу после соответствующего перевода.

Еще раз повторим, что понять, а тем более прокомментировать каждое предложение в «Трактате» нам было не под силу. Здесь сошлемся на заявление Эрика Стениуса, по нашему мнению, самого глубокого интерпретатора «Трактата», которое во время работы над комментарием служило для нас своеобразным ободряющим лозунгом. Стениус пишет, что все утверждения «Трактата» делятся для него на четыре группы: 1) те утверждения, которые он, Стениус, понимает и разделяет; 2) те утверждения, которые он, как ему кажется, понимает, но не разделяет их истинности; 3) те утверждения, которых он не понимает и, стало быть, не может судить об их истинности или ложности; 4) те утверждения, которые, с одной стороны, кажутся ему непонятными, но, с другой стороны, выраженные таким смутным и неясным языком, будто вызывают к некоему высшему пониманию [*Stenius 1960: I*].

B. P.

февраль 1996 – август 2005

Москва

ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН

TRACTATUS LOGICO-PHILOSOPHICUS

Посвящается памяти моего друга Дэвида Х. Пинсента

*Motto: «...ибо все то, что известно,
а не просто слышится шумом и звоном,
можно сказать в трех словах».*

Кюрнбергер

Предисловие

Эту книгу, пожалуй, поймет лишь тот, кому однажды уже приходили мысли, выраженные в ней, или хотя бы подобные им мысли. Стало быть, эта книга никакой не учебник. Ее цель была бы достигнута, если хотя бы один из тех, кто прочтет ее с пониманием, получит удовольствие.

Книга обращается к философским проблемам и показывает — как я полагаю, — что постановка этих проблем покоится на непонимании нашего языка. Весь Смысл книги можно охватить приблизительно такими словами: то, что вообще можно сказать, можно сказать ясно, а о том, о чем нельзя говорить, должно хранить молчание. Стало быть, книга проводит границу мышлению, или, скорее, не мышлению, а проявлению мыслей. Ибо, чтобы провести границу мышлению, мы должны были бы быть в состоянии мыслить по обе стороны этой границы (мы должны были бы, тем самым, быть в состоянии мыслить о том, о чем мыслить нельзя).

Стало быть, граница может быть проведена лишь внутри языка. То, что лежит по ту сторону границы, будет просто лишено Смысла.

В какой мере мои стремления совпадают со стремлениями других философов, не мне судить. Да написанное мною здесь и не имеет пре-

тензий на новизну частных, и я не привожу никаких источников, поскольку мне совершенно безразлично, приходило ли на ум другим то, о чем думал я.

Хочу упомянуть лишь выдающиеся труды Фреге и работы моего друга сэра Бертрана Рассела, которые послужили источником для большей части моей книги.

Если данная работа имеет какую-то ценность, то эта ценность заключается в двух положениях. Первое из них заключается в том, что в ней проявлены мысли, и эта ценность тем больше, чем лучше эти мысли проявлены. Тем более они попадают не в бровь, а в глаз.

Я, разумеется, понимаю, что использовал далеко не все возможности. Просто потому, что мои силы для преодоления этой задачи слишком незначительны. Другие могут прийти и сделать лучше. Зато мне кажется истинность приводимых здесь мыслей непреложной и окончательной. Стало быть, я держусь того мнения, что проблемы в основном окончательно решены. И если я в этом не ошибаюсь, то ценность этой работы теперь заключается, во-вторых, в том, что она обнаруживает, как мало дает то, что эти проблемы решены.

Вена, 1918

Л. В.

Заглавие. *«Tractatus Logico-philosophicus».*

Заглавие «Трактата» по мере работы над окончательным вариантом текста (сохранилось несколько подготовительных материалов и предварительных вариантов «Трактата»: «Заметки по логике» (1913), «Заметки», продиктованные Муру в Норвегии (1914), «Тетради 1914—1916» (эти три текста опубликованы в издании [Wittgenstein 1982]; фрагменты «Тетрадей» на русском языке опубликованы также в выпуске 6 журнала «Логос» за 1995 г. [Витгенштейн 1995а]) и так называемый «Прототрактат», рукопись которого обнаружил и опубликовал Г. Фон Вригт [Wright 1971]; об истории издания и рукописях трактата см. подробно [Wright 1982; McCuinness 1989; Monk 1991]) несколько раз менялось. Первоначально произведение было названо Витгенштейном «Der Satz» («Предложение» или «Пропозиция») по ключевому слову всей работы. Немецкий вариант названия «Logisch-philosophische Abhandlung» принадлежит, вероятно, первому издателю «Трактата» Вильгельму Оствальду. По традиции считается, что окончательное латинское заглавие дал «Трактату» Дж. Э. Мур, один из кембриджских учителей Витгенштейна (с кем он дружил вплоть до своей

смерти). Это заглавие перекликается с латинскими названиями основополагающих логико-философских трудов начала века «Principia Mathematica» Б. Рассела—А. Н. Уайтхеда и «Principia Ethica» самого Мура, что, в свою очередь, ведет к латинским заглавиям сочинений Ньютона «Philosophiae Naturalia Principia Mathematica» и Спинозы «Tractatus theologico-politicus» (последнее произведение, по мнению некоторых историков философии, связано с «Трактатом» не только названием (см., например [Грязнов 1986]).

Посвящение. Дэйвид Пинсент — один из самых первых и близких друзей молодого Витгенштейна в годы его обучения в Кембридже, оставивший после смерти дневник, в котором содержатся интересные биографические сведения о Витгенштейне (см. [McCuinnes 1989; Monk 1991]). Во время первой мировой войны друзья служили по разные стороны фронта, каждый за свою страну и своих союзников. В 1919 году Пинсент, будучи офицером английской авиации, погиб во время воздушного боя.

Эпиграф. Кюрнбергер Фердинанд (1821—1879) — австрийский писатель. В этом эпиграфе звучат две основные ключевые темы «Трактата». Во-первых, это идея редуцированности, сводимости к нескольким словам всего содержания работы (см. также Предисловие Витгенштейна), что на уровне мотивной разработки проявляется в «Трактате» и в его теории о том, что все логические операции сводимы к одной операции Отрицания, и к идее о том, что Пропозиции являются функциями истинности Элементарных Пропозиций.

Можно даже реконструировать эти «три слова»: «говорить, ясно, молчать» (см. Предисловие и седьмой тезис к «Трактату», а также комментарий к ним).

Во-вторых, это идея бессмысленного, невыразимого в языке существа жизни, перекликающаяся со знаменитыми строками из шекспировского «Макбета»: «Жизнь — это повесть, рассказанная идиотом, в которой много звуков и ярости, но нет никакого смысла», через восемь лет после первой публикации «Трактата» воплощенная в фолкнеровском романе «Sound and Fury» («Звук и ярость») 1929 года. Идея невысказанного, невыразимого в языке была одна из самых главных в витгенштейновской анти-метафизике и этике. В часто цитирующемся отрывке из письма к Паулю Энгельману Витгенштейн пишет, что «Трактат», по его мнению, состоит из двух частей, одна из которых написана, а другая — главная — не написана [Engelman 1968]. Идея невыразимости этического в противоположность пустопорожней болтовне философов-этиков, то есть тому, что «слышится шумом и звоном» и полно «звуков и ярости», высказывалась Витгенштейном и в конце 1920-х годов в беседах с членами Венского ло-

гического кружка (см. [Waismann 1967]), а в наиболее законченном виде воплощена в «Лекции об этике» 1929 года [Витгенштейн 1989].

Предисловие. Определяя жанр своего исследования и ориентируя читателя, Витгенштейн утверждает, что это книга для посвященных, а не учебник по логике. Первоначально, как можно предположить, Витгенштейн думал прежде всего о двух или трех читателях — своих учителях Готлобе Фреге, Бертрране Расселе и Джордже Эдуарде Муре. Как известно, Фреге, которому Витгенштейн послал копию «Трактата», заявил, что ничего там не понял. Рассел дал «Трактату» блестящую аттестацию в своем предисловии к английскому изданию 1922 года. Мур определил свое отношение к «Трактату» в 1929 году, когда Витгенштейн защищал диссертацию в Кембридже. В своей рекомендации Мур заявил, что считает это произведение гениальным [Wright 1982; Bartley 1973; Monk 1991].

Идея неадекватного понимания языка и неадекватного представления разговорным языком человеческих мыслей буквально носилась в воздухе предвоенной Вены. Она высказывалась в философских работах Фрица Маутнера (один раз упомянутого в «Трактате», правда, в критическом контексте), публицистических статьях Карла Крауса, стихах и пьесах Гуго фон Гофманстала (подробно о венских истоках философии раннего Витгенштейна см. [Janic-Toulmen 1973]).

Идея о том, что Смысл всей работы можно свести к нескольким словам (ср. Эпиграф и комментарий к нему), без сомнения перекликается с предисловием к книге Шопенгауэра «Мир как воля и представление» (первом сочинении по философии, которое было прочитано в юности Витгенштейном): «Я хочу объяснить здесь, — пишет Шопенгауэр, — как следует читать книгу, для того, чтобы она была возможно лучше понята. То, что она должна сообщить, заключается в *одной-единственной мысли*» (курсив мой. — В. Р.) [Шопенгауэр 1992: 39]. Влияние Шопенгауэра явственно проступает в метафизических фрагментах «Тетрадей 1914–1916». В «Трактате» оно заслонено логико-философской проблематикой, но в последних тезисах вновь проступает достаточно явственно, прежде всего в мыслях о единстве этики и эстетики и т.п.

Следующая ключевая мысль предисловия — о границах выражения мыслей — подробно разрабатывается в конце шестого раздела «Трактата», а также в некоторых предшествующих максимах. Здесь Витгенштейн выступает уже как самостоятельный мыслитель, предшественник аналитической традиции, для которой язык является единственным объектом философской рефлексии.

Рассел и Фреге действительно упоминаются в «Трактате» несопоставимо чаще других философов, хотя, как правило, в более или менее рез-

ко критическом контексте. Безразличие к предшественникам, декларируемое Витгенштейном, отчасти объясняется тем, что он просто не знал никаких или почти никаких предшественников, будучи философски необразованным человеком, что он сам неоднократно подчеркивал и чем даже бравировал в кембриджские годы (см., например, [Drury 1981]). С другой стороны, осознание своей исключительности также играло здесь огромную роль. Рассел писал о Витгенштейне, что он «горд, как сатана». Лишь после испытаний на войне, а затем в деревне Витгенштейн отказался от этой идеи.

Последние предложения предисловия также пересекаются с последними тезисами книги. Таким образом в соответствии с музыкальным пониманием построения «Трактата» (см., например, [Findley 1984]), все основные темы заданы здесь в кратком виде, как в экспозиции сонатной формы.

1 Die Welt ist alles, was der Fall ist.

The world is all that is the case.

Мир — это все, чему случается быть.

Поскольку перевод именно этой строки вызывает объективные трудности и помня о том, что первая строка, особенно в таком произведении, как «Трактат», должна играть роль репрезентанта всего текста (как первая строка в стихотворении), сравним наш перевод с оригиналом, английским переводом и с предшествующими русскими переводами:

Мир есть все то, что имеет место [Витгенштейн 1958]

Мир есть все то, что происходит [Витгенштейн 1994].

Здесь в обоих случаях оборот *sein ist*, который достаточно эквивалентно переведен в английском выражении *to be the case*, отсутствует. Перевод выражения *Fall ist* как «имеет место» неточен — последнему в «Трактате» скорее соответствует выражение *gegeben sein*, которое можно перевести как «имеет место», «существует», «бывает». (Например, 3.25 *Es gibt eine and nur eine vollständige Analyse der Satzes. Существует (бывает, имеет место) один, и только один полный анализ Пропозиции.*) *Es gibt* и *der Fall ist* не одно и то же. В последнем случае подчеркивается не-необходимость того, что является Миром.

«Мир есть все, что есть Случай» (дословный перевод), т. е. все, что имеет место благодаря случаю, все, что *случается*.

Перевод 1994 года вводит здесь глагол «происходить». Это неудачное решение, потому что в Мире «Трактата», строго говоря, ничего не происходит, идея динамики ему несвойственна (ср. 1.21 «Им (фактам. — *V. P.*) мо-

жет случаться быть или не быть, все прочее остается прежним»). Можно сказать, что в «Трактате» системные связи полностью господствуют над связями, опосредованными временем (ср. 5.1361 Вера в существование причинной связи является суеверием), синхрония господствует над диахронией, как и в «Курсе общей лингвистики» Ф. де Соссюра (опубликован в 1916 году), который был для структурной лингвистики XX века тем же, чем «Логико-философский трактат» для аналитической философии XX века.

В семантике первого утверждения «Трактата» я вижу три аспекта: тавтологический, парадоксальный и информативный. Тавтологический заключается в том, что, на первый взгляд, этот тезис утверждает то, что и так ясно. Именно этот тавтологический аспект громче всего слышали переводчики книги [Витгенштейн 1958]: *Мир есть все то, что имеет место*, — почти то же самое, что *Мир есть все то, что есть*. И этот аспект действительно важен (и соответственно, этот последний, чисто тавтологический, вернее, квазитавтологический перевод возможен). По мысли Витгенштейна, ничто логическое не несет никакой информации, и он, возможно, намекает на это уже в первой строке — *Мир есть все то, что есть* (по воле случая).

Парадоксальность тезиса 1 состоит в том, что утверждаемое в нем противоречит устоявшимся представлениям о мире, как о чем-то существующем по необходимости и стабильно, таком, каким его создал Бог. Витгенштейн подчеркивает отсутствие стабильности и необходимости в Мире. Это противоположная сторона семантического поля данного высказывания. Мир не-необходим и не-стабилен потому, что, как говорится ниже, хотя в его основе (субстанции) лежат простые неизменные Предметы, реально они встречаются в изменчивых и несвязанных друг с другом конфигурациях — Положениях Вещей (Sachverhalten). Отсутствие связей между явлениями в их изначальном виде и позволяет говорить об отсутствии причинной связи между ними во времени. Связь может быть только логической, т. е. тавтологической, неинформативной.

Еще парадоксальность проявляется в сочетании слова «все» (alles), которое употребляется в «Трактате» как универсальный квантор, с выражением *was der Fall ist*. Надо ли это понимать так, что все, что случается, противоположно тому, что *может* случиться, или оно противоположно тому, что не случается и не может случиться? Отметим еще, что слово «все» тянет это высказывание к тавтологии — *Мир есть все, что есть*, а *was der Fall ist* к противоречию — получается, что *Мир* — это то, что *может быть не миром*, стоит ему не случиться быть, что он может стать из всего ничем.

Информативное («естественно-научное») значение этого тезиса можно реконструировать так: «Мое первоначальное знание о Мире сводится

к тому, что он кажется чем-то, чему случается быть». В целом значение этой фразы является эпозитивным. Она представляет интенции автора, говоря: «Тех, кто думает, что я буду исследовать Мир как нечто необходимое и законченное, просят не беспокоиться».

Последнее, что нужно сказать в связи с переводом тезиса 1. В оригинале он звучит как метрически организованный полноударный стих 4-стопного ямба: $\acute{\cup}-\cup-\acute{\cup}-\cup-\acute{\cup}$.

Учитывая богатый «австро-венгерский» культурный контекст написания «Трактата» (см. об этом [*Janic-Toulmen 1973*], а также и то, что «Логико-философский трактат» — своего рода поэма (в том смысле, в каком поэмой можно назвать «Даодедзин» и «Бхагавадгиту»), этот факт нельзя признать случайностью. Тем более, что и английский перевод сохраняет эту метрическую организацию (изменив лишь в соответствии с английской традицией каталектику — с женской на мужскую: $\cup-\acute{\cup}-\acute{\cup}-\cup-\cup$ The world is all what is the case). Однако мы, отметив это обстоятельство, тем не менее не станем его воспроизводить, ибо сочетание слова «мир» с 4-стопно-ямбическим контекстом неожиданно дает чисто русские и крайне неприятные коннотации:

Мир — это все, что происходит
Весь мир насилья мы разрушим.

Сын миллионера, воевавший против царской России, после этого действительно разрушил мир старой философии; он всегда сочувствовал России и тому, чему в ней «случалось быть». «Странные сближения» преследовали Витгенштейна всю жизнь. Не будем удивляться, что частично они перепадут и на нашу долю.

1.1 Мир — совокупность Фактов, но не Вещей.

В этом афоризме Витгенштейн также противоречит здравому смыслу, в соответствии с которым мир, скорее, как раз совокупность вещей (см., например, [*Stenius 1960: 32*]). Логически 1.1 вытекает из 1: если Мир — все то, чему случается быть, то это, скорее, Факты, а не Вещи. По Витгенштейну, реально существуют не вещи, а Вещи в их соединении с другими Вещами: это и есть Факты. Вообще говоря, здравый смысл может убедиться, что этот взгляд психологически вполне реалистичен. Действительно, разве существует это дерево просто как дерево? Не правильнее ли сказать, что существует то, что это дерево растет возле моего дома, что это дерево очень старое, что это дерево — дуб и т. д.? Именно в совокупности этих фактов и существует дерево. Как слово (имя) реально функционирует не в словаре, а в предложении (и это тоже один из

ключевых тезисов «Трактата»), так и Вещь, денотат имени, реально существует не в семантическом инвентаре мира, а в живом Факте. Но и в словаре имя существует не просто, а именно в словаре, и, перечисляя, какие Вещи существуют в мире — деревья, столы, ложки, планеты и т. д., — мы задаем этот список в самом Факте его задания. Здесь Витгенштейн, как сторонник предикативного взгляда на мир (в смысле [Степанов 1985]), стоит как мыслитель ближе к английской традиции (Расселу и Муру), а не к родной немецкой (Фреге)). Для Фреге пропозиции были разновидностями имен, отчасти именно поэтому он радикально не принял витгенштейновский «Трактат». И именно благодаря этой предикативности мышления Витгенштейн с самого начала стал английским философом («Трактат» прошел незамеченным в первом немецком издании, а английский перевод Огдена и Рамсея с предисловием Рассела принес ему мировую славу). Лишь с 1970-х годов началась его «репатриация» на немецкоязычную почву.

1.11 Мир определен посредством Фактов и благодаря тому, что все они являются Фактами.

1.12 Ибо именно совокупность Фактов определяет то, чему случается, а чему не случается быть.

Мир определен как Мир тем, что все Факты являются Фактами именно потому, что именно Факты определяют то, чему случается быть, а это и есть Мир. То есть Мир определен тем, чему случается быть, Фактами. Если мы рассмотрим не реальный Мир, а некий небольшой условный возможный Мир, то, понаблюдав за тем, чему в нем случается быть, мы сможем дать описание Фактов, которое и будет описанием мира. Допустим, что Мир есть все то, чему случается быть внутри спичечного коробка. Заглянув туда, мы увидим, что там лежат, допустим, 12 хороших спичек и три обгорелых. Именно факт того, что в спичечном коробке лежат 12 хороших и три обгорелых спички, и будет описанием Мира спичечного коробка. Это описание будет исчерпываться этими Фактами и тем, что это все Факты. То, что в коробке лежат три обгорелых спички, не в меньшей степени является фактом, чем то, что там находится 12 хороших спичек. Другой вопрос, является ли Фактом, описывающим этот Мир, то, сколько спичек лежало в коробке раньше? Будем считать, что Мир, о котором говорит Витгенштейн, это одномоментный отрезок Мира, и тогда отсутствие других спичек не будет Фактом. Но можно ввести, скажем, понятие «вчера» и «позавчера», и тогда Фактом будет то, что вчера в коробке лежало столько-то спичек, а позавчера столько-то. Но вообще время является модальным понятием, а Витгенштейн тщательно избегает модальных понятий. По-видимому, позавчера, вче-

ра и сегодня можно рассматривать как разные возможные Миры (ср. [Prior 1967]) и применительно к возможностям каждого из них строить описание. Кроме того, Витгенштейна как логика не должно интересоваться, каким именно образом давать описание того или иного Мира, важна сама принципиальная логическая возможность такого описания. И само описание мыслится здесь как такой же чисто гипотетический акт, не имеющий ничего общего с реальным описанием, которое, особенно если идет речь о больших Мирах, само протяженно во времени и за время проведения которого Мир может меняться бесконечное количество раз (парадокс Лапласа).

1.13 Факты в логическом пространстве и составляют Мир.

Мы уже частично коснулись понятия логического пространства в предыдущем комментарии. Подробно это понятие обосновывается в книге [Stenius 1960]. В качестве модели логического пространства рисуется несколько кубов разной длины, ширины и высоты. Совокупность этих кубов является моделью логического пространства. В этом логическом пространстве Фактом является то, что каждый куб имеет определенную длину, ширину и высоту. Если имеется 5 кубов, то относительно длины, высоты и ширины каждого имеется 15 (5 x 3) Фактов [Stenius 1960: 39]. Теперь представим себе реальный Мир, определенный огромным количеством Фактов. Обрисуем мысленно логическое пространство этого Мира, т. е. пространство, внутри которого имеет смысл сказать, что нечто существует, а нечто не существует, — и это и будет то понимание Мира, которое содержится в «Трактате». Логическое пространство в каком-то смысле может совпадать с физическим, а может быть чисто умозрительным, «лабораторным». Но при этом, по Витгенштейну, любое физическое — реальное или умозрительное — пространство будет в то же время логическим пространством, так как логика, будучи необходимым инструментом познания, является более фундаментальной, чем физика, геометрия, химия, биология и т. п.

1.2 Мир раскладывается на Факты.

1.21 Им может случаться быть или не быть, все прочее остается прежним.

В предшествующих разделах Витгенштейну было важно объяснить Мир как целое, как совокупность. Теперь он впервые делит, членит Мир на Факты. Почему ему важно подчеркнуть этот момент разделения? Ответ на это можно попытаться найти в 1.21. Что это — «все прочее», которое остается без изменений? И почему Факт, которому случилось быть, никак не влияет на это прочее? Предположим, что в Мире

спичечного коробка было 17 спичек, а стало 16. Мы находимся внутри этого Мира, и мы, подобно фолкнеровскому Бенджи Компсону, не знаем, кто манипулирует спичками и коробком, а можем только сказать, что одна спичка исчезла («ушла»), а «все прочее» (все прочие 16 спичек) осталось прежним. Что же, неужели, по Витгенштейну, в Мире между Фактами не существует никакой зависимости? Витгенштейн объясняет свою позицию в следующем разделе, в учении об атомарных Положениях Вещей (Sachverhalten).

2 То, чему случается быть, Факт, это то, что существуют определенные Положения Вещей.

Понятие Sachverhalten — одно из самых важных в «Трактате». Оно означает некий примитивный Факт, состоящий из логически простых Предметов (подробнее см. комментариев к 2.02). Это логически неделимый элементарный Факт, т. е. такой факт, части которого не являются Фактами. Под влиянием расселовского предисловия [Russell 1980] к первому английскому изданию «Трактата» в издании [Витгенштейн 1958] Sachverhalt переведено как «атомарный факт» (в первом английском издании Огдена и Рамсея также стоит atomic fact, в то время как во втором издании Пирс и МакГинес переводят это выражением states of affairs; Э. Стениус предлагает компромиссный вариант перевода — atomic state of affairs. Новейший русский [Витгенштейн 1994] дает перевод «событие», который кажется нам фантастически неадекватным. Во-первых, «Трактату» чужд диахронизм (см. комментариев к 1); во-вторых, Витгенштейну совершенно не свойственно кантовско-хайдеггеровское манипулирование корнями, префиксами и дефисами; в-третьих, слово «событие» означает в русском языке нечто аксиологически маркированное, ср. «это стало для меня событием» (подробнее см. [Руднев 1993]), в то время как Sachverhalt — нечто аксиологически нейтральное. Мы переводим Sachverhalt как Положение Вещей, ибо это представляется этимологически наиболее близким к оригиналу, а также соответствует тому, что Sachverhalt представляет собой совокупность простых Предметов, или Сущностей (Sachen) или Вещей (Dinge).

Говоря о простоте Положения Вещей, следует иметь в виду, что речь идет прежде всего о логической простоте, т. е. о том факте, что части Положения Вещей не могут быть сами Положениями Вещей, но только Вещами (в свою очередь Вещи, входящие в Положение Вещей, также являются простыми, т. е. не могут быть поделены на части, являющиеся Вещами (подробнее см. комментариев к 2.02).

В целом смысл тезиса 2 кажется достаточно ясным. Факты, из которых состоит Мир, представляют собой существующие Положения Ве-

щей. Дело в том, что Факты и Положения Вещей отличаются друг от друга не только тем, что вторые являются простыми, а первые сложными, но еще и тем, что Положения Вещей являются лишь возможностями Фактов: они могут как существовать, так и не существовать. Положение Вещей может стать существующим, заняв определенное место в молекулярной решетке Факта. Таким образом, Мир Фактов — это Мир актуализировавшихся, осуществленных Положений Вещей. Мир — это те простые атомарные Положения Вещей, которые актуализировались в молекулярной структуре Факта.

2.1 Положение Вещей — это некая связь Предметов (Сущностей, Вещей).

Считается (см., в частности, [*Finch 1977: VIII*]), что в «Логико-философском трактате» нет синонимов, т. е. каждое слово употреблено в своем строгом значении в соответствии с развиваемой здесь же, в «Трактате», идеей совершенного языка, где каждому знаку соответствует только одно значение. Триада «Предмет — Сущность — Вещь» (*Gegenstand — Sache — Ding*) различается, по Г. Финчу, как формальная (Предмет), феноменологическая (Сущность) и материальная (Вещь) стороны объекта. В соответствии с различиями в значениях эти понятия входят в разные контексты.

Понятие *Gegenstand* везде переводится нами как Предмет, а не объект, как это принято во всех английских и русских переводах. Последнему в немецком языке соответствует слово «*Object*».

2.011 Для Вещи существенно, что она может быть составной частью Положения Вещей.

Вещь сама по себе не является логическим строительным материалом для Мира, она выступает лишь в контексте атомарного Положения Вещей. Логика не изучает слова, она изучает предложения. Поэтому и философия должна изучать не сами Вещи, а те положения, которые они принимают, будучи соединены друг с другом, — т. е. Факты.

2.012 В Логике нет ничего случайного: если Вещь может встречаться в Положении Вещей, то Возможность Положения Вещей должна быть предопределена в самой Вещи.

Витгенштейн считает, что Вещь «не сделана» сама раз и навсегда, что ей необходимо для своего окончательного проявления как Вещи стать частью Положения Вещей. Вообще говоря, это свойство вытекает из самой природы Вещи, так как нельзя себе представить Вещь, изолированную от контекста других Вещей и от контекста Фактов. Если мы не зна-

ем про чайник, что в нем можно кипятить воду (Положение Вещей) и разливать ее в чашки (другие Вещи), то можно сказать, что мы не знаем, что такое чайник. И если в чайнике невозможно кипятить воду и ее нельзя разливать по чашкам, то чайник перестает быть чайником. Отсюда 2.0121.

2.0121 Это представлялось бы словно делом случая, если бы для Вещи, которая могла бы существовать сама для себя, какая-то возникающая потом Ситуация пришла бы ей впору.

Если Вещи могут встречаться в Положении Вещей, то Возможность этого уже должна быть заложена в них самих.

(Нечто Логическое не может быть лишь-возможным. Логика апеллирует к каждой Возможности, и все Возможности являются ее фактами).

Точно так же, как мы не можем думать о пространственных Предметах вне пространства, так и о любом Предмете мы не можем думать вне Возможности его соединения с другими Предметами.

Если я могу думать о Предмете в его соединении с Положением Вещей, то я не могу думать о нем вне Возможности этого соединения.

Витгенштейн как будто ставит мысленный эксперимент, представляя некий сам-для-себя Предмет, тот же чайник, по поводу которого после случайно обнаруживается, что в нем можно кипятить воду и разливать ее по чашкам. Такое положение Витгенштейн считает не характерным для Вещи. В Вещах должна быть заложена возможность того, чтобы они могли встречаться в соответствующих Положениях Вещей. И ясно, что чайник должен представлять из себя нечто металлическое или керамическое, но ни в коем случае не деревянное, чтобы в нем можно было кипятить воду, и в его форме должно быть нечто, что позволяло бы разливать воду по чашкам.

2.0122 Вещь самостоятельна, поскольку она может встречаться во всех возможных Ситуациях, но эта Форма самостоятельности является Formой связанности положением Вещей, то есть Formой несамостоятельности. (Невозможно представить, чтобы слова встречались двумя разными способами: в одиночку и в составе Пропозиции.)

Здесь впервые Витгенштейн придает Вещи некий статус самостоятельности, который тут же отбирает. Это та мнимая самостоятельность, которую имеет слово, стоящее в словаре. Но положение слова в словаре есть лишь один из способов его существования. Слово «чайник» в толковом словаре стоит не изолированно, оно употреблено пусть в своеобразной, но все же пропозиции, которая говорит: «Слово “чайник” означает

то-то и то-то». И тот факт, что чайник означает то-то и то-то, и является тем «Положением Вещей», в которое попала Вещь, демонстрируя свою мнимую самостоятельность.

В данном разделе впервые встречаются вместе важнейшие термины «Трактата» — Ситуация (Sachlage) и Пропозиция (Satz). Ситуация есть нечто среднее между Положением Вещей и Фактом. В отличие от Положения Вещей, Ситуация является сложной, что роднит ее с Фактом. Но в отличие от Факта, который является существующим, Ситуация является лишь возможной — и это, в свою очередь, роднит ее с Положением Вещей. Итак, Ситуация — это возможный коррелят Факта в возможном Мире Положений Вещей, которые могут быть связаны в некое подобие Факта (что и называет Витгенштейн Ситуацией), но еще не актуализировавшегося, не ставшего частью действительного Мира.

Слово Пропозиция является в «Трактате», пожалуй, самым важным, ведь именно им назывался первый вариант этого произведения — «Der Satz». В английских переводах «Трактата», а также книгах и статьях о нем, это понятие переводят либо как sentence, либо как proposition. В русском переводе [*Витгенштейн 1958*] закрепился перевод — предложение. Наш выбор термина «Пропозиция» обусловлен тем, что принято называть пропозициональной логикой, т. е. логикой, занимающейся исчислением немодальных высказываний (пропозиций). Именно такого рода логика, изучающая только индикативы (не конъюнктивы, не императивы, не вопросы — которые также в русском языке могут быть названы предложениями, — но не пропозициями), и представлена в «Трактате».

2.0123 Если я знаю Предмет, я тем самым знаю Возможность его встречаемости в Положении Вещей.

(Каждая такая Возможность должна находиться в самой природе Предмета.)

Нельзя, чтобы в дальнейшем была найдена какая-то новая Возможность.

Ясно, что если мы знаем, что такое чайник, в частности, что в нем можно кипятить воду и разливать ее по чашкам, то невозможно, чтобы впоследствии оказалось, что из чайника можно стрелять или класть его под голову в качестве подушки. Логическая природа чайника исключает эти новые Возможности.

2.01231 Чтобы знать какой бы то ни было Предмет, я должен знать не столько внешние, сколько внутренние его свойства.

Внутренние свойства, по Витгенштейну, это такие, без которых Предмет не может существовать (4.1223). Стало быть, для того, чтобы знать

чайник, важно знать не просто из какого металла он сделан, но и то, что этот металл не расплавится при температуре более низкой, чем температура кипения воды. Отсюда 2.0124.

2.0124 Когда даны все Предметы, тем самым даны все возможные Положения Вещей.

Задавая все предметы в некотором небольшом, ограниченном возможном мире, например, чайник, воду, чашки, мы тем самым задаем все возможные Положения Вещей, связанные с этими Вещами. И это в принципе касается всех Вещей. Вместе с Предметами в Мире дано потенциально все, что с ними может произойти. Отсюда 2.013.

2.013 Каждая Вещь существует как будто в пространстве возможных Положений Вещей. Я могу думать об этом пространстве как о незаполненном, но не о Вещи вне пространства.

Можно представить, как в чайник наливают воду, как вода в нем закипает, как из него наливают воду в чашки. Можно представить себе пространство без чайника, но нельзя представить чайник вне тех возможных Положений Вещей, которые могут с ним «случаться быть». Любая Вещь — будь то чайник, грабли или «Трактат» — перестает быть Вещью вне пространства возможных (для нее) Положений Вещей.

2.0131 Пространственный Предмет должен располагаться в бесконечном пространстве. (Пространственная точка является аргументным местом.)

Пятно в поле зрения может, хоть и необязательно, быть красным, но какой-то цвет оно должно иметь: оно, так сказать, имеет цветовое пространство вокруг себя. Музыкальный тон должен обладать какой-то высотой, предмет тактильного ощущения — какой-то твердостью.

«Пространство возможных Положений Вещей» естественным образом ограничивается нашими пятью чувствами. Соответственно, Витгенштейн рассматривает ситуацию, когда Предмет воспринимается каким-то одним из органов чувств. В этом случае Предмет «обязан» обнаруживать свойство, соответствующее тому органу чувств, которым он воспринимается. Если Предмет воспринимается зрением, он должен быть «какого-то цвета» (ср. это с высказыванием 2.0232 и комментарием к нему); если он воспринимается слухом, он должен обладать какой-то высотой тона; если Предмет ощупывается, он должен быть твердым или мягким, жидким или колючим и т. д. Отсюда следует, что для Витгенштейна Предмет есть нечто Феноменологическое, а не только формальное (как считает Генри Финч [*Finch 1971*]), и что в определенном смысле

ле поэтому Предмет (Gegenstand) и Вещь (Ding) могут считаться синонимами.

Еще из этого раздела следует, что Предмет есть нечто, что можно воспринимать только одним органом чувств. Если нечто воспринимается сразу несколькими органами чувств и обладает не только цветом, но и высотой и твердостью: например, говорящий попугай, который произносит антропоморфные звуки: при этом он может быть ярко-зеленого цвета, на ощупь мягкий и еще, возможно, не очень хорошо пахнет, — то ясно, что это не Предмет, а сложный объект, комплекс.

То, что Витгенштейн говорит о Предмете в связи с восприятием, позволяет отнести его онтологию скорее не к объективно-идеалистической (в то время как его простой Предмет часто сравнивают с объектами Платона), а к агностицистской традиции. Беркли, Юм, Кант, Шопенгауэр в этом отношении гораздо ближе Витгенштейну, чем Декарт, Спиноза, Лейбниц, Гегель и Брэдли.

2.014 Предметы содержат в себе Возможность всех Ситуаций.

Этот тезис является обобщением предыдущих. Заложенность в Предметах не только всех Положений Вещей (Sachverhalten), но и всех Ситуаций (Sachlage), т. е. возможных не-элементарных Положений Вещей, позволяет представить Предмет как некий прообраз кибернетического устройства с заложенной в нем программой всех возможных действий, включая в данном случае взаимодействия с другими Предметами. Чайник включает в себя не только Возможность греть в нем воду и разливать ее по чашкам, но и Возможность быть фарфоровым, китайским, со свистком, Возможность быть разбитым, если он из глины, или расплавленным, если он металлический. Мы как будто берем все Предметы, записываем в их структуре возможные Положения Вещей и Ситуации, которые могут с ними произойти, и запускаем их все вместе. После этого они начинают жить своей жизнью. Однако для того, чтобы Предметы могли функционировать, а мы могли бы знать об этом, необходимо, чтобы между Предметами и нашим знанием о них существовала регулярная обратная связь. Об этом толкует семиотическая часть «Трактата» — учение о Форме, Картине, Структуре, Элементарной Пропозиции.

2.0141 Возможность их встречаемости в Положении Вещей является их Формой.

Здесь речь идет, по-видимому, о Логической Форме Предмета, а не о его материально-пространственной форме. Приведем такой пример. У глаголов в большинстве языков с развитой субъектно-объектной па-

радикальной существует понятие валентности, которая является не чем иным, как выражением Возможности глагола вступать в грамматико-семантические отношения (которые называются управлением) с определенными именами (актантами). Валентность глагола может быть равна 0, 1, 2, 3 и т. д. Так, нулевой валентностью обладает глагол «смеркаться», ибо он не может управляться ни одним именем. Валентность глагола «читать» равна единице, так как он может управлять только винительным беспредложным. Глагол «бить» является двухвалентным — он управляет винительным и творительным падежами (бить можно кого-то (или что-то) и чем-то). Логическая Форма Предмета как выражение Возможности его встречаемости в определенных Положениях Вещей есть нечто схожее с синтаксической валентностью глагола. Так, например, в Логическую Форму чайника входит Возможность его вхождения в такие Положения Вещей, как *чайник кипит* или *чайник стоит на плите*. Но, строго говоря, чайник не является примером простого Предмета (строго говоря, таких примеров вообще не существует; см. комментарий к 2.02). Возьмем более простой по сравнению с чайником Предмет — литой металлический шарик. Наиболее существенным элементом его формы является то, что он абсолютно круглый, сферический, и это обеспечивает ему возможность входить в Положения Вещей «шарик катится». Но пустота или наполненность не является Логической Формой шарика, не определяет его как шарик. Шарик может быть как полым, так и не-полым, как тяжелым, так и легким, так же как и любой другой Предмет, обладающий какой-то массой и занимающий какое-то место в пространстве.

Логическая Форма Предмета обеспечивает ему возможность встречаться не только в Положениях Вещей, но и сочетаться с другими Предметами в определенных Ситуациях. Для этого нужно, чтобы Логические Формы предметов были коррелятивными. Так, в Логическую Форму воды входит то, что она является жидкой, т. е. Возможность принимать геометрическую форму такого Предмета, в Логическую Форму которого входит «полость». Соотношению Предметов в атомарном Положении Вещей и в сложной Ситуации соответствует соотношение Имен в Элементарной Пропозиции и в сложной Пропозиции. В этом в двух словах состоит суть «картинной» теории Витгенштейна, о которой подробнее см. ниже.

2.02 Предмет является простым.

Простота Предмета является одной из самых сложных и запутанных проблем в экзегетике «Логико-философского трактата». Дело в том, что Витгенштейн ни разу не приводит в «Трактате» примера простого Пред-

мета. Норман Малкольм вспоминает, как в 1949 году Витгенштейн приехал к нему в Америку и они вместе начали читать «Трактат». «Я спросил Витгенштейна, думал ли он хоть раз, когда писал “Трактат”, о каком-либо примере “простого объекта” (пер. М. Дмитриховской. — В. Р.). Он ответил, что в то время считал себя логиком, а поскольку он был логиком, то в его задачи не входило решать, является ли та или иная вещь простой или сложной, поскольку это был чисто эмпирический материал! Было ясно, что он расценивает свои прежние взгляды как абсурдные» [*Витгенштейн 1994: 85–86*]. Оставим на совести мемуариста его последнее суждение, тем более что в своей поздней книге [*Malcolm 1986*] он гораздо более внимательно рассматривает взаимосвязь взглядов раннего и позднего Витгенштейна. Так или иначе, необходимо уяснить, что представляет собой витгенштейновский простой Предмет, так как это одно из ключевых понятий «Трактата». Надо сказать, что у исследователей «Трактата» на этот счет нет единой точки зрения (наиболее содержательный и тонкий анализ этой проблемы см. в статье [*Copi 1966*]; ср. также [*Keyt 1966*]). Мы принимаем здесь ту точку зрения на простоту Предметов Витгенштейна, которой придерживается Эрик Стениус [*Stenius 1960*]. Согласно этой точке зрения, под простотой витгенштейновских Предметов подразумевается прежде всего логическая (а не физическая, химическая, биологическая, геометрическая) простота. Простым в логическом смысле является такой Предмет, части которого не являются Предметами. Сравним это с понятием простого числа в арифметике. Его характеристикой является невозможность деления без остатка на целые числа, кроме самого себя и единицы. В этом смысле простое число — это не обязательно маленькое число. Простым числом может быть 3, может быть 19, а может быть 1397. Последнее обстоятельство очень важно, потому что тогда простым в логическом смысле объектом может считаться, например, Луна или Лев Толстой. Если разделить Луну или Толстого на части, то в логическом смысле эти части не будут самостоятельными предметами (Луной и Толстым). Хотя, конечно, и логическое понимание простоты релятивно. И если тело человека можно считать логически простым предметом, то, с другой стороны, часть этого тела, например, кисть, является скорее логически сложным предметом, так как она состоит из ладони и пальцев.

Для Витгенштейна в принципе важно, что логически простые Предметы существуют, даже если он не может или не считает нужным привести хотя бы один пример. Логика имеет дело с абстракциями. И простой Предмет — a , b или c — полезная логическая абстракция. Она позволяет построить систему, имеющую много интереснейших для логики и философии следствий. В каком-то смысле существование логически

простых Предметов – это некая аксиома, которую нет необходимости обосновывать.

Можно взять некий искусственный фрагмент Мира, как это делает [Stenius 1960], состоящий из пяти кубов различной фиксированной длины, ширины и высоты, и тогда каждое из измерений будет простым Предметом. В других возможных Мирах простым Предметам будут соответствовать точки. В астрономии простыми логическими Предметами в определенном смысле будут планеты и звезды, а сложными (комплексами) – созвездия, системы спутников и Галактики.

С чисто логической точки зрения простой Предмет должен удовлетворять требованию единичности, т. е. это должен быть индивидуальный объект, индивид. Поэтому чаще всего, толкуя «Трактат», философы приводят в качестве примеров моделей простых объектов планеты [Stenius 1960] или собственные имена – Сократ, Платон [Russell 1980, Anscombe 1960]. Простому Предмету соответствует Простое Имя, прежде всего – имя собственное. (Подробнее об этом будет сказано при обсуждении проблемы именованя.)

Наконец, следует отметить точку зрения Стениуса, в соответствии с которой под простыми Предметами Витгенштейн понимает не только индивидуальные объекты, но и предикаты [Stenius 1960: 61–62]. Действительно, только придерживаясь этого взгляда, можно хоть как-то себе представить, что понимает Витгенштейн под Положениями Вещей, которые состоят из простых Объектов, и только из них. Если под простыми Предметами понимать нечто, чьим выражением в языке служат имена существительные, то очень трудно, если не невозможно, смоделировать хотя бы одно витгенштейновское Положение Вещей на любом европейском языке. Все европейские языки, включая русский, в качестве центральной грамматической идеи предложения имеют предикат, выраженный либо какой-то глагольной или именной формой, либо связкой. Причем если в одной из форм предложения связка отсутствует, то она легко восстанавливается по другой форме [Гаспаров 1971]. Так, например, в таких «назывных» предложениях, как *Зима. Тихо. Жуть.*, связка восстанавливается в прошедшем (или будущем) времени: *Была зима. Было тихо. (Это) была (такая) жуть.* Соответственно в европейских языках связка сохраняется и в настоящем времени. Поэтому говорить о том, что Положение Вещей, выраженное собственными именами, это комбинация простых индивидуальных объектов, значит не считаться с очевидной реальностью языка. Невозможна никакая комбинация предметов без предикатов ни в языке, ни в Мире Фактов (т. е. чего-то предикативного). Положение Вещей *Земля круглая* состоит из двух предметов: Земля и быть круглым. (Трудно сказать, правда, является ли значение «быть круглым» простым в логичес-

ком смысле и, тем самым, является ли этот пример удачным примером атомарного Положения Вещей.)

Идея построения языка, состоящего из простых семантических элементов, отчасти была осуществлена А. Вежбицкой, построившей систему конечного (и очень небольшого) количества исходных слов (семантических примитивов), из которых далее строятся все остальные слова [Wiersbicka 1971, 1980].

2.0201 Каждое утверждение о комплексах позволяет себя разложить на утверждение о своих компонентах и Пропозиции, которые описывают эти компоненты.

Первая часть этого раздела понятна. Сложное в логическом смысле предложение «Сократ мудр и смертен» «позволяет себя разложить» на два простых: «Сократ мудр» и «Сократ смертен». Далее необходимо объяснить, чем отличается утверждение от Пропозиции. Утверждение является одной из функций Пропозиции. Оно утверждает истинность или ложность того, о чем говорится в дескриптивной части Пропозиции. В данном случае Витгенштейн применил термин Пропозиция только к описательной функции Пропозиции, высказывания (так «высказывает» то, о чем идет речь, не утверждая ничего об истинности или ложности этого содержания).

Высказывание описывает возможные Положения Вещей и Ситуации, утверждение навешивает на них ярлык истинности или ложности.

2.021 Из предметов строится субстанция Мира. Поэтому они не могут быть сложными.

Субстанция Мира — это непредикативная его часть, которая остается неизменной при всех его изменениях. Допустим, a , b , c и d — простые Предметы: они неделимы и неизменны. Из них образуются Положения Вещей, из которых формируется фактовая предикативная часть Мира. Допустим, что в одном Положении Вещей a соединено с b , а в другом — a с c . Во всех конфигурациях предметов в Положениях Вещей и Ситуациях неизменными остаются лишь сами Предметы в силу своей простоты, атомарности. По каким бы направлениям ни шло развитие Мира, меняются только конфигурации. Неизменная Субстанция, остающаяся общей при всех направлениях развития (во всех возможных Мирах), придает Миру стабильность. И основу этой Субстанции составляют, естественно, неизменные атомарные простые Предметы. Они сохраняют идентичность во всех возможных Мирах.

Учение о Субстанции — один из наиболее ясных признаков принадлежности логико-антологической картины «Трактата» атомизму, для которого одним из наиболее фундаментальных принципов является

тот, в соответствии с которым для того, чтобы что-то могло меняться, что-то должно оставаться неизменным (см. [Fogelin 1976]). В последней своей работе — «О достоверности» — Витгенштейн применил сходный принцип к гносеологическим проблемам. Там говорится, что для того, чтобы сомневаться в чем-либо, что-то должно оставаться несомненным. «Чтобы дверь двигалась, петли должны оставаться неподвижными» [Wittgenstein 1980] (О методологической важности этого принципа см. [Руднев 1986]).

(Возможно, именно это учение явилось глубинной исходной предпосылкой для теории «жестких десигнаторов» С. Крипке, в соответствии с которой в языке имеются такие знаки, которые сохраняют свое значение во всех возможных мирах [Kripke 1980].)

2.0211 Если бы у Мира не было никакой Субстанции, то тогда наличие Смысла у одной Пропозиции зависело бы от того, истинна или ложна другая Пропозиция.

Этот раздел, как кажется, можно понять лишь в контексте того факта, что важнейшей характеристикой Предметов и Элементарных Пропозиций (как пишет Витгенштейн в 2.061) является их независимость друг от друга, т. е. невозможность вывести одно из другого. (См. также комментарий к 2.061.) Представим себе, что не существует простых атомарных Предметов и элементарных Положений Вещей, а существуют только сложные Предметы (комплексы) и сложные положения дел (Ситуации). Такая картина будет вести к противоречию. Комплексы (которые теперь ex hypothesis неразложимы на простые Предметы — ведь мы условились, что простых Предметов не существует) зависят друг от друга. Например, из «Если Сократ человек, то Сократ смертен», следует «Сократ человек, и Сократ смертен» (обе Пропозиции комплексные). Смысл Пропозиции «Сократ человек, и Сократ смертен» (= Сократ есть смертный человек) зависел бы исключительно от истинности и ложности Пропозиции «Если Сократ человек, то Сократ смертен». И если бы мы не могли выделить простые Предметы и элементарные Пропозиции (ведь мы исходили из предположения, что у Мира нет субстанции, которая как раз и состоит из простых Предметов), то тогда мы никогда не узнаем ни того, что Сократ — человек, ни того, что он смертен, так как мы должны будем по кругу ссылаться на новые и новые пропозиции, черпая в их истинности и ложности оправдание для смысла объясняемой Пропозиции. Поэтому требование простоты исходных понятий универсально. Именно с этой идеей порочного круга объяснения одного слова через другое в толковых словарях, опираясь на идеи Лейбница и Витгенштейна, успешно боролась А. Вежбицка при построении своей теории *lingua mentalis* [Wiersbicka 1971, 1980].

2.0212 Тогда было бы невозможно построить Картину Мира, истинную или ложную.

Ясно, что, раз мы, исходя из 2.0212, не знали бы, какие Пропозиции истинны, а какие нет, мы не могли бы построить такую Картину Мира, о которой бы мы знали, является ли она истинной или ложной. То, что мы могли бы построить, было бы построением бесконечных виртуальных Картин Мира, не совпадающих с реальной Картиной Мира. В XX веке, тем не менее, утвердилась идея построения Картин Мира именно в виртуальном смысле. Осознание невозможности построения истинной Картины Мира в связи с утерей логических констант (недаром ведь Витгенштейн не привел ни одного примера простого Предмета) компенсировалось осознанием полезности построения множества моделей возможных Миров, или виртуальных реальностей, где «неполнота компенсировалась стереоскопичностью» [Лотман 1978a].

Термин «Картина Мира» и отчасти синонимичный ему термин «модель Мира» широко употребляется в семиотике и структурной антропологии, но восходит, по-видимому, не к Витгенштейну, а к Л. Вайсгерберу, употребившему этот термин (Weltbild), независимо от Витгенштейна (см. [Weisgerber 1950]).

2.022 Очевидно, что, как бы воображаемый мир ни отличался от реального, они должны иметь нечто общее — некую Форму — с Реальным Миром.

2.023 Эта неизменная Форма как раз и построена из Предметов.

2.0231 Субстанция Мира может определять только Форму, но не материальные свойства. Потому что последние изображаются лишь при помощи Пропозиций либо строятся из конфигураций Предметов.

Если считать, что под «воображаемым миром» Витгенштейн понимает нечто фундаментальное, близкое понятию возможного мира, соотносимого с реальным [Кришке 1971, Хинтикка 1980], то ясно, что то общее, что есть у воображаемого и реального мира, надо искать в неизменных субстанциональных Предметах, которые обнаруживают свою Логическую Форму. Например, пусть в некоем возможном мире будет ложной Пропозиция «Сократ мудр». То есть истинной там будет пропозиция «Неверно, что Сократ мудр». Тогда общей у этих двух фрагментов миров будет Логическая Форма Предметов *Сократ* и *быть мудрым*, а именно то, что в принципе в логическую валентность понятия «Сократ» будет входить Возможность быть как мудрым, так и не мудрым, а в логическую валентность понятия «быть мудрым» будет входить возможность относиться или не относиться к Сократу.

Субстанция не может определять материальные (или внешние) свойства Предметов, так как последние не присущи им с необходи-

мостью, поэтому они выражаются в (неэлементарных) Пропозициях и, стало быть, не принадлежат субстанциональной структуре Мира. Например, тот Факт, что у Сократа была борода, является его материальным свойством и не входит в его Логическую Форму, так как наличие бороды никак не соотносится с внутренними качествами личности. Наличие бороды у Сократа — это, скорее, Факт, важная характеристика его внешнего облика, но она не является субстанционально присущей Сократу. Борода Сократа — из тех явлений, которым случается или не случается быть, она из мира изменчивых Фактов, а не неизменной Субстанции Мира.

2.0232 Говоря вскользь: Предметы бесцветны.

Это утверждение Витгенштейна, которое кажется столь парадоксальным, легко объяснимо. С физиологической (оптической) точки зрения все цвета, кроме «простых», — красного, синего и желтого — считаются комплексами. Но почему даже «красный Предмет» не является простым? Цвет в принципе есть сложное отношение между воспринимающим объектом анализатором и материальным свойством объекта. Поэтому, строго говоря, цвет не является объективной характеристикой объекта. Дальтоник всю жизнь может видеть красную розу зеленой. Физиологическая сложность явления цвета опосредует антропологические и этнографические различия в его восприятии. Как известно, большинство первобытных народов могут различать лишь несколько цветов, например, красный, черный и белый [*Berlin-Cay 1969*]. Но Витгенштейн, вероятно, имеет в виду не только это, хотя, по всей вероятности, базируется все же именно на этом. Простой Предмет мыслится вне сложного цветового восприятия. Цвет не входит в логическую структуру Предмета, будучи сложным предикатом. «Эта роза — красная» — не является элементарным Положением Вещей: по Витгенштейну, это, скорее, Ситуация, потому что цвет розы зависит от того, какую систему цветов мы выберем, независимость же от других Положений Вещей является важнейшей характеристикой Положения Вещей. Красный означает не только не-белый и не-черный, но и не-зеленый, не-желтый и не-комбинацию-этих-цветов. В этом смысле даже простое красное пятно не является Предметом — его можно разложить на негативные составляющие — не-белый, не-зеленый и т. д. Таким образом, обладание или необладание цветом не входит в логическую структуру Предмета. Мир «Трактата», так сказать, черно-белый. Но сказать, что эта вещь более темная, чем эта, тоже не значит сделать утверждение о простых Предметах. А если у нас есть только черные и белые Предметы, то это уже не цвета, а какие-то другие свойства Предметов.

В этом смысле если в мире есть только черные и белые (интенсивно темные/интенсивно светлые) объекты, как, например, в мире шахмат, то эта характеристика уже не является характеристикой цвета, а является характеристикой принадлежности к одной из противоположных систем. Белая пешка отличается от черной не по цвету, а по тому, что она принадлежит одному из противников, который играет «белыми». Черное и белое становится выражением наличия или отсутствия некоего абстрактного качества, а не цветом. Допустим, мы можем считать все истинные высказывания белыми, а все ложные — черными, или наоборот. Но даже в этом случае понятие «черная пешка» будет комплексом, а черное и белое останутся предикатами, т. е. будут характеризовать не Предметы, а Положения Вещей и Ситуации (подробно см. также [Руднев 1995а]).

2.0233 Два Предмета одинаковой Логической Формы отличаются друг от друга — помимо их внешних свойств — тем, что это различные Предметы.

Допустим, имеется два логически простых Предмета, например два совершенно одинаковых металлических шарика. Имея одинаковую Логическую Форму, т. е. одинаковую возможность вхождения в Положения Вещей, они, тем не менее, должны чем-то отличаться друг от друга. Ведь если бы они ничем не отличались друг от друга, то это был бы один шарик, а не два. Они отличаются друг от друга тем, что это два различных одинаковых по Форме шарика. Так, например, отличаются друг от друга два совершенно одинаковых числа, скажем 234 и 234. Тот факт, что два одинаковых предмета можно спутать, говорит о том, что это два различных предмета, так как один предмет нельзя спутать с самим собой.

2.02331 Либо Вещь обладает свойством, которым не обладает никакой другой Предмет, тогда можно просто выделить ее из других посредством дескрипции, а затем на нее указать; либо множество Предметов обладают свойствами, общими для них всех, — и тогда вообще невозможно указать ни на один из них.

Ибо если Вещь никем не выделена, я не могу ее выделить — ведь тогда она уже была бы выделена.

Этот раздел, судя по его индексу, должен был бы конкретизировать предыдущий, однако кажется, что он противоречит предыдущему. Там говорилось, что два Предмета одинаковой Логической Формы отличаются друг от друга, а здесь, — что если множество предметов обладают общими свойствами, то невозможно выделить ни один из них. Попробуем

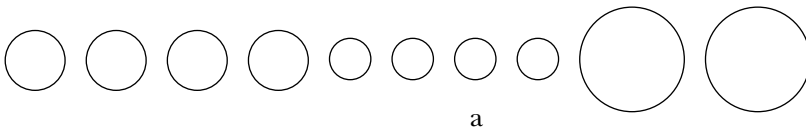
понять, в чем здесь дело. В этом разделе впервые возникает пока еще скрытая полемика с логической концепцией Рассела, в частности, с его теорией дескрипций, а также теорией оstenсивного определения. Определенными дескрипциями Рассел называет выражения, значениями которых являются имена, например, «автор Веверлея» — дескрипция имени Вальтер Скотт; «ученик Платона» и «учитель Александра Македонского» — дескрипции Аристотеля. Но в случае с более простыми объектами для того, чтобы выделить один объект среди других, определенной дескрипции может быть недостаточно.

Допустим, у нас есть четыре шарика a , b , C , D , причем шарик a и b имеют свойство быть «маленькими» (или отношение «меньше, чем»), а шарик C и D — свойство быть «большими» (или отношение «больше, чем»). Пусть шарик расположены следующим образом:



Тогда каждый шарик будет находиться в определенном пространственном отношении к другим. Так, шарик C будет находиться слева от шариков a , b , и D ; шарик a — справа от шарика C и слева от шариков b и D и т. д.

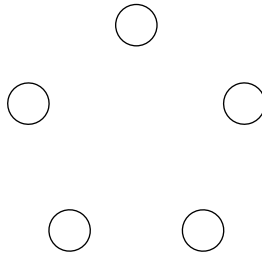
Допустим, нам надо выделить из этих шариков один, например, b . Мы сможем описать его при помощи определенной дескрипции: шарик b — это «маленький шарик справа от другого маленького шарика и слева от большого шарика». В принципе, такого описания будет достаточно, чтобы выделить шарик b из других шариков. Но если шариков много, например



и нам надо выделить шарик a — третий маленький справа от больших и второй слева от больших, то это описание столь громоздко, что легче просто указать на шарик a пальцем и сказать: «Я имею в виду именно этот шарик». Это и будет оstenсивное определение.

Но если все Предметы обладают общими свойствами, то указать на них невозможно. Допустим, имеется пять одинаковых шариков a , b , c ,

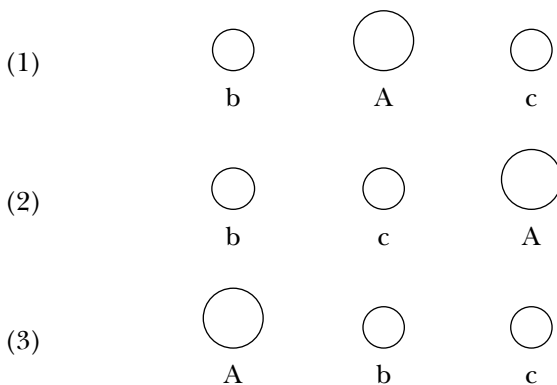
d, e , расположенных по кругу, который к тому же достаточно быстро вращается:



так, что можно сказать, что шарики занимают одно и то же положение. Тогда выбрать из них один и описать его невозможно.

2.024 Субстанция есть нечто, существующее независимо от того, чему случается быть.

«То, чему случается быть» — Факты (1). Поскольку Субстанция существует независимо от Фактов, то ясно, что она состоит из чего-то, противоположного Фактам, а именно из простых Предметов. Таким образом, Субстанция Мира — это совокупность простых объектов и предикатов. Их главное свойство состоит в том, что они определяют не только существующее, но и возможное положение дел. Допустим, например, что имеется три шарика — один большой A и два маленьких b и c . Они могут быть расположены в одномерном пространстве тройко:



Будем говорить, что (1) — (3) есть множество возможных Миров M , которое имеет три элемента — атомарных Предмета A, b и c ; простое

свойство Q быть (или не быть) большим и отношение P нахождения слева или справа от других шариков.

(1), (2) и (3) – возможные Положения Вещей. В соответствии с (1), b является маленьким и находится слева от A и c . В соответствии с (2), b является маленьким и находится слева от c и A . В соответствии с (3), A является большим и находится слева от b и c . A , b и c – неизменные Предметы, обладающие определенным свойством Q и отношением P к другим Предметам. Положения Вещей – конфигурация этих предметов, потенциальные факты: поэтому они изменчивы. По какому пути пойдут события в Мире $M((A, b, c)(Q, P))$, является делом случая, так как атомарные конфигурации независимы друг от друга.

2.025 Она является Формой и содержанием.

То, что Субстанция является Формой, понятно. Ведь Логическая Форма есть Возможность образовывать определенные структуры. Так, Формой субстанции Мира $M((A, b, c)(Q, P))$, т. е. то, что в нем есть три элемента, обладающие свойством Q и отношением P между ними. Что же будет содержанием данной Субстанции? То, что это свойство есть величина, а это отношение есть отношение нахождения справа или слева.

2.0251 Пространство, время и цвет (обладание цветом) являются Формами Предметов.

Кажется, что этот раздел противоречит тезису, заявленному в 2.0232, где говорится, что Предмет является бесцветным. Если бы не добавление о цвете, то комментируемый раздел был бы вариацией на тему кантовского положения о том, что пространство и время являются априорными категориями чувственности. Все же не вполне понятно то, что и время мыслится Витгенштейном как Форма Предмета, ведь ниже, в 2.0271, говорится о Предмете как о чем-то неизменном. Итак, предмет бесцветен (2.0232), и цвет является одной из его форм (2.0251). Предмет неизменен (2.0271), и время является одной из его форм. Может ли время быть Формой Предмета, если предмет, существуя во времени, тем не менее, не изменяется в нем? Ведь Форма – это Возможность чего-то, что связано с Фактом, Возможность актуализации. Вероятнее всего, что само понятие времени, которое не является одним из ключевых в «Трактате», Витгенштейн понимает не в духе современных ему физических теорий (например, не в духе своего учителя Больцмана, основателя статической термодинамики), а, скорее, именно так, как понимали время во времена Канта, как нечто не-физическое, внутреннее, присущее предмету изнутри и имманентно, как понимали его Гуссерль и Бергсон, как чисто имманентное душевное дление без энтропийных изменений.

Если понимать время так, то противоречия не возникает. Что касается противоречия, связанного с цветом, то кажется, что это можно понимать так, что умозрительный Предмет является бесцветным, цвет же является одной из возможных Форм его феноменологического проявления как физического объекта. В этом случае противоречие как будто тоже снимается.

2.026 Только если существуют Предметы, Миру может быть придана неизменная Форма.

Требование простых Предметов не есть чисто онтологическое требование залога неизменности и стабильности Мира: чтобы Мир был стабилен, необходимы некие логические атомы. Скорее, в этом разделе содержится некий креативный, космогонический аспект. Если вы хотите построить Мир так, чтобы в нем нечто оставалось неизменным, то задайте в качестве его основания простые Предметы.

2.027 Неизменное, Сущее и Предмет — одно и то же.

Здесь в первую очередь обращает на себя внимание слово Сущее (*das Bestehende*), которое отождествляется с Предметом. Сущее — это то, что существует в качестве Субстанции (а не акциденции), т. е. то, что постоянно и неизменно, а не то, чему случается быть, а случается и не быть, т. е. Сущее противопоставлено Факту.

2.0271 Предмет — постоянство, Сущее; конфигурация — изменение, неустойчивость.

Сущее, таким образом, это устойчивое субстанциональное состояние Предмета. Неустойчивое существование — это акцидентальное существование Факта.

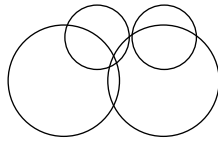
2.0272 Положение Вещей строится из конфигурации Предметов.

2.03 В Положении Вещей Предметы соединены подобно звеньям в цепи.

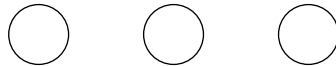
2.031 В Положении Вещей Предметы находятся в определенном отношении друг к другу.

Смысл 2.0272 ясен из всего предыдущего. Положение Вещей, скажем, *a R b*, строится из конфигурации, состоящей из атомарных Предметов *a* и *b*, а также отношения *R* между ними. Но вот 2.03 кажется несколько противоречащим 2.031. Звенья цепи соединены непосредственно. И создается впечатление, что элементы Положения Вещей представляют собой нечто логически однообразное. В каком отношении находятся звенья цепи друг к другу? Подходит ли эта метафора (о звеньях цепи)

к такому, например, Положению Вещей, как $a R b$, где a — маленькое звено, b — большое звено, а R — связь между ними?



А если Предметы изолированы? Допустим, Положение Вещей представляет собой конфигурацию шариков a , b и c , которые расположены на равном расстоянии друг от друга:



Нельзя сказать, что шарики не связаны между собой в определенном отношении, особенно если расстояние между ними является фиксированным. Но сказать, что шарики связаны, «как звенья в цепи», будет в данном случае неуместным.

2.06 Это существование и несуществование Положений Вещей и является Реальностью. Существование Положений Вещей мы также называем позитивным Фактом, а несуществование негативным.

Понятие Реальности (*Wirklichkeit*) не является синонимом понятия Мир (*Welt*) в концептуальной системе «Трактата». Главное отличие Реальности от Мира состоит в том, что Реальность определяет как существующие, так и несуществующие Положения Вещей, в то время как Мир — это совокупность только существующих Положений Вещей (подробно см. [*Finch 1977*]). Понятие Реальность у Витгенштейна сложнее и двусмысленнее понятия Мир. Реальность — это нечто более субъективно окрашенное, чем Мир, поэтому она допускает вымысел (как разновидность сферы возможного) в виде одной из своих ипостасей. Мир такого коррелята не допускает. Миру нельзя противопоставить ни вымысел, ни даже отсутствия мира. Мир либо есть, либо его нет. Реальность одновременно есть и ее нет. Она определяет все потенциальное, которое может стать, а может и не стать существующим. Реальность тесно связана с такими понятиями, как вымысел, существование и отрицание, к анализу которых мы еще вернемся. Забегая вперед, можно сказать, что, согласно Генри Финчу, различие между Реальностью и Миром в «Трактате» соответствует различию в нем же между Смыслом и Значением Пропозиции [*Finch 1977*]. Можно знать Смысл Пропозиции, не зная ее Истинностного Зна-

чения, то есть не зная того, является ли она истинной или ложной. Зная Смысл Пропозиции и при этом не зная ее Значения, мы знаем ту Реальность, которая соответствует этому смыслу, но не знаем, существуют ли те Факты, которые изображают этот фрагмент Реальности, т. е. являются ли они частью Мира.

2.032 Способ, при помощи которого Предметы соединяются в Положение Вещей, является Структурой этого Положения Вещей.

2.033 Форма — Возможность Структуры.

В случае aRb Структура Положения Вещей заключается в том, что элементы «связаны, как звенья в цепи». В случае (a, b, c) (когда шарики расположены на равном расстоянии друг от друга) Структура Положения Вещей сводится к фиксированному расстоянию между шариками.

2.034 Структура Факта определяется Структурой Положений Вещей.

Поскольку Факты состоят из одного или нескольких Положений Вещей, то ясно, что структура первого опосредована структурой последних. Допустим, имеется два Положения Вещей. Одно из них заключается в том, что три шарика находятся на фиксированном равном расстоянии друг от друга (a, b, c) , а второе в том, что имеется цепь из трех связанных между собой звеньев $(a' b' c')$. Тогда в целом (a, b, c) $(a' b' c')$ и будет представлять собой неатомарный сложный Факт. Структура этого Факта будет опосредована Структурой входящих в него Положений Вещей в том смысле, что в структуре Факта не может не присутствовать то, что присутствует в Структуре составляющих его Положений Вещей.

2.04 Совокупность всех существующих Положений Вещей есть Мир.

В определенном смысле это прямая парафраза раздела 1.1, так как совокупность всех существующих Положений Вещей — это то же самое, что совокупность Фактов, ибо Факт, по Э. Стениусу, это и есть существующие Положения Вещей. Однако, по законам мотивного развертывания, поскольку между 1.1 и 2.04 дано так много информации о том, что такое Положение Вещей, то последнее высказывание о Мире звучит уже на фоне этой информации отнюдь не как тавтология, в нем присутствует нечто новое. Так, в сонатной форме тема по-разному звучит в экспозиции и в разработке.

2.05 Совокупность всех Положений Вещей определяет также и то, какие из них не существуют.

Положения Вещей относятся к сфере возможного, а не действительного. Мир как совокупность Сущего, как действительный Мир, принимая только существующие атомарные Положения Вещей, тем самым от-

граничивает их от несуществующих. Так, например, если в Мире Положение Вещей p существует, то это тем самым означает, что его отрицание $\neg p$ не существует.

2.061 Положения Вещей независимы друг от друга.

2.062 Из существования или несуществования одних Положений Вещей нельзя судить о существовании или несуществовании других.

Независимость Положений Вещей друг от друга и их невыводимость друг из друга следуют из логической простоты составляющих их элементов – Предметов. Допустим, имеется три шарика a , b , c и отношение R между ними. Допустим, что в мире M возможны три сочетания шариков, то есть три Положения Вещей: 1) $a R b$; 2) $a R c$; 3) $b R c$. Все эти три Положения Вещей независимы. Ни одно из них не следует из другого. Соединяясь одно с другим в структуре Факта, эти Положения Вещей будут продолжать сохранять независимость друг от друга. Так, наши три Положения Вещей, сочетаясь, могут дать семь Фактов (плюс восьмой «негативный Факт»):

I.	$a R b$	$a R c$	$b R c$
II.	$a R b$	$a R c$	
III.	$a R b$		$b R c$
IV.		$a R c$	$b R c$
V.	$a R b$		
VI.		$a R c$	
VII.			$b R c$
VIII.			

Первый факт представляет собой конъюнкцию всех трех Положений Вещей, второй факт – конъюнкцию первого и второго; третий – первого и третьего; четвертый – второго и третьего. Пятый, шестой и седьмой реализуют какое-либо одно из Положений Вещей. Восьмой не реализует никакого.

Конъюнкция, констелляция является единственно возможной связью между независимыми Положениями Вещей, формирующими факты.

2.063 Совокупная Реальность есть Мир.

Этот раздел вызывает некоторое недоумение как противоречащий 2.06, в соответствии с которым Реальность по объему скорее шире, чем Мир, потому что в Реальность входят как существующие, так и несуществующие Положения Вещей. Здесь же получается, что понятие Мир по объему шире, чем Реальность. Получается также, что в соответствии с последним разделом Мир включает в себя и несуществующие Факты и

Положения Вещей, входящие в Совокупную Реальность. Как объяснить это противоречие, мы не знаем.

2.1 Мы создаем себе Картины Фактов.

Здесь, по сути, начинается новая тема, изложение «картинной теории языка», т. е. речь уже пойдет не о сфере Реальности, онтологии, а о сфере знаков. Здесь вводится один из важнейших для «Трактата» терминов – *das Bild* – Картина. В книге [Витгенштейн 1958] этот термин безусловно неудачно переведен как «образ», хотя «образная теория» звучит складнее, чем «картинная теория». Но слово «образ» совершенно неверно передает то, о чем говорит здесь Витгенштейн. Он говорит именно о картине, даже, может быть, о Картинке. Существует предание о том, как Витгенштейну пришло в голову, что язык – это Картина Реальности. Он сидел в окопе и рассматривал журнал. Вдруг он увидел комикс, где последовательно изображалась автомобильная катастрофа. Это и послужило толчком для создания знаменитой «картинной теории». Авторы книги «Витгенштейновская Вена» [Janik-Toulmen 1973] считают, что понятие *Bild* настолько близко стоит к понятию модели Генриха Греца, чья книга «Принципы механики» сыграла большую роль в формировании мировоззрения Витгенштейна и на которую он ссылается в «Трактате», что, по их мнению, *das Bild* и следует переводить как «модель»: *Мы создаем себе модели Фактов*. Но, тем не менее, Витгенштейн сам разделяет эти термины. В 2.12 он говорит: *Картина – это модель реальности*.

2.11 Картины изображают Ситуации в Логическом пространстве, то есть в Пространстве существования или несуществования Положений Вещей.

2.12 Картина – это модель Реальности.

Следуя семиотической классификации Пирса–Морриса, внутренняя Форма слова Картина может подтолкнуть к неверному отождествлению ее значения с идеей иконичности. Но это не так. Для Витгенштейна Картина является знаком не Имени, а Факта и Ситуации. То есть, одним словом, для Витгенштейна Картина – это почти всегда Пропозиция. Являясь изображением не только существующего Факта, но и возможной Ситуации, Картина изображает не только реально существующее, но и воображаемое. Скульптура Венеры, рисунок собаки в учебнике зоологии, иллюстрация сказки – все это такие же картины, как и бюст Шелли, и фотография, изображающая реальное историческое событие, и карта Англии [Stenius 1960: 88], но первые изображают вымышленное, а вторые – реально существовавшее.

2.13 В Картина Предметам соответствуют элементы Картины.**2.131 Элементы Картины замещают в Картина Предметы.**

2.14 Суть Картины в том, что ее элементы соединены друг с другом определенным образом.

Из этих разделов следует, что Картина в витгенштейновском смысле обладает свойством изоморфизма по отношению к тому, что она изображает. Ее элементы соответствуют Предметам, и они соединены между собой определенным образом, подобно тому как Предметы соединены в Положении Вещей и Положения Вещей в Ситуации. Здесь впервые в полную силу звучит лейтмотив изоморфизма между устройством Мира и устройством языка, определяющий всю композицию «Трактата» в целом.

2.141 Картина является Фактом.

Картина не только изображает Факты, но и сама является Фактом. Это означает, во-первых, что Картина – не Предмет. Во-вторых, это может означать, что Картина может стать объектом изображения (денотатом) другой Картины. Так, картина Рафаэля, сфотографированная на пленку, является Фактом, Картиной которого является изображение на пленке. Но и фотография является Фактом, так как она существует в мире Фактов наравне с другими Фактами, т. е. ей случается или не случается быть, она состоит из элементов, которые являются аналогами Положений Вещей и распадаются на конфигурации аналогов Предметов внутри Картины. Здесь может показаться, что такое понимание Картины ведет к бесконечному регрессу. Картина Картины, Картина Картины Картины и т. д. В начале XX века Рассел предложил теорию типов для решения подобных парадоксов, которую Витгенштейн критикует в «Трактате», противопоставляя ей идею оппозиции того, что может быть сказано (Sagen), тому, что может быть показано (Zeigen). (Подробнее об этом см. комментарии к 3.331–3.333.) Так или иначе, идея Картины, изображающей Картину, была чрезвычайно актуальна для XX века (см. [Dunne 1930, 1992, Руднев 1992]), причем не только в философии, но и в культуре и искусстве – идея текста в тексте (см. [Текст в тексте 1982, Ямпольский 1993]). Витгенштейн эту проблему обходит во многом потому, что его «Картина Мира» стремится удержать постпозитивистскую метафору метафизики XIX века (о консерватизме Витгенштейна см. [Drury 1981, Руднев 1994a]), в соответствии с которой Мир, как бы он ни был сложен, – один.

2.15 Из того, что элементы Картины соединены друг с другом определенным образом, видно, что, стало быть, и Вещи соединены друг с другом.

Эта связь элементов Картины называется ее Структурой, а Возможность этой Структуры — Formой отображения.

Так же как при описании Положения Вещей, Витгенштейн при описании Картины выделяет в Картинае Структуру и Логическую Formу (Formу отображения) как Возможность этой Структуры. Именно благодаря тому, что внутри Картины ее элементы взаимосвязаны так, как взаимосвязаны Вещи в Положении Вещей, Картина и имеет Возможность отображать Положение Вещей.

2.151 Форма отображения есть Возможность того, что Вещи соединяются друг с другом подобно элементам Картины.

2.1511 Вот так Картина соотносится с Реальностью: по касательной к ней.

2.1512 Она мерило, приложенное к Реальности.

2.15121 Только предельные точки его шкалы соприкасаются с основаниями измеряемого Предмета.

Эти положения можно прояснить, если представить карту местности в виде Картины и провести от нее проекцию на местность (рис. 1).

Точки *a*, *b*, *c* и *d* на карте будут расположены изоморфно точкам *A*, *B*, *C* и *D* на местности. Витгенштейн, правда, предлагает несколько другую метафору Картины — измерительный прибор, линейку (рис. 2).

Чтобы измерить реальность линейкой, нужно, чтобы линейка и Реальность соприкасались лишь краями. В дальнейшем Витгенштейн конкретизирует эти положения, говоря о методе проекции в 3.11 — 3.14.

2.1513 В соответствии с таким пониманием предполагается, что Картинае также принадлежит и отношение отображения, оно и делает ее Картиной.

2.1514 Суть отношения отображения состоит в идентификации элементов Картины и соответствующих Сущностей.

2.1515 Это идентифицирующее устройство есть нечто вроде органов чувств Картины, которыми Картина соприкасается с Реальностью.

Какие Сущности изображает Картина? Если Картина — это наиболее фундаментальная для Витгенштейна Элементарная Пропозиция, которая является Картиной атомарного Положения Вещей, то Сущностями, с которыми соотносятся элементы Картины, являются простые Предметы. Если Картина — это сложная Пропозиция, то эти сущности — комплексные предметы, составляющие Фактов и Ситуаций.

Представление о том, что отношение отображения сродни органам чувств, т. е. язык отображает реальность, подобно тому, как это делают

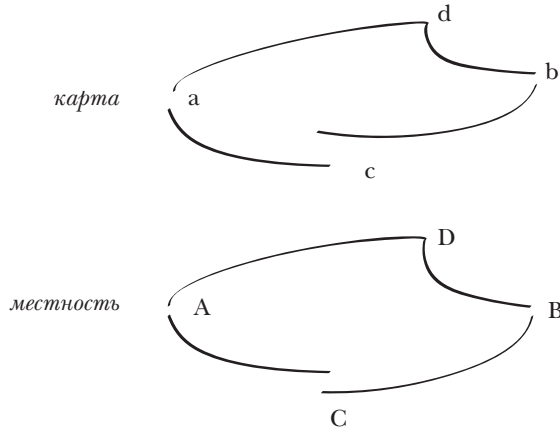


Рисунок 1

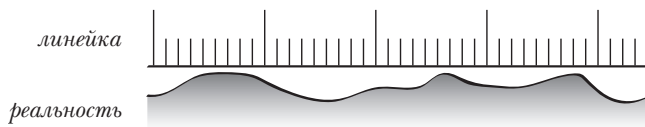


Рисунок 2

органы чувств, уже таит в себе в свернутом виде понимание того, что это отображение может быть и неадекватным. Ср. 4.002. *Речь маскирует Мысль.* И далее.

2.16 Чтобы быть Картиной, Факт должен иметь нечто общее с изображаемым.

2.161 В Картина и в изображенном ею должно быть нечто тождественное, так чтобы одно вообще могло бы быть Картиной другого.

2.17 То нечто, что Картина должна иметь общим с Реальностью, чтобы быть в состоянии изображать ее тем или иным способом — правильно или неправильно, — есть Форма отображения.

При описании отношений Картины и Реальности Витгенштейн употребляет три глагола, соответственно:

darstellen
изображать

vorstellen
отражать

abbilden
отображать

По Стениусу, первые два слова являются синонимами и относятся к вообразимым денотатам — изображать и отражать Картина может прежде

всего Положение Вещей и Ситуацию (ср. также [Black 1966: 74–75]). Понятие *Abbildung* относится к действительному Миру, отображать Картина может лишь Реальный Факт. В своем переводе мы придерживались указаний Э. Стениуса.

По мысли Витгенштейна, сколь абстрактной ни была бы Картина, она должна иметь нечто общее с тем, что она изображает. Так, если предложение *Я изучаю «Логико-философский трактат»* является Картиной того Факта, что я изучаю «Логико-философский трактат», то и у Факта и у предложения должно быть что-то общее и даже тождественное. Это Форма отображения – возможность Логической Структуры, связывающей Элементы Картины и элементы Факта. Какова Форма отображения того Факта, что я изучаю «Трактат»? То, что есть некий объект *a* (Я) и некий объект *b* («Трактат») и отношение *R* «изучать», которое носит асимметричный и нетранзитивный характер. И Картина, и Факт имеют общей эту Структуру: *a R b*.

2.171 Картина может изображать любую Реальность, Формой которой она располагает.

Пространственная Картина — это все пространственное, цветовая — все цветное.

Это положение не следует, по-видимому, понимать в абсолютном смысле. Скажем, звуковые волны музыкальной мелодии (звуковая Картина) могут быть переведены в графические линии партитуры (пространственная Картина). Об этом сам Витгенштейн неоднократно пишет ниже.

2.172 Однако свою Форму отображения Картина отображать не может. Она проявляется в ней.

Это один из самых ключевых, трудных для понимания и спорных разделов «Трактата». С него начинается мистический лейтмотив этого произведения, мотив молчания, того, что не может быть сказано. Ранее уже говорилось, что Картина может быть Картиной Картины и так до бесконечности. Тот Факт, что, по Витгенштейну, Картина не может отображать свою Форму отображения, т. е. эксплицитно заявить о самой себе, что она устроена таким-то и таким-то образом, а это может лишь проявиться в структуре Картины, снимает необходимость решения парадокса Картины в Картине. Так, Картина не может сказать про себя: «Я состою из двух объектов и асимметричного отношения между ними». Это не будет выражением идеи Формы отображения той Картины, это будет другая Картина, говорящая о первой, но равноправная первой и имеющая свою собственную, невыразимую в словах Форму отображения. Отсюда критика и неприятие Витгенштейном теории ти-

пов Рассела, который решал парадоксы теории множеств типа парадокса лжеца «Я сейчас лгу» введением нескольких иерархий языков (подробнее см. ниже комментариев к 3.331–3.333). По Витгенштейну, сама Форма отображения высказывания «Я сейчас лгу» однозначно указывает на его бессмысленность, и поэтому нет необходимости вводить иерархию высказываний. Соотношение субъекта, выраженного личным местоимением первого лица и глаголом в настоящем времени, указывающим на произведение действия, само указывает на бессмысленность сочетания «Я сейчас лгу». (Ср. анализ сочетания «Я сплю» у Н. Малкольма [Малкольм 1993] и анализ иллокутивного самоубийства у З. Вендлера [Вендлер 1985]).

2.173 Картина изображает свой Объект извне (ее точка зрения является ее Формой изображения), поэтому Картина изображает свой Объект верно или неверно.

Как уже говорилось, Форма отображения имеется лишь у Картин, изображающих действительные Факты. В данном же случае говорится просто об объекте изображения. Поэтому здесь Витгенштейн вводит новое понятие — Форма изображения (Form der Darstellung). Каждая Картина должна иметь Форму изображения, так как каждая Картина что-нибудь да изображает, будь то действительный Факт или возможная Ситуация.

2.174 Но Картина не может выйти за пределы своей Формы изображения.

Другими словами, Картина не может изобразить того, чего не видно с ее Standpunkt'a, что не входит в ее Форму изображения. Если мы сфотографируем некую сценку, где, предположим, сидят и разговаривают люди, то мы не сможем воспроизвести по фотографии их разговор. Если же мы запишем их разговор на пленку, то мы не сможем восстановить жесты и взгляды разговаривающих. Камера и магнитофон не могут выйти за пределы своей Формы изображения.

2.18 То, что любая Картина независимо от того, какой она Формы, должна иметь общим с Реальностью, чтобы она вообще была в состоянии ее изображать — правдиво или лживо, — это Логическая Форма, то есть Форма Реальности.

Картина может быть пространственной, звуковой, цветовой, но она всегда имеет некую Логическую Форму. То есть Картина может иметь любую Структуру, но она обязана иметь *какую-нибудь* Структуру. И Картина может не изображать фрагментов действительного Мира, но какой-ни-

будь мир, какую-нибудь Реальность она обязательно должна изображать. Так, если мы засветили пленку, то мы получим Картину не Реальности (которая получилась бы, если бы мы не засвечивали пленку), но Картину засвеченной пленки.

2.181 Картина, Форма отображения которой является Логической Formой, называется Логической Картиной.

Здесь, кажется, кроется противоречие с предыдущим разделом, из которого следует, что Логическая Форма с необходимостью присуща любой Картина. Возможно, это следует понимать не столь строго математически. Тот факт, что если Форма отображения является Логической Formой, то Картина является Логической Картиной, не означает, что они могут не совпадать. Ведь уже в следующем разделе говорится, что любая Картина в то же время является и Логической Картиной. Тут важно, что речь идет о Возможности выполнять функцию Логической Картины — отображать Мир (2.19). Любая Логическая Картина может отображать Мир. Но на самом деле любая Картина является в то же время Логической Картиной. Стало быть, любая Картина может отображать Мир. Надо только, чтобы она, так сказать, предприняла усилие по направлению к этому.

Допустим, у нас есть портрет какого-то человека, написанный неизвестным художником. Мы не знаем, кого именно этот портрет изображает и изображает ли он вообще какого-то конкретного человека. Эта Картина имеет Formу отображения. Но обладает ли она Логической Formой? Мы можем приписать ей Логическую Formу в том случае, например, если будет доказано, что эта картина является портретом некоего определенного человека, и это будет доказано экспертизой. До тех пор эта картина будет выражать лишь возможное Положение Вещей, а не действительное, она будет обладать Логической Formой лишь *ex potentia*.

2.19 Логическая Картина может отображать Мир.

Имеется в виду прежде всего, что Логическая Картина — это Пропозиция, которая может отражать Мир, будучи истинной или ложной (Возможность истинности или ложности составляет Логическую Formу Пропозиции).

2.2 Картина имеет с отображаемым общую Логическую Formу отображения.

Когда мы устанавливаем, чьим портретом является картина, мы делаем это путем установления тождества Логической Formы отображения. Се-

мантически суть этой процедуры сводится к тому, что мы устанавливаем, что портрет похож на оригинал. Синтаксическая сторона дела заключается в том, что мы интуитивно устанавливаем тождество или очень большое сходство тех или иных пропорций лица прототипа (возможно, изображенного на другой картине или фотографии) с лицом, изображенным на картине.

2.201 Картина отображает Реальность посредством представления Возможности существования и несуществования Положений Вещей.

2.202 Картина изображает некие возможные Ситуации в Логическом пространстве.

2.203 Картина содержит Возможность той Ситуации, которую она изображает.

Картина может изображать «простой возможный Факт» — Положение Вещей — и «сложный возможный Факт» — Ситуацию. Сам этот акт изображения показывает, что это Положение Вещей или эта Ситуация может стать или не стать действительным Фактом (тем, чему случается быть). Например, если на коробке нарисован чайник, то это может означать, что там лежит чайник. Но если чайника в коробке не окажется, то это не значит, что Картина была неверной. Картина не утверждает, что в данный момент чайник с необходимостью находится в коробке, но она утверждает, что это коробка из-под чайника, так что в принципе вполне вероятно, что чайник может находиться в ней, что это было бы, так сказать, семиотически легитимно.

Но что значит, что Картина содержит Возможность Ситуации, которую она изображает? Конечно, Картина на коробке, изображающая чайник, говорит, что здесь, возможно, лежит чайник, и в этом случае она содержит Возможность Ситуации, в соответствии с которой в коробке лежит чайник. И возможно, что она также содержит Возможность того, что в коробке нет чайника. Но представим, что в коробку из-под чайника кто-то положил 13 китайских гравюр на шелку. Содержит ли Картина, изображенная на коробке, Возможность того, чтобы в коробке лежали 13 китайских гравюр? Картина на коробке, изображающая чайник, говорит, что это коробка из-под чайника, но в принципе возможно, чтобы здесь лежало все, что угодно, что может сюда поместиться по чисто пространственным параметрам. Таким образом, Картина, изображающая чайник на коробке из-под чайника, содержит также и невозможность того, что в коробке лежит противотанковый гранатомет, фонарный столб длиной в 10 метров и все, что превышает размеры коробки.

2.21 Картина соответствует или не соответствует Реальности, она правильна или неправильна, истинна или ложна.

2.22 Картина изображает то, что на ней изображено, независимо от того, истинна она или ложна, посредством Формы отображения.

Картина, изображающая чайник на коробке из-под чайника, в которой лежат 13 китайских гравюр на шелку, является ложной Картиной в том случае, если кто-то прочтет изображенное на ней как «Внутри этой коробки в данный момент находится чайник». Но то, что изображено на Картине – ее Смысл – чайник, – не зависит от соотношения Картины с Реальностью (от ее Значения, референции). Допустим, на дороге неправильно поставлен знак, запрещающий проезд. Тот Факт, что этот знак помещен сюда неправильно или незаконно, не отменяет того, что Смысл Знака в том, что проезд запрещен, хотя на самом деле он здесь никем запрещен не был.

2.221 То, что изображает Картина, является ее Смыслом.

Разграничение между Смыслом (Sinn) и Значением (Bedeutung) принадлежит Г. Фреге [Фреге 1977], одному из непосредственных предшественников и учителей Витгенштейна. Фреге понимал Смысл как способ реализации Значения в знаке. В том, что касается предложения, Значением, по Фреге, является Возможность предложения быть истинным или ложным, а Смыслом – выраженное в предложении суждение. Это-то суждение и является тем, что изображает Картина и что независимо от того, является ли она истинной или ложной, т. е. от Истинностного Значения.

2.222 В соответствии или несоответствии ее Смысла Реальности заключается ее Истинность или Ложность.

Здесь следует помнить, что понятие Реальности у Витгенштейна означает некую биполярную среду, где одинаково присутствуют и существующие и возможные Положения Вещей и Ситуации [Finch 1977]. Попадая в эту среду, соотносясь с ней, Смысл Пропозиции как будто начинает отклоняться то к одному полюсу, то к другому, в зависимости от того, истинной или ложной является Пропозиция.

2.223 Чтобы узнать, истинна Картина или ложна, мы должны соотносить ее с Реальностью.

Последняя процедура далеко не всегда возможна. Она называется верификацией и является одним из важнейших принципов философской школы, унаследовавшей многие идеи «Трактата», – Венского кружка. Венцы считали, что для того, чтобы принцип верификационизма действовал, необходимо все предложения свести к так называемым про-

токольным предложениям, т.е. таким предложениям, которые описывают непосредственно видимую и ощущаемую Реальность (см., например, [Шлик 1993]). Такой редукционизм впоследствии оказался малопродуктивным, часто просто невозможным. Оказалось, что едва ли не большую часть предложений языка невозможно проверить на Истинность или Ложность, что говорило о неадекватности верификационистского принципа. Идея о том, чтобы изгнать из речевой деятельности предложения, Истинность или Ложность которых проверить невозможно, например, идеологические лозунги: «Коммунизм — это молодость мира», «Империализм — это гнивающий капитализм», оказалась бесперспективной. В 1920–1930-е годы, когда тоталитарная идеология стала захватывать мир, аналитическая философия стала призывать к толерантности по отношению к языку, т.е. не к борьбе с некорректными высказываниями, а к внимательному изучению их как единственной реальности языка. В 1940-х годах к этому пришел и Витгенштейн.

2.224 Из одной лишь Картины самой по себе не узнать, истинна она или ложна.

Логические, априорно истинные Пропозиции типа $A = A$, которые являются истинными без соотнесения их с реальностью, исходя только из их логико-семантической структуры (*L*-истинные, как называет их Р. Карнап [Карнап 1959]), Витгенштейн не считал Пропозициями и, соответственно, Картинами, так как, по его мнению, они являются Тавтологиями, не несут никакой информации о Море и не являются отображением Реальности (подробно об этом см. комментарии к 4.46–4.4661).

2.225 То, что было бы a priori Картиной, было бы ничем.

Как позже сказал Витгенштейн в Кембриджских лекциях 1932 года, нельзя сказать, что портрет похож на оригинал, располагая только портретом [Людвиг Витгенштейн 1994: 232].

3 Логической Картиной Фактов является Мысль.

Мысль (*Gedanke*) для Витгенштейна имеет объективизированный антипсихологический характер и принципиально соотнесена с Пропозицией. Строго говоря, мысль — это и есть Пропозиция (ср. тезис 4: Мысль — это Пропозиция, обладающая Смыслом). Обладая той же Логической Формой, что и Факт, она изоморфна Факту. Существует легенда, рассказанная несколько по-разному Н. Малкольмом и Г. фон Вригтом, о том, как Витгенштейн уже в Кембридже пересмотрел идею Логической Формы как потенциального изоморфизма между Картиной, Мыслью, Пропозицией и Фактом: «Витгенштейн и преподаватель экономики

в Кембридже П. Сраффа подолгу обсуждали между собой идеи “Трактата”. Однажды (кажется, они ехали в поезде), когда Витгенштейн настаивал, что пропозиция и то, что она описывает, должны иметь одинаковую «логическую форму», характеризоваться одинаковой “логической сложностью”, Сраффа сделал жест, знакомый неаполитанцам и означающий что-то вроде отвращения или презрения: он прикоснулся к месту под подбородком наружной стороной кончиков пальцев и спросил: “А какая логическая форма у этого?” Вопрос Сраффы породил у Витгенштейна чувство, что абсурдно настаивать на том, будто бы пропозиция и то, что она описывает, должны иметь ту же самую “форму”. Это разрушило власть над его же собственной теорией о том, что Пропозиция на самом деле должна быть “картиной реальности, которую она описывает”» [*Людвиг Витгенштейн 1994: 71*].

3.001 «Положение Вещей мыслимо» означает: мы можем создать его Картину.

Таким образом, мышление, по Витгенштейну, равносильно моделированию Логических Картин, так как Картина содержит в себе Возможность той Ситуации, которую она изображает (см. 2.203).

3.01 Совокупностью всех истинных Мыслей является Картина Мира.

В отличие от Вайсгербера, для которого *Weltbild* — это обыкновенная научная метафора, Витгенштейн действительно представляет себе Картину Мира как огромное полотно, элементами которого являются все истинные Пропозиции. Конечно, Возможность построения такой Картины является чисто умозрительной, так как, во-первых, невозможно установить даже для большей части высказанных мыслей, являются ли они истинными или ложными (ср. [*Даммит 1987*]), и, во-вторых, невозможно чисто технически одномоментно описать все истинные мысли. Если же представлять себе этот процесс реально во времени, тогда он приведет к бесконечному регрессу, так как, пока одни мысли будут регистрироваться как истинные, другие, уже зарегистрированные, могут стать ложными, и наоборот. Наконец, последний и самый сложный вопрос. Даже если обойти трудности, перечисленные выше, то остается неясным, включать ли в Картину Мира мысли, выраженные в художественной литературе вымышленными персонажами. Этот вопрос в свою очередь порождает проблему, считать ли Мир, в котором мы живем, действительным в строгом смысле слова или множеством возможных Миров. Во втором случае в его Картину войдут все воображаемые фиктивные пропозиции, но это будет Мир без

берегов. В первом случае это будет слишком узкий Мир (именно так назвал Мир «Трактата» Г. фон Вригт [*Вригт 1986*]). Витгенштейн выбирает первое.

3.02 Мысль содержит Возможность мыслимой ею ситуации. Мыслимое тем самым является Возможным.

Этот тезис является пояснением тезиса 3.001. Мысль определяет не только действительное, но и возможное, т. е. не только Факты, но и Ситуации. В этом смысле «носитель» мышления располагает не только возможностью высказать то, как обстоит дело, но и содержит в своем мыслительном аппарате весь арсенал возможных направлений событий или положений дел. Но данный тезис содержит еще одно заявление, которое можно повернуть, так сказать, объективно-идеалистически. «Мыслимое тем самым является Возможным». Но значит, если можно помыслить, что существуют гномы, ручные тигры (см. [*Moore 1959*]), или золотая гора [*Рассел 1996*], если можно помыслить, что существуют квадратные круги, стало быть, все это возможно в действительности. Вероятно, по Витгенштейну, мысль, что существуют квадратные круги, не является настоящей мыслью, так же как предложение «Глокая куздра бодланула бокра» не является пропозицией, так как они не удовлетворяют критерию осмысленности [4]. Но критерии осмысленности — это очень скользкая вещь. В 1950-е годы Хомский приводил в качестве совершенно бессмысленного высказывание «Бесцветные зеленые идеи яростно спят», а спустя 20 лет Х. Патнем показал, что это предложение можно прочесть как вполне осмысленное (см. [*Putnam 1975*]). Как найти выход из этого мейн-нонгианства, Витгенштейн, в отличие от Рассела с его теорией дескрипций, не говорит.

3.03 Мы не можем помыслить ничего нелогического, поскольку иначе мы должны были бы мыслить нелогически.

Кажется, что это суждение содержит в себе парадокс, так как оно противоречит обыденным речевым установкам, т. е. таким выражениям, как «это нелогично», «в твоих рассуждениях нет логики» и т. п. По мысли Витгенштейна, Логика пронизывает Мир, и границы Мира проходят по границам Логики. Логическая ошибка в рассуждении о чем-либо покоится не на отсутствии Логики, а на ее неверном использовании, она не вне Логики. Так же, как человек может заблудиться, сбиться с пути, но это не значит, что правильного, истинного пути объективно не существует. Его можно найти, точно так же, как можно найти логическую ошибку, которая совершается не вопреки Логике, а в результате неверного следования ей.

3.031 Когда-то было сказано, что Бог может создать все: но только не то, что противоречило бы законам Логике. Именно о таком «нелогическом» Мире мы не могли бы ничего сказать, как он выглядит.

Витгенштейн исходит из предпосылки, что Логика одна. В конце XX века, конечно, можно сказать, что это неверно. Существует целый ряд сводимых и несводимых друг к другу многозначных паранепротиворечивых модальных и интенциональных логик, которые значительно отличаются друг от друга по системе аксиом и выводу. См., например, [*Семантика модальных и интенциональных логик 1979, Зиновьев 1960*]. Говоря в терминах семантики возможных миров, положение Витгенштейна о том, что нельзя сказать о нелогическом Мире, как он выглядит, равносильно высказыванию о том, что не существует невозможных возможных Миров. Я. Хинтиikka в статье «В защиту невозможных возможных миров» показал, что это не так [*Хинтиikka 1980*].

Кроме того, с ортодоксальной христианской точки зрения Бог всегда выше Логике и создает ее вместе с Миром. С историко-антропологической точки зрения современному логическому мышлению предшествует мифологическое, в котором нет логики в витгенштейновском смысле слова [*Левин-Брюль 1994, Лосев 1980*]. Витгенштейн, впрочем, с последним тезисом в его фрезеровском варианте был категорически не согласен (см. его «Заметки о “Золотой ветви” Фрезера» [*Витгенштейн 1989b*]). Наконец, идеи поздних постпсихоаналитиков К. Г. Юнга, Д. Бома, С. Грофа говорят о Возможностях другого, внелогического постижения Реальности [*Гроф 1992*]. Конечно, нельзя сказать, что все эти идеи опровергают мысль Витгенштейна, потому что в определенном смысле Витгенштейн вообще не говорит о человеческом сознании не только в психологическом, но и в философском смысле. Его позиция в «Трактате» вообще антименталистская. В поздних работах Витгенштейн от такой позиции отказывается. В них сознание, хотя и на свой лад, его интересует, в каком-то смысле даже в первую очередь.

3.032 Представить в речи нечто «противоречащее Логике» так же маловероятно, как представить в геометрии посредством ее координат фигуру, противоречащую законам пространства, или дать координаты точки, которой не существует.

3.0321 Скорее, мы могли бы представить пространственное Положение Вещей, противоречащее законам физики, но никак не законам геометрии.

Таким образом, получается, что законы Логике (и геометрии) более фундаментальны, чем законы физики. Можно представить себе в качестве теоретической Возможности, что Предметы падают вверх, а не вниз,

или человека с львиной головой (ср. рассуждения Витгенштейна о том, что такое чудо, в «Лекции об этике» 1929 года [*Витгенштейн 1989a*]), но представить себе, что A равно не- A или что из A не следует не- A , нельзя. На возможные возражения, что такие нарушения логики имеют место в сновидениях или в иных измененных состояниях сознания, Витгенштейн, вероятно, ответил бы, что такие положения вещей не являются «мыслимыми» (*denkbar*), т. е. не могут быть адекватно переданы в виде последовательности Пропозиций так, чтобы при этом подобные нарушения законов Логики сохранились. Когда человек, рассказывая сон, говорит: «Это была одновременно моя мать и моя бабушка», он пользуется обычным языком Логики, и данное высказывание будет, к примеру, означать: «Я отождествлял этот объект то с матерью, то с бабушкой». Сказать, что он отождествлял этот объект с матерью и бабушкой одновременно, не имеет смысла, так как понятие времени не имеет к сновидению никакого отношения [*Малкольм 1993*].

3.04 Некой правильной Мыслью была бы та, чья Истинность обуславливалась бы ее Возможностью.

3.05 Только тогда мы могли бы знать а priori, что Мысль является истинной, когда ее Истинность могла бы быть познана из самой Мысли (при отсутствии объекта сравнения).

Здесь ключевым словом представляется слово «Возможность». Возможность Мысли обеспечивает ее Истинность. Возможность — слово, которое определяет понятие Логической Формы как Возможности обладания определенной Структурой. Если, исходя из одной лишь Логической Формы, можно было бы сказать, что Мысль является истинной, то такая Мысль была бы правильной а priori. Здесь речь может идти только о логических истинах, которые, как будет видно ниже, Витгенштейн ставит очень невысоко. Возможность (=Логическая Форма) предоставляет Мысли выбор быть как истинной, так и ложной, что проясняется при сопоставлении Мысли с Реальностью.

3.1 В Пропозиции Мысль проявляет себя как чувственно воспринимаемая.

3.11 Мы используем в Пропозиции чувственно воспринимаемые Знаки (звуковые или письменные) в качестве Проекции возможной Ситуации.

Проекционный метод представляет собой продумывание Смысла Пропозиции. С этих разделов начинается изложение своеобразной семиотики Витгенштейна. Предложение (Пропозиция) — это знаковое (т. е. имеющее план выражения — «чувственно воспринимаемое») оформление

Мысли. Здесь также впервые заходит речь о Проекции, хотя в действительности имплицитно об этом говорилось раньше в связи с идеей отображения как механизма соотнесения Картины с Фактом или Ситуацией. Знак — наиболее общепринятая Картина Мысли. Знаки, используемые в Пропозиции, — имена, выражения, — являются коррелятами Предметов и Положений Вещей.

Так, например, в Пропозиции «Земля круглая» знак «Земля» соединяется со знаком «быть круглым», что является Проекцией того Факта (или возможной Ситуации), что Земля является круглой. Другим знаковым «проектом» того, что Земля является круглой, может служить глобус как логическая Картина (модель) Земли.

3.12 Знак, при помощи которого мы проявляем Мысль, я называю Пропозициональным знаком. И Пропозиция это Пропозициональный Знак в его проективном отношении к Миру; предложение (Пропозициональный Знак) — это совокупность всех существующих и возможных употреблений данного высказывания (Пропозиция).

Здесь и далее, где это представляется возможным, глагол *ausdrücken* и производное от него существительное *Ausdrück* мы переводим как «проявлять» и «проявление», а не «выражать» и «выражение», как в предыдущих переводах. Этим достигается, во-первых, рассогласование с понятием «выражение» в значении «сочетание слов», «суждение» и, во-вторых, большая выразительность этого чрезвычайно важного для Витгенштейна термина: Мысль существует как будто в непроявленном, скрытом, потенциальном виде; Пропозициональный Знак проявляет, раскрывает, актуализирует Мысль, делает ее зримой, «чувственно-воспринимаемой» (последнее роднит систему витгенштейновских взглядов со средневековым трактатом Анандавардханы «Дхваньялока», где речь также идет о проявленном и непроявленном смысле [*Анандавардхана 1976*]).

Термины Пропозиция (*Satz*) и Пропозициональный Знак (*Satzsache*) соотносятся у Витгенштейна примерно так же, как в русской лингвистической традиции соотносятся термины «высказывание» и «предложение». Высказывание (Пропозиция) — это предложение (Пропозициональный Знак) в данном конкретном употреблении.

3.13 Пропозиции принадлежит то, что принадлежит Проекции; но не проецируемое.

Стало быть, Возможность проецируемого, но не оно само.

Стало быть, в Пропозиции не содержится ее Смысл, скорее, Возможность его проявления.

(«Содержанием Пропозиции» называется содержание осмысленной Пропозиции.)

В Пропозиции содержится Форма ее Смысла, но не его содержание.

Проецируемое — это область денотатов: Предметы, Положения Вещей, Ситуации и Факты. Они не принадлежат Пропозиции. Ей принадлежит то, что принадлежит проекции, т. е. область Знаков: Имена и Свойства или отношения, Элементарные Пропозиции и Пропозиции. Общей у проекции и проецируемого является Логическая Форма, в частности Форма Смысла, то есть то, каким способом проецируемое отображается в проекции. Пропозиция содержит Форму Смысла, а не сам Смысл, т. е. Возможность при помощи изоморфного отображения стать Картиной того или иного фрагмента Реальности; Пропозиция содержит потенциальность Смысла.

3.14 Суть Пропозиционального Знака заключается в том, что его элементы, слова, соединяются в нем определенным образом.

Пропозициональный Знак — это некий Факт.

Здесь налицо мотивный параллелизм с разделом 2.03, где говорится о том, что в Положении Вещей Предметы соединены подобно звеньям цепи.

Пропозиция, так же как и Картина (опять-таки мотивное варьирование 2.142), является Фактом, т. е. не потенциальным, возможным, а действительным, актуальным элементом Реальности.

Суть этой «фактуальности» Пропозиционального Знака состоит в том, что в нем имеет место соединение между собой определенных знаковых элементов, причем не произвольное конгломеративное, а структурное (синтаксическое) соединение. Это соединение, эта структура, и является Фактом, вне зависимости от того, выражает ли она действительное положение дел или только возможное.

Например, если мы скажем, что у всех марсиан квадратные глаза, и при этом мы никогда не видели ни одного марсианина, и, возможно, что они вообще не существуют, а если они существуют, то квадратность их глаз не подтверждается, все равно конструкция

$$\forall (M) (M(a) \alpha (a(k))),$$

где \forall — квантор всеобщности, M — множество марсиан, α — обладание глазом, k — быть квадратным, будет оставаться Фактом. Фактом является не содержание того, что у всех марсиан квадратные глаза. Фактом является то, что Пропозициональный Знак «У всех марсиан квадратные глаза» утверждает то же, что $\forall (M) M(a) \alpha (a(k))$.

3.141 Пропозиция ни в коей мере не является словесным конгломератом.

(Так музыкальная тема не является конгломератом звуков.)

Пропозиция является четко артикулируемой.

Здесь подчеркивается структурный характер связи между элементами Пропозиции. Как в предложении должен быть субъект и предикат, так в музыкальной теме должны быть тоника, доминанта и субдоминанта. Как музыкальная тема – это определенная иерархия звуков и мотивов, так в предложении имеет место иерархия языковых знаков – имен и словосочетаний. Суть структурности, артикулированности Пропозиции состоит в наличии иерархии, в подчинении одних элементов другим. Суть хаоса, конгломерата, невразумительности – в неупорядоченном равноправии всех элементов.

3.143 То, что Пропозициональный Знак является Фактом, завуалировано обычным проявлением его как письменного или печатного. Поскольку, например, в напечатанной Пропозиции Пропозициональный Знак не отличается существенно от слова.

(Возможно, поэтому Фреге называл Пропозицию составным Знаком.)

3.1431 Сущность Пропозиционального Знака существенно прояснится, если мы будем думать о нем как о составленном не из написанного, а из пространственных Предметов (столов, стульев, книг).

Мы уже приводили пример, в соответствии с которым тот факт, что Земля круглая, можно продемонстрировать в виде глобуса. Мы пользуемся словами как наиболее экономным способом выражения мыслей, что и вуалирует статус мысли как Факта. Когда у Свифта на острове Лапута вместо слов пользовались вещами, которые вынимали из мешка по мере надобности, это было гораздо менее экономно, но зато не создавалось впечатления, что коммуникация – это нечто эфемерное.

Предложение может быть не только аналогичным слову, оно может быть формально неотличимым от слова, т. е. состоять формально из одного слова и даже из одной буквы, как в знаменитом лингвистическом примере, как два римлянина поспорили о том, кто из них скажет самое короткое предложение. Первый сказал: «Eo rus» (Я поеду в деревню). Другой ответил: «I» (Поезжай) (I – императив от глагола «идти» – Eo, ei, itum, ite; пример приводится в учебнике А. А. Реформатского «Введение в языкознание»). Фреге считал Пропозицию сложным именем, имеющим два значения – истина и ложь. Для Витгенштейна такое понимание неприемлемо, так как Мир для него состоит из Фактов, а не вещей, поэтому Пропозиция является коррелятом Факта.

3.1432 Не «комплексный Знак « $a R b$ » означает, что « a » находится в каком-то отношении к « b », скорее, то, что « a » находится в определенном отношении к « b », означает, что $a R b$.

Этот раздел считается одним из наиболее трудных для понимания, и практически его так или иначе затрагивают все комментаторы «Трактата».

Витгенштейн говорит: Не комплексный знак «Луна меньше Земли» (например) означает, что Луна находится в каком-то отношении к Земле, скорее, то, что Луна находится в каком-то отношении к Земле, означает, что «Луна меньше Земли». Здесь смысл в том, что первичными являются простые символы: Луна, Земля, меньше чем, — а сложная Пропозиция (Пропозициональный Знак) является функцией от Смысла этих простых Знаков: потому что простые Знаки неизменны — они составляют субстанцию Мира, а сложные — изменчивы. Пропозиция « $a R b$ » производна от составляющих ее элементов, в частности, потому, что она может быть ложной, и истинным будет противоположное положение дел, выражающееся формулой « $b R a$ » (Земля меньше Луны). Значение Пропозиции будет изменено на противоположное, но все простые Символы останутся прежними.

3.144 Ситуации можно описать, но не назвать.

(Имена походят на точки, Пропозиции — на стрелки, они обладают Смыслом.)

Имя и Пропозиция для Витгенштейна различаются принципиальным образом. Имя может только называть, именовать, и поэтому у имени самого по себе нет Смысла, оно лишь указывает на Предмет. За пределами витгенштейновской семантики последнее справедливо лишь для Имен собственных. Так, у Имени Сократ нет Смысла, оно просто указывает на человека, которого оно таким образом выделяет. Поэтому подлинное Имя является логически простым, соответственно обозначая логически простой Предмет. По Витгенштейну, Имя нельзя определить, оно является исходной сущностью и не обозначает никаких свойств. За пределами витгенштейновской семантики для обыкновенных Имен существительных это, разумеется, не так. Значения Имен существительных (нарицательных) определяются в словарях и в обыденном общении. Но для Витгенштейна Имя вроде «стул» приобретает Значение только в Пропозиции (так же как Предмет реально существует лишь в Положении Вещей — 2.0121). Словарный «стул» есть лишь некая абстракция. Следуя логике Витгенштейна, когда мы говорим «Он сидел на стуле», всегда следует представлять некий конкретный стул так, чтобы он стал неопределяемым Именем, практически собственным Именем, стулом А. Как в кинотеатре, где каждый стул задан коор-

динамами места и ряда. Стул на пересечении этих координат действительно предстает точкой, лишенной собственного Смысла, но лишь указывающей на определенную позицию в логическом пространстве. Стул — это чистая номинация, отсутствие Смысла, точка. «Он сидит на стуле» — это дескрипция, наличие Смысла, стрелка. Хотя, конечно, можно сказать: «Дай мне стул» или «Где же ваш стул?», и это не будет, строго говоря, дескрипцией, описанием Положения Вещей (о логике императивов и о соотношении дескриптивного и модального в модальных высказываниях см. [Ross 1941, Хилпине 1986, Stenius 1960, Руднев 1996]), однако в «Трактате» рассматриваются более простые отношения между Миром и языком, в каком-то смысле частный случай этих отношений. По свидетельству госпожи Энком, поздний Витгенштейн говорил о «Трактате», как о часах, которые идут имманентно правильно, но показывают неправильное время: «Витгенштейн часто говорил, что в Трактате не все неправильно: он похож не на сумку, полную хлама, а, скорее, на часы, но такие часы, которые не скажут вам правильное время» [Anscombe 1960: 78].

3.2 В Пропозиции Мысль может быть проявлена так, что Предметам Мысли будут соответствовать элементы Пропозиционального Знака.

3.201 Эти элементы я называю «простыми Знаками», а такую Пропозицию «полностью проанализированной».

Здесь главная «музыкальная тема» «Трактата» получает свое предварительное завершение. Как Факт (или Ситуация) состоит из Положений Вещей, а Положение Вещей из Простых Предметов, так Мысль = Пропозиция изоморфна Факту (или Ситуации), а «простые Знаки» — (Имена) — простым Предметам.

3.202 Простые Знаки, использующиеся в Пропозиции, называются Именами.

3.203 Имя обозначает Предмет. Предмет является его значением. («А» тот же самый Знак, что «А»).

Глагол *bedeuten* и отглагольное существительное *Bedeutung*, начинающая с ключевой статьи Г. Фреге «*Ueber Sinn und Bedeutung*» [Фреге 1997], обозначают денотат, референт — в противоположность термину *Sinn* (Смысл), означающему (у Фреге) способ реализации денотата в знаке. Пример Фреге: Утренняя звезда и Вечерняя звезда имеют один денотат, но два разных смысла. По Витгенштейну, имя имеет только денотат (точнее, указывает на референт), но лишено Смысла. Смысл Витгенштейн понимает несколько по-другому, чем Фреге, как Возможность ос-

мысленного употребления. Поэтому Смыслом обладает для него только Пропозиция.

В последнем предложении этого раздела, взятом в скобки, кажется, что Витгенштейн просто выражает фундаментальный для логики закон рефлексивности: A равно A . Но тогда его высказывание было бы пустой тавтологией. По-видимому, Витгенштейн здесь хочет подчеркнуть, что каждый раз, когда знак « A » появляется перед нашим (мысленным) взором, он обозначает один и тот же Предмет. То есть если мы договоримся, что знак A будет обозначать Луну, то он всегда будет обозначать Луну и только Луну. Преимущества Знака перед объектом в том, что Знак не уникален. $A-A-A-A$ – каждый раз могут обозначать один и тот же предмет, хотя в материальном смысле каждое из этих « A » – другое. Со Знаками легче манипулировать, чем с предметами, их не надо нести за собой в мешке. Предмет может быть тождествен только самому себе. Знаков может быть много, и каждый из них (если он обозначает один и тот же Предмет) тождествен другим таким же Знакам. Таким образом, Витгенштейн формулирует идею тождества не Предметов, а Знаков, заключающуюся в том, что, заменяя Предметы, Знаки уравниваются между собой в любой из своих экземплярификаций. В этом смысл, в частности, витгенштейновского противопоставления Пропозиционального Знака (Satzsache, пропозиционального инварианта) и Пропозиции (Satz, конкретно знакового варианта).

3.21 Конфигурация простых Знаков в Пропозициональном Знаке соответствует конфигурации предметов в Ситуации.

Здесь развивается идея изоморфного отображения языком реальности, которую можно схематически изобразить так:

a, b	Пропозициональный Знак $a R b$			
Простые знаки	Луна	Меньше чем	Земля	
Проекция	↓	↓	↓	Общая Логическая Форма
Конфигурация простых Предметов	Луна	Меньше чем	Земля	
	Ситуация			

3.22 Имя в Пропозиции заменяет Предмет.

Одно из утверждений Витгенштейна, которое может показаться трюизмом, если не рассматривать его в контексте всего «Трактата». Действительно, что может быть более элементарным, чем семиотичес-

кое утверждение о том, что Имя заменяет Предмет. Это аксиома любой семиотической теории. Но, во-первых, здесь важен лейтмотивный изоморфизм. Предмет является простым (2.02), стало быть, заменен он может быть простым же Знаком. Это ведет за собой ассоциацию, в соответствии с которой как Предметы образуют субстанцию Мира, так Имена (в отличие от Пропозиций) образуют субстанцию языка (в явном виде эта мысль не выражена). И далее, если простое Имя заменяет Предмет, то сочетание простых Имен, еще не введенное в терминологический обиход – Элементарная Пропозиция, – заменяет Положение Вещей, и, наконец, Пропозиция заменяет Ситуацию и Факт. Таким образом, в одной, кажущейся трюизмом фразе конденсируется сразу несколько линий «Трактата».

3.221 Предметы я могу лишь называть. Они заменяются Знаками. Я могу лишь говорить о них, но я не могу проявлять их.

Пропозиция может лишь сказать то, как существует вещь, но не что она такое.

Осуществляя развитие мистической (незнаковой) стороны своей доктрины, Витгенштейн говорит: можно сказать о Предмете, как он соотносится с другими Предметами (Луна меньше Земли) или каков он (Земля круглая). Но язык не может проникнуть в суть вещей. А поскольку мышление ограничено языком, то человек не может представить в знаковом воплощении суть вещи в принципе. По сути, это обоснование кантовской идеи средствами и в контексте лингвистической философии. Именно с этого параграфа начинается своеобразное развенчание Витгенштейном предшествующей философии, основная ошибка которой, по его мнению, заключается в том, что она стремилась постичь при помощи языка суть Вещей, не замечая того, что просто продолжает употребление языка без всякой связи с сутью Вещей.

3.23 Требование Возможности простых Знаков – это требование точности Смыслов.

Возможность простых Знаков, т. е. Имен, называющих Предметы, и Элементарных Пропозиций, описывающих Положения Вещей, необходима с семантической точки зрения. Имя однозначно именуется предмет. Имена, группируясь в особые структуры – Пропозиции, – формируют Смысл. Чтобы Смысл был точен, необходимы неразложимые смысловые атомы. Может показаться, что Витгенштейн противоречит себе, ведь, в соответствии с его взглядами, Имена не обладают сами по себе Смыслом, а лишь являются однозначным указанием значений. Но именно это однозначное указание Значений Имен, соответствующее неизменности

их денотатов (Вещей), является гарантом того, что Смысл Пропозиции будет адекватно передавать Положение Вещей или Ситуацию.

3.24 Пропозиция, описывающая комплекс, состоит во внутренней связи с Пропозицией, описывающей компоненты этого комплекса.

Комплекс может быть дан лишь посредством Описания, а оно будет либо верным, либо неверным. Пропозиция, где речь идет о комплексе, который не существует, не бессмысленна, но попросту ложна. То, что элемент Пропозиции означает комплекс, можно видеть из той неопределенности, каковая бывает в Пропозиции, в которой он встречается. Мы знаем, что в этой Пропозиции еще не все определено.

(Универсальные объяснения содержат в себе некую Протокартину.)

Объединение символов некоего комплекса в один простой Символ может быть проявлено посредством дефиниции.

Комплекс — словосочетание, состоящее из нескольких имен, или слово, не являющееся в логико-семантическом смысле простым, т. е. значением которого является логически сложный объект; либо Пропозиция, состоящая из элементарных пропозиций. В противоположность простому Знаку, который только именует, называет предмет, комплекс описывает его. Описание может быть верным или неверным, а в случае Пропозиций — истинным или ложным. Называние вроде бы тоже может быть верным или неверным. Но называние как речевой акт представляет собой Пропозицию («Этот Предмет называется так-то и так-то»). И мы можем ошибиться, назвав крупный абрикос персиком, но сами Имена *абрикос* и *персик* не имеют к этому отношения. Это Пропозиция может быть верной или неверной. Имя не может быть верным или неверным, это лишь называние, как Пропозиция, может быть таковым.

Пропозицию, в которой речь идет о несуществующем комплексе («Нынешний король Франции лыс»), Витгенштейн считает не бессмысленной (как [Рассел 1996]), а ложной. То есть тем самым истинным должно быть отрицание этой Пропозиции. «Не верно, что “Нынешний король Франции лыс”». Если это отрицание понимать *de dicto*, то оно действительно соответствует истине. То есть неверно, что Пропозиция «Нынешний король Франции лыс» истинна. (Если понимать отрицание *de re*, то оно не соответствует действительности: «Неверно, что существующий король во Франции лыс» (т. е. верно, что он не лыс, тогда как его вообще не существует); (ср. полемику Стросона с Расселом [Стросон 1981]). Интереснее другое. Как и Фреге, Витгенштейна не интересует огромный пласт в речевой деятельности — вымышленные дискурсы. Между тем с логико-философской точки зрения проблема таких высказываний является нетривиальной. Как всякий сильный модальный контекст, контекст предложений типа «Шер-

лок Холмс жил на Бейкер-стрит» зависит в плане своей истинности или ложности от модальной пресуппозиции. Так, если иметь в виду модальную пресуппозицию (или оператор) «В рассказах Конан Дойла», то эта фраза о Шерлоке Холмсе становится скорее истинной, чем ложной или бессмысленной [Woods 1974, Lewis 1983]. (Пропозиция о французском короле теряет свою логическую валентность только после падения монархии во Франции, т. е. обусловлена временной модальностью [Prior 1967].)

3.25 Существует один и только один полный анализ Пропозиции.

«Полный анализ Пропозиции» означает вычленение из нее Элементарных Пропозиций и разложение последних на простые Имена. Например, дано предложение «Луна меньше Земли, при этом оба этих небесных тела одинаково круглые, и Луна, кроме того, вращается вокруг Земли». Это комплексное предложение вначале делится на четыре простых (строго говоря, это не будут Элементарные Пропозиции, но, строго говоря, Элементарные Пропозиции – это такие же формально-идеальные сущности, как простые Предметы): «Луна меньше Земли» (aRb), «Луна круглая» (aK), «Земля круглая» (bK) и «Луна вращается вокруг Земли» (aSb), где S будет означать отношение «вращение вокруг» – транзитивное и асимметричное. Тогда это комплексное предложение можно представить в виде конъюнкции простых (функционально Элементарных):

$$(aRb) \ \& \ (aK) \ \& \ (bK) \ \& \ (aSb)$$

Это и будет полным анализом Пропозиции, который будет выражать Факт (или Ситуацию), которую можно изобразить в виде «Картины».



Этот Факт (Ситуация) состоит из четырех Положений Вещей:

1. Луна меньше Земли Луна Земля
2. Луна – круглая

3. Земля — круглая



4. Луна вращается вокруг Земли



В первом случае не говорится о форме Луны и Земли, поэтому мы условно изображаем их расплывчатыми пятнами — это простые Предметы, о которых известно только, что один больше другого: пока они «никакой формы». Во втором и третьем случае не говорится о размере Земли и Луны, поэтому мы условно изображаем их одинаковыми — они пока как будто «никакого» размера. В четвертом случае не даны ни форма, ни размеры Предметов, а указан только факт вращения, поэтому мы условно изображаем их в виде точек.

3.251 Пропозиция проявляет себя точным, ясно выраженным способом. Пропозиция является артикулированной.

Как всегда можно сказать, из скольких Положений Вещей состоит Факт или Ситуация, так же всегда можно сказать, из скольких Элементарных Пропозиций состоит Пропозиция. Так же всегда должно быть точно выражено, из скольких Имен состоит Элементарная Пропозиция, что будет соответствовать числу Предметов, входящих в соответствующее Положение Вещей.

3.26 Имя не может быть расчленено никакой дефиницией: оно — некий Протознак.

3.261 Каждый Знак, являющийся определенным, указывает на те Знаки, посредством которых определен; дефиниции указывает лишь способ.

Два Знака: Протознак и Знак, определенный через Протознак, — не могут обозначаться одним и тем же способом. Имена не могут быть расчленены посредством дефиниций. Как и любой другой Знак, сам по себе обладающий Значением.

Это утверждение чрезвычайно важно для Витгенштейна. Ведь если Имя можно было бы расчленить при помощи дескрипции, то тогда оно бы уже не было простым и не отличалось бы от комплексного Знака. Комплекс можно расчленить посредством дефиниции. Например, «Планиета — это такое небесное тело, которое...» Простое Имя, которому в обычном языке более или менее соответствует Имя собственное, не

поддается определению через общий род и специфическое отличие. Например, нельзя сказать, что Людвиг — это человек, который обладает какими-то свойствами. Собственное Имя просто указывает на объект, оно обладает Значением (*Bedeutung*), но не Смыслом (*Sinn*). В обыденной речевой деятельности нарицательные Имена не являются простыми Именами в витгенштейновском смысле. И хотя каждый данный стул или диван является простым в логическом смысле (вернее, может быть рассмотрен как простой в логическом смысле) предметом, слово «стул» или «диван» не является простым Знаком, так как оно означает класс стульев или диванов и эти классы можно определить через общий род и специфическое отличие. Можно обозначить каждый данный стул, стоящий в конкретной комнате в конкретном доме на конкретной улице. Но это неэкономный способ обозначения. Обычно мы пользуемся дейктическими словами «*этот* стул», «*тот* диван» и добавляем к этому остенсию — указательный жест. Но если мы условимся обозначать некий конкретный стул именем собственным (например, у меня есть любимый стул, на котором я всегда сижу, и я называю его «Людвиг»), то тогда он станет в определенном смысле простым Знаком. Когда Предмет получает собственное Имя, он становится уникальным и выпадает из класса таких же Предметов. Он становится Стулом с большой буквы. Как показали Ю. М. Лотман и Б. А. Успенский, приписывание нарицательному Имени черт Имени собственного есть важная черта мифологического мышления [*Лотман–Успенский 1973*]. Мир «Трактата», построенный на тотальном изоморфизме, обладает некоторыми чертами мифологического Мира, что будет показано ниже при анализе раздела 4.014.

3.262 То, что нельзя проявить в Знаке, обнаруживается в его употреблении. То, что проглатывают Знаки, проговаривает их употребление.

Имя (простой Знак) лишено Смысла, оно обладает только референцией (*Bedeutung*). Но стоит Имени появиться в Пропозиции, в конкретном употреблении, как Смысл его как бы проговаривается наружу. Имя «стул» просто указывает на стул, но, появившись в пропозиции «Он сидел на стуле», Имя раскрывает свой Смысл, имплицитно заложенный в нем. В Имени, таким образом, заложена Возможность Смысла (т. е. Имя не вовсе бессмысленно), который актуализируется при употреблении в конкретной Пропозиции. Данный раздел в свернутом виде уже содержит семантическую теорию, разработанную Витгенштейном в «Философских исследованиях», в соответствии с которой значение слова и есть его употребление (для позднего Витгенштейна понятия Значения и Смысла сливаются) [*Wittgenstein 1967: § 43*].

3.263 Значения Протознаков могут быть даны посредством объяснения. Объяснения являются Пропозициями, содержащими Протознаки. Стало быть, они могут быть поняты, лишь когда Значения этих Знаков уже известны.

Это очередной витгенштейновский парадокс, который действительно имеет место в лексикографической практике. Значение Имени объясняется при помощи Пропозиции. Например, «Вальтер Скотт — английский писатель, автор таких-то романов». Но Значение выражения «английский писатель», являющееся совокупностью простых Знаков, должно быть уже известно, чтобы при помощи него можно было объяснить Значение Знака «Вальтер Скотт». Отсюда следует необходимость неких первичных Протознаков, Значения которых должны быть аксиоматически заданы и не должны зависеть от Значений других Знаков. Эту программу под влиянием взглядов раннего и позднего Витгенштейна эмпирически разработала Анна Вежбицка, выделившая в английском языке полтора десятка «семантических примитивов», не производных ни от каких других слов и производящих значения всех остальных слов [*Wierzbicka 1972*].

3.3 Лишь Пропозиция обладает Смыслом, лишь в целокупности Пропозиций Имя приобретает Значение.

Мотивное повторение-варьирование 3.142 (Только Факты могут выражать Смысл; класс Имен этого не может). То, что Пропозиция обладает Смыслом (которым является выражаемое ею суждение независимо от его Истинности или Ложности), а Имя им не обладает, уже ясно из предшествующих разделов. Здесь же Витгенштейн утверждает, что и Значение (*Bedeutung*) имя имеет только в Пропозиции. Но и в 3.22 говорится не просто, что Имя заменяет Предмет, но что Имя *в Пропозиции* заменяет Предмет (курсив мой. — *В. Р.*). Таким образом, не будучи внесено в контекст Пропозиции, утверждает Витгенштейн, Имя не имеет Денотата. Так ли это? Вопрос, поставленный таким образом, вряд ли имеет смысл. Во всяком случае, такое понимание семантики Имени полностью соответствует логической онтологии Витгенштейна, разработанной им в первом параграфе «Трактата». Как Предмет реально встречается лишь в составе Положения Вещей или Ситуации, так и Имя реально функционирует лишь в составе Пропозиции. И все это соответствует пониманию Мира как совокупности Фактов (а не Вещей), отражением которого является язык (или речевая деятельность) как совокупность Пропозиций (а не Имен).

3.31 Каждую часть Пропозиции, которая характеризует ее Смысл, я называю ее Проявлением (Символом).

Пропозиция сама по себе является Проявлением.

Проявление — все то, что существенно для Смысла Пропозиции, то, что Пропозиции могут иметь общего друг с другом.

Проявление маркирует Форму и содержание.

Соотношение у Витгенштейна в «Трактате» понятий Символ и Знак такое: Символ — это конкретный Знак, наполненный Смыслом. Символ в этом смысле соответствует термину (в противопоставлении ее Пропозициональному Знаку) Пропозиция. Знак — это материальная сторона и инвариант Символов. В этом смысле Знаку соответствует коррелятивное понятие Пропозициональный Знак. Проявление — это, по сути, не что иное, как символическая запись Логической Формы Пропозиции. Так, если мы условимся, что под a и b будем понимать индивидуальные термы, а под R — любое отношение между ними, то $a R b$ будет являться логическим Проявлением как Пропозиции «Луна меньше Земли», так и Пропозиции «Сократ любит Платона». Именно в этом смысле Проявление — это то, что «Пропозиции могут иметь общего друг с другом».

Приведенный пример показывает, что понятие Логической Формы и производное от него понятие Проявление Символа соотносятся с будущей трансформационной грамматикой Хомского, и в частности, с ее базовой категорией глубинной структуры, которая также является тем, что есть общего у всех Пропозиций [Хомский 1962].

3.311 Проявление устанавливает Формы всех Пропозиций, в которых оно может встречаться. Это наиболее общая отличительная черта класса Пропозиций.

Например, если мы имеем два общих класса Пропозиций с отношениями и Пропозиций со свойствами, то эти формальные фундаментальные разграничения устанавливаются при помощи символической записи. Так, если Пропозиции «Луна меньше Земли» и «Сократ любит Платона» будут характеризоваться записью $a R b$, как Пропозиции с отношением между двумя термами, то такие Пропозиции, как «Земля круглая» или «Сократ лысый», будут характеризоваться записью $S(a)$, где S — логически одноместное свойство данного объекта a .

3.312 Следовательно, Проявление изображается посредством общей формы Пропозиции, которую оно характеризует. И в этой форме Проявление будет постоянным, а все остальное — переменным.

3.313 Оно поэтому изображается посредством переменной, значением которой является Пропозиция, куда входит содержание данного Проявления.

(В крайнем случае переменная превращается в константу, а Проявление в Пропозицию.)

Я назову такую переменную «Пропозициональной».

Переменная — это символ, значением которого является некий класс предметов, которые синтаксически подходят под Проявление этого символа. Так, *a*, *b*, *R* и *S* — переменные. Значением *a* могут быть Земля, Сократ и т. д. Это так называемая индивидуальная переменная. Значениями *R* будут *больше, чем, любит* и т. д. Это предикативная переменная, значениями которой являются отношения. *S* — предикативная переменная, значениями которой будут свойства (последние можно трактовать как одноместный случай предикативных отношений). Наиболее общий вид переменной в «Трактате» — пропозициональная переменная, значением которой является вся Пропозиция.

3.314 Проявление приобретает значение только в Пропозиции.

Каждая переменная позволяет интерпретировать себя как Пропозициональную. (Вплоть до переменного Имени.)

Первый тезис этого раздела повторяется уже неоднократно (ср. 3.3; 3.142). Второй тезис может вызвать некоторое затруднение, так как здесь говорится, что любая переменная может в принципе прочитываться как Пропозициональная вплоть до индивидуальной переменной (переменного Имени). Но если Имя, взятое по отдельности, не имеет ни Смысла, ни Значения, то взятая по отдельности переменная, если она, так сказать, хочет быть помысленной, должна превратиться, какой бы она ни была, в Пропозициональную. Так, слово «Людвиг», взятое изолированно, не имеет Значения (денотата, или референта). Но оно может превратиться в предложение. Например, человек протягивает руку и представляется: «Людвиг». Или когда на человека показывают и говорят: «Людвиг». Или когда кого-то зовут: «Людвиг!» Или на вопрос: «Кто это сделал?», следует ответ: «Людвиг». И если даже в списке всех мужских имен, скажем, принятых в Европе и идущих по алфавиту, мы читаем *Людвиг*, то это уже предложение. Все эти примеры по своему характеру чрезвычайно близки к тому стилю мышления, который Витгенштейн развил через 30 лет после написания «Трактата» в «Философских исследованиях», что лишний раз доказывает нерасторжимую связь между этими произведениями.

3.315 Преобразуй мы какую-нибудь составную часть Пропозиции в переменную, тут же отыщется класс Пропозиций, который составит класс значений возникшей таким образом Пропозициональной переменной. Этот класс зависит в целом от того, что мы по условной договоренности будем подразумевать под частью Пропозиции. Но и преобразуй мы все те Знаки, значение которых давалось произвольно, в переменные, будет существовать и такой класс. Однако теперь

он будет уже зависеть не от конвенции, а лишь от природы Пропозиции. Будет соотноситься с Логической Формой, некой Логической Протокартиной.

3.316 Какие Значения принимает переменная, должно быть установлено.

Установление Значения и есть переменная.

3.317 Установление Значения Пропозициональной переменной — это указание такой Пропозиции, приметой которой является переменная.

Установление Значений есть дескрипция этих Пропозиций.

И лишь то для установления важно, что оно только описание Символов и никак не толкует обозначаемое.

Неважно, как осуществляется дескрипция Пропозиции.

Допустим, у нас есть переменная $a R b$. Мы устанавливаем, что a и b означают две планеты, а R — отношение между ними. Тем самым мы указываем те Пропозиции, которые могут возникнуть при данном значении переменной, и дать их дескрипцию. При этом мы описываем лишь Символ (план выражения, по терминологии Л. Ельмслева) Пропозиции и ничего не говорим о сфере денотатов, мы не «толкуем обозначаемое» — Луну или Землю, — а лишь устанавливаем смысловые отношения между Символами. То есть когда мы устанавливаем значение переменной $a R b$ и говорим, что ее значением, в частности, будет Пропозиция «Земля больше Луны», то мы должны помнить, что Значением, денотатом переменной является сама Пропозиция «Земля больше Луны», а не соответствующее ей Положение Вещей в Мире. То есть процедура установления Значения переменной является семантической в каком-то очень узком смысле: это интенциональная, синтаксическая семантика (а не экстенциональная, прагматическая). Грубо говоря, все, что мы знаем о Предметах Луна и Земля, исходя из их описания (дескрипции) при помощи переменной $a R b$, это то, что один из них больше другого. Так, исходя из этого описания, мы не можем установить, что и Луна и Земля являются круглыми или что на одной из них обитают люди. Предложение описывает только то, что оно описывает. Содержатся ли в памяти говорящего другие «аспекты» означаемого, уже другой вопрос, не имеющий к нам прямого отношения.

3.18 Я вижу Пропозицию — вслед за Фреге и Расселом — как функцию содержащихся в ней выражений.

Если мы для примера возьмем простейшую арифметическую функцию $X = 3 + 6$, то ее значение (9) будет зависеть от значений входящих в аргумент выражений, т. е. изменив значение хотя бы одного аргументного вы-

ражения, скажем, написав вместо 3 «4», мы получим значение функции вместо 9 «10». Пропозиция в том смысле является функцией входящих в нее выражений, что Значение пропозиции зависит от значений этих выражений. Например, «Луна меньше Земли» мы можем рассматривать как истинную Пропозицию (имеющую Истинностное Значение «Истина»). Заменяя слово «больше» на «меньше» или поменяв местами слова «Луна» и «Земля», мы в результате получим ложное предложение. Комментируемое высказывание является важнейшим для одной из центральных частей «Трактата» – пятой, где Пропозиция в целом толкуется как функция истинности Элементарных Пропозиций.

3.32 Знак есть нечто чувственно воспринимаемое в Символе.

3.321 Два разных Символа могут, стало быть, обладать одним общим Знаком (письменным, звуковым и т. п.) – они обозначают тогда различным способом.

Знак и Символ для Витгенштейна соотносятся не только как инвариант и вариантное воплощение, но и как, соответственно, план выражения и план содержания. Знак, «значок» для Витгенштейна лишь некая семиотическая этикетка, которой может быть придано какое угодно Значение. Подлинный носитель Смысла – это Символ. Отсюда возникает одна из важнейших в «Трактате» тема омонимии Знака и Символа и предполагающийся отсюда мотив устранения этой омонимии. В правильно построенном языке воспринимаемому Знаку может быть приписано несколько Значений, и одно и то же содержание (Символ) может быть описано при помощи разных Знаков. Например, можно сказать вместо Аристотель – «автор древнегреческой “Поэтики”», а вместо Шекспир – «творец “Макбета”». Можно назвать Зевса Юпитером, а Венеру Юноной. Утреннюю Звезду – Вечерней Звездой. Но можно и наоборот – одним Знаком обозначить два совершенно различных Символа. Например, Венерой называют и звезду, и древнегреческую богиню любви. В «Мастере и Маргарите» Булгакова обыгрывается тот факт, что под Москвой имеется чебуречная «Ялта», из чего герои (Римский и Варенуха) делают ложный вывод о розыгрыше со стороны Степы Лиходеева, который на самом деле телеграфировал из города Ялты. Омонимия Знака и Символа осознавалась Витгенштейном и его учениками-позитивистами как препятствие на пути построения логически совершенного языка. Ясно, тем не менее, что в реальной речевой деятельности это явление играет важную и в каком-то смысле позитивную роль (см. подробнее [Руднев 1996]).

3.322 Можно обозначить два Предмета одним и тем же Знаком, но используя разные методы обозначения, на наличие общего признака

это не укажет. Ибо Знак является произвольным. Можно было бы выбрать два совершенно различных Знака, и тогда общность обозначения исчезла бы.

Витгенштейн говорит здесь об арбитrarности (=произвольности) Знака, высказываясь отчасти в духе семиотических идей Ч. Морриса и в противоположность взглядам Ч. С. Пирса—Р. О. Якобсона, считавших, что даже заведомо произвольные знаки тяготеют к иконичности [*Якобсон 1983*]. Знак, по Витгенштейну, таким образом, простая этикетка, ярлык, и даже если обозначить два Предмета одним и тем же Знаком, все равно методы обозначения будут разные — обозначаемые Предметы будут входить в разные Положения Вещей и соответственно различными будут отражающие эти Положения Вещей Символы (Элементарные Пропозиции).

3.323 В повседневной речи частенько происходит так, что одно слово обозначается тем или иным образом по-разному — входит в состав разных Символов — или два слова, которые обозначены тем или иным способом по-разному, внешне употребляются в Пропозиции, на первый взгляд, совершенно одинаково.

Так появилось слово «есть» — как связка, как знак равенства и как проявление идеи экзистенции; «существовать» — нетранзитивный глагол, как «идти»; «равно» подобно прилагательному; мы говорим о Нечто, но также и о том, что нечто имеет место.

(В Пропозиции «Зеленое есть зеленое» — где первое слово Имя собственное, а второе прилагательное — эти слова имеют не только различные Значения, но являются разными Символами.)

Как правило, в европейских языках слово «есть» употребляется одновременно и как связка (между подлежащим и именным сказуемым), и как выражение равенства, и в функции квантора существования (или всеобщности). Например, в предложении «Жизнь есть сон» *есть* является связкой между существительным-подлежащим *жизнь* и существительным-сказуемым *сон*; кроме того, оно является выразителем идеи отождествления жизни и сновидения и, наконец, указывает на то, что это предложение носит универсальный характер, т. е. имплицитно содержит в себе функцию квантора всеобщности (подразумевается, что любая жизнь, или жизнь вообще, есть сон).

Пример, приводимый Витгенштейном, «Зеленое есть зеленое», является еще одной манифестацией поразительной способности Витгенштейна преодолевать кажущиеся противоречия. Совсем недавно (3.203) он утверждал: «А» тот же самый Знак, что «А». Теперь он говорит, что в предложении «Зеленое есть зеленое» зеленое и зеленое — это два раз-

ных Символа. Да, это два разных Символа, но один и тот же Знак (см. 3.321). Витгенштейн хочет сказать, что в определенном смысле в приводимом примере зеленое и зеленое — это омонимы, так как в первом случае это Имя собственное (субстантивированное прилагательное), обозначающее цвет, а во втором — его признак, свойство быть зеленым. С синтаксической точки зрения это тоже разные слова. В первом случае зеленое — это подлежащее, во втором — именная часть сказуемого, т. е. здесь как раз имеет место то, что Витгенштейн называет в 3.322 «разными методами обозначения».

3.324 Так с легкостью возникает основательная путаница, которой наполнена вся философия.

По мнению Витгенштейна, именно вследствие неразграничения в языке Знаков и Символов возникают философские идеи. Философы принимают разные Знаки одного Символа за разные Символы или же, наоборот, принимают разные Символы за две знаковые манифестации одного Символа. В результате они выстраивают величественные философские системы, в основе которых лежит то же самое эпистемическое *qui pro quo*, которое необходимо для построения сюжета в художественном произведении (см. [Руднев 1996]). Так Витгенштейн строит свой миф о философии как болезни языка и — в следующем параграфе — провозглашает идею совершенного логического языка как метода выздоровления от философской болезни.

3.325 Чтобы избежать этих заблуждений, мы должны использовать некий знаковый язык, который исключал бы применение одинаковых Знаков по отношению к разным Символам и не применял бы одинаково Знаки, обозначающие по-разному. Этот знаковый язык подчиняется логической грамматике — логическому синтаксису.

(Исчисление понятий у Фреге и Рассела является подобным языком, правда, не исключаящим еще всех ошибок.)

Именно благодаря этому разделу, прежде всего, Витгенштейн связывается в сознании историков философии с логическим позитивизмом — направлением в философии, которое стремилось к построению идеального логического языка с тем, чтобы избежать ошибок традиционной философии. Эти идеи разрабатывались после опубликования «Трактата» Венским логическим кружком (председатель М. Шлик), и «Трактат» признавался чем-то вроде Нового Завета для деятелей этого кружка. Правда, те из философов, которые добились наиболее позитивных и значительных результатов в этой области — это, в первую очередь, Р. Карнап, книги которого «Логический синтаксис языка» [Carnap 1936] и

«Значение и необходимость» [Карнан 1959] стали чрезвычайно важными событиями в истории логической семантики, — относились к «Трактату» критически и даже враждебно вследствие его слишком большой интеллектуальной перегруженности, принципиальной неписываемости ни в какие концептуальные философские рамки, а также большого количества противоречий, иногда мнимых и легко снимаемых, но порой достаточно глубоких.

Говоря о Фреге и Расселе, Витгенштейн имеет в виду прежде всего работу Г. Фреге «Исчисление понятий» и «Principia Mathematica» Б. Рассела—А. Н. Уайтхеда, где впервые последовательно стала применяться логическая символика, направленная на то, чтобы сделать логический вывод математически корректным.

3.326 Чтобы распознать Символ в Знаке, необходимо обратить внимание на осмысленное употребление Знака.

3.327 Знак вместе со своим логико-синтаксическим применением опосредует также Логическую Форму.

Их этих двух разделов видно, насколько близко Витгенштейн подошел к своему позднему учению о том, что значение слова есть его употребление в речевой деятельности, разработанному в «Философских исследованиях». Различие лишь в том, что в «Трактате» другие акценты и приоритеты. Здесь для Витгенштейна важно, чтобы каждый раз возможно было снять неопределенность, омонимию между Символом и Знаком. В «Исследованиях» он видит эту неопределенность как наиболее интересное и заслуживающее изучения свойство речевой деятельности.

Когда мы распознаем Символ в Знаке, т. е., собственно, понимаем значение Знака, мы тем самым видим, в какие возможные Положения Вещей (или Ситуации) может входить Предмет, обозначаемый этим Знаком, т. е. мы видим, что Знак (но только вместе с его применением) опосредует Логическую Форму.

3.328 Если Знак не употребляется, он теряет Значение. В этом смысл девиза Оккама.

(Если все обстоит так, как будто Знак имеет Значение, значит, он имеет Значение.)

В обычном языке (речевой деятельности), если слово выходит из употребления, его Значение становится непонятным для большинства носителей языка. Как правило, вместе со словами уходят и Предметы, ими обозначаемые, например *зипун*, *бердыш*, *потир*. Вместе с ненужными словами-Предметами исчезают или почти исчезают обозначавшие их

Знаки. Язык не держит в своей оперативной памяти то, что ему не нужно для непосредственного употребления, и, очевидно, приблизительно это имеет в виду Витгенштейн, говоря о бритве Оккама. Последний тезис, очевидно, не следует понимать онтологически (если кажется, что у Знаков есть Значения, значит, так оно и есть). Мне кажется, Витгенштейн хочет сказать, что, если мы видим, что Знак активно употребляется в языке (все обстоит так, как будто он имеет Значение), это является гарантией того, что он обладает Значением, даже если некоторые носители языка этого Значения не знают. Так, например, в современном русском языке обстоит дело с экономическими терминами вроде *монетаризм*, *ипотека*, *эмиссия*, Значения которых не знают большинство носителей языка, но которые тем не менее активно употребляются в политических и публицистических контекстах.

3.33 В логическом синтаксисе Значения Знаков не должны играть никакой роли; он должен предполагать лишь описания выражений, без всякого упоминания о Значении.

Если понимать Значение (*Bedeutung*) так, как его понимал Фреге, т. е. как синоним понятия денотат (или референт), то витгенштейновский тезис можно переформулировать так, что логический синтаксис говорит не о действительном, а о возможном, не о Фактах, а о Положениях Вещей. Денотаты не имеют Значения, поскольку их может вообще не быть, и логико-синтаксическая система останется при этом внутренне непротиворечивой. Иначе говоря, в логическом синтаксисе имеет место лишь синтаксическая семантика или семантика в слабом смысле, с точки зрения которой *a* и *b* — это Знаки, по идее имеющие разное Значение, но не важно, какое именно. И в нем не имеет места прагматическая семантика, о которой говорит Витгенштейн в 3.326—3.327, т. е. та, которая соотносит Знак с его применением в речевой деятельности. Логический синтаксис трансгрессиентен, внеположен внеязыковой реальности в естественно-научном понимании слова «реальность».

3.331 Исходя из этого замечания, рассмотрим «Theory of Types» Рассела. Естественно, что Рассел оказался в тупике: разрабатывая знаковые правила, он должен был говорить о значении Знаков.

3.332 Ни одна Пропозиция не может свидетельствовать о самой себе, поскольку пропозициональный Знак не может содержаться в самом себе (вот и вся «Theory of Types»).

Рассел разработал «Теорию типов» для снятия парадокса теории множеств. Вот как он сам излагает ее суть в книге «Мое философское развитие»: «Проще всего проиллюстрировать это на парадоксе лжеца. Лжец

говорит: “Все, что я утверждаю, ложно”. Фактически то, что он делает, это утверждение, что оно относится к тотальности его утверждений, и, только включив его в эту тотальность, мы получаем парадокс. Мы должны будем различить суждения, которые относятся к некоторой тотальности суждений, и суждения, которые не относятся к ней. Те, которые относятся к некоторой тотальности суждений, никак не могут быть членами этой тотальности. Мы можем определить суждения первого порядка как такие, которые не относятся к тотальности суждений; суждения второго порядка — как такие, которые отнесены к тотальности первого порядка и т. д. *ad infinitum*. Таким образом, наш лжец должен будет теперь сказать: “Я утверждаю ложное суждение первого порядка, которое является ложным”. Он поэтому не утверждает суждения первого порядка. Говорит он нечто просто ложное, и доказательство того, что оно также и истинно, рушится. Такой же точно аргумент применим и к любому суждению высшего порядка» [Рассел 1993: 25–26].

По мнению Витгенштейна, «Теория типов» излишня, так как необходимо, чтобы логическая запись сама, не прибегая к сильной прагматике, показывала противоречивость того или иного суждения.

3.333 Функция не может быть собственным аргументом, поскольку Знак Функции уже содержит в себе Протокартину своего аргумента, которая не может содержать самое себя. Предположим, например, что Функция $F(fx)$ могла бы быть собственным аргументом; тогда должна была бы иметь место Пропозиция: « $F(F(fx))$ », и в ней внешняя Функция F и внутренняя функция F должны обладать разными значениями, так как внутренняя Функция имеет форму $\phi(fx)$, а внешняя $\psi(\phi(fx))$. Общим у них является лишь буква « F », которая сама по себе ничего не означает.

Это сразу становится ясно, когда мы вместо « $F(Fu)$ » напишем « $(\exists\phi): F(\phi u) \wedge \phi u = Fu$ ». Тем самым устраняется парадокс Рассела.

Витгенштейн исходит из того, что Знак Функции (переменной) содержит в себе Протокартину (прототип, образец) своего аргумента, т. е., скажем, Знак Функции « X — жирный» содержит в себе возможный аргумент «свинья». Эта Протокартина не может содержать самое себя, так как она уже не является переменной. Таким образом, нельзя построить Функцию Функции, потому что иначе получится свинья свиньи. Но что будет, если попытаться построить такую саморефлексирующую Функцию? Это будут просто две разные Функции. Вот как подробно комментирует это место «Трактата» Х. О. Мунк: «Может ли в функции “ x — жирный” сама функция (x) занять позицию своего аргумента “ x ”? Допустим, что может. Тогда ее можно записать как $F(f)$. Но, говорит Витгенш-

тейн, то, что занимает эти две позиции, является не одним символом, а двумя. Тождество знака, как надо помнить, гарантируется не его физической наружностью, но употреблением. Знаки, имеющие совершенно различную наружность, но одно и то же применение, являются одним и тем же символом; знаки, которые имеют одинаковую наружность, но по-разному применяются, являются различными символами (см. 3.32. — 3.323. — *V. P.*). Но в случае, когда знак “F” находится за скобками, он является другим символом по сравнению с тем случаем, когда он находится внутри скобок, поскольку он имеет разное применение. Однако тогда мы не сможем построить выражение, в котором один и тот же символ выступает одновременно и как функция, и как ее собственный аргумент. Идея Витгенштейна состоит в том, что в корректной записи будет видна невозможность такой конструкции, и именно это и устраняет расселовскую теорию типов. Другими словами, в корректной записи нельзя построить самореферирующую пропозицию без того, чтобы не стало очевидно, что внутренняя пропозиция содержит функцию, отличную от функции, содержащейся во внешней пропозиции. Но тогда станет очевидным, что нельзя построить самореферирующую пропозицию. Ибо, совершая такую опрометчивую попытку, мы с очевидностью убеждаемся, что у нас получается не одна самореферирующая пропозиция, но две разные пропозиции. Короче, теория типов совершенно необязательна, поскольку в корректном символизме проблема, с которой имел дело Рассел, просто не возникает. Она исчезает в самой операции со знаками» [*Mounce 1981: 55–56*].

Анализ «Теории типов» Рассела Витгенштейном служит ярким примером практического применения витгенштейновской теории, разграничивающей то, что может и должно быть сказано, от того, что может быть только показано, или обнаружено, в логической структуре пропозиции или любой другой Картины. Следуя бритве Оккама, Витгенштейн как бы говорит: язык, если его правильно применять, сам обнаруживает невозможность самореференции — никакие теории тут не нужны.

3.334 Правила логического синтаксиса должны быть поняты сами по себе, лишь только становится известно, как обозначает каждый Знак.

Что значит — «как обозначает каждый Знак»? Очевидно, каким образом он соотносится с другими Знаками. Например, имеется формула $\sim((A \rightarrow B) \wedge (A \rightarrow C)) \rightarrow \sim(B \rightarrow C)$. Если неверно, что из *A* следует *B* и при этом из *A* следует *C*, то неверно, что из *B* следует *A*. Чтобы понять логический синтаксис этого выражения, необязательно знать, что означают *A*, *B* и *C*. Ясно, что, чем бы ни были *A*, *B* и *C* при таком расположении логических

связей, S не может следовать из A и что выражение является истинным, так как оно вытекает из правила транспозиции:

$$((x \rightarrow y) \wedge (y \rightarrow z)) \rightarrow (x \rightarrow z).$$

3.34 Пропозиция обладает важными и случайными чертами.

Случайными являются те черты, которые порождены тем или иным способом построения Пропозиционального Знака. Важными являются те черты, которые делают возможным для Пропозиции проявлять свой Смысл.

Этот тезис можно истолковать в терминах генеративной грамматики Хомского. Например, даны предложения «Мальчик съел мороженое» и «Мороженое съедено мальчиком». Второе является пассивной трансформацией первого. Оба выражения проявляют один и тот же Смысл, который можно выразить формулой: MRI , где M — мальчик, I — мороженое, а R — отношение (асимметричное и транзитивное) между M и I . Тот факт, что в первом высказывании мальчик стоит в именительном падеже, мороженое в accusative и глагол в активном залоге, а во втором — мороженое в именительном, мальчик — в творительном, а глагол — в пассивном залоге, является несущественным для логического (в данном случае глубинного) синтаксиса.

3.341 Важным в Пропозиции является, стало быть, то, что является общим для всех Пропозиций, проявляющих одинаковый Смысл.

И точно так же важным в Символе является то, что все Символы, которые могут выполнять одну и ту же цель, имеют общим.

Из этого, в частности, следует, что применительно к обычной речевой деятельности неважным (случайным) может быть тот Факт, что один и тот же Символ проявляет один и тот же Смысл при помощи разных Знаков. Например, если два слова в языке признаны более или менее точными синонимами, то неважно, какое именно из них будет употреблено. Так, в предложениях «Советские языковеды не признают генеративную грамматику Хомского» и «Советские лингвисты не признают генеративную грамматику Хомского» слова *языковеды* и *лингвисты* будут одним Символом, а оба предложения будут иметь один и тот же Смысл и одно и то же Истинностное Значение.

3.3411 Можно, стало быть, сказать: подлинное Имя — то, что имеют общим все Символы, обозначающие Предмет. Из этого непосредственно следует, что никакое соединение для Имен не важно.

Допустим, мы обозначили планету Венера Именами Фосфор (Утрен-

няя звезда) и Геспер (Вечерняя звезда). Подлинным Именем, по Витгенштейну, будет то общее, что имеют эти Символы, т. е. тот Факт, что они обозначают планету Венера. То же, что Фосфор – это Венера, которую видно утром, а Геспер – Венера, которую видно вечером, не имеет отношения к тому, что эти символы имеют общим, – Факту указания на планету Венера. То есть к Значению подлинного Имени не имеет отношения то, что Фреге называл Смыслом Имени, т. е. способом реализации Значения в Знаке [Фреге 1997].

Подлинное Имя, по Витгенштейну, это как раз такое Имя, которое вообще не обладает Смыслом, а просто указывает на Предмет. Таким образом, подлинное Имя, простой, примитивный Знак – такая же необходимая для атомистического мышления логическая абстракция, как простой Предмет (Gegenstand). Ближе всего к витгенштейновскому Имени приближается Имя собственное в лингвистическом смысле. Так, Имя Людвиг Витгенштейн не обладает Смыслом в том смысле, в каком им обладает слово *философ* или *англичанин*. Оно просто указывает на своего носителя. Но даже собственные Имена обладают тем, что когда-то Дж. С. Миль назвал коннотацией, т. е. теми ассоциациями, которые оно вызывает у носителей языка. Можно возразить, что человек, ничего не знающий о философии, которому укажут на фотографию Витгенштейна и скажут: «Этого человека зовут Людвиг Витгенштейн», действительно будет просто поставлен перед этим Фактом и Имя не вызовет у него никаких ассоциаций. Но даже и в таком случае мало-мальски искушенный носитель языка будет ассоциировать это Имя с «чем-то немецким».

3.342 Хотя в нашей символизации есть что-то произвольное, но вот что не произвольно: если мы нечто определяем произвольно, то должно случиться быть и еще чему-то другому. (Это проистекает из существа записи.)

Допустим, мы произвольно обозначили солнце как С. Тогда мы должны придерживаться той же произвольно выбранной системы записи и соответственно символически обозначить Землю, Луну, Юпитер и т. д. И если мы обозначаем планеты большими буквами, то в той же системе символизации отношения и свойства планет должны быть обозначены, например, строчными греческими буквами, и мы тогда не сможем уже обозначить Марс через М, а свойство быть круглым через О, так как это приведет к путанице.

3.3421 Какой-то частный способ обозначения может быть неважен, но всегда важно, что есть некий возможный способ обозначения

ния. И точно так же дело обстоит вообще в Философии: единичное оказывается неважным, тогда как Возможность каждого единичного дает нам некое объяснение сущности Мира.

Неважно, как именно мы обозначили Солнце и Землю. Важнее Возможность обозначить их тем или иным способом в принципе; так же в Философии: важно не то, скажем, существуют ли на самом деле простые Предметы, но логическая Возможность их существования, позволяющая ввести другие понятия и тем самым приблизиться к «некоему объяснению» сущности Мира.

3.343 Дефиниции — это правила перевода с одного языка на другой. Каждая корректная знаковая система должна быть переводима в любую другую в соответствии с этими правилами: и это и есть то, что все они имеют общим.

Мы можем дать определение (дефиницию) лишь путем перевода одной системы Знаков в другую. Мы можем записать мелодию нотами, переводя звуковысотные волновые сигналы в графические Знаки. Если нотная Запись переводит живую мелодию так, что не происходит деформации Смысла, т. е. между ними остается нечто общее, то, значит, эта система записи корректна. Но если мы «переводим» идею треугольника при помощи двух или четырех символов, будь то отрезки прямой или буквенные символы, то нечто существенное в идее треугольника эта запись не передаст. Такая запись будет некорректной, она не будет иметь общую Логическую Форму отображения с идеей треугольника.

3.344 То, что обозначает Символ, есть нечто общее для всех Символов, которыми можно заменить первый Символ в соответствии с правилами логического синтаксиса.

Значение символа Венера есть то общее для всех Символов, которые обозначают (тем или иным способом) Венеру. Однако не во всех контекстах Фосфор может быть заменен словом Геспер с сохранением Истинности высказывания. Например, нельзя сказать, что Фосфор — это Венера, видимая и утром и вечером. Таким образом, некоторые Символы друг по отношению к другу в определенных ситуациях не являются взаимозаменяемыми. Это свойство Куайн называл референтной непрозрачностью Знаков [Куайн 1981]. Очевидно, что для того, чтобы быть всегда взаимозаменяемыми с сохранением Истинности высказывания, Символы должны быть точными синонимами, т. е. быть, по сути, разными Знаками одного и того же Символа, как в примере со словами *языковеды* и *лингвисты*, которые всегда являются взаимозаменяемыми.

3.3441 Можно, например, общее для систем записи Истинностной Функции проявить так: это общее — то, что все они, например, могут быть заменены записями « $\sim p$ » («не p ») или « $p \vee q$ » (p или q). (Настоящим тот или иной способ обозначивает, как некая частная возможная запись может дать нам общее объяснение.)

Истинностная Функция — это Функция, аргументами которой являются Пропозиции со значениями «Истина» или «Ложь». Пропозиция p , ее отрицание $\sim p$ (не верно, что p), ее дизъюнкция с другой Пропозицией q ($p \vee q$, то есть или p или q) имеют общим Пропозицию p . Сравним:

Идет дождь	p
Не верно, что идет дождь	$\sim p$
Идет дождь, или падает снег	$p \vee q$

Все эти Пропозиции выражают один общий Смысл «Идет дождь». Если же мы напишем:

Падает снег	q
Не верно, что идет снег	$\sim q$
Падает снег, или идет дождь	$q \vee p$

то эти Пропозиции выражают один и тот же общий Смысл, полностью определяющий Пропозицию «Идет снег». Здесь важно разграничить дескриптивную (ассертивную) часть высказывания и его модальную часть, ту, которая определенным образом связывает Пропозицию с Реальностью. Поскольку Витгенштейн говорит о логическом синтаксисе, который не затрагивает по определению семантику (соотношение Знаков и денотатов), то Пропозиции p , $\sim p$ и $p \vee q$ эквивалентны, так как они выражают общую идею (Идет снег), в первом случае выраженную утвердительным предложением, во втором — в отрицательном, в третьем — в дизъюнкции с другим предложением.

3.3442 Комплексный Знак исчезает при анализе не произвольно, так как его исчезновение различно в каждой сложной Пропозиции.

Допустим, мы анализируем комплексное предложение «Если сейчас будет дождь, то мы не пойдем в лес», т. е. разлагаем его на простые (полностью проанализированные) Пропозиции. Очевидно, что данная Пропозиция представляет собой импликацию, антецедентом которой является утверждение (Сейчас пойдет дождь), а консеквентом отрицание (Мы не пойдем в лес = Не верно, что мы пойдем в лес):

$$p \rightarrow \sim(q)$$

Для того, чтобы получить в результате анализа Элементарные Пропозиции, мы должны прежде всего свернуть все логические связи. В какой

последовательности мы должны это делать? На это указывают скобки. То, что находится внутри скобок, сворачивается в последнюю очередь, так что вначале мы снимаем знак импликации и получаем два предложения: p и $\sim q$, причем второе не является полностью проанализированным, поэтому на втором этапе мы снимаем знак отрицания и получаем два логически простых предложения: «Сейчас будет дождь» и «Мы пойдем в лес». Если представить себе эти предложения идеальными Элементарными Пропозициями, то они, по идее, должны быть логическими Картинами соответствующих возможных Положений Вещей, не будучи, строго говоря, ни истинными, ни ложными. Это как будто некие дескриптивные заготовки для предложений.

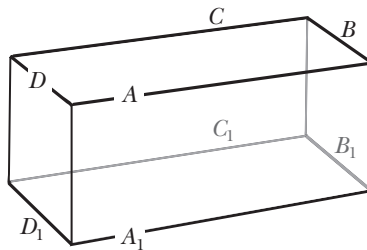
3.4 Пропозиция выгораживает себе некую позицию в Логическом Пространстве.

Существование этих логических позиций обеспечивается лишь существованием компонентов комплексной Пропозиции, осмысленных Пропозиций.

3.41 Пропозициональный Знак и Логические Координаты: они и суть эта Логическая позиция.

Мы переводим слово Ort в данном случае не как *место*, но как *позиция* под влиянием соответствующего замечания Э. Стениуса [Stenius 1960: 28]. Позиция — это место, логически связанное с другими, увязанное с ними в единую систему.

Допустим, некое предложение описывает одно из ребер параллелепипеда $ABCD$:



Поскольку Пропозиция — это Логическая Картина, то аналогия с логически понимаемым пространственным фрагментом напрашивается сама. Предположим, нам надо описать длину, ширину и высоту параллелепипеда. Мы записываем это в виде трех Пропозиций: AB равно 4 см; AD равно 1 см; AA' равно 1 см. Независимо от того, существует ли такой параллелепипед на самом деле, его позиция в Логическом Пространстве

выгорожена. Таким образом, существование позиций обеспечивается существованием компонентов. А Пропозициональный Знак, субститутом которого является параллелепипед, и Логические Координаты (задание сторон параллелепипеда), суть эти Позиции.

3.411 Геометрическая и логическая позиции соответствуют друг другу в том смысле, что они предполагают Возможность некой экзистенции.

В разобранном в предыдущем комментарии примере геометрически понятый параллелепипед и он же, понятый в логическом смысле, соответствуют друг другу в том плане, что определенное соотношение сторон и углов предполагает возможность существования именно такого пространства, но не само это пространство.

3.42 Если дана лишь одна Пропозиция, говорящая, что длина параллелепипеда равна 4 см, то тем самым в этом незаконченном, так сказать, логическом пространстве дана идея всего параллелепипеда, хотя мы и не знаем количественной характеристики остальных двух его «логических координат». Тем не менее мы знаем, что они должны быть.

Логическая сумма — это Пропозиция, являющаяся результатом дизъюнкции всех Пропозиций, являющихся компонентами («логическими слагаемыми») данной комплексной Пропозиции. Логическое произведение — Пропозиция, являющаяся результатом конъюнкции подобных компонентов комплексной Пропозиции.

Если мы опишем параллелепипед при помощи трех Пропозиций, указывающих соответственно его длину, ширину и высоту, то логическая сумма будет соответствовать поочередному перечислению каждой из сторон параллелепипеда, а логическое произведение — их одновременному заданию списком. Мысль Витгенштейна состоит в том, что каждая из трех Пропозиций, описывающих параллелепипед, должна предполагать наличие остальных Пропозиций и соответственно предполагать возможность их отрицания, логического сложения и логического умножения. Так, если мы говорим, что АВ является стороной параллелепипеда, то эта Пропозиция содержит возможность ее отрицания, логического сложения с другими и логического умножения на них (так как в само понятие параллелепипеда входит наличие именно трех измерений).

3.5 Примененный, продуманный Пропозициональный Знак есть Мысль.

То, что Мысль — это высказывание, которое предназначено к употреблению, уже продумано для этого и как будто готово слететь с уст, является

сы результатом предшествующих рассуждений о логическом синтаксисе. Здесь эта проблематика себя исчерпывает, и в дальнейшем речь пойдет о семантике, ибо —

4 Мысль — это Пропозиция, обладающая Смыслом.

Тем самым подразумевается, что Пропозиция, не обладающая Смыслом, не является Мыслью. Посмотрим, как это вытекает из предшествующих рассуждений Витгенштейна. Предположим, мы имеем бессмысленное предложение: «Треугольник добр». Эта Пропозиция не является ни истинной, ни ложной. Она не является также Картиной, а Мысль — это, по Витгенштейну, логическая Картина Реальности. Не является также эта Пропозиция соответствующей какому-либо Положению Вещей, то есть не является Логической Картиной, а стало быть, и Мыслью. Вот почему, по Витгенштейну, Мысль — это Пропозиция, обладающая Смыслом.

4.001 Совокупность Пропозиций представляет собой речевую деятельность.

Этот раздел логически и лейтмотивно соотносится с разделом 1.1. Как Мир является совокупностью Фактов (а не Вещей), так и язык является совокупностью Пропозиций (а не Имен). По-видимому, для Витгенштейна не существенно было разграничение между понятиями *язык* и *речь*, разработанное несколько раньше, чем он начал писать «Трактат», Ф. де Соссюром. Термин *Sprache* может означать и язык, и речь. Ср. у того же Соссюра в «Курсе общей лингвистики» следующий пассаж: «...немецкое *Sprache* соответствует французскому *langue* “язык” и *langage* “речевая деятельность”; немецкое *Rede* приблизительно соответствует французскому *parole*; однако в немецком *Rede* содержится дополнительное значение “ораторская речь” (= французскому *discours*)» [*Соссюр 1977: 52*]. Можно предположить, что поскольку для Витгенштейна важно разграничение Пропозиции (высказывания, *sentence-token*) и Пропозиционального Знака (предложения, *sentence-type*), то тогда с точки зрения соссюровской трихотомии язык — речь — речевая деятельность язык в понимании Витгенштейна, это совокупность Пропозициональных Знаков, а речь (или, точнее, речевая деятельность) — совокупность Пропозиций. Все же, если учитывать развитие теоретического языкознания XX века, то язык не совокупность, а система правил для построения высказываний (Хомский). Поэтому мы переводим здесь *Sprache* как речевая деятельность, т. е. язык в действии. Это кажется тем более верным, что Витгенштейн понимает язык, как и Мир, — не номинативно, а предикативно.

4.002 Человек обладает способностью строить речь, при помощи которой дает себя проявить любой Смысл без того, чтобы иметь какое-то представление о том, как и что обозначает каждое слово. — Подобно тому как мы говорим, не зная, как порождаются отдельные звуки.

Разговорная речь является частью человеческого организма, не менее сложной, чем он сам.

Для человека невозможно непосредственно вывести логику речи из нее самой.

Речь маскирует мысль. И так, что по внешней форме этой маскировки нельзя заключить о форме замаскированной мысли; поскольку внешняя форма маскировки вовсе не имеет целью выявить форму тела. Молчаливые сделки для понимания разговорной речи чрезмерно усложнены.

Исходя из этого раздела, можно заключить, что для Витгенштейна более первична идея производства Пропозиции, чем идея производства слова (Имени). Это соответствует пониманию языка трансформативной грамматики Хомского (и его продолжателей) как системы, обеспечивающей построение абстрактной синтаксической цепочки и лишь потом, на конечном этапе, заполняющейся конкретным фонетическим звучанием («Подобно тому, как мы говорим, не зная, как порождаются отдельные звуки»). Отсюда же закономерным является тезис о том, что язык — это часть человеческого организма. Знаменитый пассаж в 4.002: «Язык передевает мысли» (в нашем переводе: «Речь маскирует Мысль») — говорит об определенном сходстве между концепцией «Трактата» и гипотезой лингвистической относительности Э. Сепира—Б.Л. Уорфа, согласно которой реальность определяется языком, а не наоборот, как принято было думать в XIX веке. Но Витгенштейн не говорит, что речь искажает мысли, но утверждает, что она их только маскирует, драпирует, передевает (как и одежда только маскирует, а не искажает тело). В этом важнейшее отличие метафизики Витгенштейна от культурно-антропологической идеи Сепира-Уорфа, в соответствии с которой Реальностей столько, сколько языков, и Реальность индейца Северной Америки отличается от Реальности эскимоса в той же мере, в какой отличаются их языки [*Warf 1956*]. Но Витгенштейн говорит другое. Реальность одна. Она является совокупностью Фактов или, скорее, возможных Ситуаций. Мысль — Картина Факта. Пропозиция — Картина Мысли. Но не всегда за внешней оболочкой Пропозиции, которая внешне не похожа на Факт, можно разглядеть отображаемый Факт. Речевая деятельность может приукрашивать или обеднять мысли (как одежда тело), но она не может исказить их. Из-за того, что один Знак может быть реализован при помощи различ-

ных Символов, а один Символ относиться к разным Знакам, могут возникнуть определенные ошибки, нужно правильно проанализировать имеющиеся Пропозиции, привести речь и Мысль в однозначное соответствие при помощи логического синтаксиса. И тогда речь перестанет драпировать и маскировать Реальность.

4.003 Многочисленные Пропозиции и вопросы, написанные и заданные по поводу философских материй, не столько ложны, сколько лишены Смысла. Мы не можем ответить на вопросы подобного рода, мы можем лишь установить у них отсутствие Смысла. Многочисленные вопросы и Пропозиции философов покоятся на том, что мы не понимаем Логики нашей речи.

(Это вопросы такого же рода, как является ли добро более или менее тождественным красоте.)

И не удивительно, что глубочайшие проблемы на самом деле вообще не являются никакими проблемами.

В сущности, Витгенштейн упрекает традиционную Философию за то, что она принимает Пропозиции за реальные Факты. Философы задают вопросы, лишенные Смысла, т. е. неправильно оперируют с логическим синтаксисом. Добро не является более или менее тождественным красоте, потому что предикат *быть тождественным* исключает градуальное противопоставление и не может быть одноместным. В этом разделе впервые проявляется установка Витгенштейна, которая кульминирует в конце «Трактата», — установка не на углубление, а на снятие философских псевдопроблем.

4.0031 Вся философия — это «критика речи» (правда не в маутнерианском смысле). Заслуга Рассела в том, что он показал, что логическая Форма Пропозиции не нуждается в том, чтобы быть реальной Формой).

Фриц Маутнер — австрийский философ, один из предшественников Витгенштейна по критике языка наряду с Г. Герцом, К. Краусом и Г. Гофмансталем (см. [Janic-Toulmen 1973]). Впервые роль маутнеровских идей в творчестве Витгенштейна была подробно проанализирована в работе [Weiler 1970]. Заслугой Рассела, как о ней говорит Витгенштейн, было последовательное введение логической символики в язык логики и тем самым расчистка дороги на пути к достижению однозначного соответствия между речью и Мыслью.

4.01 Пропозиция — это Картина Реальности.

Пропозиция — модель Реальности, какой мы ее себе мыслим.

4.011 На первый взгляд, Пропозиция — нечто напечатанное на бума-

ге — никакая не Картина Реальности, которую бы та описывала. Но и ноты на первый взгляд не кажутся никакой Картиной музыки, и наша буквенная запись — Картиной нашей звуковой речи.

И все же эти знаковые системы даже в обычном смысле оказываются Картинами того, что они изображают.

Витгенштейн говорит о том, что конвенциональность, арбитrarность Знаков языка не препятствует ему в том, чтобы быть Картиной Реальности, так же, как, например, конвенциональность нотных Знаков не мешает им быть Картиной музыки. Для того чтобы Знак или совокупность Знаков могли быть Картиной, необходимо не внешнее сходство между ними, а изоморфизм их Логических Форм. Знак \downarrow не изображает сам по себе никакого звука. Для этого его нужно поставить на нотном стане в соответствующее место по отношению к ключу. Тогда он будет обозначать определенный звук, например «ля».

В иконическом смысле этот рисунок не похож на звук «ля», но, зная ключ и положение на нотном стане, мы можем достаточно точно отождествить этот Знак со звуком «ля» определенного регистра и долготы.

4.012 Очевидно, что Пропозиция, имеющая Форму « aRb », воспринимается нами как Картина. Здесь Знак, по-видимому, является аллегорией означаемого.

Так и пропозиция формы « aRb » не похожа на соответствующую «Мысль» «Луна меньше Земли». Но если мы знаем значение знаков a , b и R , то мы увидим логико-формальный изоморфизм между формой « aRb » и Пропозицией «Луна меньше Земли». Формальная запись станет логической Картиной Пропозиции.

4.013 И если мы вникнем в глубинную суть этой наглядности, мы увидим, что ей не мешают мнимые неправильности (вроде употребления \sharp и \flat в нотах).

Ибо эти неправильности тоже выстраивают то, что они должны проявить, но только иными способами.

Знаки \sharp и \flat означают соответственно повышение и понижение звука на полтона. Диез и бемоль могут стоять как при ключе, указывая на определенную тональность в целом, так и перед отдельными нотными Знаками, указывая, что, начиная с этого места, данный звук следует играть на полтона выше или ниже, что, как правило, может означать модуляцию, т. е. переход в родственную тональность. По-видимому, именно о последнем случае Витгенштейн говорит как о мнимых неправильностях, так как введение законов диеза и бемоля внутри нотного стана с точки зрения основной тональности является неким отклонением.

4.014 Грампластинка, музыкальная мысль, нотная строка, звуковые волны — все это находится друг к другу в отношении взаимного отображения, которое устанавливается между речью и Миром.

Все они имеют общее логическое строение. (Как в сказке о двух юношах, их лошадях и их лилиях. Они все в определенном смысле одно.)

Речь идет о сказке братьев Grimm «Золотые дети» (№ 85). В ней говорится о том, что золотая рыбка, пойманная стариком, предложила расчленить себя на шесть частей, из них две дать съесть жене старика, две — лошади, а две — закопать в землю. От съеденных двух кусков рыбки старуха родила двух золотых близнецов (героев сказки), лошадь родила двух золотых жеребят («их лошади»), а из двух закопанных кусков выросли две золотые лилии. Когда один из братьев уезжал, то, если с ним происходило что-то плохое, лилии привядали, а если бы он умер, они увяли бы совсем, так что второй брат всегда мог узнать, как обстоят дела у первого. В этом смысле они все — одно. Настоящий эпизод в «Трактате» является единственным примером введения в его ткань литературно-фольклорного материала, и это позволяет по-новому, с неожиданной стороны, взглянуть на его проблематику. Витгенштейн приводит пример сказки о юношах и лилиях, чтобы проиллюстрировать мысль о взаимном изоморфизме между различными знаковыми языками, и это понятно. Но тезис, в соответствии с которым «они все в определенном смысле одно», в контексте сюжета сказки позволяет говорить о неожиданном глубинном архаическом мифологизме основных идей «Трактата», связанных с теорией отображения (*Abbildung*). Прежде всего, это по-новому оттеняет его идею о том, что речь маскирует Мысль. Получается, что она маскирует ее, как определенная поверхностная (в генеративистском смысле) оболочка Знака (юноша, лошадь или лилия) маскирует сходство глубинного порядка. Ясно, что в сказке архаической подоплекой сюжета являются архаический близнецный миф и контагиозная магия (внелогическая «партипационная» [*Леви-Брюль 1994*] зависимость между поверхностными различными проявлениями единой сущности).

Это соответствует тому взгляду на язык и мышление в их историческом развитии, который можно назвать марристским в широком смысле и который говорит о том, что современное противопоставление Пропозиции и Реальности является результатом длительного историко-ментального процесса, в основании которого лежало полное неразграничение языка и Реальности и полное слияние высказывания с действием [*Лосев 1981*]. Конечно, Витгенштейн вряд ли мог быть знаком с идеями Н. Я. Марра и его ортодоксальных и неортодоксальных последовате-

лей — И. И. Мещанинова, А. Ф. Лосева, О. М. Фрейденберг (и это притом, что — не будем забывать — он чрезвычайно интересовался русской культурой и ездил в СССР в разгар марризма (1935)), но в 1930-е годы он внимательно читал «Золотую ветвь» Дж. Фрэзера, посвященную, в частности, проблеме контагиозности, и оставил о ней интереснейшие заметки [*Витгенштейн 1989b*], в которых критиковал Фрэзера за узкорационалистическое истолкование архаических ритуалов, претендуя тем самым на более глубокое их понимание. Как всегда, таким образом, в «Трактате» можно найти росток того, что потом отзывается в поздних работах Витгенштейна. Его картинная теория, на поверхности кажущаяся предельно дискретной и ритуализированной картиной соотношения языка и Мира, на глубине таит его диалектически противоположное архаическое понимание, которое в определенном смысле показывает, обнаруживает себя в той части «Трактата», которую обычно называют мистической и которая толкует о внезапных или празнаковых — т. е. мифологических по существу — отношениях между носителем языка и Логической Формой (ср. сходное понимание «Трактата» в книге [*Налимов 1979*]).

4.0141 То, что существует одно общее правило, благодаря которому музыкант может извлекать из партитуры симфонию и благодаря которому можно воспроизвести симфонию на грампластинке и в соответствии с первым правилом вновь вывести ее из партитуры, покоится на внутреннем сходстве этих, на первый взгляд совершенно различных видов изображения.

И это правило — закон проекции, проецирующий симфонию в нотную речь. Это правило перевода нотной речи в речь грампластинки.

Закон проекции, о котором говорит Витгенштейн, уже в каком-то смысле является частью его мистического взгляда на соотношение между носителем речи и Логической Формой. По сути, поверхностный слой его Мысли достаточно упрощен. Партитура представляет собой некоторую сложную последовательность разнородных систем Знаков, которая более или менее однозначно позволяет разным исполнителям играть более или менее одно и то же произведение. Эти системы суть звуки, паузы, партии различных инструментов, общий темп, соотношения между звуками по высоте и долготе. Но, используя опять-таки терминологию трансформационной грамматики, каждый дирижер воспроизводит лишь глубинную структуру произведения, поверхностная же структура каждый раз может довольно сильно различаться, на чем построено искусство музыкальной интерпретации. И эта невыговариваемая глубинная структура может быть настолько сложна, Логическая

Форма может быть настолько несводима к простым геометрическим или логическим формулам, что при серии переводов от реального семиотического целого может ничего не остаться. Так «Евгений Онегин», переведенный на китайский язык, а затем переведенный с китайского перевода вновь на русский, становится почти неузнаваем (пример Н. И. Конрада [*Конрад 1972*]). По сути, стопроцентно правило проекции работает только тогда, когда переводимые друг в друга системы изначально уже сильно кларифицированы. Так, например, обычная фрегевско-расселовская система логической записи может быть переведена в польскую систему Лукасевича и наоборот без всякого ущерба для обеих. И здесь не будет места для того мистического остатка, о котором так любит говорить Витгенштейн и который действительно так важен в языке (В. В. Налимов называет его континуальной стороной языка [*Налимов 1979*]).

4.015 Возможность всех этих иносказаний, всей изобразительной наглядности нашей проявляющей способности, покоится на Логике отображения.

Каждый такт партитуры соответствует определенному пространственному расположению инструментов внутри реального или идеального оркестра. Если мы можем рядом с партитурой «увидеть» весь оркестр, то даже если мы на мгновение отключим звук, мы увидим, что каждой записи в партитуре (кроме – в данном случае – обозначения степеней громкости) будет соответствовать определенное движение всех оркестрантов по отношению ко всем инструментам. Но при этом все-таки останется возможность того, что каждый оркестр сможет исполнять то или иное сочинение фундаментально по-разному, и эти гораздо более тонкие различия будут, как бы сказал любимый Витгенштейном Л. Толстой, подчиняться не законам простой арифметики, а законам интегрального исчисления, и, стало быть, простым глазом видны не будут.

4.016 Чтобы понять сущность Пропозиции, подумаем об иероглифах, которые целиком отображают описываемые Факты.

И из них выросло буквенное письмо, не потеряв того, что существенно для отображения.

4.02 Последнее видно из того, что мы понимаем Смысл Пропозиционального Знака без того, чтобы он был бы нам объяснен.

Строго говоря, этот пример следовало бы признать не вполне удачным, так как иероглифическое письмо всегда либо слоговое, либо словесное, т. е. иероглиф обозначает, условно говоря, Имя, а не Пропозицию (т. е. тем самым, не Факты, как утверждает Витгенштейн, а скорее, Пред-

меты). Однако мысль Витгенштейна тем не менее ясна. Представить себе то, что иероглиф – Картина Факта, психологически легче, чем то, что современная Пропозиция – Картина Факта. Но европейская «аналитическая» Пропозиция в определенном смысле развилась из синтетического инкорпорирующего слова-предложения; скорее, именно такого рода иероглиф имеет в виду Витгенштейн.

Поэтому Витгенштейн предпочитает понимать Смысл Пропозиционного Знака в целом как иероглиф. Он считает, что Смысл Пропозиции в целом может быть понят, даже если не объяснены ее части.

Например. Возьмем любое высказывание, как будто случайно услышанное в разговоре незнакомых людей: «Лапшин с Автономовым уехали в семерку».

Здесь не объяснено, ни о ком идет речь, ни куда они уехали. Тем не менее Смысл предложения случайному слушателю в целом ясен. Двое лиц мужского пола, известных говорящему, возможно, сослуживцы, покинули одно место с говорящим некоторое время назад и на каком-то транспорте отправились в некоторое место, может быть, учреждение, за номером семь.

4.021 Пропозиция – Картина Реальности, ибо если я понимаю эту Пропозицию, я узнаю изображаемую ею Ситуацию. И я понимаю Пропозицию без того, чтобы мне был разъяснен ее Смысл.

Этот раздел иллюстрирует предыдущий. Поняв предложение «Лапшин с Автономовым...» как Картину (возможной) Реальности, мы тем самым понимаем соответствующую ей Ситуацию.

Здесь также четко проартикулировано разграничение между объяснением (Erklärung) и пониманием (Verständnis). Можно понять Пропозицию, даже если не разъяснен ее Смысл. Объяснение – нечто дискретное и высказанное. Понимание – нечто континуальное и невысказанное. Объяснять – это значит всегда говорить. Понимать – это почти всегда молчать. («В этот момент он все понял» – возможный пример из романа. Подразумевается, что «Он при этом ничего не сказал»). Понимание может быть результатом взгляда, брошенного на Ситуацию, или результатом молчаливого «внимания» произносимой Пропозиции. Это понимание возможно как понимание Смысла Пропозиции, который она не высказывает, а обнаруживает (zeigt) (см. след. раздел).

4.022 Пропозиция обнаруживает свой Смысл.

Пропозиция обнаруживает, как обстоит дело, если она истинна. И она свидетельствует о том, что оно обстоит так.

Являясь Картиной, изоморфной по своей Логической Форме Реальности, Пропозиция «самым своим видом» показывает, обнаруживает

своей Смысл. Допустим, я слышу брошенную кем-то при мне фразу «Лапшин с Автономовым поехали в семерку». Я могу обнаружить, что она соответствует некоей Ситуации, когда двое мужчин едут на трамвае, скажем, в типографию. Или что они только что были в комнате и теперь их здесь нет. И если Пропозиция является Истинной, то Картина, которую я представляю, показывает, что имело бы место в этом случае. Пропозиция показывает Возможное Положение Вещей (Ситуацию) и свидетельствует об истинном, действительном Факте. Она показывает, обнаруживает Смысл, и говорит, свидетельствует о Значении. Различие между показанным, обнаруженным и сказанным и засвидетельствованным соответствует различию между пониманием и объяснением (см. 4.021), Смыслом и Значением, Реальностью и Миром.

4.023 Реальность должна проявляться через пропозицию путем простого «да» или «нет».

Для этого Реальность должна полностью описываться ею. Пропозиция — это описание Положения Вещей.

Как Предмет описывается по его внешним свойствам, так Пропозиция описывается по ее внутренним свойствам.

Пропозиция конструирует Мир, используя некие строительные подмости. Поэтому в Пропозиции можно видеть, как обстоит дело с Логикой, если эта Пропозиция истинна. Но можно *делать выводы* и из ложной Пропозиции.

Да означает «истинно», соответствует Реальности, *нет* означает «ложно», не соответствует Реальности. И хочется добавить: «А что сверх того, то от лукавого» (ср. идею отождествления Витгенштейна с Христом в книге У. Бартли [*Bartley 1973*]). Вообще говоря, все, что здесь говорится Витгенштейном, верно только применительно к индикативной модальности. Но верно и то, что слова-предложения «Да» и «Нет» — суть ответы на заданные вопросы.

Кажется, что Витгенштейн представляет себе дело таким образом:

Пропозиция:	Лапшин с Автономовым уехали в семерку
Истинностное Значение:	ДА НЕТ
	(ненужное зачеркнуть)

Но обычно истина выясняется при помощи ответов именно на вопросы, которые не утверждают Истинность или Ложность своего дескриптивного радикала, а вопрошают об Истинности или Ложности. Впервые на эту, казалось бы очевидную вещь указал в 1970-е годы Я. Хинтиikka [*Хинтиikka 1980*]. Однако в «Трактате» проблемы модальностей вообще не существует.

Не совсем понятно, что означает последняя фраза этого раздела. Что значит, что можно делать выводы из ложных Пропозиций. Означает ли это, что можно делать вывод из ложной Пропозиции, не зная того, что она ложная? Или имеется в виду, что даже ложная Пропозиция описывает некое возможное Положение Вещей и поэтому вывод из нее будет истинным в одном из возможных Миров, в котором эта Пропозиция была бы или могла быть истинной? Или что, осознав, Ложность ложной Пропозиции, можно сделать из нее правильные выводы? Или сделать ложные выводы, не понимая что пропозиция ложна?

В целом для понимания этого раздела следует помнить (напомнить), что слово Реальность имеет у Витгенштейна специфическое значение. Оно описывает как истинные, так и ложные Пропозиции; как существующие, так и возможные Положения Вещей (Ситуации). Реальность у Витгенштейна – это некий лабораторный коррелят Мира, примерно то, что сейчас называют возможным Миром или виртуальной Реальностью.

4.024 Понимать какую-то Пропозицию значит знать, чему случается быть, когда она является истинной. (Можно, стало быть, понимать ее, не зная, является ли она истинной или ложной.) Пропозиция понята, если поняты ее компоненты.

Итак, понимание – это понимание возможного состояния дел. И отсюда следует важный вывод, что понимание Смысла Пропозиции не зависит от ее истинности или ложности.

Например мне говорят: «М. уехал в Петербург». Я прекрасно понимаю смысл этой фразы, даже если точно знаю (или стопроцентно уверен в том), что это ложь.

4.025 Перевод с одного языка на другой происходит не так, что каждая Пропозиция одного языка переводится на соответствующую Пропозицию другого, скорее, переводятся лишь компоненты Пропозиции.

(И словарь переводит не только существительные, но и глаголы, и прилагательные, и союзы. И со всеми ними обходятся одинаково.)

4.026 Значения простых Знаков (слов) нужно прояснить так, чтобы мы их поняли. Но мы изъясняемся при помощи Пропозиций.

4.027 В сущность Пропозиции входит то, что она может передавать некий *новый* Смысл.

Смысл сказанного здесь, как мне кажется, в следующем. В структуре Пропозиции есть два полюса. Один – это простые Имена, которые должны быть усвоены по отдельности и переведены с одного языка на другой тоже по отдельности, а с другой стороны, все эти знаки комбинируются

лишь для того, чтобы передать некий новый Смысл (= некую новую информацию). Новый Смысл получается путем новых комбинаций из уже использованных лексических ресурсов, о чем прямо говорится в следующем разделе.

4.03 Пропозиция должна при помощи старого проявления передавать *новый* Смысл.

Пропозиция делится с нами Ситуацией и, стало быть, она должна быть *сущностно* соотнесена с этой Ситуацией.

И эта соотнесенность состоит в том, что она является ее Логической Картиной.

Пропозиция свидетельствует о чем-либо лишь постольку, поскольку она является такой Картиной.

4.031 В Пропозиции Ситуация разыгрывается словно в виде опыта.

Вместо утверждения: «Эта Пропозиция обладает таким-то и таким-то Смыслом» — можно прямо сказать: «Эта Пропозиция представляет такую-то и такую-то Ситуацию».

Ситуация — не действительный, и лишь возможный Факт. Соотносясь с веером возможных Ситуаций, Пропозиция при помощи «старого проявления», т. е. по-новому комбинируя уже использованные Знаки, несет новую информацию. Эта информация состоит в актуализации возможной Ситуации, в превращении Ситуации в действительный Факт, а Пропозиции — в Логическую Картину этого Факта.

4.0311 Одно Имя относится к одной Вещи, другое — к другой Вещи, и они объединены между собой, так образуется целое — как некая живая Картина — Положение Вещей.

Это уже знакомая мысль, мотивно продолжающая и прорабатывающая идею всеобщего изоморфизма между Миром и речью. Конечно, с лингвистической точки зрения или с точки зрения историка языковой культуры эта Картина является чистейшей фикцией. Так, в одном языке какой-то Смысл может быть передан при помощи одного слова, а в другом языке при помощи трех. Например, предложению «Зима» в русском языке соответствует «Das ist Winter» — в немецком. То, что в русском языке называется одним словом «рука» (или «нога»), в английском соответствует двум терминам — hand и arm для руки и foot и leg для ноги. И тот факт, что английское hand приблизительно соответствует русскому «кисть» ничего не говорит. Если следовать совету Витгенштейна и переводить слово за словом, то английское выражение «Shake your hands» надо перевести как «Потрясите ваши кисти», а не «Пожмите друг другу

руки». Если строить универсальный логический язык, то придется решать, какое имя является более фундаментальным: *hand* или *arm*, т. е. является ли рука в Картина Мира некоего универсального логического человека чем-то единым (как для русскоязычного) или чем-то составным (как для англоязычного). И может ли в таком случае этот универсальный логический язык действительно быть универсальным? (Ср. в этом плане бихевиористски ориентированные идеи Куайна [*Quine 1964*]).

4.0312 Возможность Пропозиции покоится на принципе представительства Предметов Знаками.

Моя главная мысль в том, что «логические константы» ничего не представляют. Логика Фактов не может быть ничем заменена.

Логическими константами Витгенштейн называет связки — отрицание, конъюнкцию, дизъюнкцию, импликацию и равенство. Мысль о том, что связки ничего не представляют, связана с учением Витгенштейна о тавтологиях как основе логических Пропозиций. Так, например, двойное отрицание является тем же самым, что и отрицаемое утверждение ($\sim\sim p = p$). Это означает, в частности, по Витгенштейну, что Знак « \sim » не является картиной никакой реальности, а является лишь вспомогательным средством символизации (см. также 5.254, 5.44).

4.032 Пропозиция лишь постольку является Картиной Ситуации, поскольку она логически расчленена.

(Пропозиция «*Ambulo*» тоже является составной, поскольку ее основа, встречаясь с другим окончанием, приобретает другой Смысл, так же как и ее окончание с другой основой.)

Ситуация является составным Положением Вещей, поэтому Пропозиция, изображающая ее, должна быть также логически сложной. В предложении «*Ambulo*» («Я гуляю») имплицитно содержится грамматическая форма первого лица и изъявительного наклонения, а также настоящего времени. Поэтому оно является логически сложным Знаком.

4.04 Пропозиция должна иметь столько же частей, сколько их имеет изображаемая ею Ситуация.

Они должны обладать одинаковой Логической (математической) сложностью (ср. с механикой Герца, с его положением о динамических моделях).

Пропозиция «Луна меньше Земли» содержит два имени и двуместный предикат, выражающий отношение. Соответственно столько же логических Предметов содержит и соответствующее Положение Вещей, которое можно изобразить графически как два круга, один из которых (Лу-

на) меньше другого (Земли). И это и есть одинаковая степень логической сложности.

В «Принципах механики» Г. Герца, книге, оказавшей большое влияние на формирование научно-философских воззрений раннего Витгенштейна, сказано, в частности: «Материальная система может быть рассмотрена как динамическая модель другой системы, когда связи внутри первой могут быть выражены такими координатами, которые удовлетворяли бы следующим условиям: (1) Число координат первой системы равно числу координат второй. (2) Существуют некоторые условия равенства координат обеих систем с соответствующим их распределением. (3) Посредством этого распределения координат выражения размеры смещения согласуются в обеих системах» (Цит. по: [Black 1964: 175]).

Но вообще говоря, иной раз бывает трудно поверить, что идея о соответствии Логической сложности Пропозиции и Положения Вещей высказывалась Витгенштейном всерьез. Например, если мы возьмем Пропозицию «компьютер сломался», то логическая сложность этой Пропозиции явно не соответствует тем сложным процессам, которые произошли в компьютере, в результате чего он сломался.

4.041 Эта математическая сложность, естественно, не может быть в свою очередь отображена. При отображении невозможно выйти за ее пределы.

4.0411 Если бы мы хотели то, что мы проявляем посредством « $(x). f x$ », проявить через замену индекса перед « $f x$ », например, на $(\text{Все}. f x)$, то этого будет недостаточно: мы не знали бы, что подлежит обобщению. Если бы мы хотели разъяснить это посредством некоего индекса « α » — вроде « $f(x_\alpha)$ », этого было бы недостаточно: мы не знали бы сферу действия квантора всеобщности. Если бы мы попытались это определить, введя в аргументное место нечто вроде « $(A, A). F(A, A)$ », этого было бы недостаточно: мы не смогли бы установить тождество переменных. Все эти способы обозначения недостаточны потому, что не обладают необходимой математической сложностью.

Здесь Витгенштейн продолжает развивать свою идею о том, что логическая Форма может быть только обнаружена (показана). Так, функция $(x) f x$ читается — для всех x x равно $f. (x)$ у Витгенштейна соответствует квантору всеобщности. Витгенштейн говорит, что если высказать тот Факт, что область Значений Функции распространяется на все объекты, связанные этим квантором, словами $(\text{Все}. f x)$, чтобы попытаться словами отобразить Смысл того, что показывает квантор, то это приведет к неудаче, потому что все равно будет неизвестно, о каких

именно объектах идет речь. Если же для того, чтобы уточнить это, мы поставим на место переменной индекс (α), то все равно, это тоже ничего бы не дало, так как при этом не была бы определена область действия квантора.

4.0412 По этой же причине недостаточно идеалистическое объяснение рассмотрения пространственных отношений через «пространственные очки», поскольку оно не может прояснить сложности этих отношений.

В статье «Философская значимость математической логики» Рассел писал: «Категории Канта — это розовые очки сознания; априорные истины являются ложными представлениями, возникшими благодаря этим очкам» (цит по: [Black: 177]). Человек, который видит мир через розовые очки, видит все в искаженном «розовом» свете. Но мы не можем представить себе очки, которые навязывались бы пространственными отношениями и в которых было то, чего бы мы до этого никогда не воспринимали.

4.05 Реальность сличается с Пропозицией.

4.06 Лишь потому Пропозиция может быть истинной или ложной, что она является Картиной Реальности.

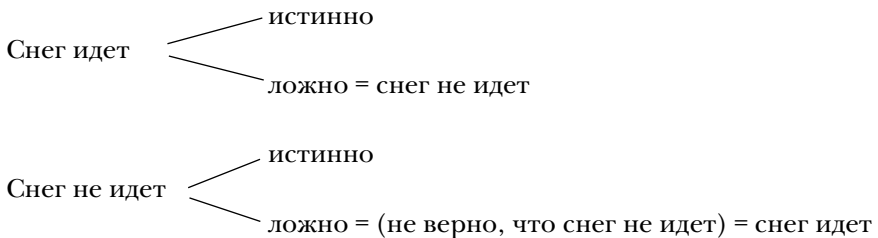
Истинность или ложность — понятия, выражающие отношение Пропозиции к Реальности. Будучи Картиной Реальности, Пропозиция, сличаясь с Реальностью, обнаруживает свое соответствие или несоответствие ей. Более радикально этот взгляд был выражен позитивистами второго Венского кружка, которые опирались на «Логико-философский трактат» и считали себя учениками Витгенштейна. Они выдвинули принцип верификации, в соответствии с которым только те Пропозиции могут считаться истинными или ложными, которые могут быть непосредственно сопоставлены с Реальностью, т. е. в первую очередь простые эмпирические Пропозиции, вроде «Сейчас идет снег» или «Термометр показывает 20 градусов Цельсия». Они были названы протокольными (см. [Шлик 1993]). Однако даже такие Пропозиции могут на проверку оказаться не тем, за что они себя выдают. Термометр может быть испорчен, а снег может оказаться тополиным пухом. При этом большинство и даже подавляющее большинство Пропозиций в реальной речевой деятельности вообще не могут быть подтверждены или опровергнуты. Например: «Империализм — высшая стадия капитализма»; «Если пойдет снег, мы будем кататься на санках»; «Что посеешь, то пожнешь»; «Пушкин — это наше все».

В этих пропозициях очень важной является модальная часть, которая сильно деформирует Истинностное Значение или уничтожает его вовсе. Не говоря уже об эксплицитных модальных высказываниях, таких, как: «Закрой дверь», «Курить воспрещается!», «Красть грешно»; вопросах, восклицаниях, молитвах и т. д. Именно поэтому Г. фон Вригт говорит о Мире «Логико-философского трактата» как об «узком» [Вригт 1986: 80]. И именно этими речевыми контекстами вплотную занялся Витгенштейн в поздние годы, когда он отказался от ряда положений «Трактата» и разработал учение о языковых играх (см. [Витгенштейн 1994: (Философские исследования, § 21 и след.)]).

4.061 Если не замечать, что Пропозиция имеет независимый от Фактов Смысл, можно легко поверить, что Истина и Ложь — равноправные отношения между Знаками и обозначаемыми.

Тогда можно было бы сказать, например, что « p » истинным образом обозначает то же самое, что « $\sim p$ » обозначает ложным образом и т. д.

Здесь мы встречаем напоминание о том, что Смысл Пропозиции не зависит от того, является ли она истинной или ложной. Если бы это было не так, то Истина и Ложь были бы такими же отношениями между Пропозицией и Реальностью, как отношение больше или меньше, слева или справа и т. д. Тогда отрицание «неверно, что p » утверждало бы то же, что утверждает Пропозиция p , но только мы приписали бы этой Пропозиции Истинностное Значение «ложно». Например, Пропозиция «Снег не идет» передавала бы то же Значение, что и Пропозиция «Снег идет», но только, так сказать, под ложным модусом. Но поскольку Истинностное Значение автономно от Смысла, то *снег идет* и *снег не идет* суть два разных Смысла, каждый из которых может иметь Значение Истины или Лжи.



Тот факт, что отрицание Пропозиции p совпадает с утверждением Пропозиции не- p , говорит о независимости Смысла от Истинностного Значения.

4.0621 То, что знаки « p » и « $\sim p$ » могут говорить об одном и том же, существенно. Это показывает, что знаку « \sim » в Реальности ничего не соответствует.

То, что в какой-то Пропозиции встречается отрицание, не является признаком, характеризующим ее Смысл ($\sim \sim p = p$).

Пропозиции « p » и « $\sim p$ » имеют противоположный Смысл, но им соответствует одна и та же Реальность.

Картина, проясняющая понятие Реальности: черное пятно на белой бумаге; можно описать форму пятна, указывая для каждой точки на поверхности, черная она или белая. Если точка черная, это соответствует позитивному Факту, если белая (не черная) — негативному Факту. Если я укажу точку на поверхности (фрегевское Истинностное Значение), это будет соответствовать предположению, которое было выдвинуто.

Но чтобы можно было сказать, черная это точка или белая, я должен, прежде всего, знать, когда я могу назвать точку черной, а когда белой; чтобы можно было сказать, что « p » истинно (или ложно), я должен определить, при каких обстоятельствах я называю « p » истинным и тем самым определяю Смысл Пропозиции.

Точка, в которой сходство теряется, следующая: Мы можем указать точку на бумаге, даже не зная, что собой представляют черный и белый цвета, но Пропозиции, лишенной Смысла, вообще ничего не соответствует, так как она не обозначает никакой Вещи (не имеет Истинностного Значения), свойства которой называются «Истиной» или «Ложью»; «является истинным» или «является ложным» — это не глаголы Пропозиции, как полагал Фреге, — скорее, то, что «является истинным», должно содержаться в глаголе.

Истинность и ложность, по Витгенштейну асимметричны, так как нельзя изъясняться при помощи ложных Пропозиций. Допустим, мы договорились всегда вместо любого утверждения говорить его отрицание, подразумевая при этом отрицаемое утверждение.

Например:

А. У меня сегодня день рождения.

Б. Я приду к тебе в гости.

А. Буду ждать тебя в шесть.

Б. Постараюсь не опоздать.

Теперь представим, что А и Б договорились изъясняться ложными пропозициями:

А. Неверно, что у меня сегодня день рождения.

Б. Я не приду к тебе в гости.

А. Неверно, что я буду ждать тебя к шести.

Б. Постараюсь опоздать.

Мысль Витгенштейна состоит в том, что даже в таком диалоге участники будут переводить эти квазиложные предложения в их отрицания. То есть, говоря: «Неверно, что у меня сегодня день рождения», человек на самом деле будет продолжать подразумевать противоположное.

Витгенштейн не разработал в «Трактате» Философию Лжи. В связи с 4.062 можно сказать, что когда человек лжет, он претендует на то, чтобы сказать нечто истинное. Бессмысленно лгать и при этом настаивать на том, что ты лжешь. Поэтому Ложь является функционально зависимой от Истины, является, так сказать, ее обратной стороной. Истина более фундаментальна и не парадоксальна, Ложь всегда парадоксальна, так как стремится прикинуться правдой. Ср. поздний афоризм Витгенштейна: «Даже сказать ложь, но сделать это отчетливо и ясно, значит уже сделать шаг на пути к правде» [Витгенштейн 1992].

p и $\sim p$ говорят об одном и том же с противоположных позиций. « \sim » чисто технически переводит высказывание из одного Положения Вещей в другое. Чистое отрицание (\sim) не характеризует Реальность и не характеризует Смысл Пропозиции. Поэтому $\sim\sim p = p$ — тавтология.

Предложения «Идет снег» и «Неверно, что идет снег» выражают противоположные Значения, но, по Витгенштейну, в некотором смысле им соответствует один Смысл и одна Реальность. Как и Ситуация, Реальность характеризует возможное Положение Вещей, а не действительное. Идущий снег как возможность (независимо от актуализации этой возможности) является Картиной Реальности:

<i>Действительное</i>	<i>Возможное</i>
Мир	Реальность
Факт	Ситуация
Значение	Смысл

В следующих абзацах этого раздела важно, как кажется, следующее: Наличие Истинностного Значения, хотя оно независимо от Смысла, необходимо для того, чтобы проявлять выражаемый Смысл. При этом в альтернативных возможных Мирах, что показывается на примере с черным пятном на белой бумаге, можно произвольно устанавливать критерии Истинности. Но если Пропозиция не является ни истинной, ни ложной, то она не имеет Смысла. Можно сказать, что все истинные или ложные Пропозиции должны иметь Смысл. Если известно, что Пропозиция истинна

или ложна, она тем самым осмысленна. Обратное, по-видимому, не верно. Пропозиция может быть осмысленной, если не известно, истинна она или ложна, но если известно, что Пропозиция ни истинна, ни ложна (нынешний король Франции лыс), то она лишена Смысла.

4.064 Каждая Пропозиция уже должна обладать неким Смыслом: утверждение не может придать ей Смысл, ибо оно само утверждает Смысл. И то же самое относится к отрицанию и т. д.

Но Пропозиция, если это действительно Пропозиция, по Витгенштейну, является а priori осмысленной, ей всегда можно подыскать истиннозначные основания для придания ей Смысла. Фраза о французском короле становится осмысленной, если ее поместить во временной контекст XVII или XVIII века. Тогда, в то время, когда во Франции были короли, это высказывание было то истинным, то ложным. После Наполеона III эта Пропозиция теряет Смысл. Но тем самым она перестает быть Пропозицией, так как употреблять ее отныне никому (кроме логико-философов) не придет в голову.

4.0641 Можно было бы сказать: Отрицание уже связано с Логической позицией, которое определяется отрицаемой Пропозицией. Отрицающая пропозиция определяет не некую другую Логическую позицию, по отношению к той, которая определяет отрицаемая Пропозиция. Отрицающая Пропозиция определяет Логическую позицию с помощью Логической позиции отрицаемой Пропозиции, описывая первую, как лежащую за пределами последней.

То, что отрицаемая Пропозиция вновь может подвергнуться отрицанию, показывает, что отрицаемое уже является Пропозицией, а не просто заготовкой для Пропозиции.

Смысл этого рассуждения мне кажется следующим: отрицающая Пропозиция (Неверно, что идет снег) описывает логическую позицию отрицаемой Пропозиции (Идет снег) не как некую равноправную ситуацию, лежащую рядом, как все, находящееся за пределами отрицающей Ситуации, — т. е. определяет ее через отрицаемую Ситуацию (ср. пример с черным пятном на белой бумаге). То есть тот факт, что не идет снег — это не какой-то отдельный факт, существующий наравне с отрицаемым фактом, а это все факты, за исключением отрицаемого, все факты, находящиеся за границами отрицаемого факта.

4.1 Пропозиция устанавливает существование и несуществование Положений Вещей.

То есть Пропозиция переводит Положения Вещей (область возможного) в Факты (область действительного). При этом существование соот-

носится с утверждением и истинностью, а несуществование — с отрицанием и ложностью.

4.11 Совокупность истинных Пропозиций составляет естественные науки (или совокупность естественных наук).

4.111 Философия вовсе не является естественной наукой.

(Слово «Философия» должно означать нечто, стоящее над или под, но не рядом с естественными науками.)

Эта идея близка логическому позитивизму в его физикалистской окраске. В свете развития методологии истории науки, в частности идей Т. Куна [*Кун 1975*], это утверждение можно описать только культурно-опосредованно. Так, для античной физики утверждение о неделимости атома истинно, а для современной — ложно. Для Ньютона утверждение о существовании конечной скорости света было бы ложным, для эйнштейновской физики оно истинно.

Витгенштейн хочет подчеркнуть, что естественные науки имеют дело с наблюдаемыми объектами (для теоретической физики современного типа это утверждение вообще неверно, для классической квантовой — с большими оговорками), и поэтому там в принципе имеет смысл говорить об истинности и ложности.

4.112 Цель Философии — Логическое прояснение Мысли.

Философия вовсе не учение, скорее, работа. Философская работа состоит, в сущности, в разъяснении.

Результат Философии не «философские Пропозиции», скорее, процесс прояснения Пропозиций.

Философия должна прояснить и строго установить границы Мысли, которые без того являются словно бы мутными, расплывчатыми.

Философия стоит над (или под науками), и поэтому она уже находится под ударом, так как она должна прояснить Мысли при помощи слов, а это, как уже отчасти показал Витгенштейн, почти невозможно. Если прояснение Пропозиций само не является Пропозицией, а неким процессом, то этот процесс все равно состоит из Пропозиций. Мы знаем философов, которые ничего не написали (Иисус, Сократ, Диоген-Киник), но мы не знаем ни одного философа, который бы ничего не сказал. Здесь, в этих Мыслях, кроется мучительная загадка и проблема жизни самого Витгенштейна, стремившегося в прямом Смысле слова этого выражения «жить не по лжи», в соответствии со своим собственным учением. Получается тем не менее, что учение состоит в постоянном отрицании учения. С одной стороны, нельзя вообще ничего не говорить и оставаться при этом философом хоть в сколько-нибудь европейском

смысле. С другой стороны, нельзя продолжать говорить и при этом следовать учению, в соответствии с которым говорить на философские темы вообще бессмысленно. Один из философов, критиков Витгенштейна, остроумно назвал «Логико-философский трактат» «блестящим провалом» [Bergman 1966].

4.1121 Психология не более родственная Философии, чем любая другая естественная наука.

Теория познания — это Философия психологии. Не соответствуют ли мои штудии в области знаковых систем изучению процесса Мысли, которые философы считали столь важными для исследования Философии Логики? Только они чаще всего запутывались в незначительных психологических исследованиях, и подобная опасность подстерегает и мой метод.

Антипсихологизм — существенная черта «Трактата», в принципе характерная для философии XX века. Это было связано, по-видимому, с тем, что традиционная психология XIX века ассоциировалась с первым позитивизмом, с вульгарным естественно-научным мышлением последователей Конта и Спенсера. Психолог второй половины XIX века — это физиологический редуционист, отрицающий человеческую душу. Психоанализ начала века не воспринимался как продолжение этой редуционистской психологии.

4.1122 Дарвиновская теория имеет не больше отношения к Философии, чем любая другая естественно-научная гипотеза.

Господство теории Дарвина во второй половине XIX века в начале XX века сменилось скептическим отношением к ней, вследствие реэсхатологизации и ремифологизации культуры и падения престижа идеи прогресса и энтропийного течения времени в целом (подробнее см. [Руднев 1986]). Виталистические креационистские теории происхождения человека в это время стали не менее популярны, чем дарвинизм.

4.113 Философия проводит границу внутри спорных областей естествознания.

Идея границы — одна из важнейших в «Трактате». Всегда, когда речь заходит о границе, тем самым говорится о границах языка и мышления. (5.6. *Границы моей речи указывают на границы моего Мира*). Философия, цель которой — прояснение языка, проводит границу между правильным и неправильным употреблением языка в науке, служа как бы своеобразным судьей научности любой гипотезы.

4.114 Она должна устанавливать границу мыслимому и тем самым немислимому. Она должна проводить границу немислимого, исходя из мыслимого.

Философия, указывая на правильное и неправильное употребление языка, указывает на то, что может быть помыслено (сказано) и на то, что не может быть помыслено в витгенштейновско-фрегевском значении этого слова. Примером нарушения этого правила в «Трактате» является, согласно Витгенштейну, теория типов Рассела (см. 3.332. — 3.333).

4.115 Она становится обозначением того, что невысказываемо, ясно представляя то, что может быть сказано.

Из предшествующего изложения видно, что невысказываемым является феномен Логической Формы. Из дальнейшего изложения, в частности, того, что называют мистическим учением Витгенштейна, ясно, что невысказываемым являются прежде всего этические и эстетические высказывания. Язык, как скажет Витгенштейн в «Философских исследованиях», должен показать человеку, где следует остановиться.

4.116 Все, что вообще может быть помыслено, может быть помыслено ясно. Все, что возможно высказать, возможно высказать ясно.

Этот тезис один из главных позитивных девизов «Трактата», вынесенный в предисловие как, в сущности, одно из главных философских открытий его автора. Исходя из своей идеи изоморфизма Логической Формы и Возможности Пропозицию любой сложности свести к Элементарным Пропозициям, Витгенштейн не видит причин для того, чтобы в том, что касается взаимоотношений между языком и Миром, оставались какие-то неясности. Это не значит, что обо всем можно говорить ясно. Правило другое: если об этом абсолютно точно невозможно сказать ясно, значит это из той области, о которой вообще нельзя сказать никак. То есть либо надо искать пути для ясности, либо оставить попытки передать при помощи семиотических средств то, что при помощи этих средств принципиально непередаваемо.

4.12 Пропозиции могут изобразить всю Реальность, но они не могут изобразить то, что они должны иметь общим с Реальностью, благодаря чему они могут ее изображать, — Логическую Форму.

Логическая Форма — чтобы ее можно было изобразить, — должна быть в состоянии поставлена рядом с Пропозицией, за пределами Логики, то есть за пределами Мира.

4.121 Пропозиции не могут изобразить Логическую Форму, она отражается в них.

То, что отражено в речи, не может быть изображено в ней.

То, что проявляет себя в речи, не может быть проявлено нами посредством речи.

Пропозиция обнаруживает Логическую Форму Реальности.

Она указывает на нее.

Итак, можно говорить обо всем, но только не о Логической Форме. Это предложение как раз показывает, что у Философии в ее традиционном понимании нет никаких шансов. Однако, говоря о том, что нельзя говорить о Логической Форме, Витгенштейн каким-то образом все же говорит о ней, что было прежде всех замечено Расселом [*Russell 1980*]. Нельзя просто указать на Логическую Форму (как об этом говорится в следующем разделе), так чтобы это молчаливое указание стало одновременно и Философией, и не Пропозицией.

Здесь можно выделить пять основных терминов, при помощи которых Витгенштейн обсуждает проблему Логической Формы:

изображать	darstellen
отражать	spiegeln
проявлять	ausdrücken
обнаруживать	zeigen
указывать	weisen

При этом первый глагол противопоставлен всем остальным. Если *A* изображено, то тем самым *A* не отражено, не проявлено, не обнаружено, не указано.

A — это Логическая Форма, Возможность того, чтобы Имена в Пропозиции соединялись изоморфно тому, как соединяются Предметы в Положении Вещей. Логическую Форму нельзя выразить эксплицитно при помощи слов, так как если мы скажем: «Логическая Форма предложения «Луна меньше Земли» заключается в том, что и там и там три элемента», то и у этого последнего предложения будет своя Логическая Форма. И если мы ее захотим выразить словами «Логическая Форма предложения «Логическая Форма предложения «Луна меньше Земли» заключается в том, что и там и там три элемента» заключается в том, что и там и там имеет место включение одного предложения в другое», то ясно, что мы приходим к бесконечному регрессу. Отсюда витгенштейновское представление о порочности теории типов Рассела.

4.1211 Таким образом, Пропозиция «*fa*» обнаруживает, что в ее Смысл входит предмет *a*, пропозиции «*fa*» и «*ga*» — что и в той и в другой говорится об одном и том же Предмете.

Если две Пропозиции противоречат друг другу, это обнаруживается в их Структуре; также, если одна следует из другой и т. д.

Допустим, мы сравниваем два предложения: *Земля круглая* и *Земля заселена живыми существами*, где *круглая* обозначим за O , а свойство быть заселенным живыми существами — за S . Логическая структура этих предложений изоморфна в том смысле, что в обоих говорится о Земле — $O(a)$ и $S(a)$. Это обнаруживается в их символике. Если мы выскажем противоречащие друг другу предложения *Земля круглая* и *Земля некруглая*, то противоположность Логической Формы будет также видна из символической записи $O(a)$ и $\sim O(a)$.

4.1212 То, что можно показать, нельзя сказать.

Но Витгенштейн утверждает гораздо более сильную Мысль: что Логическая Форма не только не изображается, но и не может быть изображена. Можно ли принять этот тезис, высказанный в такой категорической форме? То, что можно обнаружить, нельзя сказать. Все, что можно показать, нельзя высказать. Допустим, я показываю книгу и говорю: «Это книга». Я одновременно показываю ее и называю ее. По-видимому, Витгенштейн все же хочет сказать: «Все, что можно *лишь* показать, нельзя сказать». Например, то, что может быть услышано лишь при помощи слуха, нельзя увидеть. Нельзя пересказать адекватно содержание инструментального музыкального произведения, хотя его можно записать графически нотами и в этом смысле увидеть. Все же кажется, что Витгенштейн увлекся красотой, эвфоническим богатством этой фразы и выразил мысль неточно:

Was gezeigt werden kann, kann nicht gesagt werden.

Он, конечно, имел в виду, что Логическую Форму можно только показать, а сказать о ней нельзя.

Допустим, мы сделали глобус, и этот глобус похож на Землю. Он имеет с ней общую Логическую Форму отображения. Так же, как и Земля, он крутится вокруг наклонной оси, и на нем в соответствующих пропорциях изображены океан и суша. Все это будет входить в Логическую Форму отображения, Логическую Форму Реальности. Но как высказать тот Факт, что глобус является моделью Земли? Мы можем сказать просто: Глобус похож на Землю. Но будет ли это описанием Логической Формы, общей для глобуса и Земли? Нет. Это будет предложение, описывающее Ситуацию, в соответствии с которой глобус похож на Землю. Таким образом, мы не описали Логическую Форму похожести глобуса на Землю, а высказали новую Пропозицию, говорящую о похожести глобуса на Землю, у которой есть своя Логическая Форма, Форма похожести этого

предложения на Ситуацию похожести глобуса на Землю. Если же мы захотим в свою очередь описать эту новую Логическую Форму и сказать: «Пропозиция “Глобус похож на Землю”» имеет общую Логическую Форму с Ситуацией «Глобус похож на Землю» или просто «Пропозиция “Глобус похож на Землю” похожа на Ситуацию “Глобус похож на Землю”», то нам понадобится еще одна Пропозиция, имеющая свою, уже третью Логическую Форму, – и это будет бесконечный регресс. Ситуация подобного рода остроумно описана современником Витгенштейна Дж. У. Данном в книге «Серийное мироздание», где говорится, как некий сумасшедший художник сбежал из дома умалишенных и стал рисовать Картину всей вселенной. Он нарисовал ландшафт, который он видел перед собой.

Но он чувствовал, что чего-то не хватало. Не хватало его самого, рисующего Картину. Тогда он нарисовал себя, рисующего Картину, которую он видел перед собой.

Но и это его не удовлетворило, так как здесь не хватало его самого, наблюдающего за ним самим, рисующим Картину. И он стал рисовать третью Картину и т. д. [Dunne 1930]. По Витгенштейну, правильная Картина только одна, первая. Все остальное – бесплодная попытка сказать то, что и так есть в картине. Картина и так указывает на то, что она нарисована кем-то с определенной позиции. Картина сама обнаруживает свою Логическую Форму.

4.1213 Теперь нам понятно наше чувство: мы располагаем правильным Логическим пониманием, если все в порядке в нашей знаковой системе.

Для того, чтобы не было сбоев в изображении, говорит Витгенштейн, нужно привести в порядок систему символизации, т. е. привести ее в соответствие с правилами логического синтаксиса так, чтобы один знак не обозначал несколько десигнаторов.

4.122 Мы можем в некотором смысле говорить о формальных свойствах Предметов и Положений Вещей или о свойствах Структуры Фактов и в том же смысле о формальных отношениях и структурных отношениях.

Вместо свойство Структуры я скажу «внутреннее свойство»; вместо отношение Структуры – «внутреннее отношение».

Я ввожу здесь эти выражения, чтобы выявить основания весьма распространенного у философов смешения внутренних и внешних отношений.

Существование подобных внутренних свойств и отношений нель-

зя тем не менее проявить внутри Пропозиции, которая изображает эту ситуацию при помощи внутренних свойств данной Пропозиции.

4.1221 Внутренние свойства Факта мы можем также назвать Чертой этого Факта. (В том смысле, в котором говорят о чертах лица.)

Основная суть этих параграфов состоит в том, что внутренние свойства объекта, или его формальные свойства, не могут быть описаны при помощи предложения, но обнаруживаются в самой структуре предложения. Так, неотъемлемым формальным свойством предмета «шар» является свойство быть круглым. Мы говорим: «Шар круглый». И здесь при сравнении с реальным шаром мы убеждаемся, что он действительно круглый. Но описать это формальное свойство шара словами, не впадая в бесконечный регресс, мы не можем. То, что шар круглый, показывает сама поверхность шара.

То же можно сказать и о формальных отношениях. Например, об отношении «Земля больше Луны». Впоследствии, как рассказывал Мур, Витгенштейн счел выражения «внутренние свойства» и «отношения» неудачными и говорил о «грамматических отношениях» [Moore 1959: 295].

4.123 Свойство является внутренним, если невозможно представить, что Предмет им не обладает.

(Этот синий цвет и тот находятся по отношению друг к другу во внутреннем отношении более светлого и более темного. Невозможно представить, чтобы эти два предмета не находились в этом отношении друг к другу.)

(Здесь неопределенному употреблению слов «свойство» и «отношение» соответствует неопределенное употребление слова «Предмет».)

Пример, приводимый Витгенштейном, либо неудачно выражен, либо непонятен. Предметы относятся друг к другу как более светлый и более темный только при условии ровного и равномерного по силе света, освещающего их. Если на более темный предмет падает более яркий свет, а более светлый затемнен, то более светлый может казаться более темным.

4.124 Пропозиция не выражает существование внутреннего свойства некой возможной Ситуации, скорее, оно проявляется в Пропозиции, изображающей эту ситуацию при помощи внутреннего свойства данной Пропозиции.

Признавать за Пропозицией формальное свойство столь же бессмысленно, как отрицать за ней это свойство.

Здесь Витгенштейн продолжает развивать мысль о том, что не может быть высказано, а лишь обнаруживает себя. Внутреннее свойство, гово-

рит Витгенштейн, не выражает сама Пропозиция, оно не заявлено словами, а только проявляется в структуре Пропозиции. Например, *Земля круглая*. Внутреннее свойство Земли быть круглой не выражается словами *Земля круглая*, а проявляется в Пропозиции «Земля круглая» как внутреннее свойство Ситуации (в данном случае, принимаемой нами за Факт), которую изображает Пропозиция. Ведь если бы Значение (внутреннее свойство Земли) выражалось самими словами *Земля круглая*, а не тем Фактом, что эти слова являются Логической Картиной Ситуации, заключающейся в том, что «Земля круглая», то тогда Пропозиция «Земля круглая» была бы бессмысленным набором звуков. Она ничему бы не соответствовала. То есть когда мы говорим: «Земля круглая», свойство быть круглым возникает от отношения отображения между Землей, ее круглостью и Пропозицией, утверждающей, что Земля круглая.

Если бы мы сказали: «Земля безумная», то здесь не было бы обозначено никакого внутреннего свойства, так как не было бы такого экстенционала «безумная Земля», с которым можно было бы соотнести подобную Пропозицию.

Поэтому и приписывать Пропозиции, и отрицать у нее наличие формального (внутреннего) свойства бессмысленно. Внутреннее свойство выражает логику отображения между Пропозицией и Ситуацией (Фактом), и поэтому не может быть произвольно приписано Пропозиции или отнято у нее.

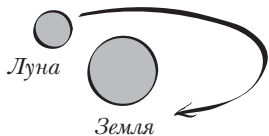
4.1241 Нельзя различать Формы, говоря, что одна имеет одно свойство, а другая другое; ведь это предполагает, что имеет какой-то Смысл присваивать некое свойство некоей Форме.

«Земля круглая». «Вода жидкая». По Витгенштейну, нельзя сказать, что слово Земля отличается от слова Вода тем, что первая обладает внутренним свойством быть круглой, а вторая внутренним свойством быть жидкой, ведь это означает, что мы можем по собственному произволу утверждать, что Земля круглая, а вода жидкая, и наоборот. То есть мы не можем сказать: «Пусть денотат имени Земля будет обладать внутренним свойством быть круглой, а денотат имени Вода — быть жидкой». Внутреннее свойство присуще Формам только благодаря тому, что они являются Логическими отображениями элементов Мира.

4.125 Существование внутреннего отношения между возможными ситуациями проявляется в речи посредством внутреннего отношения между Пропозициями, которые их изображают.

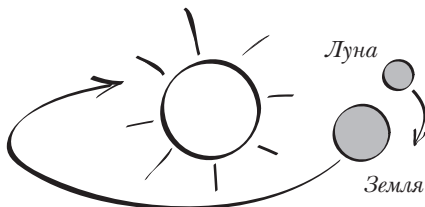
По аналогии с 4.123 можно сказать, что отношение является внутренним, если невозможно представить себе, что сравниваемые предметы им не обладают. Сравним две Ситуации:

Ситуация 1



Луна вращается вокруг Земли

Ситуация 2



*Луна вращается вокруг Земли,
и Луна и Земля вращаются вокруг Солнца*

Отношение «вращения вокруг» проявляется в том, что Луна в обоих случаях является объектом вращения, Солнце — субъектом, а Земля является субъектом по отношению к Луне и объектом по отношению к Солнцу.

4.1251 Здесь окончательно решается спорный вопрос о том, «являются ли все отношения внутренними или внешними».

Данный раздел является откликом на полемику, которая велась в начале века между абсолютными идеалистами — прежде всего Ф. Брэдди, — с одной стороны, и Муром и Расселом, с другой (подробно см. об этом [Рассел 1993]). Идеалисты склонны были считать все отношения внутренними; Рассел и Мур — внешними. Витгенштейн считает, что абсурдно рассуждать о природе всех отношений, так как внутренние отношения — это отношения совсем особого рода, а не разновидности одного рода.

4.1252 Ряды, упорядоченные внутренними отношениями, я называют формальными рядами.

Числовой ряд упорядочен не внешними, а внутренними отношениями. Как и ряд пропозиций « $a R b$ ».

« $(\exists x) : a R x . x R b$ »,

« $(\exists x, y) : a R x . x R y . y R b$ », и так далее.

(Если b стоит в одном из таких отношений к « a », то я говорю, что b следует за a .)

Витгенштейн приводит пример внутреннего отношения следования одного числа за другим в числовом ряду. Смысл этого примера в том, что следование одного числа за другим является столько же внутренне присуще числам, как свойство быть больше или меньше других чисел. Так, например, то, что пять меньше шести, является внутренним свойством пяти. То есть невозможно себе представить, чтобы пять не было бы меньше шести. Так и отношения следования шести после пяти является столько же неотъемлемым для пяти и шести, т. е. внутренним отношением.

Формулы читаются так. Существуют такие x , что a находится в отношении к x и x находится в отношении к b . Существуют такие x и y , что a находится в отношении к x и x находится в отношении к y и y находится в отношении к b — отношении следования. Смысл формулы в том, что всегда есть такое число, которое следует за a перед b , стало быть b всегда следует за a .

4.126 В том смысле, в котором мы говорим о формальных свойствах, мы теперь можем говорить также о формальных понятиях.

(Я ввожу это выражение, чтобы прояснить причину смешения формальных понятий с подлинными понятиями, которое проходит через всю старую логику).

То, что нечто подпадает под формальное понятие в качестве его объекта, не может быть проявлено в Пропозиции. Но это проявляется в Знаке самого этого объекта. (Имя обнаруживает, что оно обозначает объекты; числовой Знак, что он обозначает число и т. д.)

Формальные понятия не могут быть изображены в противоположность подлинным понятиям посредством Функций.

Ибо их признаки, формальные свойства не проявляют себя как Функции.

Проявление формального свойства есть черта лишь определенного рода Символов.

Знак признака формального понятия является характерной чертой всех Символов, Значения которых подпадают под это понятие.

Проявление формального понятия является поэтому пропозициональной переменной, в которой лишь эта характерная черта остается неизменной.

4.127 Эта пропозициональная переменная обозначает формальное понятие, а ее Значение — те объекты, которые подпадают под это понятие.

4.1271 Каждая переменная является Знаком какого-то формального понятия. Поскольку каждая переменная представляет собой не-

кую неизменяемую форму, которой обладают ее Значения и которую можно понимать как формальное свойство этих Значений.

Можно сказать, что под формальными, или мнимыми, понятиями Витгенштейн понимает слова и выражения, выражающие класс конкретных понятий, т. е. такие слова, как цвет, число, объект — в противоположность таким подлинным конкретным понятиям, как красный, два, солнце. По мнению Витгенштейна, формальные понятия означают по-другому, чем подлинные понятия, и поэтому их нельзя смешивать. Когда нечто подпадает под формальное понятие, например, под понятие числа, это, по Витгенштейну, не может быть сказано словами. В предложении «Это яблоко — красное» тот факт, что красное является разновидностью формального понятия «цвет», проявляется в его Логической Форме как Возможности соединения с определенными предметами. Так, красным может быть яблоко, кирпич, шар, но число два или нота не могут быть красными, так как они в принципе могут быть вообще лишены цвета.

Формальное понятие выражается, согласно Витгенштейну, пропозициональной переменной. И сама переменная, а не ее аргумент, является значением формального понятия. « X — зеленое» — пропозициональная переменная, выражающая формальное понятие «цвет». А конкретные Пропозиции «Этот луг — зеленый», «Трава зеленая» выражают те конкретные предметы, которые подпадают под формальные понятия цвета.

Значения переменной формы могут также носить только формальный характер.

4.1272 Так переменное имя « x » — подлинный Знак мнимого понятия *объект*. Там, где слово «Предмет» («Вещь», «Сущность») употребляется корректно, оно проявляет себя в исчислении понятий посредством переменных имен.

К примеру, в Пропозиции: «Существует два Предмета, которые... посредством» ($\exists x, y$) ...».

Там, где оно употребляется по-другому, наподобие подлинного слова-понятия, возникает мнимая Пропозиция, лишенная смысла.

Так, к примеру, нельзя сказать «существуют предметы» вроде того, как говорят: «Существуют книги». Также нельзя: «Существует 100 Предметов» или «Существует x Предметов».

И вообще не имеет смысла говорить о числе всех Предметов.

То же касается слов «комплекс», «Факт», «Функция», «число» и т. д.

Все они обозначают формальные понятия и в исчислении понятий изображаются посредством переменных, а не Функций или классов. (Как полагали Фреге и Рассел.)

Такие выражения, как «1 — это число», «существует только один нуль» и подобные им, лишены Смысла.

(Стало быть, бессмысленно говорить «Существует только одна единица», так же как не имело бы Смысла сказать « $2 + 2$ в 3 часа равно 4».)

Представление о формальных псевдопонятиях, которое развивает Витгенштейн, ведет к его теории тавтологичности предложений Логики. Действительно, что означают слова Предмет или Факт? Они не означают ничего определенного. Предмет — это слово, которое обозначает все, что может быть названо посредством Имени, а Факт — все, что может быть описано истинной Пропозицией. Поэтому нельзя сказать ничего о количестве всех Фактов или Предметов, так же как нельзя перечислить все Имена и Пропозиции. По Расселу и Тарскому, имена и предметы суть объекты метауровня, другого класса по сравнению с конкретными словами *стол*, *кошка* и конкретными Пропозициями. Как мы видели, Витгенштейн отвергает теорию типов, поэтому, по Витгенштейну, нельзя сказать «Существуют Предметы», но можно сказать лишь «Существуют столы», «Существуют книги» и т. д. Потому что в Пропозиции «Существуют книги» квантор существования говорит: «Существуют такие предметы, которые являются книгами». В витгенштейновском символизме: $E(x): x = a$.

То есть высказывание с квантором существования выделяет Предметы определенного вида среди других предметов. Когда мы говорим: «Существуют книги», то подразумевается, что книги отличаются от стульев, которые также существуют. Когда же мы говорим: «Существуют Предметы», то это равносильно тому, чтобы сказать: «Существуют такие Предметы, которые являются Предметами». И это значит не сказать ничего.

Говорить, что 1 — это число — бессмысленно, потому что в понятии «один» и так содержится то, что оно является числом и ничем, кроме числа. Число — абстрактное псевдопонятие, и его нет смысла определять при помощи конкретных формулировок, как не имеет смысла говорить, что $2 + 2 = 4$ в 3 часа дня, так как это равенство не зависит от конкретного времени вычисления.

4.12721 Формальное понятие уже существует вместе с Предметом, который подстраивается под него. Нельзя поэтому вводить Предметы формального понятия в качестве исходных понятий. Нельзя также вводить в качестве исходного понятия, например, понятие Функции (как поступал Рассел) или вводить понятие числа и одновременно его дефиницию.

4.1273 Если мы хотим выразить общую Пропозицию « b следует за a » как $R b (\exists x) : a R x . x R b$, $(\exists x, y) : a R x . x R y . y R b$, ..., то Общий член

формального ряда может быть проявлен лишь при помощи переменной, поскольку понятие «член этого формального ряда» является *формальным* понятием. (Фреге и Рассел упустили это из виду; способ, которым они хотели проявить общую Пропозицию, был поэтому ложен; он содержал в себе некий порочный круг.)

Мы можем определить первый член формального ряда, задавая его первый член и общую форму Операции, посредством которой образуется следующий член из предыдущей Пропозиции.

4.1274 Вопрос о существовании формального понятия лишен Смысла. Ибо ни одна Пропозиция не может ответить на такой вопрос.

(Нельзя, например, стало быть, спрашивать: «Бывают ли неанализируемые субъектно-предикативные Пропозиции?»)

4.128 Логические Формы *не-считны*.

Поэтому в Логике не бывает привилегированных чисел и поэтому не существует никакого философского Монизма или Дуализма и т. д.

Поскольку для Витгенштейна формальное понятие — это переменная, оно связано с подлинным понятием взаимозависимой координативной связью. И поэтому нельзя сказать, что из них первично — формальное понятие числа или конкретные понятия 1, 2, 3. Они скоординированы. Первое выступает в виде логического обобщения последнего. Подробное рассмотрение идей Фреге и Рассела в этой связи см. в кн.: [Black 1964: 203–205].

Но поскольку формальные понятия — это мнимые понятия, то вопрос об их существовании равносителен вопросу «Существуют ли числа?» или «Существуют ли предметы?» По Витгенштейну, такие вопросы не имеют смысла, поскольку формальные понятия существуют до тех пор, пока существуют соответствующие им подлинные понятия. По сути запрет на вопрос о существовании формальных понятий является косвенным ударом по метафизике. Получается, что нельзя задавать вопросы: «Существует ли Бог? Мир? Душа?»

И поскольку нельзя говорить о существовании формальных понятий, то нельзя говорить о том, сколько имеется формальных понятий. Например, бессмысленно задавать вопрос: «Сколько Предметов имеется в мире?» Сразу встает вопрос — Каких именно Предметов? Отсюда Витгенштейн делает вывод об отсутствии метафизической привилегированности какого-либо числа, и, стало быть, о бесполезности спора о том, лежит ли в основе всего нечто единое (монизм) или двойственное (дуализм). Это второй удар Витгенштейна по метафизике, следующий сразу за первым.

4.2 Смысл Пропозиции — ее соответствие или несоответствие возможному существованию и несуществованию Положений Вещей.

Смысл Пропозиции не следует смешивать с ее Истинностным Значением. Смысл задается логическим свойством Пропозиции как Картины Реальности. При этом Картина соответствует возможному Положению Вещей, а не действительному. Например, шар *a* больше шара *b*. Эта Пропозиция выражает соответствие или несоответствие возможному Положению Вещей. Чтобы эта Пропозиция приобрела истинностное Значение, т. е. стала истинной или ложной, нужно, чтобы она начала соответствовать действительному Факту.

4.21 Простейшая Пропозиция, Элементарная Пропозиция утверждает существование некоего Положения Вещей.

4.211 Знаком Элементарной Пропозиции является то, что ни одна другая элементарная Пропозиция не может находиться в отношении противоречия к ней.

Элементарные Пропозиции – важнейшее понятие, введенное Витгенштейном для обозначения простейшей Пропозиции, обозначающей Положение Вещей, являющейся его Логической Картиной. Логической Картиной Ситуации является комплексная Пропозиция. Элементарная Пропозиция является в той же мере логико-семантической абстракцией, в какой простой Предмет и Положение Вещей являются атомистическо-онтологической абстракцией. Витгенштейн также никогда не приводил примера Элементарной Пропозиции, и его комментаторы тоже не пришли к единому выводу, соответствует ли это понятие чему-либо в обычном языке. Тем не менее, на этом понятии строится все дальнейшее логическое учение, развернутое в разделе 5.

Важнейшим свойством Элементарных Пропозиций является их независимость друг от друга, подобно тому, как независимыми друг от друга являются Положения Вещей. Так, Пропозиции «Земля круглая» и «Луна меньше Земли» не зависят друг от друга. На самом деле эти примеры, строго говоря, не являются примерами Элементарных Пропозиций, так как Земля и Луна, строго говоря, не являются простыми Предметами. Тем не менее, они являются относительно элементарными: в них имеется один предикат и нет логических связок, которые являются признаком сложной Пропозиции. Итак, будучи независимыми, Элементарные пропозиции не могут противоречить друг другу. При этом отрицание Элементарной Пропозиции не является Элементарной Пропозицией, так как является противоречием отрицаемой Пропозиции.

4.22 Элементарная Пропозиция состоит из Имен. Она является совокупностью, сцеплением Имен.

Как уже говорилось, таких предложений в реальной речевой деятельности не бывает. Предикат является неотъемлемой частью самой идеи предложения. Однако если понимать витгенштейновские Имена так, как их понимал Э. Стениус, т. е. считать Именами простые предикаты, то в этом случае можно хоть как-то представить себе Элементарную Пропозицию: Земля круглая. Луна меньше Земли. Следует иметь в виду, что Элементарная Пропозиция является дополнительным коррелятом витгенштейновского Имени, которое также является неким идеальным объектом. Корреляция эта состоит в том, что Имя, по Витгенштейну, обладает только Значением, но не обладает Смыслом, а Элементарная Пропозиция обладает только Смыслом, но не обладает Значением, так как она является картиной возможного Положения Вещей, а не реального Факта. Если рассуждать в аналогичных сосюррианских терминах, то Имя у Витгенштейна — это минимальная семантическая единица языка (*langue*), а Элементарная Пропозиция — минимальная логико-семантическая единица речи (*parole*). Но эта аналогия является более или менее метафорической. Ее смысл лишь в том, что Имя олицетворяет обозначение субстанционального, стабильного в Мире — Предметов, а Элементарная Пропозиция олицетворяет обозначение акцидентального, переменчивого в Мире — Положений Вещей.

4.221 Очевидно, что анализируя Пропозицию, мы должны прийти к Элементарной Пропозиции, которая заключается в непосредственном соединении имен. Здесь возникает вопрос о том, как осуществляется соединение.

Витгенштейн считает, что любая Пропозиция может посредством анализа быть разложена на Элементарные. Приведем пример такого анализа с той поправкой, что моделью Элементарных Пропозиций будут обыкновенные простые предложения.

Земля имеет форму шара, она больше Луны,
и на ней существует жизнь.

Если Землю обозначить за *a*, Луну — за *b*, возможную на Земле жизнь — за *M*, форму шара — за *S* и отношение *больше, чем* — за *R*, то формула этого предложения будет такой:

$a(S). a R b. a(M).$

Эта формула ясным образом является конъюнкцией трех составляющих:

$a(S); a R b; a(M).$

Каждый конъюнкт и будет простым предложением — моделью витгенштейновской Элементарной Пропозиции.

4.2211 Даже если Мир бесконечно сложен, так что каждый Факт состоит из бесконечного числа Положений Вещей, а каждое Положение Вещей — из бесконечного числа Предметов, даже тогда должны существовать Предметы и Положения Вещей.

Это требование обусловлено тем, что Предметы и Положения Вещей составляют основания неизменной субстанции Мира, без которой было бы невозможно ни его существование, ни изменение.

4.23 Имя появляется в Пропозиции только в совокупности с Элементарной Пропозицией.

4.24 Имена — это простые Символы, я обозначаю их отдельными буквами (« x », « y », « z » и т. п.).

Элементарную Пропозицию я записываю как функцию имен в Форме (« $f x$ », « $\phi (x, y)$ » и т. д.

Или обозначаю их буквами p, q, r и т. п.

Поскольку Имя никогда не выступает изолированно, то его единственным первичным контекстом является Элементарная Пропозиция. То есть для Витгенштейна имя Стол является таким же псевдопонятием, как число. Стол для него всегда входит в некое конкретное Положение Вещей. Например, «Это стол». Если мы имеем пропозицию *В комнате стоит письменный стол*, — то она анализируется на Элементарные Пропозиции типа *Это — стол. Этот стол — письменный. Этот стол стоит в этой комнате.*

4.241 Употребляя два Знака с одним и тем же Значением, я проявляю это, ставя между ними знак « $=$ »; « $a = b$ », означает, стало быть: знак « a » заменим на Знак « b ».

(Если я ввожу некое уравнение с неким новым Знаком « b », определяя, что он должен заменить ранее известный Знак « a », то я записываю уравнение — дефиницию — (как Рассел) в Форме « $a = b$ Def.». Дефиниция — это правило для Знаков.)

4.242 Выражения Формы « $a = b$ » являются, стало быть, лишь вспомогательным изобразительным средством: они ничего не говорят о Значении Знаков « a » и « b ».

В этих разделах Витгенштейн вводит правило для знака равенства, смысл которого в том, что это именно правило для Знаков, а не для денотатов. Более радикально Витгенштейн расправляется со Знаком равенства гораздо позже, в 5.3–5.55311 (см. соответствующие комментарии.)

Хочет ли здесь Витгенштейн сказать, что равенство Знаков не означает равенства Значений? Что если мы, например, утверждаем: Утренняя Звезда = Вечерняя Звезда, — из этого не следует, что мы говорим об одном и том же? Нет, не следует. Но в сфере Значений от этого ничего не меняется. Мы только приравниваем два Знака, утверждая тем самым, что они говорят об одном и том же; но они не говорят того, о чем именно они говорят. Они уравнивают план выражения, говоря тем самым об одном плане выражения, но не говорят ничего о плане содержания. Например, Утренняя Звезда — это планета Венера, видимая на утреннем небе — ничего не говорит о Значении Знаков Утренняя Звезда и Венера. Значения Имен реализуются, по Витгенштейну, лишь в Пропозициях, но уравнение для Витгенштейна не является Пропозицией, это тавтология, ничего не говорящая о мире. $a = b$ производно от $a = a$. Исследователи послевитгенштейновской логики, в первую очередь Куайн, показали, что выражение $a = b$ не полностью тождественно выражению $a = a$, так как a не всегда может быть заменено на b с сохранением истинности. Пример Куайна:

Джорджоне = Барбарелли

Джорджоне назвали так за его высокий рост

Оба эти высказывания истинны. Однако замена имени Джорджоне на имя Барбарелли превращает (2) в ложное высказывание: *Барбарелли назвали так за его высокий рост* [Куайн 1982: 87].

4.243 Можем ли мы понять два Имени, не зная, обозначают ли они одну и ту же Вещь или две разные Вещи? — Можем ли мы понять Пропозицию, в которой встречаются два Имени, не зная, означают ли они одно и то же или разное?

Знай я Значение одного английского и одного равнозначного ему немецкого слова, то невозможно было бы, чтобы я не знал, что они равнозначны; невозможно, чтобы я не мог перевести их с одного языка на другой.

Такие выражения, как « $a = a$ » или производные от них не являются ни Элементарными Пропозициями, ни вообще осмысленными Знаками. (Об этом будет сказано ниже.)

На первый вопрос безусловно следует ответить отрицательно. Мы не можем понять Значений Имен, если мы не знаем, одно это Имя или два разных. На второй вопрос ответить труднее. Допустим, имеется пропозиция «Он взял a и положил b на стол». Если не знать, означают ли слова a и b одно или разное, можно ли считать, что мы понимаем это предложение? Допустим, «Она взяла со стола кольцо и положила безделушку на стол». Но мы при этом знаем значение обоих слов. Спрашивается,

как можно вообще ставить вопрос, означают ли два знака одно или разное, если вообще неизвестны их значения? Тем не менее, на второй вопрос, если я правильно его понимаю, я бы ответил утвердительно: *можно* понять Пропозицию, не зная Значения всех входящих в нее Знаков. Например, мы можем понять предложение «Она взяла *a* и положила *b* на стол» как «Она взяла какую-то вещь и положила ее на стол», или «Она взяла какую-то одну вещь и положила какую-то другую вещь на стол». Одно из пониманий будет неверным. Но это и есть точный ответ на вопрос Витгенштейна.

Можем ли мы понять предложение, в котором встречаются два Имени, не зная, означают ли они одно или разное? Ответ такой. Мы можем понять его правильно или неправильно. Но сказать, что мы вовсе не понимаем это предложение, как мы не понимаем предложение на непонятном нам языке, мы не можем.

Но Витгенштейн говорит также и о другом. Его мысль такая. Само по себе уравнение $a = b$ ничего не говорит о Значении. Тогда зачем оно вообще нужно? Это вопрос, равносильный тому, зачем нужны математика и логика? Витгенштейн считает, что они в определенном смысле не нужны; что, показывая структуру Мира, они ни говорят ничего о сущности Мира.

4.25 Если Элементарная Пропозиция истинна, стало быть, Положение Вещей существует; если Элементарная Пропозиция ложна, такого Положения Вещей не существует.

4.26 Указание всех истинных Элементарных Пропозиций полностью описывает Мир. Мир полностью описывается при помощи указания всех Элементарных Пропозиций вместе с указанием того, какие из них истинные, а какие ложные.

Вспомним, что Мир определяется как совокупность Фактов, т. е. существующих (истинных) Положений Вещей (и их комбинаций), описываемых Элементарными Пропозициями (и сложными Пропозициями). Что же это за Мир, который можно задать списком Элементарных Пропозиций? Конечно, это во многом идеальный Мир, и реально такая процедура описания Мира при помощи указания полного списка Элементарных Пропозиций не может состояться, так как пока мы будем описывать одни Положения Вещей, другие успеют измениться за это время. Таким образом, вопрос стоит лишь о теоретической Возможности такого описания. Это описание является безучастным и внеоценочным. Оно не будет отличать падение камня на Землю и на голову человека, поскольку исключает все модальности и оценки (ср. с «Лекцией об этике» 1929 г. [Витгенштейн 1989а]).

4.27 Относительно существования и несуществования n Положений

Вещей существует $K_n = \sum_{v=0}^n \binom{n}{v}$ возможностей.

Могут существовать все эти комбинации Положений Вещей, других не существует.

4.28 Этим комбинациям соответствует такое же число возможностей истинности — и ложности — n элементарных Пропозиций.

$K = 2^n$, поскольку у каждого Положения Вещей имеется две возможности — существования и несуществования, то n — показатель числа Положений Вещей. Таким образом, для одного Положения Вещей будут возможны $2^2 = 4$ таких возможности: 1) оба Положения Вещей истинны; 2) первое Положение Вещей ложно, а второе — истинно; 3) первое Положение Вещей истинно, а второе — ложно; 4) оба Положения Вещей — ложны. 2^n — это также число Истинностных Возможностей Элементарных Пропозиций, соответствующих данным Положениям Вещей (подробно см. 4.31).

4.3 Истинностные Возможности Элементарных Пропозиций означают возможное существование и несуществование Положений Вещей.

4.31 Истинностные Возможности можно изобразить схематически следующим образом («И» означает истинно, «Л» ложно). Ряды «И» и «Л» под рядом Элементарных Пропозиций обозначают в легко понимаемой символикe их истинностные Возможности):

Поскольку Положение Вещей — это лишь Возможность Факта, то Витгенштейн говорит, что у каждой Пропозиции имеются Истинностные

p	q	r	p	q	r
И	И	И	И	И	И
Л	И	И	Л	И	Л
И	Л	И	И	Л	
И	И	Л	Л	Л	
Л	Л	И			
Л	И	Л			
И	Л	Л			
Л	Л	Л			

Возможности — т. е. Возможности существования или несуществования данного Положения Вещей в возможном мире. Эти Истинностные Воз-

возможности Витгенштейн изображает в виде матриц. У одной Элементарной Пропозиции могут быть две Истинностные Возможности — она может быть либо истинной (И), либо ложной (Л) — правый столбец матрицы. У двух Элементарных Пропозиций может быть соответственно четыре Истинностных Возможности — они могут быть 1) одновременно истинными (ИИ); 2) одновременно ложными (ЛЛ); 3) первая может быть истинной, а вторая — ложной (ИЛ) и 4) первая — ложной, а вторая — истинной (ЛИ). У трех Элементарных Пропозиций может быть 8 истинностных Возможностей — левый столбец.

4.4 Пропозиция есть проявление соответствия и несоответствия с истинностными Возможностями Элементарных Пропозиций.

Итак, у каждой Элементарной Пропозиции есть две Истинностных Возможности — Истина и Ложь. Неэлементарная Пропозиция, выражающая существующий или несуществующий Факт, переводит эти потенциальные Возможности в реальные положения дел. Если Пропозиция истинна, она реализует Истинностную Возможность «И», если ложна — «Л». Допустим, мы имеем Пропозицию p , состоящую из двух Элементарных Пропозиций r и q . Например: *Земля круглая и больше Луны* — есть конъюнкция двух условно Элементарных Пропозиций: *Земля круглая* и *Земля больше Луны*. Сложная Пропозиция является проявлением соответствия Истинностных Возможностей «И» Элементарных Пропозиций *Земля круглая* и *Земля больше Луны*.

4.41 Истинностные Возможности Элементарных Пропозиций являются предпосылки Истинности или Ложности Пропозиции.

4.411 С первого же взгляда кажется вероятным, что введение Элементарных Пропозиций обеспечивает основу для понимания всех других видов Пропозиций. Действительно, понимание общих Пропозиций весьма ощутимо зависит от понимания Элементарных Пропозиций.

Пропозиция является проявлением Предпосылок своей Истинности. (Поэтому Фреге совершенно правильно помещает их вначале в качестве толкования знаков своего исчисления понятий. Однако фрегевское толкование понятия Истинности ложно: Если бы «Истина» и «Ложно» были бы подлинными Предметами и аргументами в $\sim p$ и т. д., то Смысл « $\sim p$ » не мог бы определяться фрегевской дефиницией.)

По Витгенштейну, если даны Элементарные Пропозиции, то из них можно построить все мыслимые Пропозиции. И как дом построен из кирпичей, так каждая картина Мира построена из Пропозиций. И как каждая стена зависит от того, из каких кирпичей она сложена, так общие Пропозиции зависят от Элементарных Пропозиций.

4.42 Относительно согласования и несогласования Пропозиции с возможностями истинности у Элементарной Пропозиции имеется

$$\sum_{k=0}^{k_n} \binom{k_n}{k} = L_n \text{ возможностей.}$$

Пропозиции на схеме в 4.442 даны в виде импликации Элементарных Пропозиций ($p \rightarrow q$). Импликация истинна (Истинностные Возможности согласованы), если 1) и антецедент p , и консеквент q оба истинны; 2) если антецедент p ложен, а консеквент q истинен, и 3) если оба они ложны. Если антецедент истинен, а консеквент ложен, импликация ложна.

4.44 Знак, возникающий из идентификации значка «И» и истинностной Возможности, — это Пропозициональный Знак.

От того, как в конкретном случае проявляется связь между Элементарными Пропозициями внутри Пропозиции, будет зависеть Истинность или Ложность Пропозиции. В случае с импликацией Ложность Пропозиции зависит от Ложности антецедента при Истинности консеквента. В случае, когда Пропозиция представляет собой конъюнкцию Элементарных Пропозиций, Пропозиция будет истинна только в том случае, когда истинны оба конъюнкта, в остальных случаях она будет ложной. В записи Витгенштейна:

p	q	p, q
и	и	и
л	и	л
и	л	л
л	л	л

4.441 Ясно, что комплексу Знаков «Л» и «И» не соответствует никакой Предмет (или комплекс Предметов); не в большей мере, чем горизонтальным и вертикальным строкам или скобкам. «Логических Предметов» не существует. Аналогично, естественно, что для всех Знаков, являющихся проявлением того же, что схема «И» и «Л».

Фреге толковал Истину и Ложь как Имена. Витгенштейн толкует их как Функции, логические псевдообъекты, строительные подмости в здании Картины Мира. Поэтому штрих Фреге, означающий, что Пропозиция истинна, Витгенштейн трактует как чисто формальный знак. Предложение не может быть истинным по чисто логическим основаниям, как не может быть Картины а priori. Картина всегда должна что-то отражать, а Пропозиция — говорить о фактах.

Последовательность Истинностных Возможностей, о которых говорится в данном разделе, есть формула конъюнкции Элементарных Про-

позиций p и q , состоящей из двух частей: последовательность *ИИЛИ* соответствует матрице, где первое *И* – истинность Пропозиции при истинном антецеденте и истинном консеквенте; второе *И* – истинность при ложном антецеденте и истинном консеквенте; *Л* – ложность Пропозиции при ложном антецеденте и истинном консеквенте; последнее *И* – истинность при ложном антецеденте и ложном консеквенте.

4.442. Так, например,

p	q	
И	И	И
Л	И	И
И	Л	
Л	Л	И

— есть Пропозициональный Знак.

Истинностные возможности p	$p \vee \sim p$	p	$\sim p$	$p \& \sim p$
	Условия истинности p			
ИЛ	ИИ	ИЛ	ЛИ	ЛЛ

(Фреговский «штрих утверждения « \vdash » логически не имеет никакого значения; он только показывает у Фреге (и Рассела), что эти авторы считают означенные ими Пропозиции истинными.

Следовательно, « \vdash » в той же малой степени является частью сложной Пропозиции, как, например, ее номер. Пропозиция не может свидетельствовать о собственной истинности.)

Если последовательность истинностных Возможностей в схеме устанавливается при помощи правила комбинации раз и навсегда, то уже последняя колонка является проявлением условий Истинности. Запишем эту колонку в ряд, и тогда пропозициональным Знаком будет «(ИИЛИ) (p, q)» (число мест в левых скобках определяется числом членов в правых).

В данном случае $L = 2^2$ — это число условий истинности Элементарных Пропозиций, т. е. соответствие или несоответствие их своим Истинностным Возможностям. По сравнению с числом Истинностных Возможностей число условий Истинности всегда соответственно в два раза больше. Например, для одной Элементарной Пропозиции существует две Истинностные Возможности (быть истинной или быть ложной). Две Истинностные Возможности одной пропозиции (ИЛ) дают четыре условия истинности:

Первый столбец дает условия истинности при дизъюнкции Пропозиций и ее отрицания. Эта Пропозиция будет всегда истинной. Второй

столбец – истинностные условия одной пропозиции (ИЛ), третий – истинностные условия отрицания этой Пропозиции (ЛИ), четвертый – истинностные условия конъюнкции Пропозиции и ее отрицания – эта конъюнкция всегда будет ложна (ЛЛ), т. е. является противоречием.

Таким образом, Пропозициональный Знак – это соотнесение того случая, когда Пропозиция может быть истинной с соответствующими Истинностными Возможностями Элементарных Пропозиций. Так, Пропозициональный Знак –

p	q	
И	И	И
Л	И	И
И	Л	Л
Л	Л	И

– является разверткой импликации $p \rightarrow q$. Первая строка: если p и q истинны, то вся импликация истинна; вторая строка: если p ложно, а q истинно – вся импликация истинна; третья строка: если p ложно, а q истинно – вся импликация ложна; четвертая строка: если p и q ложны – вся импликация истинна.

Третий вертикальный столбец и выражает условия истинности пропозиции (p, q) ($p \rightarrow q$), т. е. выражает условия истинности импликации.

Этот столбец в дальнейшем записывается Витгенштейном горизонтально как ИИЛИ (p, q) . Это означает, что пропозиция $p \rightarrow q$ истинна при трех истинностных возможностях (ИИ, ЛИ и ЛЛ) и ложна при одной (ИЛ).

Знаки И и Л, скобки, кавычки и линии, по Витгенштейну, не соответствуют никаким объектам реальности, так как могут быть заменены другими знаками и взаимно аннигилировать, как двойное отрицание аннигилирует отрицание: $\sim\sim p = p$. Знак Фреге Витгенштейн считает лишним, так как пропозиция не может сама эксплицитно заявлять о своей истинности – в соответствии с основной идеей Витгенштейна это лишь проявляется в структуре пропозиции.

4.45 Для n элементарных Пропозиций имеется L_n возможных групп условий Истинности.

Группы условий Истинности, принадлежащие к истинностным Возможностям некоторого числа элементарных Пропозиций, могут быть упорядочены в ряд.

Формула $L = 2^{2^n}$ фигурировала в 4.42: для двух Элементарных Пропозиций имеется восемь условий истинности, которые группируются в ряд, как это показано в 4.442 (см. также 3.101).

4.46 Среди возможных групп условий Истинности может быть два экстремальных случая.

В одном случае Пропозиция является истинной для всех истинностных Возможностей Элементарной Пропозиции. Мы говорим, что условия Истинности тавтологичны.

В другом случае Пропозиция для всех истинностных Возможностей является ложной: условия истинности *контрадикторны*.

В первом случае мы называем Пропозицию Тавтологией, во втором случае — Противоречием.

Учение Витгенштейна о Противоречиях и Тавтологиях, в отличие от многих других сторон его доктрины, изложено предельно ясно и является одним из немногих в «Трактате», которые прочно вошли в математическую логику [*Черч* 1959]. При этом Тавтология играет всюду в «Трактате» гораздо большую роль, чем Противоречие, так как Тавтологиями являются все законы логики. Витгенштейн расширяет область Тавтологий, утверждая, что Тавтологиями являются не только законы логики, но и все выведенные из них логические Пропозиции. По Витгенштейну, вся логика тавтологична. И логические Пропозиции не являются подлинными Пропозициями, так как у них нет условий Истинности: их Истинностные Возможности равны ста процентам.

4.461 Пропозиция обнаруживает то, что в ней говорится, Тавтология и Противоречие — то, что в них не говорится ничего.

Тавтология не имеет условий Истинности, ибо она является безусловно истинной; а Противоречие не является истинным ни при каких условиях.

Тавтология и Противоречие являются бессмысленными (подобно точке, из которой две стрелки расходятся в противоположных направлениях).

(Я, например, ничего не знаю о погоде, когда я знаю, что дождь идет и не идет.)

Витгенштейн отказывает Противоречию и Тавтологии в осмысленности, что отчасти противоречит его тезису о независимости Смысла предложения от его Истинностного Значения. То есть он говорит, что если утверждается, что «Дождь идет», мы при этом не знаем, истинно или ложно это предложение, мы тем не менее в состоянии понять его Смысл. Но если мы утверждаем, что «Дождь идет и дождь не идет», то

мы, не сопоставляя это утверждение с действительностью, можем сказать, что такое положение дел ничему не соответствует (у него нулевой экстенционал, по выражению К. Льюиса [*Льюис 1983*]), поэтому мы можем сказать, что Противоречие бессмысленно. Если бы мы могли подумать, что такая ситуация, когда идет дождь и дождь не идет, возможна, тогда у Пропозиции появился бы Смысл. Ученик Витгенштейна Г. фон Вригт, разработавший свой вариант многозначной логики, имеющий наряду со значениями «истинно» и «ложно» значения «и истинно, и ложно» и «ни истинно, ни ложно», рассматривает как раз этот пример с дождем и говорит, что он соответствует ситуации, когда непонятно, идет ли дождь или он уже кончился [*Вригт 1986: 566–567*].

Таким образом, можно представить себе ситуацию, когда Противоречие осмысленно. Вернее, можно представить себе такой логико-методологический контекст, который оправдывает его осмысленность. Онтология «Трактата» не допускает такой осмысленности. Что касается Тавтологии — высказывания типа дизъюнкции двух элементарных Пропозиций с противоположным истинностным Значением — «Дождь идет или дождь не идет», то она а priori ничего не говорит о Мире, так как заранее подходит ко всем ситуациям (по К. Льюису, она имеет универсальный экстенционал [*Льюис 1983*]). В принципе можно представить себе (в духе логики фон Вригта или любой другой интенционально ориентированной логики) ситуацию «Дождь идет или не идет» как осмысленную (нечто вроде: «Невозможно разобрать точно, идет ли дождь: то кажется, что идет, то нет»).

4.4611 Тавтология и Противоречие не являются вовсе лишеными Смысла; они являются частью символической записи. Примерно как «0» в арифметическом символизме.

Конечно, бессмысленность Тавтологии и Противоречия — это особого рода бессмысленность, мало общего имеющая, например, с абсурдом или абракадаброй. В том, что они ничего не означают, как раз и есть их Смысл — они части тех строительных подмостков, о которых любит говорить Витгенштейн. Как ноль сам по себе ничего не значит, будучи поставлен справа от любого числа, увеличивает его в десять раз.

4.462 Тавтология и Противоречие не являются Картинами Реальности. Они не изображают никакой возможной Ситуации, ибо первая позволяет *любую* возможную Ситуацию, а второе — *никакую*.

В Тавтологии предпосылки соответствия с Миром — отношения изображения — уничтожают друг друга, так что она не стоит ни в каком отношении изображения к Реальности.

4.463 Условия Истинности определяется тот зазор, который Пропозиция оставляет Факту.

(Пропозиция, Картина, Модель в негативном смысле — это некое твердое тело, ограничивающее свободу действий другого; в позитивном смысле это ограниченное твердой субстанцией пространство, в котором тело занимает место.)

Тавтология оставляет за Реальностью все бесконечное логическое пространство; Противоречие заполняет все логическое пространство, не оставляя за Реальностью ни точки. Поэтому ни то ни другое не может тем или иным образом определять Реальность.

4.464 Истинность Тавтологии очевидна, Пропозиции — возможна, Противоречия — невозможна.

(Очевидно, возможно, невозможно: здесь мы имеем указание на ту градацию, которая употребляется в теории вероятностей.)

Почему для Витгенштейна так важно понятие Тавтологии? Почему он так против нее настроен? Разве он не говорил, что «Зеленое есть зеленое» — не только не Тавтология, но здесь оба вхождения слова «Зеленое» являются разными символами. Но ведь, строго говоря, «Зеленое есть зеленое» — пример наиболее фундаментальной Тавтологии, закона рефлексивности, или тождества, утверждающего, что каждый предмет с необходимостью равен сам себе. Разве нельзя сказать, что в Пропозиции « $A = A$ » A — не то же самое, что A , что это разные Символы? Хотя бы потому, что в первом вхождении это субъект, а во втором — предикат. И разве $A = A$ выражает всю Реальность, оставляет за ней все безграничное пространство? Ведь A — это только A . И, утверждая, что A с необходимостью равно A , мы утверждаем, что A не равно с необходимостью ни B , ни C , ни любому другому объекту. Выражая тождество, предмет равен самому себе, он тем самым выражает свое отличие от всех других предметов. И в этом смысле $A = A$ информативно.

Методологическая основа философии раннего Витгенштейна — редукционизм, сведение высшего к низшему. Этот редукционизм носит лингвистический характер. Вся философия, говорит он, занималась неправильно поставленными вопросами, просто бессмыслицей. Доказательство тому — тавтологический характер логики, из которой вырастает Философия. Естественные науки оперируют обыкновенными Пропозициями, которые могут быть истинными или ложными. Их можно соотносить с реальностью. Пропозиции Философии вроде «Добро — это Красота» невозможно соотносить с Реальностью, они ни истинны, ни ложны, а бессмысленны, так как они слишком большое значение придают содержательности логического вывода, который, как показывает Витгенштейн, совершенно бессодержателен, абсолютно формален. Педальирование по-

нения Тавтологии, в конечном счете, ведет к осознанию ненужности, ошибочности Философии в ее классическом виде.

4.465 Логическое произведение Тавтологии и Пропозиции говорит то же самое, что Пропозиция. Таким образом, это произведение тождественно Пропозиции. Ибо нельзя изменить сущность Символа, не изменив его Смысла.

4.466 Определенное логическое сочетание знаков соответствует определенным логическим сочетаниям их Значений. Каждое произвольное сочетание соответствует разрозненным Знакам.

Значит, Пропозиции, истинные для любой Ситуации, вообще не могут быть никакими сочетаниями Знаков, ибо иначе им могли бы соответствовать лишь определенные сочетания Предметов (а никакому логическому сочетанию соответствует и *никакое* сочетание Предметов).

Тавтология и Противоречие — предельные случаи сочетания Знаков, а именно — распадение.

Логическим произведением Витгенштейн называет результат конъюнкции Пропозиции. Он говорит, таким образом, что конъюнкция Тавтологии и Пропозиции дает ту же Пропозицию, тем самым лишней раз показывая, что Тавтология ничего не прибавляет к Пропозиции. Допустим, например, $(A = A) \& (A \rightarrow B)$ — это то же самое, что $(A \rightarrow B)$. «Дождь идет = Дождь идет. И если дождь идет, то мы раскрываем зонтик». Конечно, и здесь это не совсем так. Если бы самотождественность была бы чистой Тавтологией, она была бы не нужна. Отождествление дождя с дождем, дает толчок идее, что мы раскроем зонтик. На самом деле отождествление «Дождь — это дождь» — результат развития человеческой мысли на протяжении нескольких тысячелетий. Чтобы мыслить Тавтологиями, человек должен был перепробовать многие другие пути мысли, в частности, самые причудливые, вроде партиципации [*Леви-Брюль 1990*] (см. также [*Лосев 1981*]). Логика — это, скорее, историческое приобретение человеческого разума, такое же субъективное, как и другие, менее совершенные приобретения. Но для Витгенштейна (для раннего Витгенштейна) Логика — это объективный закон построения объективного Мира.

4.4661 Разумеется, и в Тавтологии, и в Противоречии Знаки сочетаются между собой, то есть стоят в каких-то отношениях друг к другу, но эти отношения лишены Значения, неважны для Символа.

Здесь Витгенштейн говорит о том, что бессмысленность — это то же, что разрозненность, бессистемность. Он рассуждает так: поскольку зна-

кам A и B соответствуют значения A' и B' , то сочетание AB' – такое же случайное, произвольное, что и сочетание AB . Сочетание знаков A и B соответствует определенному сочетанию предметов A' и B' . Сочетанию же знаков $A = A$ соответствуют любые предметы, стало быть, это вовсе не знаки. Сочетания $A = A$ (Тавтология) и $A = \sim A$ (Противоречие) он считает распадением знаков, так как им соответствует любое (в первом случае) и никакое (во втором случае) сочетание предметов. Но с неменьшим основанием можно сказать, что в случае $A = A$ и $A = \sim A$ Знаки наиболее тесно связаны между собой – как двойники в первом случае и антиподы – во втором.

4.5 Теперь возможно, кажется, задать наиболее общую Форму Пропозиции: что значит дать некое описание какой-то знаковой системы так, чтобы каждый возможный Смысл мог быть проявлен посредством Символа, который подходит под это описание, и каждый Символ мог бы проявлять Смысл, если Значение имен выбраны соответствующим образом.

Ясно, что описание наиболее общей Формы Пропозиции должно описывать лишь важнейшее – иначе она и не была бы наиболее общей Формой.

То, что существует общая Форма Пропозиции, доказывается тем, что не может быть ни одной Пропозиции, чью Форму нельзя было бы реконструировать. Общая Форма Пропозиции: Дело обстоит так-то и так-то.

Все Пропозиции могут быть сведены к единой Форме. Эта кажущаяся такой обыденной фраза есть в каком-то смысле великое открытие в гуманитарной сфере. Витгенштейн впервые взял на себя смелость сформулировать идею инварианта всякой речи, т. е. идею глубинной структуры любой Пропозиции – задолго до генеративной лингвистики. Но следует помнить, что это инвариант именно Пропозиции в узком Смысле, т. е. вне модального радикала [Стеншус 1960]. «Я ушел», «Пожар», «Витгенштейн – величайший философ XX века», «Холодно», «Сейчас вы послушаете “Маленькую ночную серенаду” Моцарта». Именно такие высказывания подходят под инвариант «Дело обстоит так-то и так-то». Но не – «Уходи!», «Вот бы весна поскорей!», «Когда же наконец вы уйдете?», «Рюмку водки!», «К ноге!», «И пусть над нашим смертным ложем / Взовьется с криком воронье!», «А был ли мальчик?» Конечно, в каждом недекларативном высказывании есть компонент, который отвечает за истинность и ложность: «Уходи» = «Я хочу, чтобы ты ушел» (подробнее см. [Ross 1941; Wiersbicka 1971; Хилтинен 1986]). Но этот компонент относится к глубинной структуре этих высказываний, которые как раз выра-

жают идею пропозициональности и тем самым подчиняются закону витгенштейновской логики.

4.51 Предположим, что даны *все* Элементарные Пропозиции: тогда можно просто спросить: Какие Пропозиции я могу построить на их основе? И это будут *все* Пропозиции, и именно так они будут ограничиваться.

4.52 Пропозиции — это все, что следует из совокупности всех Элементарных Пропозиций (естественно, из того также, что это *совокупность их всех*). (Так можно было бы в определенном смысле сказать, что все Пропозиции являются обобщениями Элементарных Пропозиций)

Теперь Витгенштейн ставит вопрос, так сказать, снизу. Он хочет сказать, что наличие общей Формы Пропозиции гарантируется наличием Элементарных Пропозиций. Идея кристально логична: имеются простые Предметы, составляющие неизменную Субстанцию Мира; их комбинации составляют Положения Вещей, Логическими Картинами которых являются Элементарные Пропозиции; на основе этих Элементарных Пропозиций строятся все остальные Пропозиции, из которых выводится общая Форма Пропозиции.

4.53 Общая форма Пропозиции является переменной.

Поскольку Пропозиция является обобщением Элементарных Пропозиций, общей Формой Пропозиции является переменная, значением которой может быть любая Пропозиция.

5. Пропозиция — это Истинностная Функция Элементарных Пропозиций.

(Элементарная Пропозиция является Истинностной Функцией самой себя)

5.01 Элементарные Пропозиции являются Истинностными аргументами Пропозиций.

В общем смысле это важнейшее положение «Трактата» (его называют также «принципом экстенциональности» [Карнан 1959]) сводится к тому, что Истинность или Ложность Пропозиции зависит от истинности или ложности входящих в нее Пропозиций. В этом смысле сложная Пропозиция является переменной Истинностной Функцией, аргументом которой являются входящие в нее Элементарные Пропозиции p , q и т. д., а Значением — их истинность или ложность. Элементарные Пропозиции являются строительным фундаментом Пропозиции. Пропозиции из них образуются. (Пропозиция, образующаяся из самой себя, является Эле-

ментарной и тем самым является Истинностной Функцией самой себя.) Приведем пример. Допустим, имеется Пропозиция, состоящая из двух условно Элементарных Пропозиций:

Если будет дождь, мы останемся дома.

Каждая из входящих в Пропозицию Элементарных Пропозиций («Будет дождь» и «Мы останемся дома») имеет две Истинностные Возможности — т. е. Возможности быть истинной или ложной (см. 4.27). При этом каждая из них обладает четырьмя условиями Истинности, то есть согласованностью или несогласованностью со своими Истинностными Возможностями (см. 4.42), т. е. может быть:

Тавтологией (*ИИ*; $p \vee \sim p$)

Пропозицией (*ИЛ*; p) (истинной Пропозицией)

Отрицанием (*ЛИ*; $\sim p$) (ложной Пропозицией)

Противоречием (*ЛЛ*; $p \& \sim p$).

Это и есть Истинностные Функции пропозиции p . Но если Пропозиций две, то по формуле 2^{2^n} истинностных функций будет уже 16 (именно эту матрицу истинностных функций дает Витгенштейн в 5.101). Две Пропозиции дают друг другу 16 типов взаимодействий. Нашу Пропозицию «Если будет дождь, мы останемся дома» (логически выражающую материальную импликацию) мы находим в строке 4 этой матрицы — (*ИИЛИ*) (p, q). Напоминаем, что словами «Если p , то q » ($p \rightarrow q$) в матрице истинности в левых скобках (*ИИЛИ*) закодированы логические отношения между антецедентом и консеквентом, которые выглядят следующим образом:

p	q	$p \rightarrow q$
И	И	И
И	Л	И
Л	И	Л
Л	Л	И

Итак, импликация $p \rightarrow q$ является ложной только в том случае, если антецедент (p) ложен, а консеквент (q) истинен. То есть Пропозиция «Если (истинно, что) будет дождь, то (ложно, что) мы останемся дома» будет ложной (= будет отрицанием исходной Пропозиции («Если будет дождь, мы останемся дома»). То есть «Мы на самом деле не останемся дома, если

не будет дождя», следуя логике исходной Пропозиции. В остальных трех случаях — *ИИ*, *ИЛ* и *ЛЛ* — импликация истинна.

5.02 Напрашивается смешение аргументов Функций с индексами Имен. Я узнаю Значение Знака в той же мере из его аргумента, в какой и из его индекса.

У Рассела, например, в «+_c» «с» является индексом, указывающим на то, что Знак в целом является Знаком сложения. Но этот способ записи основывается на произвольном допущении, и можно было бы вместо «+_c» выбрать другой простой Знак; в «~*p*» *p* не является индексом, но является аргументом: Смысл «~*p*» нельзя понять, если до этого не понят Смысл «*p*». (В имени Юлий Цезарь индексом является «Юлий». Индекс всегда является лишь частью описания Предмета, к имени которого мы его присоединяем. Например, *Цезарь* из рода Юлиев.)

Смешение аргумента и индекса, если я не ошибаюсь, лежит в основе теории Фреге о Значении Пропозиций и Функций. Для Фреге Пропозиции Логики являются именами, а их аргументы — индексами этих имен.

Под индексами Имен Витгенштейн подразумевает выражения, формирующие часть Имени, при том что значение этой части не значимо для значения всего имени [Black 1966: 239]. Полемика Витгенштейна с Расселом и Фреге, по мнению М. Блэка, является здесь недостаточно основательной, и понятие индекса вообще далее в «Трактате» нигде не употребляется. В двух словах подчеркнем, что Витгенштейн здесь продолжает полемизировать с такой теорией пропозициональности, в которой Пропозиции являются Именами (а их аргументы индексами Имен), поэтому он в очередной раз показывает, что это не так. Что, в данном случае, индекс не похож на аргумент, отличаясь от последнего тем, что Смысл всего выражения детерминирован Смыслом аргумента, в случае же индекса это не так.

5.1 Функции Истинности могут быть упорядочены в ряды.

Что является основанием теории вероятностей.

5.101 Функции Истинности каждого числа элементарных Пропозиций могут быть схематически записаны следующим образом:

(ИИИИ) (*p*, *q*) Тавтология (Если *p*, то *p*; если *q*, то *q*) ($p \rightarrow p \ \& \ q \rightarrow q$).

(ЛИИИ) (*p*, *q*) В словах: Не вместе *p* и *q*. ($(\sim p \ \& \ q)$).

(ИЛИИ) (*p*, *q*) Если *q*, то *p*. ($q \rightarrow p$).

(ИИЛИ) (*p*, *q*) Если *p*, то *q*. ($p \rightarrow q$).

(ИИИЛ) (*p*, *q*) *p* или *q* ($p \vee q$).

(ЛЛИИ) (p, q)	Не q ($\sim q$).
(ЛИЛИ) (p, q)	Не p ($\sim p$).
(ЛИИЛ) (p, q)	p , или q , не вместе. ($p, \sim q: \vee: q, \sim p$).
(ИЛЛИ) (p, q)	Если p , то q ; и если q , то p . ($p \equiv q$).
(ИЛИЛ) (p, q)	p
(ИИЛЛ) (p, q)	q
(ЛЛЛИ) (p, q)	Ни p , ни q ($\sim p, \sim q$) или ($p \mid q$).
(ЛИЛЛ) (p, q)	p и не q . ($p, \sim q$).
(ИЛЛЛ) (p, q)	q и не p . ($q, \sim p$).
(ЛЛЛЛ) (p, q)	Противоречие (p и не p ; q и не q) ($p, \sim p, q, \sim q$).

Те Истинностные Возможности Истинностных аргументов, которые подтверждают Истинность Пропозиции, я буду называть основаниями Истинности.

В комментарии к 5 мы уже рассказали, как формируется формальный ряд Истинностных Функций для двух Элементарных Пропозиций. Теперь обратим внимание на две особенности. Первая. Факт этой упорядоченности Витгенштейн считает основанием теории вероятностей. Это следует понимать так, что формальный ряд лишь в первой строке (Тавтология) дает стопроцентную вероятность (достоверность) Истинности Пропозиций (p, q) и лишь в последней строке (Противоречие) дает стопроцентную вероятность ее Ложности (невозможность). Остальные строки дают ту или иную *вероятность* того, что Пропозиция (p, q) будет истинной или ложной. Так, вспомним наш пример с материальной импликацией (строка 4 матрицы в 5.101). Мы можем сказать, что вероятность того, что Пропозиция $p \rightarrow q$ будет истинной, равна трем из четырех случаев, то есть 75 процентам; а скажем, вероятность Истинности конъюнкции будет равна всего 25 процентам, так как конъюнкция истинна лишь при условии, когда истинными являются оба входящих в нее конъюнкта:

p	q	$p \& q$
И	И	И
И	Л	Л
Л	И	Л
Л	Л	Л

Отсюда следует то, что Витгенштейн называет основаниями Истинности. Это те Истинностные Возможности, при которых Пропозиция является истинной. В случае с материальной импликацией таких Истинностных Возможностей три: *ИИ*, *ИЛ* и *ЛЛ*. Они-то и являются основаниями Истинности Пропозиции ($p \rightarrow q$). В случае конъюнкции имеется только одна такая Истинностная Возможность — *ИИ* (она и является основанием Истинности Пропозиции ($p \& q$)).

5.11 Если основания Истинности являются общими для некоторого числа Пропозиций и в то же время являются основаниями Истинности некой определенной Пропозиции, то мы говорим, что Истинность этой Пропозиции следует из Истинности этих Пропозиций.

В наших примерах с материальной импликацией $p \rightarrow q$ и конъюнкции $p \& q$ общим является основание истинности, соответствующее Истинностной Возможности *ИИ*. В этом смысле если конъюнкция $p \& q$ истинна, то истинна и материальная импликация $p \rightarrow q$.

5.12 Истинность некой Пропозиции « p » следует из Истинности некой другой « q », если все основания Истинности второй являются основаниями истинности первой.

5.121 Основания Истинности одного содержатся в основаниях истинности другого: p следует из q .

Понятие «следует» Витгенштейн употребляет в значении строгой импликации, т. е. как взаимное следование (если p , то q , и если q , то p).

5.122 Если p следует из q , то Смысл « p » содержится в Смысле « q ».

Здесь мы видим, что вывод Витгенштейна не является чисто формальным. Но если одна Пропозиция чисто формально следует из другой, то это гарантирует, что во второй содержится Смысл первой. Так, зная лишь логический синтаксис, можно добраться до конечного Смысла. Примерно так, выстраивая логически формальные цепочки, находил преступника Шерлок Холмс (см. о связи детективного жанра с математизацией логики [*Руднев 1996*]).

5.123 Если некий Бог творит Мир, в котором некоторые Пропозиции являются истинными, то в этом сотворенном мире будут верны и те Пропозиции, которые производны от первых. Подобным образом Он не мог бы сотворить такой Мир, в котором Пропозиция « p » была бы истинной, не сотворив всей совокупности принадлежащих этой Пропозиции Предметов.

В этом разделе имеет смысл остановиться на следующем. Во-первых, это положение о тотальной упорядоченности мира. В таком мире очень мало степеней свободы, он слишком жестко детерминирован. Это не тот мир, который видится христианину. Во-вторых, Витгенштейн ставит «некоего бога» не над логикой, а подчиняет его логике. Ясно что это рассуждение не просто атеиста, а даже креативного материалиста. Нельзя, по Витгенштейну, создать Пропозицию p , которая была бы истинной, не сотворив в всей совокупности принадлежащих ей Предметов. Но в любой мифологической традиции Мир создается, конечно, не так. Не дескриптивные утверждения играют здесь роль, а императивы. Бог не утверждает Истинность или Ложность создаваемых пропозиций, а самым фактом своего говорения создает Мир. Выражаясь в духе Дж. Остина, Бог «создает вещи при помощи слов» (с поправкой на Витгенштейна можно сказать – при помощи Пропозиций).

И сказал Бог: Да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один.

И сказал Бог: Да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воды от вод /.../

И сказал Бог: Да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша /И стало так/... *Бытие 1*) (См. также [Руднев 1988]).

Творение происходит как императивное разворачивание мира, где истинностные Значения заключены в императивах. Эта картина Творения как своеобразная игра Бога с природой напоминает о позднем учении Витгенштейна и возникшей из него теории речевых актов Остина и Серля [Остин 1986, Searle 1969].

5.124 Пропозиция подтверждает истинность любой следующей из нее Пропозиции.

5.1241 « p & q » — одна из тех Пропозиций, которые одновременно подтверждают истинность и p и q .

Две Пропозиции противоположны друг другу, если не существует осмысленной Пропозиции, которая подтверждает Истинность обеих.

Каждая Пропозиция, противоречащая другой, отрицает ее.

Если p следует из q , то q подтверждает Истинность p , так как основания Истинности q входят в основания Истинности p . « p & q » естественным образом подтверждают значение p & q и q , так как только при истинности p и истинности q « p & q » является истинной.

Другими словами, противоположность двух Пропозиций есть принципиальное отсутствие у них хотя бы одного общего основания Истиннос-

ти. Так, например, Пропозиция $\sim(p \& q)$ является противоположностью (отрицанием) Пропозиции $p \& q$. Действительно, основанием Истинности $p \& q$ является *ИИ*, а основанием Истинности $\sim(p \& q)$ — *ЛЛ*.

p	q	$(p \& q)$
И	И	Л
И	Л	Л
Л	И	Л
Л	Л	И

5.13 То, что Истинность одной Пропозиции следует из Истинности других Пропозиций, мы усматриваем из Структуры Пропозиций.

5.131 Если Истинность одной Пропозиции следует из Истинности других, это проявляется посредством тех отношений, в которых находятся Формы этих Пропозиций; и нам не нужно ставить их в эти отношения, связывая их предварительно друг с другом в одну Пропозицию, ибо эти связи являются внутренними и существуют лишь постольку, поскольку существуют эти Пропозиции.

5.1311 Если мы из $p \vee q$ и $\sim p$ заключаем, что q , то отношение между формами Пропозиций « $p \vee q$ » и « $\sim p$ » здесь замутнено способом обозначения. Запишем, например, вместо « $p \vee q$ » « $p \mid q \cdot \mid \cdot p \mid q$ », а вместо « $\sim p$ » « $p \mid p$ » ($p \mid q =$ ни p , ни q) и внутренняя связь станет очевидной. (То, что из $(x) \cdot fx$ можно выводить fa , показывает, что универсальность налицо и в Символе « $(x) \cdot fx$ ».)

Главной особенностью витгенштейновского понимания вывода (в противоположность, например, расселовскому) является его чистая формальность. Вывод зависит только от связей между Формами (Структурами) Истинностных Функций, не затрагивая Смысла их аргументов [*Maslov 1962: 120*].

5.132 Если p следует из q , то я могу делать заключение от q к p ; выводить p из q .

Тип заключения выводится из обеих Пропозиций.

Лишь они сами могут оправдать правомерность заключения.

«Законы вывода», которые должны — как у Фреге и Рассела — оправдать выводы, — бессмысленны и излишни.

Смысл этого раздела — обычное стремление Витгенштейна отмежеваться от метаязыкового решения проблемы, показать, что сама структу-

ра вывода позволяет рассудить, как действовать дальше, а не искусственные «законы вывода», которые Витгенштейн (подобно теории типов) считает ненужными.

5.133 Все заключения делаются *a priori*.

Этот вывод крайне принципиален для Витгенштейна, учитывая его прежние постулаты о достаточности логического синтаксиса и вреде использования для логики семантики. См. также 5.2. о том, что пропозициональные Структуры находятся во внутренних (а не во внешних) отношениях. Это также отражает положение Витгенштейна о том, что логика ничего не говорит о Море, но лишь обнаруживает в своей структуре изоморфную структуру Мира.

5.134 Из одной Элементарной Пропозиции нельзя вывести никакую другую.

Это положение вытекает из 4.21 и 2.062. Элементарная Пропозиция является логической Картиной, Положением Вещей, состоящим из независимых Предметов. Итак, по Витгенштейну, Элементарные Пропозиции логически независимы друг от друга.

5.135 Из существования какой-либо одной Ситуации никоим способом нельзя вывести существование другой Ситуации, полностью отличной от первой.

Ситуация (Sachlage) есть сочетание независимых Положений Вещей. Если Ситуации полностью отличаются друг от друга, значит, Пропозиции, их выражающие, не будут иметь общих Положений Вещей. Стало быть, они также логически независимы.

5.136 Не существует никакой причинной связи, оправдывающей подобный вывод.

Считается, что это высказывание в духе Юма. Витгенштейн отрицает не причину вообще, а причинную связь как нечто априорное, формально-логическое, эквивалентное логическому выводу. Чтобы говорить о причине, недостаточно знания синтаксических структур. Здесь надо обращаться к Значению. Поэтому причина и следствие не связаны внутренней формальной связью. Они не связаны необходимой связью: все могло произойти иначе. Под каузальной связкой Витгенштейн явно подразумевает априорную достоверность причинной связи [*Stenius 1960: 60*].

5.1361 События будущего не могут быть выведены из событий настоящего.

Вера в существование причинной связи является суеверием.

Опять-таки речь идет об отсутствии логической связи между событиями прошлого и будущего, а не об отсутствии какой-либо вообще связи между ними. Говоря в терминах 6.36311, тот факт, что завтра взойдет солнце, является гипотезой. Хотя, конечно, это очень вероятная гипотеза. В своей последней работе «О достоверности» Витгенштейн пересматривает свой формально-логический ригоризм, высказываясь за то, что люди исходят из ряда безусловных аксиом, сомневаться в которых бессмысленно. Очевидно, одной из таких аксиом является осознание того факта, что завтра взойдет солнце (ср. критику такого подхода с постмодернистских позиций в [Руднев 1996a]).

Можно предположить, что Витгенштейн здесь использует термин *Aberglaube* (суеверие) в противоположность *Glaube* (вера), так как вера в существование причинной связи напоминает ему, очевидно, contagiозную магию, утверждающую связь предметов и их изображений. Этот феномен был объектом современных Витгенштейну исследований Дж. Фрэзера и Л. Леви-Брюля (первый был позже подвергнут со стороны Витгенштейна суровой критике [Витгенштейн 1989b]).

5.1362 Свобода воли состоит в том, что будущие действия не могут быть сейчас познаны. Мы могли бы их знать лишь в том случае, если причинность была бы внутренней необходимостью, подобно необходимости логического вывода. Совокупность знания и познанного носит характер логической необходимости.

(«А знает, что имеется *p*» — бессмысленно, если *p* — Тавтология.)

Свобода воли толкуется Витгенштейном как следствие неполного знания будущего, т. е., в сущности, как иллюзия, возникающая из нашего необходимого невежества. М. Блэк связывает это положение с воззрениями Спинозы: «Идея человеческой свободы, стало быть, — есть то, что люди не знают причин собственных действий» (Спиноза. Этика. ч. 2, XXXV, 81) (цит. по [Black 1966]).

По поводу последнего предложения этого раздела М. Блэк пишет: «А знает, что имеет место *p* подразумевает, что то, что *p* имеет место — то есть не случайно, что то, что я знаю, исключает случайность. Поэтому я не могу утверждать на основании того, что тот факт, что я знаю причину был бы возможным, только если бы существование причины включало в себя существование следствия» [Black 1966: 244].

1363 Если из того, что Пропозиция для нас стала очевидной, не следует, что она истинна, то ее очевидность не является оправданием нашей веры в ее Истинность.

Очевидный (Einleuchten) значит субъективно достоверный. Очевидно то, что не требует доказательств. Самая этимология этого слова очевидность указывает на античную традицию: Эдип выкалывает себе глаза, так как очевидное, видное очам, оказывается далеким от истины [Голосовкер 1987, Руднев 1996].

5.14 Если одна Пропозиция следует из другой, то последняя говорит больше, чем первая.

Это альтернативная формулировка 5.121. и 5.122. Если $p \rightarrow q$ следует из $p \& q$, т. е. $(p \& q) \rightarrow (p \rightarrow q)$, то второе содержится в первом (консеквент в антецеденте), и, стало быть, антецедент говорит больше, чем консеквент. Но *что* говорит больше — $p \& q$ или $p \rightarrow q$? $p \rightarrow q$ говорит больше, так как оно истинно при ИИЛИ, а $p \& q$ — только при ИЛЛЛ. У $p \& q$ больше оснований Истинности. О чем говорит $p \& q$? О том, что p и q истинны, когда p истинно и q истинно, в остальных случаях $p \& q$ ложно. О чем говорит $p \rightarrow q$? О том, что $p \rightarrow q$ истинно, когда: 1) p ложно, а q истинно; 2) когда q ложно, а p истинно; 3) p истинно и q истинно. $p \rightarrow q$ ложно только в том случае, когда p истинно, а q ложно.

5.141 Если p следует из q и q следует из p , то это одна и та же Пропозиция.

$(q \rightarrow p) \& (p \rightarrow q) \rightarrow (p \equiv q)$. Это элементарная Тавтология математической логики, взаимная импликация, то же, что эквивалентность [Клини 1970].

5.142 Тавтология следует из всех Пропозиций: она ничего не говорит.

5.143 Противоречие — это то общее у Пропозиций, что никакая Пропозиция не может иметь общим с другими. Тавтология является общим для всех тех Пропозиций, которые не имеют друг с другом ничего общего.

Противоречие скрывается, так сказать, вне, а Тавтология внутри всех Пропозиций.

Противоречие — внешняя граница Пропозиций; Тавтология — их бессубстанциональная центральная точка.

Тот факт, что Тавтология следует из любой Пропозиции, очевиден. Из p следует q , из q следует q и т. д. Допустим, имеется две Пропозиции, которые не имеют ничего общего между собой: $p \vee q$ и $r \& s$. В каком смысле можно сказать, что общим у них является Тавтология? В том смысле, что каждая Пропозиция может быть тавтологичной по одним и тем же законам.

$(p \vee q) \rightarrow \sim(\sim p \& \sim q)$	Тавтология
$(r \& s) \rightarrow \sim(\sim r \& \sim s)$	Тавтология

Эти пропозиции утверждают, что тот факт, что из любой Пропозиции следует ее двойное отрицание, является общезначимым. Тавтология показывает, что в обоих случаях используется конструкция «неверно, что не». Поэтому Тавтология скрывается внутри всех пропозиций, она внутренняя бессубстанциональная точка.

Противоречие — « $p \& \sim p$ », « $q \& \sim q$ ». Здесь опять-таки сама запись показывает, обнаруживает противоречие. Формула противоречия: для «каждого основания истинности p , в котором появляется q , имеется другое основание истинности, отличающееся от первого только появлением не- q на месте q . Таким образом, ранг $p \& q$ будет иметь ровно одну вторую от ранга p » [Black: 249].

Витгенштейн рассматривает достоверность как предельный случай вероятности в 4.464. Он отождествляет достоверность с Тавтологией (поэтому весь логический, согласно Витгенштейну, вывод тавтологичен), Возможность (т. е. вероятность) с Пропозицией, а невозможность с Противоречием.

5.15 Если I_r — число оснований Истинности Пропозиции « r », а $I_{r s}$ — число тех оснований Истинности пропозиции « r », которые одновременно являются основаниями Истинности « s », то мы назовем отношение $I_{rs} : I_r$ мерой вероятности, которую Пропозиция « r » дает Пропозиции « s ».

5.151 Пусть в схеме, подобной той, которая приведена в 5.101, I_r число « R » в Пропозиции R ; I_{rs} — число тех « I » в Пропозиции S , которые стоят в одинаковых столбцах с « I » Пропозиции R . Тогда Пропозиция « R » дает Пропозиции « S » вероятность: $I_{rs} : I_r$.

В этих разделах Витгенштейн излагает свое понимание философских оснований теории вероятностей. Рассмотрим в этом плане Пропозиции $p \& q$ и $p \rightarrow q$. У $p \& q$ одно основание истинности (ИЛЛЛ), у $p \rightarrow q$ три основания истинности. И R (основание истинности пропозиции $p \& q$) = 1. И RS (основание истинности пропозиции $p \rightarrow q$) равно 3. Стало быть, пропозиция $p \& q$ в три раза менее вероятна, чем пропозиция $p \rightarrow q$.

5.1511 Не существует никакого специфического Предмета, свойственного лишь вероятностным Пропозициям.

В том смысле, что вероятностные высказывания — это высказывания а priori. Они являются разновидностью логического вывода, как это показано в 5.15. М. Блэк считает, что «вероятно, что» может рассматривать-

ся как логическая константа, т. е. как нечто, что не означает чего-либо в мире [Black : 248].

5.152 Пропозиции, не имеющие общих истинностных аргументов, мы называем независимыми.

Две Элементарные Пропозиции дают друг другу вероятность S .

Если p следует из q , то Пропозиция q предоставляет Пропозиции p вероятность 1. Достоверность логического вывода является предельным случаем вероятности.

(Применение к Тавтологии и Противоречию.)

5.153 Пропозиция сама по себе не является ни вероятной, ни невероятной. Событие происходит или не происходит, третьего не дано.

Две пропозиции называются независимыми, если множества Элементарных Пропозиций, чьими Истинностными Функциями они являются, не нуждаются в том, чтобы обладать общими членами. Из этого следует, что две любые элементарные пропозиции являются независимыми. Ибо хотя p может быть выражено в качестве Функции в форме $p \& (q \vee \sim q)$, ей не обязательно быть так выраженной [Black: 248].

Для Витгенштейна это отношение между Пропозициями (Ср. 5.15, а также ниже 5.155–5.156). То есть вероятность утверждения должна состоять минимум из двух предложений. Когда на поверхности имеется только одно предложение, например, «Возможно, будет гроза», то тогда эта Пропозиция сопоставляется с вероятностью Тавтологии, т. е. со стопроцентной вероятностью. «Возможно, будет гроза» означает, что по сравнению с достоверным суждением, например, «Если будет гроза, то будет гроза» эта Пропозиция дает определенную меру вероятности. При прочих равных условиях эта вероятность будет равна $\frac{1}{2}$. Другая половина остается за Пропозицией «Возможно, не будет грозы». В этом случае, если соединить эти две Пропозиции, то мы получим Тавтологию: «Возможно, будет гроза, и, возможно, не будет грозы», т. е. Пропозицию, эквивалентную $p \vee \sim p$.

5.154 В одной урне было одинаковое количество белых и черных шаров (и ничего кроме них). Я вынимаю один шар за другим и кладу их обратно в урну. Тогда я могу установить опытным путем, что число вынутых черных и белых шаров приближается друг к другу при постоянном вынимании.

Стало быть, это никакой не математический Факт.

Если я теперь говорю: равновероятно, что я вытяну белый или черный шар, то это означает: все известные мне обстоятельства (включая и принимаемые в качестве гипотезы законы природы) придают наступлению одного события не больше вероятности, чем нас-

тушению другого. Это означает, что они дают — как легко понять из вышеизложенного — каждому событию вероятность, равную S .

Проверить я могу только то, что наступление этих двух событий не зависит от обстоятельств, которых я не знаю более подробно.

В этом разделе обращает на себя внимание то, что Витгенштейн говорит о законах природы как о гипотезе. Они являются гипотезами потому, что не носят априорного характера, а являются результатом сопоставления высказывания с реальностью.

5.155 Суть вероятностной Пропозиции: обстоятельства — о которых я больше ничего не знаю — дают наступлению определенного события такую-то степень вероятности.

5.156 То есть вероятность — это некое обобщение. Она включает общее описание пропозициональной Формы. Лишь за неимением достоверности мы прибегаем к вероятности. Когда мы знаем факт не полностью, но, тем не менее, знаем *нечто* о его Форме.

(Хотя Пропозиция на самом деле может быть неполной Картиной определенной Ситуации, но она всегда является *некой* полной Картиной.)

Вероятностная Пропозиция — нечто вроде вытяжки из других Пропозиций.

Здесь дается такая же общая Форма вероятностной Пропозиции, как в 4.5 давалась общая Форма всякой Пропозиции. Для вероятности характерно частичное знание, в противном случае говорить о какой бы то ни было вероятности вообще не имело бы Смысла.

В каком Смысле вероятность — это обобщение? В том, что она дает общее описание пропозициональной Формы; т. е. давая оценку вероятности, которую предложение p дает предложению q , мы описываем Логическую Форму p и q — сравнивая их основания Истинности.

По поводу полноты любой картины Витгенштейн писал в «Тетрадах»: «Каждая пропозиция, которая обладает смыслом, обладает полным смыслом. И она является картиной реальности таким образом, что то, что еще не сказано, просто не может принадлежать ее смыслу [Wittgenstein 1982: 61]. Ср.: «Пропозиция может оставить многие вопросы открытыми, но при этом ясно, какие именно вопросы она оставляет открытыми» [Anscombe 1960: 73].

По поводу последнего предложения этого раздела: «Гальтоновы снимки — это картина вероятности. Закон вероятности — это закон природы, на который мы смотрим прищурившись» [Philosophischer Bemerkungen: 136]. «Мы могли бы сказать, что вероятностные утверждения выражают некий близорукий взгляд на природу» [Black: 251].

5.2 Пропозициональные структуры находятся во внутренних отношениях друг к другу.

Связь между структурами Пропозиций носит формальный характер, т. е. не зависит от их Смысла. Так в Пропозиции $p \rightarrow q$, q является истинным или ложным независимо от того, что означает p . Это зависит от оснований Истинности, которых у материальной импликации ($p \rightarrow q$), как мы уже говорили, три – (ИИЛИ), т. е.: 1) если p и q оба истинны; 2) если p ложно, а q истинно и 3) если p и q оба ложны.

5.21 Мы можем отметить эти внутренние отношения посредством нашего способа проявления, изобразив Пропозицию как результат некой Операции, посредством которой она произведена из других Пропозиций (Оснований Операций).

Здесь Витгенштейн вводит одно из ключевых понятий «Трактата» – понятие Операции, регулирующей внутренние отношения между Пропозициями.

5.22 Операция — это проявление отношения между Структурами, их результатами и их основаниями.

Так, Структура (Форма) Пропозиции $p \rightarrow q$ — это отношение следования q из p , ее основание — Элементарные Пропозиции p и q , а результат — сама Пропозиция $p \rightarrow q$.

5.23 Операция — это то, что должно произвести с Пропозицией для того, чтобы образовать из нее другую.

Что нужно сделать с Элементарными Пропозициями p и q , чтобы образовать из них Пропозицию $p \rightarrow q$? Нужно произвести над ними Операцию материальной импликации.

5.231 Это, естественно, зависит от их формальных свойств и внутреннего подобия их Форм.

Возможность импликации от p к q зависит от их формальных свойств, т. е. от степени совпадения их условий Истинности, стало быть, от их оснований Истинности (ИИЛИ).

5.232 Внутренняя связь, упорядочивающая некий ряд, эквивалентна Операции, благодаря которой один член образуется из другого.

Ряд ИИЛИ является рядом, упорядочивающим Пропозиции p и q и дающим Возможность вывести из них $p \rightarrow q$. Поэтому ИИЛИ — эквивалент Операции материальной импликации.

5.233 Операция может первый раз возникнуть там, где одна Пропозиция образуется из другой логически значимым образом. Стало быть, там, где начинается логическое построение Пропозиции.

Логическое построение Пропозиции есть истинностная Функция Элементарных Пропозиций. Стало быть, Операция есть такое действие над Элементарными Пропозициями, результатом коего является Истинностная Функция Элементарных Пропозиций, т. е. Пропозиция.

5.234 Истинностные функции Элементарных Пропозиций суть результаты Операций, находящихся в основании Элементарных Пропозиций. (Эти Операции я называю истинностными Операциями.)

5.2341 Смысл некой истинностной Функции p есть Функция Смысла p .

Отрицание, логическое сложение, логическое умножение и т. д. суть Операции (отрицание меняет Смысл Пропозиции на противоположный).

Операции над Элементарными Пропозициями, результатом которых являются истинностные Функции, называются истинностными Операциями — это суть конъюнкция (логическое сложение), дизъюнкция (логическое умножение), импликация, отрицание и эквивалентность.

5.24 Операция обнаруживает себя в переменной: она показывает, как из одной формы Пропозиции можно получить другую.

Она достигает проявления различий между Формами (а общим для основания и для результата Операции является Основание).

5.241 Операции не характеризуют Формы, скорее, различия между Формами.

Возьмем Операцию дизъюнкции над p и q , которые являются Основанием Операции. Общим для результата ($p \vee q$) и Основания является Основание p и q . Сама же Операция характеризует различие между Формами Элементарных Пропозиций p и q и Пропозицией $p \vee q$. « \vee » является формальным знаком произведенной Операции.

5.242. Та же Операция, что выводит « q » из « p », выводит « r » из « q » и т. д. Это может быть проявлением того, что « p », « q », « r » и т. д. суть переменные, сообщающие общее проявление определенным формальным связям.

Эта Операция, которая выводит q из p и r из q , есть Операция импликации.

5.25 Существование Операции не характеризует Смысла Пропозиции.

Операция сама ничего не высказывает, лишь ее результат делает это, и это зависит от Основания Операции.

(Не следует смешивать Операцию с Функцией.)

Операция носит формальный характер. То изменение Смысла, которое наблюдается при переходе от Элементарных Пропозиций p и q к Пропозиции $p \rightarrow q$ не зависит от Смысла p и Смысла q . Операция — это действие с формами, для нее все равно, каков именно Смысл p и Смысл q . Операция и функция соотносятся как действие над Элементарными Пропозициями и результат этого действия.

5.251 Никакая Функция не может быть своим собственным аргументом, но результат Операции может быть ее собственным основанием.

5.252 Лишь так возможен переход от одного члена к другому в формальном ряду (от одного типа к другому в иерархии Рассела и Уайтхеда) (Рассел и Уайтхед не признавали возможности этого перехода, но всегда им пользовались.)

О том, что функция не может быть собственным аргументом см. коммент к 3.333 в связи с теорией типов Рассела. Результат Операции может совпадать с ее собственным основанием, например, при двойном отрицании, когда $\sim\sim p = p$ (см. также 5.254). Подробно о критике Витгенштейном Рассела и Уайтхеда в этой связи см. [Black: 261; Anscombe: 130].

5.2521 Повторное применение какой-либо Операции к ее собственному результату я называю ее последовательным применением (« $O'O'a$ есть результат вторичной последовательности применения « $O\xi$ » к « a »).

Примерно в таком же смысле я говорю о последовательном применении многих Операций к некоторому числу Пропозиций.

5.2522 Общий член формального ряда $a, O'a, O'o'a...$ я записываю поэтому так: « $[a, x O'x]$ ». Выражение в скобках — переменная. Первый член выражения в скобках — начало формального ряда, второй — произвольного члена x ряда, а третий — Форма члена ряда, который непосредственно следует за x .

Операции можно применять последовательно (ясно при этом, что повторное применение Операции будет осуществляться по отношению к Результату предыдущей Операции). Так, например, вначале можно применить Операцию дизъюнкции (логическое умножение) к Элементарным Пропозициям p и q . Получим $p \vee q$. Далее можно применить

к этому результату Операцию Отрицания. Получим $\sim(p \vee q) = \sim p$. Далее этот Результат можно сложить (логически) с предыдущим: $(\sim p \& \sim q) \& (p \vee q)$ — и получить в результате противоречие: $(\sim p \& p \& \sim q) \vee (\sim q \& p \& \sim q \& q)$.

5.2523 Понятие последовательности применения Операций эквивалентно понятию «и так далее».

Понятие «и так далее» является эквивалентом последовательного применения одной Операции, например p , $\sim p$, $\sim\sim p$, $\sim\sim\sim p$ и так далее.

5.253 Одна Операция может отменить действие (последствия, результат) другой. Операции могут ликвидировать друг друга.

5.254 Операция может самоуничтожаться. (Например, отрицание в « $\sim\sim p$ » & $\sim\sim p = \bar{p}$.)

Любое отрицание, например, отменяет результат предыдущей Операции. Двойное отрицание эквивалентно утверждению.

5.3 Все Пропозиции являются результатом истинностных Операций с Элементарными Пропозициями.

Истинностная Операция — это способ возникновения Истинностной Функции из элементарной Пропозиции. В сущности, в самой сути Истинностных Операций заложено то, что как из Элементарных Пропозиций возникают их Истинностные Функции, так и из Истинностных Функций возникают новые. Каждая Истинностная Операция создает из Истинностных функций Элементарных Пропозиций новую Истинностную Функцию элементарных Пропозиций, то есть новую Пропозицию. Результат каждой Истинностной Операции по отношению к результатам *одной* истинностной Операции над Элементарными Пропозициями. Каждая Пропозиция есть результат Истинностной Операции над Элементарными Пропозициями.

5.31 Схемы в 4.31, стало быть, имеют значение и тогда когда « p », « q », « r » и т. д. не являются Элементарными Пропозициями. И легко видеть, что Пропозициональный Знак в § 4.42 является проявлением одной Истинностной Функции Элементарных Пропозиций, даже если « p », « q » и « r » являются Истинностными Функциями Элементарных Пропозиций.

Этот раздел является обобщением предыдущих. Витгенштейн говорит, что Истинностная Операция является механизмом порождения Пропозиций (истинностных Функций) из Элементарных Пропозиций, а также механизмом порождения новых Пропозиций из результатов уже проделанных Операций над Элементарными Пропозициями.

5.32 Все истинностные Функции являются результатом последовательного применения конечного числа Истинностных Операций к Элементарным Пропозициям.

Другими словами, любое предложение образовано при помощи логических (Истинностных) Операций, применимых к Элементарным Пропозициям. Например, «Если неверно, что Луна (L) меньше (R) Земли (S) и что Земля является круглой (O), то Коперник (K) неправ ($\sim T$), а прав Птолемей (P):

$$\sim(LRS \ \& \ (O) \ S) \rightarrow \sim(T) \ K \ \& \ (T) \ P$$

В основании здесь лежит четыре «Элементарных Пропозиции»:

1. Луна меньше Земли (LRS)
2. Земля круглая (O) S
3. Коперник прав (T) K
4. Птолемей прав (T) P

Вначале при помощи Операции логического сложения (конъюнкции) образуется Истинностная Функция $LRS \ \& \ (O) \ S$ — «Луна меньше Земли, и Земля круглая». Затем эта конъюнкция отрицается $\sim(LRS \ \& \ (O) \ S)$. После этого отрицается другая Элементарная Пропозиция «Коперник прав» и результат этого последнего отрицания логически складывается с Элементарной Пропозицией «Птолемей прав». Получается конъюнкция $\sim(T) \ K \ \& \ (T) \ P$. «Неверно, что Коперник прав, и истинно, что Птолемей прав». Наконец, из первой конфигурации $\sim(LRS \ \& \ (O) \ S)$ имплицуруется вторая $\sim(T) \ K \ \& \ (T) \ P$. И получается исходная Пропозиция $\sim(LRS \ \& \ (O) \ S) \rightarrow \sim(T) \ K \ \& \ (T) \ P$.

5.4 Здесь становится видно, что не бывает «логических Предметов», «логических постоянных» (в смысле Фреге и Рассела).

Логические связки, обозначающие Операции, $-$, \sim , \vee , $\&$ — являются формальными, т. е. мнимыми, объектами (ср. 4.441), которые ничему не соответствуют в Реальности. Так, можно построить совершенно иное по смыслу предложение, по форме идентичное разобранным в комментарии к 5.32:

Если неверно, что капитализм (L) хуже (R) социализма (S) и что при социализме все счастливы (O), то Маркс (K) был неправ (T), а прав был Адам Смит (P):

$$\sim(LRS \ \& \ (O) \ S) \rightarrow \sim(T) \ K \ \& \ (T) \ P$$

5.41 Поскольку: все результаты Истинностных Операций над Истинностными Функциями, которые являются одной и той же Истинностной Функцией Элементарных Пропозиций, тождественны.

Формальное доказательство предыдущего суждения. Например, две различные комбинации Истинностных Операций на одном и том же основании (p, q) , скажем, $p \rightarrow \sim q$ и $\sim(p \& q)$, могут давать один и тот же результат. То есть Операция есть нечто тотально формальное, не имеющее отношения к Реальности. Пропозиция $p \rightarrow \sim q$ говорит то же, что $\sim(p \& q)$. «Если будет дождь, мы не пойдем на прогулку» логически то же самое, что «Неверно, что будет дождь, и при этом мы пойдем на прогулку».

5.42 То, что \vee , \supset и т. д. не являются отношениями в смысле правого и левого, представляется очевидным.

Возможность перекрестных дефиниций логических «Празнаков» Фреге и Рассела уже показывает, что они не являются «Празнаками» и не обозначают никаких отношений.

И очевидно, что « \supset », которое мы определяем через « \sim » и « \vee », тождественно тому, что мы определяем как « \vee » с помощью « \sim » и что « \vee » тождественно первому и т. д.

То есть нельзя сказать, что в « $p \vee q$ » и « $p \rightarrow q$ » p расположено слева от q . В первом случае расположение вообще безразлично $p \vee q \equiv p \rightarrow q$. Во втором случае можно вместо « $p \rightarrow q$ » написать «из q следует p » и выразить это каким-то другим знаком так, чтобы p оказалось не слева, а справа. Витгенштейн хочет сказать, что отношения между знаками p и q в « $p \vee q$ » или в « $p \rightarrow q$ » не являются пространственноподобными отношениями и вообще не являются подлинными отношениями.

Празнаками Витгенштейн называет логические связки, о которых здесь идет речь. Витгенштейн говорит здесь о том, что логические связки могут быть определены одна через другую и поэтому они не могут считаться настоящими отношениями. Например, « $p \rightarrow q$ » говорит то же самое, что « $p \vee \sim q$ ». «Если пойдет дождь, мы останемся дома» логически то же самое, что «Пойдет дождь, или мы не останемся дома».

5.43 В то, что из Факта p должно следовать бесконечно много других Фактов, именно $\sim\sim p$, $\sim\sim\sim p$, заранее поверить трудно. Не менее странно, что бесконечное число Пропозиций Логики (математики) следует из какой-то полдюжины «основных законов».

Но все Пропозиции Логики говорят об одном и том же. Именно: ни о чем.

В пропозициональной логике двойное отрицание эквивалентно утверждению, поэтому $p \equiv \sim\sim p = \sim\sim\sim\sim p$ и т. д. Но поначалу не очень понятно, почему Витгенштейн называет это «бесконечным числом Фактов». Между тем, как ясно, что p и $\sim\sim p$ и т. д. — это разные выражения од-

ного Факта, а именно p . Все Тавтологии логики следуют из нескольких фундаментальных законов. По Витгенштейну, все тавтологические законы бессмысленны, они ничего не говорят о Мира, так как отношения между Пропозициями, обозначенные логическими связками, не являются подлинными отношениями. Пропозиции логики лишь показывают, обнаруживают структурные закономерности Мира, но ничего не говорят о нем (ср. также 4.461).

5.44 Истинностные Функции не являются материальными Функциями.

Если, например, можно произвести некое утверждение посредством двойного отрицания, то содержится ли отрицание в каком-то смысле в утверждении? Отрицает ли « $\sim\sim p$ » $\sim p$ или утверждает p ? Или и то, и другое?

Пропозиция « $\sim\sim p$ » не описывает отрицание как Предмет; пожалуй, возможность отрицания предрешена уже в утверждении.

И если бы был некий Предмет, который бы назывался « \sim », то « $\sim\sim p$ » должно было бы утверждать нечто другое, чем « p ». Ибо одна Пропозиция утверждала бы нечто о « \sim », а другая — нет.

Так же, как знаки Операций (связки) не являются материальными (внешними) отношениями, так и истинностные Функции не являются подлинными функциями (см. также 4.461).

Витгенштейн иллюстрирует свое положение на примере того же двойного отрицания. Если $x = \sim\sim p$, то что является аргументом x — «отрицание p » или «утверждение p »? X — не настоящая функция, так же как $\sim\sim p$ не настоящий аргумент по сравнению с $\sim p$ и p . И в определенном смысле и $\sim p$, и $\sim\sim p$ говорят об одной и той же Реальности, только p и $\sim\sim p$ говорят о существующем положении дел, а $\sim p$ — о несуществующем. При различных значениях у них один Смысл. «Заковыристость» Операции отрицания состоит в том, что она меняет Истинностное Значение на противоположное, но при этом вообще не затрагивает Смысл.

Возможность отрицания предрешена уже в утверждении. В истинном утверждении предрешена возможность ложного.

Отрицание является мнимым объектом, по Витгенштейну, ведь если бы это было бы не так, то прибавление знака « \sim » меняло бы Смысл высказывания, и $\sim\sim p$ говорило бы не то же самое, что p . Однако последнее верно лишь для двузначной пропозициональной логики. В многозначных логиках двойное отрицание не эквивалентно утверждению (см.: [Зиновьев 1960; фон Вригт 1986]).

5.441 Это исчезновение мнимых логических постоянных вступает в силу, когда « $\sim(\exists x) \& \sim f x$ » говорит то же, что « $(x) \& f x$ », или когда « $(\exists x) \& f x \& x = a$ » говорит то же, что « fa ».

$\sim(\exists x) \& \sim f x$ означает, что «неверно, что для некоторых x , x не принимает значения f ». Это равносильно тому, что $(x) \& f x$ для всех x принимает значение f . То есть Витгенштейн хочет сказать, что квантор всеобщности (x) и квантор существования (\exists) также взаимозаменяемы, как и пропозициональные логические связки. А именно: « (x) » = \sim « $(\exists x)\sim$ » (Все предметы обладают данным признаком = Не верно, что некоторые предметы не обладают данным признаком).

5.442 Если нам дана некая Пропозиция, то вместе с ней даны результаты всех истинностных Операций, основанием которых она является.

Это означает, что если у нас есть Пропозиция p , то мы, не вдаваясь в ее Смысл, можем при помощи логических Операций построить из нее любую другую Пропозицию (Ср. положение 5.47 о том, что в Элементарной Пропозиции содержатся все логические Операции). Этим еще раз подчеркивается идея тотальной формальности витгенштейновской концепции вывода, но также этим подчеркивается креативность, онтологичность его логики. Как в онтологии Витгенштейна все его простые Предметы и Положения Вещей предельно логизированы, так же и его логика онтологизирована. Ведь если у нас есть одна Пропозиция, мы можем при помощи логических Операций построить всю необходимую нам систему Пропозиций. Заполненная Смыслом, она превратится в Картину Мира.

5.45 Если бывают логические Празники, то некая правильная Логика должна выяснить их положение по отношению друг к другу и оправдать их существование. Построение Логика из ее Празников должно стать ясным.

5.451 Если Логика располагает исходными понятиями, то они должны быть независимыми друг от друга. Если вводится исходное понятие, то оно должно вводиться со всеми связями, вместе с которыми оно вообще встречается. Так что нельзя сначала ввести понятия для одной связи, а потом для другой. Например: Если введено отрицание, то и в Пропозициях Формы « $\sim p$ » и в Пропозициях типа « $\sim(p \vee q)$ » или « $(\exists x) \& f x$ » и т. д. мы должны его понимать одинаково. Мы не можем ввести его сначала для одного класса случаев, потом для другого, ибо тогда оставалось бы сомнительным, является ли его Значение в обоих случаях одним и тем же, и не было бы основания

для применения в обоих случаях одного и того же способа связи между Знаками.

(Короче, для введения Празнаков имеет значение то, что Фреге («Основные законы арифметики») говорит о введении Знаков посредством дефиниций).

5.452 Введение нового Знака в Символизм Логики должно быть всегда событием, ведущим к тяжелым последствиям. Ни один новый Знак не должен вводиться в Логику, так сказать, с выражением совершенной невинности на лице — в скобках или в примечании.

(Так, в «*Principia Mathematica*» Рассела и Уайтхеда появляются дефиниции и основные законы. Почему здесь неожиданные слова? Их нужно оправдать. Они отсутствуют, и так должно быть, потому что этот образ действия фактически находится под запретом.)

Но если введение нового вспомогательного средства является с необходимостью обоснованным, то надо тут же спросить: где должно постоянно применяться это средство? Его положение в Логику должно быть сразу же прояснено.

Смысл сказанного здесь, сводится к тому, что если логические «Празнаки», знаки Операций, действительно имеют какой-либо онтологический статус, то они, подобно Элементарным Пропозициям, должны быть независимы друг от друга (что не так, как показано в 5.42) и наделены стабильными значениями, не варьирующими от случая к случаю.

Витгенштейн склонен редуцировать все логические связи к одной, аналогичной штриху Шеффера и соответственно все Операции — к одной Операции отрицания. Это гарантирует его от введения новых знаков «с выражением невинности на лице».

Несколько иронизируя над чисто немецким стремлением Витгенштейна все релятивизовать, Блэк пишет: «Так, если мы думаем, что шахматы нам дают информацию о королях и ладьях, Витгенштейн предложил бы изменить обличье и название фигур с тем, чтобы содействовать пониманию того, что все значение игры содержится в правилах» [*Black: 267*].

5.453 Всем числам в Логику должна быть предоставлена возможность быть оправданными.

Скорее: Должно быть выяснено, что в Логику не бывает никаких чисел.

Не бывает никаких привилегированных чисел.

Ср. 4.128. Поскольку в Логику нет подлинных понятий, в Логику нельзя сказать, что что-то существует, чего-то не существует, и, стало быть, нельзя сказать, что в Логику чего-то больше или меньше.

5.454 В Логике не бывает никакого параллельного существования, нельзя дать никакой классификации.

В Логике невозможно давать никаких обобщений и спецификаций.

Все предложения Логики равноправны. В Логике нет общего рода и специфического различия, которое является основанием для любой классификации. Результат самого исходного логического вывода тавтологичен и поэтому равноправен исходной аксиоме.

5.4541 Решение логических проблем должно быть простым, ибо оно устанавливает стандарт простоты.

Люди всегда подозревали: должна быть некая сфера вопросов, ответы на которые — *a priori* — симметричны и объединяются в замкнутые регулярные образования.

Вот область, в которой Пропозиция имеет вес: *Simplex Segillum veri*.

Простота наряду с ясностью, непротиворечивостью и последовательностью — одна из основ рационализма, выраженного в «учении о методе» Декарта. Латинское выражение «Простота — знак истины» принадлежит Герману Боэрхааве (1668—1738), немецкому физику из Лейдена.

5.46 Если логические Знаки вводятся корректно, то тем самым вводится уже и Смысл всех их комбинаций: стало быть, не только « $p \vee q$ », но и « $\sim(p \vee \sim q)$ » и т. д. Тем самым вводится уже результат всех возможных комбинаций скобок. И благодаря этому проясняется, что подлинными общими Познаками являются не « $p \vee q$ », « $(\exists x) \& f(x)$ » и т. д., а скорее, наиболее общая Форма их комбинаций.

5.461 Весьма значимым является также кажущейся несущественным факт, что мнимые логические отношения \vee и \supset нуждаются в скобках — в противоположность подлинным отношениям.

Употребление скобок при этих мнимых Познаках уже указывает на то, что на самом деле они не являются Познаками. И все же, по видимому, никто не верит, что скобки имеют самостоятельное значение.

5.4611 Логические Знаки Операций суть знаки препинания.

Взимозаменимость комбинаций с логическими константами обращает внимание Витгенштейна на важность скобок как конструктивного фактора в логической записи. Однако, например, в польской логической записи скобки вообще не употребляются и вместе с ними исчезает возможность амбивалентного прочтения формулы. Например, выражению « $\sim p \vee q$ » будет соответствовать запись $Np Aq$, а выражению « $\sim(p \vee q)$ » будет соответствовать запись $NApq$.

5.47 Ясно, что все, что вообще может быть сказано *заранее* о Форме *всех* Пропозиций, может быть сказано сразу.

Все логические Операции уже содержатся в Элементарной Пропозиции. Ибо «*a*» говорит то же самое, что и

« $(\exists x) \& f x \& x = a$ ».

Там, где соположения, — там есть аргумент и Функция, а где они, — там уже и все логические константы.

Можно было бы сказать: единственная логическая константа — это то, что *все* Пропозиции по своей природе имеют общего друг с другом.

А это не что иное, как общая Пропозициональная Форма.

«Если наиболее общая Форма Пропозиции не могла бы быть дана, тогда должен был бы прийти момент, когда мы вдруг обрели бы новый опыт, так сказать, логический. Что, конечно, невозможно» [Wittgenstein 1982: 13].

Логика всех пропозиций а priori содержится в любой Элементарной Пропозиции, так как из любой Элементарной Пропозиции можно вывести любую другую, а все законы вывода априорны.

Ср.: «Если бы было “решение” проблем Логики (Философии), мы бы только нуждались в предостережении, что ведь было время, когда эти проблемы не были решены (и даже тогда люди должны были знать, как жить и мыслить)» [Wittgenstein 1992: 156].

Что значит, что в Элементарной Пропозиции содержатся все логические Операции? Пропозиция *a* говорит то же самое, что «Существует такое *x*, которое является *f*, и *x* равно *a*»:

$a = (\exists x) \& f x \& x = a$

То есть Пропозиция *a* говорит то же, что комплексное суждение с квантором, поскольку *a* равносильно тому, что оно существует и по меньшей мере одно.

Пропозицию *p* можно представить как конъюнкцию с тавтологией $p \& (q \vee \sim q)$, что будет обозначать абсолютно то же самое, что *p*; но при этом будут употреблены три Операции: отрицания, дизъюнкции и конъюнкции. Можно продолжить этот пример и написать $p \& (q \vee q) \rightarrow p$, что также будет Тавтологией, но здесь будут уже содержаться четыре Операции (добавится материальная импликация). Можно обнести всю эту формулу скобками и написать: $\sim\sim(p \& (q \vee \sim q)) \rightarrow p$. И так далее. То есть там, где имеется Пропозиция, т. е. функция и аргумент *f x* — там потенциально содержатся все логические константы (знаки Операций).

Здесь Витгенштейн приходит к одной из самых парадоксальных своих мыслей, что единственная логическая константа — это то, что все Пропозиции имеют общего друг с другом, т. е. инвариант, общая Форма Пропозиции «Дело обстоит так-то и так-то» (4.5). Но что это за констан-

та? Что это за связка, которая является общей у всех пропозиций? Ответ — в следующих разделах.

5.471 Общая пропозициональная Форма это сущность Пропозиции.

Здесь надо вспомнить 3.341, где сказано, что сущность Пропозиции — это то, что является общим для всех Пропозиций, выражающих один и тот же Смысл. То есть Пропозиция «Дело обстоит так-то и так-то» выражает Смысл всех Пропозиций и тем самым сущность Пропозиции.

5.4711 Задать сущность Пропозиции значит указать сущность всех описаний, стало быть, сущность Мира.

Более того, ведь Пропозиции — это Картины Мира, и, значит, сущность Пропозиции соответствует сущности Мира. Вот почему так важно выяснить сущность, т. е. общую форму Пропозиции. Сущность Мира, напомним, состоит в том, что «чему-либо случается быть» (1), и это соответствует Картина «Дело обстоит так-то и так-то». Сущность Мира в том, что случаются какие-то события или имеются какие-то Положения Вещей или Ситуации. Как описать то общее, что может быть между этими Событиями, Положениями Вещей, Ситуациями? Это призвана сделать общая Форма Пропозиции. Но не так, как Витгенштейн сделал это в 4.5. Словами, а не формально, чтобы был виден механизм связи между единичными событиями и общей формулой События.

5.472 Описание наиболее общей Формы Пропозиции есть описание одного и единственного Познака Логике.

5.473 Логика должна заботиться о себе сама. Некий возможный Знак тоже должен уметь обозначать. Все возможное в Логике является также разрешенным. («Сократ является тождественным» ничего не обозначает, потому что не существует свойства, означавшего бы «тождественный». Эта Пропозиция бессмысленна потому, что не нашлось какого-то произвольного определения, а не потому что Символ сам по себе и для себя не разрешен.)

В каком-то смысле в Логике невозможно ошибаться.

5.4731 Самоочевидность, о которой так много говорил Рассел, может стать лишней в Логике лишь благодаря тому, что речевая деятельность сама предотвращает любую логическую ошибку. Логика является априорной благодаря тому, что не-логически мыслить нельзя.

Логика передает эту свою способность саморегуляции и языку, который сам может устранить ошибку. Так если кто-то сказал: «Сократ тождествен», — язык сам сигнализирует о том, что так говорить нельзя. Его

грамматика, так сказать, противится неправильному его использованию. Нелогически мыслить нельзя, ибо это противоречие в терминах. Ведь Мысль — это Логическая Картина, т. е. Логика — это часть мышления. Тогда почему же многие люди склонны рассуждать неверно, приходится к неправильным выводам? Почему речь автоматически не ведет к правильному мышлению? Потому что речь несовершенна. Она маскирует Мысль. Задача философа — прояснение Мысли таким образом, чтобы она вырвалась из пут речевых наслоений, как винт корабля из водорослей и ила.

«Если знак имеет значение, форма предложения, в которой он проявляется, будет с необходимостью тождественна форме некоего факта, изображаемого им (мы не можем ошибиться относительно логической формы знака; наш выбор некоего определенного значения знака произволен и поэтому не может быть ошибочен» [*Black: 273*].

Подобным образом логико-семантически оправдывается любая мифология от архаической до тоталитарной. Бессмысленно говорить, что народ ошибался, считая, что когда грохочет гром, это едет в колеснице Илья-пророк. Также бессмысленно говорить, что вера в загробную жизнь ошибочна. Просто знаковая система религиозного человека отличается от знаковой системы атеиста. Так же бессмысленно говорить, что советский народ заблуждался, называя Сталина гением всех времен и народов. Этому представлению, сколь фантастическим оно ни казалось, соответствовал действительный Факт веры в его истинность.

5.4732 Поэтому мы не можем никакому Знаку придать неправильный Смысл.

Раз все Знаки Операций (логические константы) взаимозаменяемы, то не лучше ли использовать один-единственный знак (вроде штриха Шеффера), и тогда будет соблюден один из фундаментальных законов «Трактата» — закон изоморфизма плана выражения и плана содержания. Единая сущность Мира будет описываться единой логической константой.

Прежде чем перейти к решению этой задачи, Витгенштейн подробно останавливается на идее самодостаточности, саморегулируемости логики. Смысл этих рассуждений в том, что Логика понимается Витгенштейном как объективный механизм, который человек может адекватно или неадекватно воспринять, но в который он никак не может вмешиваться и влиять на него. В этом смысл знаменитой максимы «Логика должна позаботиться о себе сама». Логика самодостаточна и не нуждается в заботе со стороны человека. Поэтому в Логике нельзя сделать ни открытий, ни ошибок. Ей можно только следовать, а правильно или нет, это зависит от человека; Логика уже тут не при чем.

Любой возможный Знак является разрешенным. Витгенштейн наблюдает соответствие между алетической модальностью и деонтической — возможное соответствует разрешенному, необходимое — должному, невозможное — запрещенному (ср. [Вригт 1986b; Руднев 1996]). Но что значит, что Знак невозможен? Любой Знак возможен, любому Знаку Логика подыщет возможное применение. Невозможность, неразрешенность Витгенштейн трактует на примере «Сократ тождествен» как неполноту Смысла, нереализованную Возможность. Просто мы не придали определенного синтаксического значения предикату «быть тождественным». Он может быть только двухместным: нечто тождественно чему-то. Если же мы условимся, что «тождественный» в одноместном понимании будет означать, скажем, «самотождественный», то тогда все станет на свои места.

Ошибка происходит не в Логике, а в эмпирическом строе речи. Нельзя ошибиться в Логике, как нельзя сказать, что в таблице умножения есть какие-то недочеты, потому что кто-то неправильно вспомнил, сколько будет восемь умножить на семь. Логика — саморегулирующийся, самодостаточный механизм. Ошибки происходят от неправильного использования Логики.

5.47321 Оккамовский принцип, естественно, не является произвольным правилом и не определяется лишь своим практическим успехом: он свидетельствует о том, что некий элемент знаковой системы не является необходимым, ничего не обозначает.

Знаки, выполняющие одну цель, логически эквивалентны; Знаки, не выполняющие никакой цели, логически лишены Значения.

Витгенштейн второй раз упоминает здесь бритву Оккама (см. также 3.328), принцип, в соответствии с которым сущности не следует преумножать без необходимости. Тот, кто производит суждение, должен иметь достаточные основания, чтобы утверждать его истинность. В данном случае Смысл использования оккамовского принципа таков. Если Знак имеет применение, то он нужен, а если он не имеет применения, не используется, бесполезен, то его можно отсечь. Так в истории языка на периферию уходят или вообще исчезают слова, связанные с вещами, которые больше не используются людьми, и, наоборот, возникают новые, часто заимствованные, слова, обозначающие новые понятия.

5.4733 Фреге говорит: каждое правильно построенное предложение должно иметь некий Смысл; а я говорю: каждая возможная Пропозиция построена правильно, а если она не обладает Смыслом, то

это может быть потому, что мы не задали каким-то его частям определенного Значения.

(Даже когда мы полагаем, что сделали это.)

Так «Сократ является тождественным» ничего не говорит потому, что мы не задали *прилагательному* никакого Значения. Ибо когда оно выступает как знак равенства, то оно свидетельствует совсем иным образом — отношение обозначения становится другим, — так что Символы в обоих случаях также совершенно разные: оба Символа лишь случайно имеют один и тот же Знак.

Здесь следует вспомнить, что в самом начале «Трактата», в разделе 2.0121, говорится: «Логика имеет дело с любой Возможностью, и ее Факты суть все Возможности». Что значит возможная Пропозиция? Чем определяется эта Возможность? Речь идет о Пропозициях, которые выражают несуществующие Положения Вещей, но лишь возможные, описывают не действительный Мир, но лишь возможный из Миров. Имеет ли смысл Пропозиция: «На Марсе живут люди»? Да, эта Пропозиция имеет смысл в возможном Мире, в котором на Марсе живут люди. С точки зрения Фреге, эта Пропозиция правильно построена. Имеет ли Смысл пропозиция: «На Марсе невпример позолоченное завтра»? Нет, это бессмыслица. (С точки зрения Фреге, эта Пропозиция неправильно построена.) С точки зрения Витгенштейна, она не выражает никакой Возможности, никакого возможного Положения Вещей или Ситуации. Но если бы мы как-то исхитрились и постарались бы синтаксически расшифровать это высказывание, придав ему какой-то метафорический смысл, как это сделал Х. Патнэм с бессмысленным предложением Хомского «Бесцветные зеленые идеи яростно спят» (см. [Putnam 1976]), то и это предложение стало бы осмысленным.

Поражает стилистическое сходство того, как Витгенштейн пишет, противопоставляя свои взгляды Фреге, — «А я говорю...» (und ich sage...) евангельскому противопоставлению Христом своих слов иудейскому законодательству в Нагорной проповеди. Например:

«Вы слышали, что сказано древними, не убивай. Кто же убьет, подлежит суду»

«А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду...» и т. п. (Мф. 5., 21–22). (Об идее мифологического сопоставления Витгенштейна с Иисусом см. в кн. [Bartley 1973]).

5.474 Число необходимых основных Операций зависит лишь от нашего способа записи.

Об этом уже шла речь, в частности, в 5.453 в связи с отсутствием значимости идеи числа в логике. Так, как уже говорилось, одну и ту же мысль можно записать и как « $p \rightarrow q$ », и как « $\sim p \vee q$ ».

5.475 Это зависит от того, как построить знаковую систему с определенным числом измерений — определенной математической сложностью.

Понятие сложности было впервые употреблено в 4.04., где говорится, что Пропозиция должна обладать такой же степенью логической сложности, что и та ситуация, которую она изображает. Так, если мы строим знаковую систему, отображающую все разнообразие Мира, мы должны использовать большое количество Операций, а если мы хотим изобразить единую Логическую Форму, отражающую наиболее важную сущность Мира, уместнее ограничиться одной, но столь же глобальной Операцией, что и делает Витгенштейн ниже в 5.5 и далее.

Понятие «знаковая система», так же, как и понятие «Картина Мира», стало ключевым в послевоенных семиотических исследованиях. И хотя представители послевоенной семиотики: тартуско-московская и французская школы в своих установках шли, скорее, от Соссюра и Ельмслева, влияние раннего Витгенштейна в них чувствуется, особенно в работах о таких легко формализуемых знаковых системах, как, например, шахматы или карточные гадания.

5.476 Ясно, что здесь говорится не о числе исходных понятий, которые должны быть обозначены, скорее, лишь о проявлении некоего правила.

Знаки Операций, логические связки, по Витгенштейну, — не понятия, а проявления правил трансформации одних Знаков в другие, отсюда принципиальная взаимозаменяемость логических псевдопонятий. Это еще один довод в пользу введения единого правила.

5.5 Каждая истинностная Функция является результатом последовательного применения Операции (— — — — —И) (ξ , ...) к Элементарным Пропозициям. Эта Операция отрицает все Пропозиции в правых скобках, и я называю ее Отрицанием этих Пропозиций.

В этой решающей формулировке Витгенштейн вводит наконец ту единственную логическую Операцию, к появлению которой он готовил читателя в 5.472–5.474. Это Операция Отрицания. По отношению к ней Витгенштейн применяет новый термин Negation, в то время как обычное отрицание, обозначаемое им «завитушкой» « \sim », он обозначает словом Verneinung (по-видимому, впервые на этот факт обратил внимание Г. Финч [Finch 1971]). Мы будем обозначать тотальную «Негацию» как Отрицание с большой буквы.

Что же значит, что каждая истинностная Функция (т. е. каждая неэлементарная Пропозиция) является результатом тотального отрицания элементарных пропозиций?

Разберем сначала кажущуюся малопонятной формулу этой операции:
 (-----) (ξ ,

5.501 Выражение в скобках, члены которого являются Пропозициями, я обозначаю — когда последовательность членов в скобках является безразличной — Знаком Формы « $(\bar{\xi})$ ». « ξ » — это переменная, Значением которой являются члены выражений, заключенных в скобках, а штрих над переменной означает, что она заменяет все Значения в скобках. (Если, стало быть, ξ имеет три Значения P, Q, R , то $(\bar{\xi}) = (P, Q, R)$).

Значения переменной назначаются.

Назначение есть описание Пропозиций, заменяемых переменной.

Как именно происходит описание членов скобочных выражений, несущественно.

Мы можем различать три способа описания: 1. Прямое перечисление. В этом случае мы можем просто вместо переменной поставить ее постоянное Значение. 2. Указание функции fx , Значение которой для всех Значений x является описываемым Пропозициями. 3. Указание формального закона, по которому построены эти Пропозиции. В этом случае число скобочных выражений охватывает все без исключения члены формального ряда.

Витгенштейн объясняет, что в правых скобках знак ξ обозначает множество Элементарных Пропозиций, а точкам соответствует определенное количество этих Элементарных Пропозиций. Когда Витгенштейну безразлично, сколько их и в каком порядке они располагаются, то он пишет $\bar{\xi}$, т. е. «некое множество Элементарных Пропозиций». Когда, напротив, известно, сколько их и как они располагаются, то скобки раскрываются соответственно: если таких пропозиций три, то $\xi = (P, Q, R)$.

В левых скобках — не что иное, как основания Истинности Элементарных Пропозиций из истинностной таблицы 5.101. Последняя буква означает Истинность, остальные — — — — —, в соответствии с 4.442, соответствуют Ложности. Количество этих признаков зависит от количества Элементарных Пропозиций в правых скобках; если там одна Пропозиция, то их будет две, если две, то четыре. Так для двух Элементарных Пропозиций p, q это будет — — —И или (ЛЛЛИ), т. е. 12-я колонка в истинностной таблице 5.101. Она будет соответствовать Истинностной Функции $\sim p \& \sim q$. Стало быть, эта Операция действительно Отрицает каждую Элементарную Пропозицию, находящуюся в правых скобках. Напомним, что $\sim p \& \sim q$ эквивалентно $\sim(p \vee q)$. Вот мы получили новую Пропозицию. Для того чтобы получить из этой Пропозиции дру-

кую (ведь речь идет о последовательном применении Операции Отрицания), мы применим к ней знак « \sim » еще раз: получим

$$\sim\sim(p \vee q) = p \vee q$$

Вот так мы из двух Элементарных Пропозиций p, q путем двойного применения Отрицания получили дизъюнкцию $p \vee q$.

«Значения переменных назначаются», говорит Витгенштейн, т. е. значением x может быть любое множество Пропозиций. Причем это множество можно просто перечислить — P, Q, R . Можно указать Функцию $f x$, а можно указать формальный ряд в духе 4.1273, т. е. дать рекурсивное определение. В любом случае Значение x будет любым сочетанием Элементарных Пропозиций, из которых путем последовательного Отрицания можно получить любую Пропозицию.

5.502 Так что я пишу вместо «(— — — — —И) (ξ, \dots) « $N(\bar{\xi})$ ».

$N(\bar{\xi})$ — это отрицание всех Значений пропозициональной переменной ξ .

5.503 Поскольку очевидно легко возразить, как посредством этой Операции могут быть построены Пропозиции и как посредством нее они должны строиться, — то этому обстоятельству также должно быть подыскано точное выражение.

5.51. Если ξ имеет только одно значение, то $N(\bar{\xi}) = p$ (не p) и если ξ имеет два Значения, то $N(\bar{\xi}) = \sim p \ \& \ \sim q$ (не p , не q).

Витгенштейн упрощает запись, обозначая Операцию Отрицания как $N(\bar{\xi})$. Далее он на конкретных примерах объясняет механизм этой Операции, что мы уже отчасти сделали в предыдущем комментарии. Если значение переменной x одно, то $N(\bar{\xi})$ означает $\sim p$, если у ξ два значения, то $N(\bar{\xi})$ означает $\sim \ \& \ \sim q$.

Следует отметить, что N — это не чистое Отрицание, а сочетание отрицания с конъюнкцией, так как, когда Элементарных Пропозиций много, то результатом Операции будет конъюнкция их Отрицаний. В этом смысле важно подчеркнуть, что Отрицание (Negation) в отличие от отрицания (Verneinung) является некой Супероперацией, включающей в себя конъюнкцию в качестве обязательного «и так далее», ибо это необходимо следует из того, что Отрицание — это всегда последовательность, констелляция отрицаний с маленькой буквы.

Все-таки давайте убедимся, что путем Отрицания можно получить любую Истинностную Функцию из произвольного числа Элементарных Пропозиций. Допустим, из p, q мы получим $\sim p \ \& \ \sim q$. Затем мы можем применить N лишь к первому конъюнкту и получим $\sim\sim p \ \& \ \sim q = p \ \& \ \sim q$.

Затем опять к первому применим N . Получим $\sim\sim p \ \& \ q = p \ \& \ q$. Затем применим N ко второму конъюнкту. Получим $p \ \& \ \sim q$. Затем применим N к обоим: $\sim(\sim p \ \& \ q) = p \ \vee \ \sim q$, затем – к первому: $p \ \vee \ \sim q$, затем к обоим: $\sim(p \ \vee \ q) = \sim p \ \vee \ \sim q$, что эквивалентно импликации $p \rightarrow q$.

5.511 Как может всеобъемлющая отражающая Мир Логика применять специальные трюки и манипуляции? Только чтобы объединить все это в бесконечную тонкую схему, огромное зеркало.

Здесь в ответе на вопрос слово *Netzwerk* обычно переводят как «сеть», и тогда непонятно, почему сеть отождествляется с зеркалом. Если перевести *Netzwerk* как «схема», то все становится на свои места. Логические «трюки» и манипуляции строят нечто вроде тончайшей схемы (наподобие электрической), которая является зеркалом, т. е. логическим отражением, логической Картиной Мира. Заметим, что, возможно, слово «зеркало» употреблено здесь неслучайно: Мир, отраженный в зеркале, это Мир «наоборот». Иной Мир, зазеркалье. Возможно, это связано с идеей Отрицания как Фундаментальной логической Операцией.

5.512 « $\sim p$ » истинно, когда « p » ложно. Стало быть, в истинной Пропозиции « $\sim p$ » содержится ложная Пропозиция « p ». Как может штрих « \sim » привести ее в соответствие с Реальностью?

То, что отрицается в « $\sim p$ », есть, однако, не « \sim », но то, что является общим для всех Знаков этой записи, которое отрицает p .

Стало быть, это общее правило, в соответствии с которым строятся « $\sim p$ », « $\sim\sim p$ », « $\sim p \ \vee \ \sim p$ », « $\sim p \ \& \ \sim p$ » и т. д. И отрицание отражает эту общность.

Витгенштейн вновь, как в 4.062, задумывается над загадочной сущностью обыкновенного отрицания « \sim ». Как может эта завитушка полностью изменить смысл Пропозиции на противоположный? Заметим, как он говорит, что то, что отрицается в $\sim p$ при двойном отрицании, это не « \sim », а то, что является общим для всех знаков записи, которая отрицает p , т. е. для $\sim p$, $\sim\sim p$, $\sim\sim\sim p$, $\sim p \ \vee \ \sim p$ и т. д. Вспомним теорию о том, что для Смысла и Реальности в противоположность Значению и Миру все равно, соответствуют ли они позитивному или негативному, истинному или ложному. И $\sim p$, и p и $\sim\sim p$ описывают один Смысл и одну Реальность. Меняется только Истинностное Значение Пропозиции, т. е. соответствие или несоответствие действительному положению дел в действительном Мире. Из этого можно сделать вывод, важный для Витгенштейна: конструирование Пропозиций из Элементарных Пропозиций, как и все логическое, не затрагивает их Смысла, оно является чисто формальным.

5.513 Можно было бы сказать: общее всех Символов, утверждающих как p , так и q , это Пропозиция « $p \ \& \ q$ ». Общее всех Символов, утверждающих p или q , есть Пропозиция « $p \vee q$ ».

И поэтому можно сказать: две Пропозиции противоречат друг другу, если они не имеют ничего общего друг с другом; и каждая Пропозиция имеет лишь одно Отрицание, ибо существует только одна Пропозиция, которая полностью лежит вне ее пределов.

Таким же образом в расселовской нотации обнаруживается что « q : $p \vee \sim p$ » говорит то же самое, что « q »; что « $p \vee \sim p$ » не говорит ничего.

Здесь обращает на себя внимание положение, в соответствии с которым каждая Пропозиция имеет лишь одно Отрицание. Это положение, кажущееся тривиальным, на самом деле нуждается в доказательстве. Вот какое доказательство предлагает г-жа Энком: «Предположим, что было бы еще другое отрицание плюс к $\sim p$, скажем $\approx p$. Пока они полагаются поодиночке, мы должны полагать либо 1) что $\approx p$ может быть истинным, когда $\sim p$ ложно, либо 2) что $\sim p$ может быть истинным, когда $\approx p$ ложно. Рассмотрим предположение 1) пусть $\approx p$ будет истинным. Тогда p будет ложно, потому что $\approx p$ есть отрицание, а $\sim p$ также будет ложным, в соответствии с предположением (1). Следовательно, $p \vee \approx p$ должно будет быть ложным и перестанет быть тавтологией. Сходным образом, по предположению 2) $p \vee \approx p$ не сможет быть тавтологией» [Anscombe: 62–63].

5.514 Если установлен некий способ записи, то в нем существует такое правило, в соответствии с которым строятся все Пропозиции утверждающие p ; правило, в соответствии с которым строятся все Пропозиции, утверждающие p и q , и т. д.

Эти правила являются эквивалентами Символов и в них отражаются их Смысл.

5.515 Необходимо показать в наших Символах, что то, что связывается посредством дизъюнкции « \vee » и т. д., должно быть Пропозициями.

Именно так и случается, поскольку Символы « p » и « q » сами предполагают « \sim », « \approx » и т. д. Если Знак « p » в « $p \vee q$ » не замещает комплексного знака, то он сам по себе не может иметь Смысла, но тогда Знаки « $p \vee p$ », « $p \ \& \ p$ », имеющие тот же Смысл, что и « p », так же не имеют Смысла. Но если « $p \vee p$ » не имеет Смысла, то « $p \vee q$ » тоже не может иметь никакого Смысла.

В предложении «Именно так и случается, поскольку символы « p » и « q » сами предполагают « \sim », « \approx » и т. д. М. Блэк видит опечатку, которая перешла во все переводы. Он предлагает читать так: «...поскольку Символ p

в « $p \vee q$ » сам предполагает « \sim ». Тогда это высказывание ставится в соответствие с 5.442. (Если нам дана некая Пропозиция, то вместе с ней даны результаты всех истинностных Операций, основанием которых она является [Black: 278].)

Далее в этом разделе Витгенштейн доказывает, почему выражения p и q должны быть Пропозициями, а не, скажем, Именами. Поскольку если p было бы простым Знаком, оно не обладало бы Смыслом и тогда результат Операций с этим знаком тоже был бы лишен Смысла.

5.5151 Должен ли Знак отрицательной Пропозиции строиться посредством Знака положительной Пропозиции? Почему нельзя проявить отрицательную Пропозицию посредством отрицательного Факта? (Нечто вроде: Если « a » не стоит в определенном отношении к « b », то это можно было бы выразить тем, что $a R b$ не случается.)

Но ведь здесь отрицательная Пропозиция также косвенно построена посредством положительной.

Положительная Пропозиция предполагает существование отрицательной Пропозиции и наоборот.

Кажется, пишет здесь М. Блэк было бы в духе Picture Theory представить смысл отрицательной Пропозиции посредством «негативного Факта» так, что Факт, верифицирующий Пропозицию, был бы в согласии с предложением-Фактом в его негативном проявлении. Но и это не работает. Предположим, мы попытались представить Факт, что Т. несчастлив посредством отсутствия предложения «Т. счастлив». Но нам тогда нужно было бы зафиксировать, что именно отсутствует (например, посредством написания предложения со строкой, зачеркивающей его). В противном случае просто пустое место не позволило бы нам выразить какой-либо определенный Смысл. Вот что имеет в виду Витгенштейн, когда он говорит, что отрицательные Пропозиции конструируются (или должны конструироваться) при помощи положительных [Black: 280].

5.52 Если Значение ξ является общим Значением некоей Функции $f x$ для всех Значений x , то $N(\bar{\xi}) = \sim(\exists x) \& f x$.

Здесь Витгенштейн отождествляет результат Операции $N(\bar{\xi})$ с отрицанием квантифицированной Пропозиции с квантором существования. $\sim(\exists x) \& f x$ читается: «Не верно, что для некоторых x , x обладает свойством f », т. е., тем самым, x не обладает свойством f ни при каких своих значениях. Этим Витгенштейн показывает, что пользуясь Отрицанием, можно получить Пропозиции с экзистенциальным и универсальным кванторами. Ведь подвергнув $\sim(\exists x) \& f x$ дальнейшему отрицанию, мы получим $(\forall x) \& f x$, т. е. предложение с экзистенциальным кванто-

ром. Подвергнув затем отрицанию обе части этого высказывания, получим $\sim(\exists x) \& \sim f x$, т. е. «не верно, что для некоторых значений x , x не обладает свойством f » — это пропозиция с универсальным квантором. Если не верно, что для некоторых x , x не обладает свойством f , то, следовательно, x обладает свойством для всех своих значений. Так, мы получаем $(x) \& f x$ или в более обычной современной записи $(\forall x) \& f x$, где \forall означает квантор всеобщности. Так Витгенштейн доказывает, что его Операция Отрицания ведет к образованию Пропозиций с кванторами, т. е. распространяется в терминах математической логики и на исчисление предикатов.

5.521 Я разграничиваю понятия *Всё* и Истинностные Функции.

У Фреге и Рассела универсальность вводилась в связи с логическим произведением и логической суммой. Так было труднее понять Пропозиции « $(\exists x) \& f x$ » и « $(x) \& f x$ », в которых заключены эти идеи.

Впервые кванторы в логическую символику ввел Фреге. Рассел отождествил пропозицию с универсальным квантором с результатом логического произведения, т. е. с конъюнкцией, а пропозицию с экзистенциальным квантором — с результатом логической суммы, т. е. с дизъюнкцией. Действительно, кажется весьма убедительным трактовать пропозиции $(\exists x) \& f x$ (для всех x , x принимает значение f) как результат конъюнкции всех значений $x: f a \& f b \& f c \& f d \dots$; экзистенциальную пропозицию $a (\exists x) \& f x$ (для некоторых x , x принимает значение f) кажется правильным трактовать как дизъюнкцию всех значений, которые принимает $x: f a \vee f b \vee f c \vee f d \dots$. Но в таком понимании есть одна трудность. Оно не учитывает того, что прямое перечисление всех Функций возможно лишь для конечного числа Значений, а область Значений универсальных и экзистенциальных Пропозиций предполагается неограниченной. Поэтому решение Витгенштейна, которое применяет Операцию *N* ко всем потенциальным неограниченным Значениям $f x$, более последовательно. Ведь Операция *N* автоматически переводит любое потенциальное число Значений $f x$ в экзистенциальную или универсальную Пропозицию. (Более подробно вопрос об универсальности в связи с конъюнкцией и дизъюнкцией см. [Fogelin 1976, Mounce 1981].)

5.522 Своеобразие обозначения универсальности, во-первых, в том, что она намекает на логическую Пракартину, и, во-вторых, в том, что она подчеркивает константы.

Витгенштейн говорит, что универсальность уже содержится в переменной x в $f x$. Ведь в это x входят потенциально и $f a$, и $f b$, и $f c$ и т. д. Поэтому $f x$ является Протокартиной своих конкретных Значений и тем са-

мым подчеркивает константы, т. е. Значения, корреспондирующие с Пропозициональной Функцией.

5.523 Универсальный Символ выступает в качестве аргумента.

Витгенштейн отождествляет символы (x) $(f x)$ и $(\forall x) f x$ с аргументом, функцией которого является $(f x)$, ведь, как следует из 5.521, $(f x)$ уже содержит в себе потенциально все значения x . То есть $(f x)$, с одной стороны, и $(x) f x$, с другой стороны, соотносятся как функция и один из ее возможных аргументов.

5.524 Если даны Предметы, то тем самым даны все Предметы.

Если даны Элементарные Пропозиции, то тем самым даны все элементарные Пропозиции.

Идея о том, что $(f x)$ есть функция, аргументом которой является (x) $(f x)$, поясняется мыслью, истоки которой лежат в самом начале изложения идей «Трактата», а именно, в 1.11 и 1.12, где говорится, что Мир определен Фактами, и это все Факты. Ибо целокупность Фактов определяет все, чему случается или не случается быть.

Если $(f x)$ является Протокартиной $f a, f b, f c$ и т. д., то наличие некоего предмета x содержит в себе Протокартину всех существующих Предметов. И также если есть Элементарная Пропозиция p , которая может быть записана как $f(x)$ и тем самым эквивалентна $(x) f(x)$, то тем самым она содержит в себе намек на существование всех Элементарных Пропозиций.

То есть если из одной Элементарной Пропозиции посредством Операции N можно вывести универсальную Пропозицию $(x) (f x)$, значит существование Элементарной Пропозиции содержит в себе существование всех Пропозиций:

$$\begin{aligned} a &= f(x) \\ N(f x) &= \sim E(x) (f x) \\ \sim(\sim \exists (x) \& (f x) &= \exists (x) (f x) \\ \sim(E(x) \& f x) &= \sim E(x) \& \sim(f x) = (x) (f x) \end{aligned}$$

5.525 Неверно передавать Пропозицию « $(\exists x) \& f x$ » словами « $f x$ возможно», — как это делает Рассел.

Достоверность, Возможность или невозможность какой-либо Ситуации проявляются не посредством Пропозиции, но тем, что некое выражение есть Тавтология, осмысленная Пропозиция или Противоречие.

Каждый прецедент, на который всегда можно было бы сослаться, должен уже содержаться в самом Символе!

«Можно назвать пропозициональную функцию необходимой, когда она всегда истинна; возможной, когда она иногда истинна; невозможной, когда она никогда не является истинной» [*Black 1965: 286*]. С точки зрения Витгенштейна эта позиция Рассела является уязвимой потому, что Пропозиция, утверждающая Возможность, может быть истинной, даже если ни один человек не совершал этого подвига.

«Возможно ли для человека знать Principia наизусть? По Расселу, из этого следует экзистенциальная пропозиция: «Существует хотя бы один человек, который знает Principia наизусть» [*Black: 286*].

По Витгенштейну модальности являются Функциями не содержания Пропозиции, а ее логической Формы: т. е. $p \vee \sim p$ (Тавтология) уже по своей логической Форме достоверна, $p \vee q$ — возможна, а $p \& \sim p$ (противоречие) — невозможна. Таким образом (в этом смысл 5.525 (3)) возможность Пропозиции тесно связана с ее осмысленностью (по Витгенштейну, Тавтология и противоречие не являются осмысленными). То есть возможное всегда осмысленно, необходимое и невозможное — лишены смысла (неинформативны). Или: «То, что символ обладает смыслом, показывает, что соответствующая ситуация возможна» [*Black: 287*].

5.526 Можно целиком описать Мир посредством полностью обобщенных Пропозиций, то есть не соотнося заранее какое-либо Имя с определенным Предметом.

Чтобы после этого перейти к обычному способу проявления, нужно просто к проявлению «существует один и только один x , который ...» добавить: «и этот x есть a ».

«Полностью обобщенной называется пропозиция, в которой все нелогические константы заменены связанными переменными. Например, отталкиваясь от сингулярной пропозиции «Кэйн зол», мы можем построить полностью обобщенную пропозицию « $(Ex)(Ej)j \forall \dots$ » Она читается так: «Существует по меньшей мере одна вещь, обладающая одним свойством» [*Fogelin 1976: 60*].

Витгенштейн берется при помощи таких Пропозиций описать Мир. Но как это сделать, если подобные Пропозиции не употребляют Имен, говоря лишь, что есть нечто, обладающее определенными свойствами, но что именно и какими, оставляя неизвестным?

Здесь встает дилемма: если для того, чтобы отобразить Мир, нужно обязательно использовать Имена, а полностью обобщенные Пропозиции их не используют, значит они не отражают Мир и являются псевдо-

пропозициями Логики. Но в отличие от Тавтологий полностью обобщенные Пропозиции несут некую информацию о мире.

5.5261 Полностью обобщенная Пропозиция, как и любая другая, является сложной (это видно из того, что мы в « $(\exists x, \varphi) \& \varphi x$ » должны раздельно упоминать « φ » и « x ». Они оба независимы друг от друга и так же находятся в отношении обозначения к Миру, как и в обобщенной Пропозиции.

Охарактеризуем сложный Символ: Он имеет нечто общее с другими Символами.

Ответ Витгенштейна на вопрос, как полностью обобщенные Пропозиции описывают Мир, заключается в том, что он рассматривает их как сложные, подразделяющиеся на самостоятельные части, каждая из которых находится к миру в отношении обозначения, т. е. описывает его. Общий Символ в отличие от простого имеет нечто общее с другими Символами.

5.5262 Истинность же или Ложность каждой Пропозиции изменяет нечто в универсальном здании Мира. И свободное пространство, оставленное этому зданию, является тем пространством, которое проводит границу полностью обобщенным Пропозициям.

(Если некая Элементарная Пропозиция является истинной, то тем самым одной истинной Элементарной Пропозицией становится больше.)

Каждая Пропозиция изменяет нечто в структуре Мира, влияет на общую Картину. Если мы возьмем все пропозиции и сложим, то, что они говорят о Мире, то останется при этом то, что будет общим для каждой из этих Пропозиций. Это и будет полностью обобщенная Пропозиция. И так она будет описывать Мир. Можно сказать, что семантика полностью обобщенной Пропозиции — это общая часть множеств пересекающихся смыслов всех Пропозиций, описывающих Мир.

5.53 Тожественность Предметов проявляется мною посредством тождественности Знаков, а не посредством Знака отождествления. Различие между Предметами — посредством различия Знаков.

Здесь и в ближайших разделах Витгенштейн обосновывает точку зрения, в соответствии с которой тождество не является подлинным отношением, Пропозиции, утверждающие тождество, являются мнимыми Пропозициями, а знак «=» ничего не обозначает. Вместо использования бессмысленной фразы «тождество объектов», которая является лишь «средством изображения» (ср. 4.242, где впервые затрагивается эта

проблема), Витгенштейн намерен внести условия для взаимозаменяемости Знаков, которые могли бы быть условиями «о тождестве и различии Знаков».

5.5301 Ясно, что тождество — это никакое не отношение между Предметами. Это становится совершенно очевидным, если, например, проанализировать Пропозицию « $(x): fx. \supset . x = a$ ». То, что говорится в этой Пропозиции — это лишь то, что a удовлетворяет Функции f , а не то, что *лишь* те Вещи, которые имеют некоторое отношение к a , удовлетворяют Функции f .

Можно теперь определенно сказать, что как раз a -то и имеет это отношение к a , но чтобы отобразить это, мы нуждаемся в самом Знаке тождества.

В контексте $(x) : fx \rightarrow x = a$ утверждение равносильно тому, чтобы сказать, что a удовлетворяет f и ничто другое не удовлетворяет f : не имеется референции к какому-то отношению между a и вещами, которые не удовлетворяют f . И сходным образом в других случаях, где символика тождества заставляет тождество выглядеть подобным отношением.

5.5302 Расселовская дефиниция « $=$ » не достаточна, ибо в соответствии с ней нельзя сказать, что два Предмета имеют общими все свойства. (Даже если эта Пропозиция никогда не бывает верной, все-таки она имеет Смысл.)

Говоря вскользь: Сказать о двух Вещах, что они тождественны, бессмысленно, а сказать об одном Предмете, что он тождествен самому себе, значит ничего не сказать.

Если мы говорим, что тождество выражает такое отношение, что два Предмета имеют общими все свойства, то это один и тот же Предмет, а если они имеют общими не все свойства, это не полное тождество.

Рассел исходил из идеи тождества неразличимых. По Витгенштейну, не существует двух одинаковых Предметов (ср. 2.0233). Если два предмета совершенно одинаковы, то это один Предмет. Поэтому бессмысленно утверждать $a = b$. Один Предмет тождествен себе с необходимостью, поэтому утверждение $a = a$ неинформативно.

5.531 Поэтому я не пишу « $f(a, b) \& a = b$ », а скорее, « $f(a, a)$ » (или « $f(b, b)$ »). И не « $f(a, b) \& \sim a = b$ », а скорее, « $f(a, b)$ ».

5.532 И аналогично, не « $(\exists x, y) \& f(x, y) \& x = y$ », а скорее « $(\exists x) \& f(x, x)$ », и не « $(\exists x, y) \& f(x, y) \& \sim x = y$ », а скорее « $(\exists x, y) \& f(x, y)$ ».

(Поэтому вместо расселовского « $(\exists x, y) \& f(x, y)$ »: « $(\exists x, y) \& f(x, y) \& \vee \& (\exists x) \& f(x, x)$ ».)

5.5321 Вместо « $(x) : f x \supset x = a$ » мы пишем поэтому, например, « $(\exists x) \& f x \& \supset \& f a \sim (\exists x, y) \& f x \& f y$ ». И пропозиция «Лишь для одного x удовлетворяется $f()$ » гласит: « $(\exists x) \& f x : \sim (\exists x, y) \& f x \& f y$ ».

Здесь Витгенштейн предлагает усовершенствование способа записи, смысл которого сводится к упразднению знака « $=$ ». Например, вместо $(\exists x, y) \& f(x, y) \& x = y$ (существуют такие x и y , что x и y обладают свойством f , и x равно y) Витгенштейн предлагает писать $\exists (x) \& f(x, x)$ (существует такое x , что каждый x обладает свойством f). Подробнее об этом символизме см. [Black: 292–295; Fogelin: 68]. Общий неформальный Смысл этих формальных рассуждений Витгенштейна состоит в том, что у Имен не может быть синонимов, поскольку на единственный Предмет можно указать единственным образом. И что тождество показывается им посредством того, что одни и те же Знаки принадлежат одним и тем же Символам, а разные Знаки – различным Символам. То есть реализуется программа построения идеального логического языка, заявленная еще в 3.325.

5.533 Поэтому Знак равенства не является важным компонентом исчисления понятий.

5.534 Теперь мы видим, что Пропозициям вроде: « $a = a$ », « $a = b \& b = c \& \supset a = c$ », « $(x) \& x = x$ », « $(\exists x) \& x = a$ » и т. д. в корректном исчислении понятий просто не останется места.

Вывод следует из предшествующего изложения. Формы типа $a = a$ и т. д. являются Тавтологиями. Корректная система представлена выше. Ср. с интерпретацией математических уравнений как тавтологий в б.

5.535 Тем самым покончено со всеми проблемами, связанными с подобными мнимыми Пропозициями.

Все проблемы, связанные с «Аксиомой Бесконечности», здесь уже решаются.

То, что должна говорить Аксиома Бесконечности, могло бы быть выражено в речи тем, что существует бесконечное число Имен с различными Значениями.

Аксиома Бесконечности была введена Расселом в Principia Mathematica. В соответствии с ней Мир содержит бесконечное количество объектов. По мнению Витгенштейна, которое выражено еще в 4.1272, говорить о существовании объектов вообще бессмысленно, так как это суть псевдопонятия, которые являются несчетными (4.128), т. е. по отношению к ним неприменимо понятие числа. Можно сказать, что существует бесконечное число Имен с различными Значениями.

5.5351 Бывают такие случаи, когда возникает искушение употребить выражение типа « $a = a$ » или « $p \supset p$ » и т. п. И это происходит, когда хотят говорить о Пракартине Пропозиции или Вещи и т. д. Так Рассел в «*Principles of Mathematics*» символически воспроизвел бессмысленное « p есть Пропозиция» посредством « $p \supset p$ » и принял это в качестве гипотезы для некоторых Пропозиций, чтобы показать, что их аргументные места могут быть заполнены лишь Пропозициями.

(Уже потому бессмысленно ставить перед Пропозицией гипотезу $p \supset p$, чтобы ее аргументы обозначали правильную Форму, что для не-Пропозиции это является не только ложным в качестве аргумента, но и бессмысленным также и потому, что сама Пропозиция с аргументом неправильного вида является бессмысленной и, стало быть, оберегает себя от некорректных аргументов столь же хорошо или плохо, как и бессмысленная гипотеза, предназначенная для этой цели.

Критика Витгенштейном аксиомы бесконечности связана с его концепцией тождества. Поскольку нельзя говорить о том, сколько существует объектов, то и нельзя отождествлять объекты в формулах типа $a = a$, потому что $a = a$ — это то же самое, что

$$E(x) \ \& \ (fx) \ \& \ x = a$$

То есть существует некоторое количество объектов, обладающих свойством f , и эти объекты суть a .

5.5352 Также хотели проявлять «Не существует Вещей» через « $\sim(\exists x) \ \& \ x = x$ ». Но даже если это было бы Пропозицией — не была ли бы она истинной, даже если бы «Вещи существовали», но при этом не были бы тождественны самим себе?

«Если « $\sim(\exists x) \ \& \ x = x$ » имело бы смысл, то также имело бы смысл « $(\exists x) \ \& \ x = x$ ». Оба этих выражения должны разрешать возможность вещей, не тождественных самим себе. Таким образом, первое было бы истинным, даже если бы некоторые объекты существовали, но не были бы тождественными самим себе» [Black: 298].

5.54 В общей пропозициональной Форме Пропозиция входит в другую Пропозицию лишь в качестве основания Истинностных Операций.

Это положение звучит как обобщение всего изложенного выше о Пропозициях как Истинностных Функциях Элементарных Пропозиций и отчасти повторяет максимум 4.4, но, главное, оно подготавливает почву для новой темы, разворачивающейся в следующих разделах, в ко-

торых тезис, утверждающийся в данном разделе, вначале ставится под сомнение — применительно к предложениям мнения (пропозициональным установкам) — но затем доказывается, что и они не являются исключениями.

5.541 На первый взгляд кажется, что Пропозиция может входить в другие и иным способом.

Особенно в некоторых пропозициональных формах психологии вроде «*A* думает, что *p* имеет место» или «*A* думает о *p*» и т. д.

Здесь именно поверхностно кажется, что Пропозиция *p* как будто стоит к Предмету *A* в каком-то отношении.

(И так понимаются эти Пропозиции в современной теории познания (Рассел, Мур и т. д.).)

В пропозициональных установках (термин Рассела [Russel 1980]) вторая часть связана с первой не-экстенционально. То есть истинность или ложность «*p*» не зависит от истинности или ложности «*A* думает». «*A*» может думать, что дождь не идет, а на самом деле он идет. Получается, что «*A* думает, что *p*» не является функцией истинности «*A* думает» и «*p*».

Однако еще Фреге в XIX веке в знаменитой статье «Смысл и денотат» разъяснил, что придаточные изъяснительные предложения с союзом что, не имеют истинностного значения (т. е. тем самым, по сути не являются настоящими пропозициями) и их значением служит их смысл, т. е. высказанное в них суждение [Фреге 1977].

5.542 Но ясно, что «*A* полагает, что *p*», «*A* думает, что *p*», «*A* говорит, что *p*» суть Пропозиции Формы «*p* говорит *p*». И здесь мы имеем не координацию Факта и Предмета, а координацию Фактов посредством координации их Предметов.

Хотя Витгенштейн не ссылается здесь на Фреге, он решает проблему в духе Фреге. Он лишает «*p*» статуса Пропозиции. «*P* говорит *p*» — значит, что нечто издает какие-то звуки. По сути «*P* говорит *p*», а следовательно, и его деривант «*A* полагает, что *p*», является функционально Элементарной Пропозицией [Maslow 1962: 108]. Когда человек разделяет мнение о чем-то, он строит картину факта, приводя элементы своей Картины в соответствие с элементами факта. Картина тем не менее сама является фактом. Поэтому мы имеем «соответствие фактов посредством соответствия их предметов». Он сравнивает утверждение о мнении в этом отношении с утверждением вроде «Гренландия холодная» говорит, что Гренландия холодная». Здесь, следуя Витгенштейну, мы соотносим элементы пропозиционального Знака (который является Кар-

тиной) с элементами Факта. Точнее, элементы Пропозиционального Знака соответствуют объектам Мира, и способ их комбинации в Пропозиции используется для того, чтобы представить путь, по которому объекты комбинируются друг с другом» [Fogelin 1976: 68]. И еще одна важная мысль относительно витгенштейновского понимания пропозициональных установок: «...когда нам говорят «А говорит, что p », то нам показывается (we are shown), что А говорит, что он утверждает о мире посредством того, что нам говорится, какие слова он использует. Или опять-таки если нам говорят «А полагает, что p », то нам показывается то, что А полагает, посредством того, что он говорит о том, какая картина ему представляется» [Mounce 1982: 86]. Итак, отличие позиции Витгенштейна от позиции Фреге относительно пропозициональных установок примерно то же, какое Витгенштейн всегда высказывает, когда заходит речь о разных уровнях языка. Витгенштейн всегда прибегает здесь к метафоре молчаливого обнаружения, отвергая саму идею иерархичности языкового сознания. Все предложения равны, а те предложения, которые, используя выражение из Уорвела, «более равны, чем другие», не являются настоящими предложениями, т. е. ни о чем не говорят. Учение о пропозициональных установках, тем не менее, сыграло огромную стимулирующую роль в аналитической философии XX века, особенно в послевоенный период. Решение проблемы пропозициональных установок опиралось, скорее, на фрегевское представление проблемы. Так, Хинтиikka строит семантику возможных миров для пропозициональных установок [Хинтиikka 1979], а Крипке рассматривает ситуацию удвоения мира в контекстах мнения [Крипке 1986]. Критика самого понятия истинности как основы семантической теории [Даммит 1987, Сааринен 1986] в послевоенный период перенесла акцент с того, что любая пропозициональная установка является скрытой Элементарной Пропозицией, на то, что любая Элементарная Пропозиция является скрытой пропозициональной установкой. Особенно отчетливо эта антиверистская позиция: ничто не является пропозицией, прямым контекстом, но всякое утверждение есть мнение, т. е. косвенный контекст — стала преобладать в послевоенной теории речевых актов, так называемая перформативная гипотеза [Ross 1976, Вежбицка 1985], в соответствии с которой любому высказыванию в речи реально предпосылается перформативная пресуппозиция. Это решение в духе позднего Витгенштейна.

5.5421 Это также показывает, что душа, субъект и т. д. — как они понимаются поверхностной психологией, — являются химерами.

Некая сложная душа как раз не была бы душой.

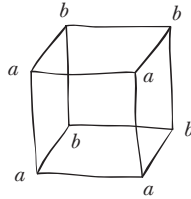
Дословно — «душа, субъект и т. д. [...] являются не-вещами» (вариант «химеры» предложен М. Блэком [*Black: 301*]). Почему душа не может быть сложной? Послушаем, что говорит анализирующий этот раздел Х. Мунк: «Чтобы понять, что это значит, давайте еще раз пересмотрим предложение «*A* полагает, что *p*». На самом деле, говорит Витгенштейн, этому соответствует форма «*p* говорит, что *p*». Теперь, как мы видим, это не означает, что в соответствии с анализом «*A* полагает, что *p*» *A* вообще не принимается в расчет, а действительный субъект — это «*p*». То, против чего возражает Витгенштейн, это не та мысль, что *A* — субъект, но та, что душа этого *A* является субъектом, где душа *A* рассматривается определенным образом, а именно, как несложная сущность. Но почему он полагает, что его собственный анализ показывает, что субъект утверждения «*A* полагает, что *p*» не может быть рассмотрен таким образом? Ответ заключается в том, что витгенштейновский анализ утверждения «*A* полагает, что *p*» включает в себя то, что он говорит, что это включает в *A* определенные психологические элементы, которые обладают Логической Формой и поэтому изображают или показывают возможные Положения Вещей. Но для того, чтобы эти психологические элементы обладали Логической Формой или Структурой, они должны быть сложными. Следовательно, субъект утверждения «*A* полагает, что *p*» не может быть душой *A*, т. е. некой не-сложной сущностью. Легко понять, что такой взгляд ведет к точке зрения на «я», которая совместима с юмовской. Мое «я» не является простой сущностью, это пучок психологических элементов. Эти элементы связаны не в некую простую сущность, которая каким бы то ни было образом стоит за ними, но с другими психологическими элементами, которые имели место раньше и будет иметь место позже. «Я» есть просто тело с его ментальной историей» [*Mounce 1981: 87–88*].

5.5422 **Корректное прояснение Формы Пропозиции «*A* судит о *p*» должно показать, что невозможно судить о бессмысленном. (Теория Рассела этому условию не удовлетворяет.)**

Расселовская теория суждения названа теорией «нескольких взаимосвязанных объектов». Суждению требуется отношение между сознанием и различными компонентами соответствующей Пропозиции. Например, когда мы говорим «Это — красное», то последнее подразумевает связь элементов сознания — «этого» и «красного» [*Black: 301*]. Витгенштейн возражает Расселу, говоря, что в соответствии с таким пониманием суждения можно судить о чем угодно, включая бессмыслицу «Этот стол ручкует книгу» (пример Витгенштейна из его «Заметок о логике» [*Wittgenstein 1982: 96*]). Но Витгенштейн не предлагает альтернативной теории суждения.

5.5423 Воспринимать некий комплекс значит воспринимать тот факт, что его компоненты соотносятся друг с другом таким-то и таким-то образом.

Это, возможно, прояснит тот факт, что фигуру



можно видеть двумя способами: возможно, этим объясняются и все подобные явления. Ибо мы на самом деле видим два разных Факта.

(Если я сначала смотрю на углы *a* и лишь мельком на *b*, то «*a*» кажется спереди; и наоборот.)

Продолжая полемику с Расселом о том, что мы воспринимаем комплекс в его комплексном отношении к различным конститuentам комплекса, Витгенштейн на примере знаменитого куба показывает, что невозможно одновременно воспринимать два конститuenta комплекса. Обращая внимание на одно, мы упускаем другое (ср. с принципом дополнительности Бора и соотношением ей неопределенности Гейзенберга) [Руднев 1996].

5.55 Мы должны теперь *a priori* ответить на вопрос о всех возможных Формах Элементарных Пропозиций. Элементарная Пропозиция состоит из Имен. Но поскольку мы не можем указать на число Имен с различными Значениями, то мы также не можем указать на состав Элементарной Пропозиции.

На этот вопрос, согласно Витгенштейну, нет ответа, и поэтому данный и следующий разделы носят чисто методологический характер.

5.551 Нашим основным положением является то, что каждый вопрос, который вообще может быть разрешен логически, должен быть разрешен без промедления.

(И если мы оказываемся в таком положении, что должны отвечать на эту проблему путем рассмотрения Мира, то это показывает, скорее, что мы на фундаментально ложном пути.)

То есть если вопрос не может быть разрешен без промедления, он вообще не принадлежит Логике и должен быть отброшен. Вся Логика априорна, поэтому изучать вопросы, относящиеся к Логике, путем рассмотре-

ния Мира, т. е. эмпирического материала, — это значит действовать неправильно. Все логические проблемы следует решать апеллируя лишь к самой Логике (Логика должна сама о себе позаботиться).

5.552 «Опыт», в котором мы нуждаемся для понимания Логики, есть не то, что нечто обстоит так-то и так-то, но то, что *есть* нечто, но оно не является никаким опытом.

Логика — до всякого опыта, что нечто является так-то. Она до как, но не до что.

Ср. 3.221. Пропозиция может говорить не о том, *что* есть Предмет, а лишь о том, *как* он есть. Логика существует, по Витгенштейну, до опыта, т. е. до Фактов, но не до неизменной Субстанции Мира. Субстанция Мира, Имена и их соединения в Элементарные Пропозиции — это нижняя граница Логики. Отсюда Логика начинает свой путь. Сущность Мира, по Витгенштейну, принципиально невысказываема, мистична. Этому вопросу посвящены 6.44 и все последние разделы «Трактата».

5.5521 А если бы это было не так, как могли бы мы пользоваться Логикой? Можно сказать: если бы Логика существовала даже в том случае, если бы не существовал Мир, то как могла бы существовать Логика, если существует Мир?

«Если бы логика была бы совершенно независима от того, что предоставляет возможность говорить, образовывать осмысленные пропозиции, было бы невозможно понять, как логика могла бы иметь вообще что-либо общее с пропозициями, с выражением мысли» [Black: 303].

5.553 Рассел говорит, что существуют простые отношения между различным количеством Вещей (индивидов). Но между каким именно числом? И как это решить? Посредством опыта?

Привилегированных чисел не бывает.

Здесь Витгенштейн укоряет Рассела за то, что он, во-первых, говорит о числах применительно к формальным объектам, что было отвергнуто Витгенштейном ранее, и, во-вторых, что он пытается решать логические проблемы «путем рассмотрения Мира» (5.551), а, стало быть, находится на ложном пути.

5.554 Указание на любую специфическую Форму было бы совершенно произвольным.

5.5541 Должно быть *a priori* возможным указывать, например, могли я попасть в такое положение, чтобы я был должен обозначить нечто Знаком некоего 27-разрядного отношения.

Имеется в виду специфическая форма Элементарной Пропозиции. Вообще говоря, трудно понять, как именно представлял себе Витгенштейн Элементарные Пропозиции и поэтому трудно решить, почему эти Формы не поддаются какому-либо логическому анализу. Если рассуждать от противного и отождествить Элементарные Пропозиции с простым однопредикатным предложением разговорной речи (ведь уже на следующей странице, в 5.55562–3, Витгенштейн говорит, и не в первый раз, что разговорная речь логически вполне легитимна и валидна), то можно построить ряд классификаций таких предложений, различающихся по типу предиката, субъекта и отношений между ними (см., например, [Теньер 1986; Ельмслев 1960; Гаспаров 1971]). Но эти классификации не будут логическими в строгом смысле слова.

5.5542 Но можно ли вообще задавать такие вопросы? Можем ли мы установить некую знаковую Форму и не знать при этом, соответствует ли ей что-либо?

Имеет ли какой-либо Смысл вопрос: что должно быть, чтобы могло быть что-то другое?

На первые два вопроса следует отвечать отрицательно. Таких вопросов, по Витгенштейну, задавать нельзя. Если устанавливаешь знаковую форму, то всегда знаешь, что ей соответствует. Ей должен соответствовать некий фрагмент Мира или множества возможных Миров. Третий вопрос можно классифицировать как бессмысленный. Бессмысленно спрашивать, на что похожа субстанция, если Факты возможны.

5.555 Ясно, что мы располагаем понятием Элементарной Пропозиции помимо ее особых логических Форм.

Но там, где можно строить Символы некой системы, там логически существенна эта система, а не отдельные Символы.

И как было бы возможно, чтобы я в Логике имел дело с Формами, которые я могу придумать; скорее, я должен иметь дело с тем, что дает мне возможность их придумывать.

«Понять переменную p означает знать систему, к которой она принадлежит. Если p соответственно перемещается из одной системы в другую, то p на самом деле изменяет свой смысл. Принадлежность p к системе S должна показывать себя сама — она не может быть высказана» [Black: 304].

5.556 Не бывает иерархии Форм Элементарных Пропозиций. Мы можем предвидеть только то, что мы сами могли построить.

Мы не можем обеспечить каких-либо априорных спецификаторов для построения Форм Элементарных Пропозиций. Предвидеть и построить

можно только общую Форму Пропозиции. Элементарная Пропозиция – это предел, нижняя граница компетенции Логики. По Витгенштейну, не может быть Логики имен, так как это логически простые объекты.

5.5561 Эмпирическая действительность ограничена совокупностью всех Предметов. Граница вновь проявляет себя в совокупности всех Элементарных Пропозиций.

Мы переводим обычное в «Трактате» Wirklichkeit как Реальность, а употребленное здесь Realitaet – как действительность. Последний термин не имеет того специфически амбивалентного значения, которое имеет термин Реальность (как совокупность существующих и несуществующих положений Вещей [*Finch 1972*]). Граница всех предметов – это граница действительности, а граница Элементарных Пропозиций – это граница Логики. Между этими двумя границами находится Мир как совокупность Положений Вещей и Фактов. Предметы образуют Субстанцию Мира и, естественно, что границы проходят по этой Субстанции. У Логики нет Субстанции, поэтому ее границами являются не Имена, а Элементарные Пропозиции.

5.5562 Если мы знаем по чисто логическим основаниям, что Элементарные Пропозиции должны существовать, то это должен знать каждый, кто понимает Пропозиции в неанализированной Форме.

Тот, кто понимает Пропозиции в неанализированной форме, по-видимому имплицитно должен понимать, что из них можно вывести все Элементарные Пропозиции. Это входит, как бы сказал Н. Хомский, в языковую компетенцию говорящего. Продолжая аналогию с генеративной грамматикой, можно сказать, что говорящий способен, используя общие правила порождения предложения, уметь порождать все возможные предложения этого языка (родного), который он знает.

5.5563 Все Пропозиции нашей разговорной речи такие, какие они есть, являются логически упорядоченными.

Всякое прояснение, которые мы должны здесь дать, не является неким подобием Истины, но, скорее, самой Истиной во всей ее полноте.

(Наши проблемы не абстрактны, скорее, это самые конкретные из всех проблем, какие только бывают.)

«Как странно, если логика сконцентрирована на себе и на «идеальном языке», а не на нас. Что бы выражал этот идеальный язык? Конечно, то же, что мы теперь выражаем на нашем обыденном языке; вот что должна исследовать логика. [...] Логический анализ – это анализ чего-то

того, что у нас есть, а не того, чего у нас нет» (L. Wittgenstein. *Philosophische Bemerkungen*; Цит. по [Black: 305]). То, что проблемы логики являются наиболее конкретными, Витгенштейн пытался доказать всей своей жизнью. Вспомним, что «Трактат» фактически писался на фронте и в плену. Ср. также воспоминания Рассела, что для Витгенштейна логика и этика были частью какой-то одной важнейшей проблемы [McGuinness 1989: 131].

5.557 Применение Логики сверх прочего решает, какие бывают Элементарные Пропозиции.

Ясно: Логика не может входить в трения со своим применением.

Но Логика должна соприкасаться со своим применением.

Поэтому Логика и ее применение не должны перекрещиваться друг с другом.

Применение логики – это есть логический анализ Пропозиций. Мы не можем дать Форму Элементарных Пропозиций (5.55), пока мы остаемся в царстве Логики как системы, но анализ любой данной Пропозиции однозначно приведет нас к Элементарным Пропозициям (ср. 4.221). Между принципами Логики как целого и логическим анализом Пропозиции не должно быть конфликта. Логика соприкасается со своим объектом подобно тому, как измерительный прибор соприкасается с измеряемым объектом (ср. 2.15121).

5.5571 Если я не могу дать *a priori* элементарных Пропозиций, то желание их дать должно вести к явной бессмыслице.

Желание невозможного в логике равносильно идее задания координат несуществующей точки (ср. 2). Логика должна выполнять то, что она способна выполнять, не берясь за то, что противно ее природе.

5.6 Границы моей речи указывают на границы моего Мира.

Это несомненно один из самых знаменитых афоризмов «Трактата». Обычно его переводят так: «Границы моего языка означают границы моего мира» [Витгенштейн 1958; Витгенштейн 1994]. Мотивировка перевода Spache как «речь» дана нами в комментарии к 4. Уже М. Блэк писал, что переводить слово *bedeuten* как *mean* (значить, означать) вряд ли имеет смысл, поскольку не вполне понятно, что это означает, что «границы языка означают границы мира». Он предложил перевод – «Границы моего языка являются границами моего мира». Но термин *bedeuten* означает «референцию», а не простое отождествление; это указание на денотат. Границы мира являются денотатом границ речи. Поэтому правильнее сказать, что «границы речи указывают на границы мира».

В этом афоризме содержится некая квинтэссенция витгенштейновского философствования – недаром его смысл пересекается с программным заявлением предисловия к «Трактату», где Витгенштейн говорит, что хочет обозначить границы выражения Мысли. Что же это за Философия? По-видимому, можно сказать, что это своеобразный лингвистический идеализм. Усугубление концепций Декарта, Юма, Канта и Шопенгауэра. Я могу знать Мир настолько, насколько это позволяет мне мой язык. Мой Мир – это Мир, данный мне в языке и посредством языка. Нет Мира вне языка. То, что не названо, не существует для меня. Но что же все-таки существует: Мир с его Положениями Вещей и Фактами или язык с Элементарными Пропозициями и комплексными пропозиционными Знаками? Этого я знать не могу, потому что я нахожусь внутри границ языка.

Этот афоризм является в какой-то мере обобщением всего того, что сказано в разделе 5 с его учением об общей Пропозициональной Форме, о формальности логического вывода, теории вероятности, Операции, универсальности, тождестве, пропозициональных установках. Таков неполный перечень вопросов, которые, по Витгенштейну, можно разрешить, потому что они находятся внутри языка. Но помимо этого 5.5 вводит еще новую, заключительную тему раздела 5 – тему солипсизма.

5.61 Логика заполняет Мир: границы Мира – это и ее границы.

Поэтому в Логике мы не можем сказать: Это и это есть в Мире, а другого нет.

Ведь названное предполагало бы, что мы какие-то возможности исключаем, но так не бывает, ибо для этого Логика должна была бы переступить через границы Мира: чтобы можно было на названную границу посмотреть с другой стороны.

То, о чем мы не можем подумать, о том мы подумать не можем: поэтому мы также не можем сказать то, о чем мы не можем подумать.

Логика и речь (Sprache) различаются лишь экстенционально. По форме они суть одно и то же. Логика – это метод, посредством которого язык структурируется таким образом, чтобы быть в состоянии отражать мир.

Нельзя применительно к логике говорить, что это есть, а этого нет, потому что Логические Формы несчетны (нельзя сказать, сколько предметов существует (ср. 4.1272). Мы не можем сказать того, о чем не можем подумать.

5.62 Это замечание дает ключ к решению вопроса о том, в какой мере истинным является солипсизм.

Что имеет в виду именно солипсизм, совершенно правильно, но только сказать об этом нельзя, скорее, это обнаруживает себя само.

И то, что Мир — это мой Мир, обнаруживается в том, что границы речи, единственной речи которую из всех я понимаю, указывают на границы моего Мира.

Как раз такой вещью, которую нельзя помыслить, является солипсизм.

Перевод третьего предложения этого раздела нуждается в разъяснении. В оригинале выражение, находящееся в скобках, после слов «что границы речи»: *der Sprache die allein ich verstehe* — может быть переведено двояко: 1) «того единственного языка, который я понимаю»; 2) «того языка, который только я понимаю». Первый английский перевод дает второй вариант [*Wittgenstein 1922*], который можно назвать «солипсистским» в сильном смысле. Я. Хинтикка указал на ошибочность этого перевода [*Hintikka 1966*]. Ныне большинство переводчиков и комментаторов придерживаются первого варианта (за исключением Г. Э. Энком [*Anscombe 1960*] и новейшего русского перевода [*Витгенштейн 1994*], где переведено: «того языка, который мне только и понятен»).

Почему второй вариант перевода не верен? Во-первых, потому что Витгенштейн не разделяет точку зрения солипсизма, как будет видно ниже. Во-вторых, язык, который понятен только одному человеку, — это никому более не понятный язык, это тот «индивидуальный язык», невозможность которого Витгенштейн позже доказал в «Философских исследованиях» (Подробно о проблеме индивидуального языка см., например, [*Уиздом 1995; Kripke 1982*]).

Как же понимает Витгенштейн проблему солипсизма? Вот что пишет по этому поводу Х. Мунк, который, по нашему мнению, наиболее тонко разобрал этот вопрос: «Витгенштейн имеет в виду, что солипсизм сам по себе ошибочен, а не только то, что ошибочна попытка выразить его словами. [...] Его точка зрения, я полагаю, состоит в том, что солипсизм — это ошибочная попытка сказать нечто, что не может быть сказано и чему должно быть позволено показывать себя. Существует как бы некая правда позади солипсизма, но она не может быть высказана, и солипсизм — ошибочный результат попытки сделать это. Истина не в том, что я один реален, но в том, что я располагаю такой точкой зрения на мир, у которой нет соседей» [*Mounce 1981: 91*].

Что я хочу сказать тем, что Мир дан мне в языке? Это понимание — единственное, которое есть. Я знаю, это не потому, что я рассмотрел другие Возможности и отверг их. Скорее, я знаю это в точности потому, что это показывает себя в том, что не существует других Возможностей. Ибо нет языка кроме языка, и поэтому нет другого понимания Мира, чем то, которое нам дает язык.

Это понимание — мое понимание.

Мое понимание Мира поэтому подобно моему визуальному пониманию моих соседей.

5.621 Мир и жизнь — одно.

5.63 Я и есть мой Мир. (Микрокосмос.)

Поскольку нет иного пути восприятия Мира, как только через язык, Мир совпадает с жизнью восприятия. И само оно совпадает с Миром. Это высказывание, так или иначе, весьма мифологично. отождествление себя с Миром (макрокосмом) — одна из наиболее распространенных мифологем мировой культуры.

5.631 Не бывает думающего, представляющего субъекта.

Если я пишу книгу «Мир, каким я его застал», в ней должно быть написано также о моем теле и сказано, какие члены подчиняются моей воле, а какие нет и т. д. Это именно такой метод, чтобы изолировать субъект или сказать, что в каком-то важном смысле субъектов не бывает: о нем одном в этой книге *не может вестись речь*.

5.632 Субъект не принадлежит Миру, скорее, он является границей Мира.

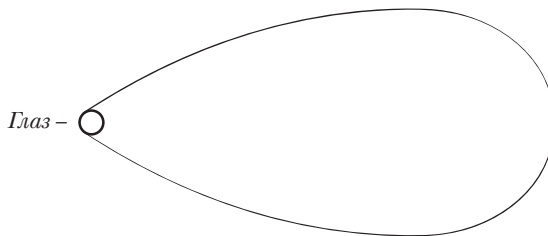
Название «Мир, каким я его застал» — несомненная аллюзия на книгу Шопенгауэра «Мир как воля и представление». Субъект является границей мира, а не такой же вещью внутри него, как другие вещи. Субъект — это возможность говорить о мире. Поэтому субъект не может говорить о себе самом, как о другом. Здесь логика примерно такая же, как в разделе 3.333, где говорилось о теории типов.

5.633 Где в Мире может быть отмечен метафизический субъект?

Ты говоришь, что тут дело обстоит точно так же, как с глазом и полем зрения. Но на самом-то деле ты сам не видишь глаза.

И не из чего в *поле зрения* не следует, что оно видится глазом.

5.6331 Поле зрения не имеет нечто вроде такой Формы:



Мы не видим себя видящими, не видим своего глаза. Разве что в зеркале как нечто чужое, как мнимое тело наряду с другими телами (ср. соображения Ж. Лакана о стадии зеркала как возможности ребенком воспринять впервые свою субъективность [*Lacan 1956*]). Андрей Тарковский в фильме «Зеркало» поступает в полном соответствии с идеологией «Трактата». Главный герой — субъект — не виден, слышится только его голос (видна только его рука, когда он умирает). В зеркале же он всегда видит себя маленьким.

5.634 Это связано с тем, что ни одна часть нашего опыта также не есть *a priori*.

Все, что мы видим, может быть также другим.

Все, что мы вообще можем описать, тоже может быть другим.

Не бывает никакого порядка вещей *a priori*.

Тот факт, что переживаемое мной является моим переживанием, не есть случайный факт. Следовательно, если «метафизический субъект» был бы различим внутри опыта, то было бы невозможно нечто отыскать *a priori* как часть опыта.

5.64 Отсюда видно, что солипсизм, строго продуманный вместе с чистым реализмом, оказывается несостоятельным. «Я» солипсизма сокращается до непространственной точки и остается скоординированная с ним Действительность.

Ибо солипсист в своем желании отрицать независимую Реальность, утверждая, что только он и его Мысли реальны, как будто обретает идею себя как объекта, стоящего как бы над Миром и против кажущегося нереальным Мира. Но когда он осознает ошибочность этого, когда он видит, что не может быть такого объекта, каким бы он хотел рассматривать себя, Мир вновь появляется как единственная Реальность, в которой его «Я» может себя манифестировать.

5.641 Поэтому действительно имеет Смысл, в котором в философии можно говорить о «Я» непсихологически.

«Я» выступает в Философии благодаря тому, что «Мир — это мой Мир».

Философское «Я» — это не человек, не человеческое тело или душа, о которой говорит психология, а скорее, метафизический субъект, граница — не часть Мира.

«Тем не менее человеческое тело, мое тело в частности, является частью мира среди других тел, животных, растений, камней и т. д.» [*Wittgenstein 1982: 82*].

«То, что все познает и никем не познается, — это субъект. Он, следовательно, носитель мира, общее и всегда предполагающееся условие всех

явлений, всякого объекта; ибо только для субъекта существует все, что существует. Таким субъектом каждый находит самого себя, но лишь постольку он познает, а не является объектом познания. Объектом, однако, является уже его тело, и оттого само оно, с этой точки зрения, называется нами представлением. Ибо тело — объект среди объектов и подчинено его законам, хотя оно — непосредственный объект. Как и все объекты созерцания, оно пребывает в формах всякого познания, во времени и пространстве, благодаря которым существует множественность.

Субъект же, познающее, никогда не познанное, не находится в этих формах: напротив, он сам всегда уже предполагается ими, и таким образом ему не надлежит ни множественность, ни ее противоположность — единство. Мы никогда не познаем его, между тем как именно он познает, где только не происходит познание» [*Шопенгауэр 1992: 55–56*].

6 Общая форма истинностной Функции такова: $[\bar{r}, \bar{\xi}, N(\bar{x})]$.

Это и есть общая Форма Пропозиции.

6.001 Это означает не что иное, как то, что каждая Пропозиция есть результат последовательного применения Операции $N'(\bar{\xi})$ к элементарным Пропозициям.

Этот раздел кажется самым трудным в силу нагромождения нестандартных формул и графов. Между тем, самое трудное осталось уже позади. Формула $[\bar{r}, \bar{\xi}(N\bar{\xi})]$ в сущности довольно проста. p означает множество Элементарных Пропозиций, $\bar{\xi}$ — то подмножество их, выбранное произвольно, которое подлежит какой-либо операции, а $(N\bar{\xi})$, как мы уже знаем, — операция Отрицания. То есть эта формула говорит: «Возьмите всю совокупность Элементарных Пропозиций (\bar{r}), выберите из них, сколько хотите ($\bar{\xi}$) и произведите над ними операцию последовательного Отрицания; в результате получите общую Форму Пропозиции («Дело обстоит так-то и так-то»), которая, как доказано в разделе 5, является общей Формой истинностной функции Элементарных Пропозиций.

6.002 Если дана общая Форма того, как построена Пропозиция, то тем самым дана общая Форма того, как можно посредством Операции производить из одной Пропозиции другую.

То есть если мы понимаем Формы $p \vee \sim p$ или $p \rightarrow q$, то мы, применяя операцию N , можем построить на них любые другие Пропозиции, как это показано в комментарии к 5.

6.01 Поэтому общая Форма Операции $\Omega'(\bar{\eta})$ такова:

$$[\bar{\xi}, N(\bar{\xi})]'(\bar{\eta}) = (\bar{\eta}, \bar{\xi}, N(\bar{\xi})).$$

Это наиболее общая форма перехода от одной Пропозиции к другой.

Не более сложной является формула Операции. $\Omega(\eta)$ — это то, что должно быть сделано применительно к любому множеству Пропозиций, чтобы получить их истинностные функции, т. е. Пропозиции. Таким образом, 6.01 говорит: «Над выбранным множеством (\bar{r}) произведи Операцию ($\Omega(\eta)$), чтобы получить множество пропозиций (η).

6.02 И так мы приходим к числам. Я определяю $x = \Omega^0 x$ Def. и $\Omega^n x = \Omega^{n+1} x$ Def.

Поэтому, следуя данным знаковым правилам, мы ряд $x, \Omega x, \Omega^2 x, \Omega^3 x, \dots$ запишем так: $\Omega^0 x, \Omega^{0+1} x, \Omega^{0+1+1} x, \Omega^{0+1+1+1} x, \dots$

Стало быть, вместо « $[x, x, \Omega^2 x]$ » пишем « $[\Omega^0 x, \Omega^1 x, \Omega^{1+1} x]$ ».

И даем определения:

$0 + 1 = 1$ Def.,

$0 + 1 + 1 = 2$ Def.,

$0 + 1 + 1 + 1 = 3$ Def.,

(и т. д.).

6.021 Число является показателем Операции.

Идея числа вообще возникает здесь, потому что Витгенштейн говорит о квантифицированных Пропозициях, т. е. всех (\bar{r}) или некоторых (ξ). Ω — знак Операции. Как же возникает число, в соответствии с этой доктриной? Допустим у нас имеется Элементарная Пропозиция «Имеется яблоко» («Я вижу яблоко»). Мысленно мы производим конъюнкцию этих двух Пропозиций и получаем Пропозицию «Я вижу два яблока». По Витгенштейну, это результат Операции ($N \bar{\xi}$) над Пропозициями p («Я вижу яблоко») и \bar{r} («Неверно, что я вижу одно яблоко»).

Число возникает как показатель этой функции. $\Omega^0 x$ — это значит, что операция не производилась ни разу. Ω^n — значит, что Операция производилась n раз. Ω^{n+1} — означает, что она производилась $n + 1$ раз.

6.022 Понятие числа — не что иное, как обобщение всех чисел, общая Форма Числа.

Понятие числа — переменная.

А понятие числового равенства — общая Форма всех частных числовых равенств.

6.03 Общая форма числа такова:

$[0, x, \dots x + 1]$.

Понятие числа — общая Форма числа — это такая же логическая абстракция, как и общая Форма Пропозиции и Операции — это метод, при помощи которого Витгенштейн устанавливает, как от одного числа переходить к другим. Таким образом, число — это ноль, отсутствие чис-

ла, некое произвольно выбранное множество Пропозиций плюс добавленное к нему еще одно множество. Эта формула в принципе подходит к любому числу.

6.031 Теория классов в математике совершенно излишня.

Это связано с тем, что универсальность, с которой имеет дело математика, не является случайной.

Витгенштейн полагает, что привилегированных чисел нет, так же как и привилегированных понятий, поэтому теория классов в математике не нужна, так же как теория типов не нужна в логике (3.333) (подробнее об этом см. [Black: 314–317]).

6.1 Пропозиции Логики — Тавтологии.

6.11 Поэтому Пропозиции Логики не говорят ничего. (Они являются аналитическими Пропозициями.)

Это на новом витке повторение разделов 4.46 и 4.461. Новым здесь является только то, что Тавтология названа аналитической Пропозицией, т. е. такой Пропозицией, Истинность или Ложность которой не зависит от соотнесения ее с действительностью, а следует из самой логической записи. Так, ясно, что $p \vee \sim p$ — Тавтология, а $p \rightarrow \sim p$ — Противоречие. Нужно только договориться о значении связок. Смысл этих предложений может быть каким угодно. У Тавтологии — универсальный экстенционал; у Противоречия — нулевой экстенционал [Льюис 1983].

6.111 Теории, в которых Пропозиции Логики могут казаться содержательными, всегда ложны. Можно, например, полагать, что слова «истинно» и «ложно» обозначают два свойства среди других свойств, и в этом случае казалось бы удивительным Фактом, что каждая Пропозиция обладает одним из этих свойств. Теперь это уже звучит не столь очевидно, столь же мало очевидно, как Пропозиция «Все розы являются либо желтыми, либо красными», даже если она является истинной.

Да, каждая такая Пропозиция в этом случае получает статус естественно-научной Пропозиции, это верный признак того, что она была ложно понята.

Смысл рассуждений Витгенштейна состоит в том, что Истинность и Ложность не являются свойствами Пропозиций среди других ее свойств. По Витгенштейну, это условие функционирования Пропозиций как таковых.

Когда Пропозиция перестает быть аналитической, она переходит из сферы логики в сферу позитивной науки, где ее Истинность должна быть верифицирована.

6.112 Корректное прояснение логических Пропозиций должно ставить их в исключительное положение среди всех других Пропозиций.

Логические пропозиции будучи выявлены среди других Пропозиций должны быть поставлены в особые условия, так как они являются Тавтологиями, они ничего не говорят о Мира. Тогда возникает вопрос, зачем они вообще нужны? Ответ дается в 6.12.

6.113 Специфическим признаком логических Пропозиций является то, что можно узнать, исходя лишь из их Символа, тот Факт, что они являются истинными, и этот Факт заключает в себе всю Философию Логике. И это один из важнейших Фактов, что Истинность или Ложность нелогических Пропозиций *не* может быть узнана из одних этих Пропозиций.

Что является признаком логической Пропозиции, Тавтологии? То, что она является истинной, исходя из записи (символизма). Почему для Витгенштейна в этом вся философия Логике? Потому что одним из постулатов его философии Логике является то, что Логика не имеет отношения к миру, является самодостаточным отражением формальных свойств Мира, о чем подробно говорится в следующих разделах.

6.12 То, что Пропозиции Логике — Тавтологии, обнаруживает формальные — логические — свойства речи, Мира.

То, что их компоненты, связанные между собой *так*, дают Тавтологии, характеризует Логике их компонентов.

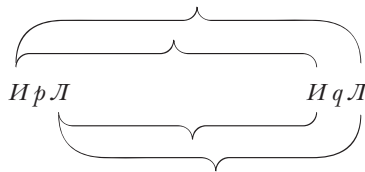
Чтобы Пропозиции, связанные тем или иным образом, давали Тавтологии, они должны обладать определенными свойствами их Структуры. То, что связанные *так*, они дают Тавтологию, показывает поэтому, что они действительно обладают этими свойствами их Структуры.

6.1201 То, что например, Пропозиции « p » и « $\sim p$ » в своей связи с « $\sim(p \ \& \ \sim p)$ » дают Тавтологию, показывает, что они противоречат друг другу. То, что Пропозиции « $p \supset p$ », « p » и « q », связанные между собой в форме « $(p \supset q) \ \& \ (p) : \supset : (q)$ », дают Тавтологию, показывает, что q следует из p и из $p \supset q$. То, что « $(x) \ f x : \supset : f a$ » есть некая Тавтология, показывает, что $f a$ следует из $(x) \ \& \ f x$ и т. д.

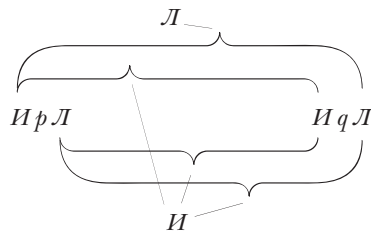
6.1202 Ясно, что для той же цели вместо Тавтологий можно было бы использовать Противоречия.

Возьмем пропозиции $p \rightarrow \sim p$ и $p \rightarrow \sim q$. Вторая является обычной нелогической Пропозицией. Ее формальная Структура не говорит о ее Истинности или Ложности: она может быть истинной или ложной в зависимости от обстоятельств. $p \rightarrow \sim p$ всегда истинна и это ясно из ее логической структуры. Своей Структурой она как бы говорит: «Так не бывает никогда, чтобы из чего-то одного логически следовало бы противоположное». Это некий закон Логики, характеризующий не сам Мир, а его логические свойства. Или же $\sim(p \ \& \ \sim p)$ – закон Противоречия. Он не говорит ничего о Мире, о Фактах, но он говорит, что если какое-либо (любое) утверждение о Мире истинно, то его Отрицание всегда ложно. Тавтологии и Противоречия – это логические эталоны, при помощи неизменности заданности которых мы можем далее изменять все в Мире.

6.1203 Для того чтобы распознать Тавтологию саму по себе, можно в тех случаях, когда в Тавтологию не входит Знак общности, пользоваться следующим методом: Я пишу вместо « p », « q », « r » и т. д. « $ИрЛ$ », « $ИqЛ$ », « $ИrЛ$ » и т. д. Комбинации Истинности я выражаю скобками, например :

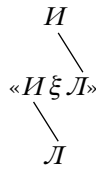


а координация Истинности – Ложности всей Пропозиции с комбинациями Истинности истинностных аргументов обозначена штрихами следующим образом:

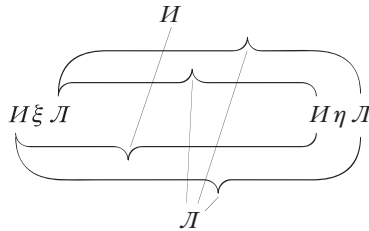


Этот Знак поэтому мог бы служить изображением, например, Пропозиции $p \supset q$. Теперь я хочу исследовать на основании этого, явля-

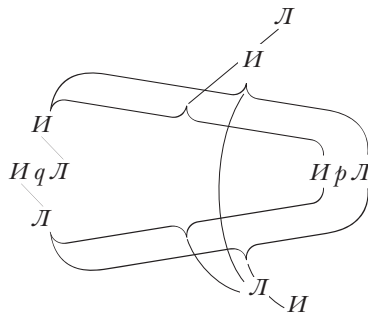
ется ли, например, Пропозиция $\sim(p \ \& \ \sim p)$ (закон Противоречия) Тавтологией. Форма « $\sim\xi$ » имела бы вид:



а Форма « $\xi \ \& \ \eta$ »будет такова:



Отсюда Пропозиция $\sim(p \ \& \ \sim q)$ гласит:



Если мы вместо « q » поставим здесь « p » и исследуем сочетание расположенных с краю $И$ и $Л$ с расположенными внутри, то получится, что Истинность всей Пропозиции согласуется со *всеми* комбинациями Истинности ее аргументов, а Ложность не согласуется ни с одной комбинацией Истинности.

Чтобы понять этот раздел, необходимо прежде всего уяснить, что графически модели Витгенштейна в точности соответствуют таблицам истинности (...). Так в первом чертеже просто при помощи четырех скобок говорится, что у двух Пропозиций может быть четыре основа-

ния истинности: p – истинно; q – ложно (верхняя внешняя скобка); p – ложно; q – истинно (верхняя внутренняя скобка); p – ложно; q – истинно (нижняя внутренняя скобка); p – ложно, q – ложно (нижняя внешняя скобка). То есть это соответствует матрице Истинностных Возможностей в 4.31:

p	q
И	И
Л	И
И	Л
Л	Л

Второй чертеж изображает условия Истинности импликации $p \rightarrow q$, т. е. соответствует матрице 4.442:

p	q	$p \rightarrow q$
И	И	И
Л	И	И
И	Л	Л
Л	Л	И

То есть линии, соответствующие букве *И*, идущие к скобкам – верхней внутренней и нижним внутренней и внешней, означают, что сочетания *ИИ*, *ЛИ* и *ЛЛ* дают истинную импликацию. Сочетание *ИЛ* – линия к верхней внешней скобке – дает ложную импликацию. Чтобы закрепить это понимание, построим такой же граф для конъюнкции. Ее матрица будет следующей:

p	q	$p \& q$
И	И	И
И	Л	Л
Л	И	Л
Л	Л	Л

То есть конъюнкция истинна только когда истинны оба конъюнкта. Стало быть, на схеме надо провести линии от буквы *И* только к одной

скобке – верхней внутренней, соответствующей сочетанию *И p И о*.

Вот так:

И

Теперь что означает третий чертеж – *И Σ Л*? Это значит, что для множества

Л

Пропозиций Σ их отрицания (неверно, что $\Sigma = \bar{\Sigma}$) будет означать, что каждому истинностному значению Σ будет соответствовать ложное значение Σ, а каждому ложному значению Σ – истинностное значение Σ.

Следующий чертеж показывает конъюнкцию двух множеств Элементарных Пропозиций Σ и *h*. Этот пример мы только что разобрали выше как конъюнкцию пропозиций *p* и *q*.

Значение Истинно будет в этом случае только одно (нижняя внутренняя скобка, соответствующая основанию истинности *ИИ* (*p* истинно, *q* истинно) – единственному, при котором конъюнкция истинна. Остальные три скобки будут соответствовать значению Ложно.

Наконец, в последнем чертеже Витгенштейн показывает истинностные возможности неэлементарной Пропозиции $\sim(p \& \sim q)$.

И

И *q* Л соответствует $\sim q$, а самые внешние черточки: *И – Л* и *И – Л – Л* означают отрицание Пропозиции, находящейся в скобках ($p \& \sim q$), так же как в случае с

И
 N
 И Σ
 Л–

там, где истинно, появляется ложно, и наоборот.

Теперь, говорит Витгенштейн, если заменить $\sim q$ на не-*p*, т. е. превратить это предложение из Пропозиции в Тавтологию $\sim(p \& \sim p)$, то получим совсем другую Картину.

У отрицания Элементарной Пропозиции *p* (не-*p*) будет всего две истинностные возможности: когда *p* истинно, не-*p* – ложно, и наоборот.

<i>p</i>	$\sim p$
И	Л
Л	И

Поэтому скобок в два раза меньше. И соответственно отрицание этой Пропозиции ($p \& \sim p$) – внешнее L – дает в результате Истину (истинность всей Пропозиции согласуется со всеми комбинациями истинности ее аргументов, а ложность не согласуется ни с одной).

6.121 Пропозиции Логике демонстрируют логические свойства Пропозиций, связывая их в ничего не говорящие Пропозиции.

Этот метод можно было бы также назвать методом нуля. В логической Пропозиции все Пропозиции уравнивают друг друга, и в этом случае состояние равновесия указывает, как в логическом плане должны строиться эти Пропозиции.

Из этого следует, что мы можем обходиться без логических Пропозиций, поскольку мы ведь можем узнавать в соответствующей нотации формальные свойства Пропозиций путем простого их наблюдения.

«Предложения Логике», т. е. Тавтологии, демонстрируют «логические свойства предложения». В чем же состоит логическое свойство предложения $\sim(p \& \sim q)$. В том, что если p заменить на q , то они взаимно нейтрализуются («метод нуля»). В результате получится Тавтология – ничего не говорящее о мире предложение Логике.

6.122 Из этого следует, что мы можем обходиться без логических Пропозиций, поскольку мы ведь можем узнавать в соответствующей нотации формальные свойства Пропозиций путем простого их наблюдения.

Посмотрев на запись предложения $\sim(p \& \sim q)$, можно, не прибегая к Тавтологии, понять что его формальные свойства, которые в данном случае состоят в том, что отрицание целой Пропозиции равнозначно дизъюнкции отрицания первого конъюнкта ($\sim p$) и второго конъюнкта (q). То есть $\sim(p \& \sim q) = \sim p \& \sim \sim q = \sim p \& q$.

6.1221 Если, например, две Пропозиции « p » и « q » в связке « $p \supset q$ » дают Тавтологию, то ясно, что q следует из p .

То, что, например, « q » следует из « $p \supset q \& p$ », мы видим из самих этих двух Пропозиций, но мы можем также это показать, связав их в « $p \supset q \& p : \supset : q$ » и после этого показав, что они являются Тавтологией.

Как $p \rightarrow q$ может давать Тавтологию? Только в случае, если $p = q$. Но, допустим, известно, что $(p \rightarrow q) \rightarrow (q \rightarrow p)$. Тогда, конечно, тавтологичность этого выражения становится очевидной. Это и означает, что q следует из p .

Логика, по Витгенштейну, существует сама по себе, она сама проверяет свои законы – это чисто синтаксическая Логика.

Действительно, как можно опытным путем проверить, что из p следует p , или что, если p , то $\sim\sim p$. Ведь именно на этих законах построен наш опыт, мы, так сказать, знаем *только* такой опыт — эти предложения являются поэтому *границей* нашего опыта, а не частью его.

Опыт абorigена, по Леви-Брюлю, будет тем и отличаться, что у него будут другие логические законы, другая призма, другая рамка.

6.1222 Это проливает свет на вопрос о том, почему логические Пропозиции могут верифицироваться опытом не в большей степени, чем опровергаться им. Пропозиция Логики не только не должна опровергаться никаким возможным опытом, но она не может также им верифицироваться.

Вопрос о верификации как об основном философском принципе во время написания «Трактата» и в первое десятилетие после его опубликования стоял очень остро. Заявление о том, что логические Пропозиции не могут быть ничем подтверждены, безусловно следует с необходимостью из предыдущих разделов. Но в культурно-историческом смысле он выглядит вызывающим. Интересно, что в этом же разделе Витгенштейн за десять лет до Карла Поппера утверждает два противоположных принципа методологии науки — верификацию и фальсификацию, — связанные неразрывно подобно понятиям «волна» и «частица» в квантовой философии Н. Бора. Но, говоря о *возможном* опыте, Витгенштейн не вполне прав с точки зрения современной философской логики. Так Я. Хинтикка, ученик Витгенштейна во втором поколении (через Г. фон Вригта), представил модель такого возможного Мира, который является в логическом смысле невозможным и по отношению к сказанному Витгенштейном работать не будет [*Хинтикка 1980b*]. Не будет она работать и применительно к разграничению ряда модальных и интенциональных логик, где могут не соблюдаться те или иные постулаты обычной пропозициональной Логики, философские основания которой закреплял Витгенштейн в «Трактате» (см., например [*Вригт 1986 b*]).

6.1223 Теперь ясно, почему мы нередко чувствуем, как будто «логические Истины» должны быть затребованы нами. Мы можем именно требовать их, как мы можем требовать удовлетворительной нотации.

Кажется, что здесь Витгенштейн имеет в виду следующее. Допустим, есть некая невнятная Пропозиция. И вот мы вправе затребовать от «говорящего», чтобы она была более четко переформулирована; точно так же мы можем затребовать «логических Истин», когда наше понимание Мира невнятно.

6.1224 Теперь-то ясно, почему Логика называется учением о **Форме и выводе**.

То есть не о содержании и не о результате.

6.123 Ясно: логические законы не могут сами подчиняться логическим Законам.

(Не бывает так, чтобы для каждого типа были свои особые законы, как считал Рассел; скорее, довольно будет одного закона, ибо он ведь не применяется к самому себе.)

Для Витгенштейна, как будет им показано ниже, — точно так же как все Операции могут быть сведены к одной, так и все законы Логики могут быть сведены к одному закону. И в этом смысле законы Логики не *derivационны* друг по отношению к другу, а взаимозаменяемы, *коммутиационны*. Закон $\sim\sim p$ не зависит от закона $p = p$. Вероятно, Витгенштейн сказал бы по этому поводу, что $p = p$ — более простая, но менее вразумительная запись закона $\sim\sim p$.

Смысл последней реплики в том, что $p = p$ или $\sim\sim p$ сами не проверяются (и не опровергаются (ср. 6.1222), их тавтологичность проявляется в самом символизме, если он достаточно нагляден.

6.1231 Признаком логической Пропозиции не является всеобщность.

Быть общим — это значит лишь одно: случайным образом относиться ко всем Вещам. Неуниверсальная Пропозиция может быть Тавтологией в той же мере, что и универсальная.

6.1232 Логическую общезначимость можно было бы назвать существенной в противоположность случайной, например, «все люди смертны». Пропозиции типа расселовской «аксиомы сводимости» не являются логическими Пропозициями и этим объясняется, что мы чувствуем: подобные Пропозиции, даже будучи истинными, могут быть истинными только благодаря счастливой случайности.

В переводах «Трактата» 1958 и 1994 годов слово *Allgemeingültigkeit* неправильно, на наш взгляд, переведено как «общезначимость» (последнему соответствует термин *Allgemeinhatsbezeichnung*). Первое же следует перевести как «всеобщность, универсальность». Говорить, что логическая Пропозиция необщезначима — это говорить абсурд. Под общезначимостью имеется в виду, что все значения, которые можно подставить в $p \rightarrow p$ или $\sim\sim p$, будут сохраняться. В этом сердцевина закона Логики как закона Логики (см., например [Клини 1970]). Витгенштейн говорит о всеобщности, универсальности, т. е. о том, что наличие квантора всеобщности недостаточно,

чтобы сделать Пропозицию логической, хотя, конечно, необходимо, что p & $p \rightarrow p$ означает, что это соблюдается для всех входящих аргументов.

Но для Тавтологии \forall не обязательно. Например, «Если эта книга лежит на столе, то эта книга лежит на столе» — логическая Пропозиция, т. е. Тавтология, но это частная Форма закона Логики. Поэтому универсальность здесь вообще не имеет места.

6.1233 Можно представить себе Мир, в котором аксиома сводимости недействительна. Но ясно, что Логика не имеет отношения к вопросу, действительно ли наш Мир таков или нет.

6.124 Логические Пропозиции описывают подмостки Мира, или, скорее, изображают их. Они ничего не «обсуждают». Они предполагают, что имена имеют Значение, а Элементарные Пропозиции — Смысл; в этом и заключается их связь с Миром. Ясно, что нечто должно сообщать и о Мире, посредством того, что некоторые отношения Символов, имеющие сущностно определенный характер, являются Тавтологиями. Тут решающее место. Мы сказали, что в Символах, которыми мы пользуемся, кое-что является произвольным, а кое-что нет. А в Логике проявляется лишь это: но это значит, что в логике не мы проявляем при помощи Знаков то, что мы хотим, но то, что в Логике, скорее, говорит природа естественно-необходимых Знаков: если мы знаем логический синтаксис какого-то знакового языка, то тем самым даны все логические Пропозиции.

То, что логические Пропозиции — это подмостки, должно быть уже ясно. Но не совсем понятно, как они предполагают Значение, а в случае Элементарных Пропозиций — Смысл. Допустим, мы имеем $p \rightarrow p$. Как эта Пропозиция предполагает, что у Пропозиции имеется Значение, а у Элементарной Пропозиции — Смысл? Для этого надо предварительно понять, что *это* ($p \rightarrow p$) является логической Пропозицией, и тогда, конечно, из этого следует, что входящие в него Элементарные Пропозиции имеют Смысл (а входящие Пропозиции — Значение). Но если мы не знаем, имеет ли вообще $p \rightarrow p$ отношение к чему-то знаковому, семиотическому, не является ли оно, как бы сказал сам Витгенштейн просто «завитушкой», то как мы тогда сможем вообще говорить о Смысле и Значении? Но дальше Витгенштейн поясняет свою мысль. Он говорит, что то, что он имеет в виду, истинно «если мы знаем логический синтаксис какого-либо языка». Тогда ясно, что из основных логических законов можно вывести логические Пропозиции, которые будут описывать логический каркас Мира.

Еще здесь важна Мысль, что Логика сама диктует себе законы, что в ней говорит природа естественно-необходимых знаков. То есть Логика для Витгенштейна имеет ярко креативный характер. С точки зрения эпистемологии XX века это, конечно, не так. Мы не знаем, каков Мир на самом деле, и

можем задавать любые логические координаты, описывать его при помощи любой логической системы. Ни одна из них не будет абсолютно верной, но все в совокупности дадут некую стереоскопическую Картину Мира.

6.125 Возможно, даже в соответствии со старым пониманием логики, дать описание всех «истинных» логических Пропозиций.

Старое понимание Логики, очевидно, до Фреге и Рассела, т. е. несимволическая аристотелевская логика, которая, конечно, тоже позволяет при помощи силлогизмов дать описание и исчисление всех логических пропозиций.

6.1251 Стало быть, в Логике не бывает ничего неожиданного.

Я считаю это положение несколько натянутым. В частности, оно опровергается работами Хинтикки о соотношении поверхностной и глубинной информации [Хинтикка 1980с]. На уровне поверхностной информации формулы p и $\neg p$ безусловно отличаются, в то время как на уровне глубинной информации они говорят одно и то же.

6.126 Принадлежит ли некая Пропозиция Логике, можно вычислить, вычисляя логические свойства Символа.

Это мы и делаем, когда «доказываем» какую-то логическую Пропозицию. Ибо, не заботясь о Смысле и Значении, мы строим логическую Пропозицию из других по простым знаковым правилам. Доказательство логической Пропозиции состоит в том, что мы можем их образовывать из других логических Пропозиций, последовательно применяя определенные Операции, которые всегда из первых вновь образуют Тавтологии (а из Тавтологии *следует* только Тавтология).

Естественно, что для Логики совершенно не существует способ показа того, что ее Пропозиции являются Тавтологиями. Уже по одному тому, что Пропозиции, из которых исходит доказательство, должны без доказательства доказывать, что они — Тавтологии.

То есть допустим, мы берем символ « $p \rightarrow \sim\sim p$ ». Как доказать, что этот символ является логической пропозицией, т. е. Тавтологией? Рассмотрим сначала для этого консеквент « $\sim\sim p$ ». Мы знаем, что $\sim\sim p$ эквивалентно p . Это закон двойного отрицания. Из этого следует, что в « $p \rightarrow \sim\sim p$ » на место консеквента можно подставить p . Тогда получим $p \rightarrow p$, а это уже очевидная Тавтология. Это доказательство тавтологичности « $p \rightarrow \sim\sim p$ » является чисто синтаксическим, оно совершенно не касается семантики. В том и суть Тавтологий, по Витгенштейну, что они *асемантичны* (может быть, именно это слово было бы наиболее точным эквивалентом слова *sindlos* в отличие от *unsinn* (бессмысленный)).

6.1261 В Логике процесс и результат эквивалентны. (Поэтому и нет никаких неожиданностей.)

Процесс доказательства того, что « $p \rightarrow \sim\sim p$ » есть Тавтология, в том смысле эквивалентен результату — $p \rightarrow p$, что этот результат не является никаким открытием, ничего не говорит о Море.

6.1262 Доказательство в Логике — лишь механическое средство для изобличения Тавтологии там, где она усложнена.

Тавтология может быть замаскирована сложной логической записью. Например, $(p \rightarrow (p \vee \sim p)) \rightarrow \sim\sim p$.

Процедура доказательства тавтологичности здесь может быть та же, что показана в комментарии к 6.126.

6.1263 Было бы слишком хорошо, если бы можно было логически доказать и одну осмысленную Пропозицию через другую, и логическую Пропозицию. Заранее ясно, что логическое доказательство осмысленной Пропозиции и доказательство в Логике должны быть совершенно различными вещами.

Смысл этого раздела, как кажется, в следующем. Существует два типа доказательств. Первый — это доказательство, использующее Логик лишь в качестве инструмента. (Например, доказательство Истинности или Ложности Второго начала термодинамики.) Это и есть «доказать одну осмысленную Пропозицию через другую». Это семантическое доказательство. Второй тип доказательства — тот, в котором Логика выступает не только в качестве инструмента, но и объекта доказательства, т. е. доказываемая Истинность или Ложность самих логических Пропозиций. Это доказательство является синтаксическим: логическую Пропозицию просто надо свести к Тавтологии.

6.1264 Осмысленная Пропозиция утверждает, что нечто имеет место, а ее доказательство обнаруживает, что это так и есть; в Логике каждая Пропозиция есть Форма некоего доказательства.

Каждая логическая Пропозиция — это изображенный в Знаках *modus ponens* (сам *modus ponens* не может быть проявлен в виде Пропозиции).

Осмысленная Пропозиция говорит о Море, о том, «чему случается быть». Доказательство истинности такой Пропозиции может быть важным научным открытием. Хотя в то же время эпистемологическая практика XX века показала, что строгих научных доказательств не бывает, что всегда важнее исходные посылки, чем само доказательство. Это было показано в трудах таких методологов науки, как Карл Поппер, Пол Фейерабенд, Томас Кун [*Поппер 1983; Фейерабенд 1969, Кун 1975*]. Курт Гедель показал, что и

сугубо логическое доказательство, доказательство первого типа может быть валидным лишь в системе доказательств, которая логически неполна [Goedel 1931]. Сама теперешняя ситуация культурного постмодернизма редуцировала идею доказательства, поэтому нынешняя наука и Философия пребывает в глубоком кризисе поисков новых методологических оснований.

Modus ponens — силлогизм, состоящий из большой посылки — утверждения с универсальным квантором, малой посылки — в виде частного утверждения и вывода, тоже имеющего частный характер. Витгенштейн хочет сказать, что каждое логическое доказательство во втором, синтаксическом, смысле есть последовательность *modium ponentes*.

6.1265 Всегда можно так понять Логику, что каждая Пропозиция является своим собственным доказательством.

То есть в каждой логической Пропозиции содержится в свернутом виде ее формальное доказательство, его надо только развернуть.

6.127 Все Пропозиции Логики равнозначны, среди них не бывает по существу исходных законов и производных Пропозиций.

Каждая Тавтология сама обнаруживает, что она Тавтология.

То есть прозрачная Тавтология типа $p \rightarrow p$ и усложненная типа $(p \rightarrow (p \vee \sim p)) \rightarrow \sim \sim p$ говорят фактически об одном и том же. Как уже говорилось, Я. Хинтиikka внес важную конструктивную поправку в это утверждение, разграничив глубинную и поверхностную информации. Но и сам Витгенштейн высказывался еще ранее написания «Трактата» в сходном духе: «Логические пропозиции, конечно, все показывают что-то различное, все они показывают, тем или иным образом, что они тавтологии, но это разные тавтологии, и поэтому каждая из них показывает нечто разное» [Wittgenstein 1982: 113].

6.1271 Ясно, что число «законов Логики» произвольно, ибо можно было бы вывести Логику из одного закона, строя просто логическое произведение из фрегевского закона. (Фреге, возможно, сказал бы, что этот основной закон был бы не столь очевидным. Но удивительно, как такой строгий мыслитель, как Фреге, принимал степень очевидности в качестве критерия для логической Пропозиции.)

Так же, как все логические Операции, Витгенштейн свел в разделе 5 к одной Операции Отрицания, так же и все законы Логики, по его мнению, сводимы к одному закону. Так, если мы рассмотрим традиционные законы пропозициональной логики:

1) закон рефлексивности $p = p$;

2) закон исключенного третьего $p \vee \sim p$;

3) закон двойного отрицания $p = \sim\sim p$;

4) закон противоречия $p \rightarrow \sim p$;

то все они в сущности сводимы к одному закону, причем неважно к какому именно. Закон рефлексивности здесь имеет преимущество наибольшей простоты символизма. Ясно, что закону лучше иметь форму $p = p$, а не $(p \rightarrow (p \vee \sim p) \rightarrow \sim\sim p$.

6.13 Логика никакая не теория, скорее, она отражение Мира.

Логика находится по ту сторону опыта.

Логика — не теория, потому что теория должна по-новому освещать старые Факты, а Логика в Форме своих Тавтологий отображает Логическую Форму Мира. Она не имеет дела с Фактами; поэтому, говорит Витгенштейн, она находится по ту сторону опыта, являясь границей Мира, очерчивая Мир, чертя его схему.

6.2 Математика — это некий априорный логический метод.

Пропозиции математики — уравнения, стало быть, мнимые Пропозиции.

6.21 Пропозиции математики не проявляют никакой мысли.

Математика является, по Витгенштейну, не более чем проявлением Логики. Для этого Витгенштейну достаточно ортодоксального следование Расселу-Уайтхеду. Уравнения математики — те же Тавтологии Логики поэтому они также являются асемантическими (sinnlos), но не бессмысленными (unsinn). Конечно, строго говоря, не все Пропозиции математики можно назвать уравнениями. Например $a > b$ нельзя назвать уравнением даже в широком смысле.

6.211 В жизни нет таких математических Пропозиций, в которых бы мы нуждались, скорее, мы пользуемся математическими Пропозициями *только* для того, чтобы из Пропозиций, не принадлежащих математике, выводить другие, равно ей не принадлежащие.

(В Философии вопрос, для чего мы используем то или иное слово или Пропозицию, всегда давал новое ценное понимание.)

Мне кажется, этот раздел следует понимать так. « $2 \times 2 = 4$ » — само по себе совершенно бесполезная вещь. Но если бы таблицы умножения не было, то мы не смогли бы делать никаких полезных вещей, которые мы делаем.

Предложение в скобках — один из явных проблесков той теории, которую Витгенштейн будет разрабатывать в 1930-е годы, — теорию Значения как употребления: то, «какую пользу имеет то или иное употребле-

ние в нашей жизни», как выразил это С. Крипке в своем анализе «Философских исследований» Витгенштейна [Крипке 1982].

6.22 Логика Мира, которую Пропозиции Логики обнаруживают в Тавтологиях, математики обнаруживают в уравнениях.

Так, таблица умножения является, так сказать, математической моделью очень большой части логического пространства нашего Мира. Так же, скажем, как и закон исключенного третьего.

6.23 Если два проявления связаны знаком равенства, это значит, что они взаимозаменяемы. Но, так это или нет, должно быть видно из самих этих двух проявлений.

То, что два проявления взаимозаменяемы, характеризует их Логическую Форму.

Допустим, написано $a = b - 1$. Мы можем заменить эту формулу другой, например, $b = a + 1$. Если b меньше a на единицу, то a больше a тоже на единицу.

6.231 Свойством утверждения является то, что его можно понимать как двойное отрицание.

Свойством « $1 + 1 + 1 + 1$ » является то, что его можно понять как « $(1 + 1) + (1 + 1)$ ».

6.232 Фреге говорит, что такие проявления имеют одно Значение, но разный Смысл. Однако в уравнении важно то, что оно не является необходимым для того, чтобы обнаружить, что оба проявления, связанные Знаком равенства, имеют одно Значение, так как это можно понять из самих этих двух проявлений.

Мысль Витгенштейна здесь заключается в том, что различия между Смыслом и Значением, которое предпринял Фреге, в данном случае не работает, поскольку то, что касается уравнений, к семантике вообще не имеет отношения. Мы можем записать

$$1 + 1 + 1 + 1 \text{ вместо } (1 + 1) + (1 + 1) \text{ или} \\ 2517 + 2517 ++ 2517 + 2517 \text{ вместо } (2617 + 2517) + (2517 + 2517) -$$

и это в плане Логической Формы будет абсолютно одно и то же. Различие между интенционалом и экстенционалом здесь не будет играть никакой роли по той простой причине, что здесь нет экстенционала, вернее, как бы выразился Кларенс Льюис, здесь, как и в любой Тавтологии, — универсальный экстенционал [Льюис 1983]. То есть числа выступают у Витгенштейна как переменные:

$$(x + x + x + x) = (x + x) + (x + x).$$

И совершенно ясно, что здесь нет различия между Смыслом и Денотатом. Мораль такова: разграничение Смысла и денотата, «отношение именованья», как назвал эту проблему Карнап [*Карнап 1959*], играет роль лишь в подлинных Пропозициях. В псевдопропозициях, т. е. в предложениях Логики и математики отношение именованья не играет никакой роли, потому что здесь нет экстенционала.

6.2321 И то, что Пропозиции математики можно доказывать, означает не что иное, как: их можно корректно увидеть, не сравнивая в поисках их правильности то, что они выражают, с Фактами.

6.2322 Тождество Значений двух проявлений нельзя утверждать, ибо для того, чтобы обладать Возможностью утверждать что-либо об их Значении, я должен знать их Значение: а зная эти Значения, я тем самым буду знать, означают ли они одно или нечто различное.

Эти разделы уточняют сказанное выше. Подобно тому, как доказывая логическую Тавтологию, мы не совершаем никакого открытия, так и предложения математики ничего не говорят о Фактах. Поэтому нельзя говорить, что $a = b$ тождественны по значению. Мы *не знаем* их значения. Вспомним, что ранее Витгенштейн говорил о Знаке равенства: Знак равенства характеризует отношения Знаков, а не Значений. К семантике он не имеет никакого отношения.

6.2323 Уравнение характеризует лишь ту точку зрения, с которой я рассматриваю оба проявления, а именно точку зрения тождества их Значений.

Я бы добавил: а именно точку зрения тождества их Значений, о коих мы не имеем в данном случае ни малейшего представления.

6.233 На вопрос, нужна ли для решения математических проблем интуиция, нужно ответить, что язык сам представляет необходимое количество интуиции.

Точно так же, как в Логике, которая может сама о себе позаботиться.

6.2331 Сам процесс счета именно и способствует этой интуиции.

Вычисление — это никакой не эксперимент.

Здесь могут быть возражения чисто этнологического характера. Я думаю, поздний Витгенштейн принял бы эти возражения. Если в каких-то племенах умеют считать только до трех — «один, два, много», — то, конечно, и для них процесс счета будет имманентным. Но чтобы понять такую экзотическую математику, потребуются эксперимент — (что означают эти три слова в данном туземном языке?) — и тем самым обращение к семантике.

6.234 Математика — это некий логический метод.

Я перевожу *eine* словом *некий*, потому что перевод: «Математика есть метод Логике» кажется мне неверным. В оригинале:

Mathematica ist eine Logische Method.

То есть математика — это не единственный метод Логике. С витгенштейновской, «узкой», точки зрения понимания математики Логика вовсе не обязательно должна быть математической. Могут быть и другие методы логики. Как, например, и было в традиционной силлогистической Логике. Преимущество математики как метода Логике только в ее сравнительной ясности и простоте.

6.2341 Сущность математического метода состоит в том, чтобы работать с уравнениями. Именно на этом основании каждая Пропозиция математики должна быть понята сама по себе.

Как уже говорилось, первым об этом написал Фрэнк Рамсей в своей рецензии на Трактат [*Ramsey 1966*]. Витгенштейн понимает математику слишком узко.

Если формула $a > b$ принадлежит математике, то говорить, что математика работает исключительно с уравнениями, неверно. Но ведь Витгенштейн, как мы пытаемся его понять, имеет в виду не математику в целом, в которой он вроде бы хорошо разобрался, а математику как наиболее простой и экономный логический метод, позволяющий писать однозначные формулы, а не силлогизмы. А в этом смысле, как логический метод, математика действительно работает с уравнениями.

6.24 Метод математики, при помощи которого она приходит к своим уравнениям, — это метод субституции. Поскольку уравнение является проявлением идеи заменимости одного проявления другим, мы переходим от одного числа уравнений к другим, заменяя в них одни выражения на другие.

Здесь все вроде бы понятно. Только сделаем на всякий случай одно примечание, даже скорее, напоминание. Поскольку речь идет опять-таки о Тавтологиях, т. е. о чисто синтаксических выражениях, то те вопросы, которые встают обычно в связи с взаимозаменяемостью в логической семантике, — т. е. прежде всего вопрос возможности подстановочности *salva veritate*, т. е. все то, над чем бились талантливые логики XX века, проблема того, что не всегда можно заменить два термина в одной и той же позиции с сохранением истинности:

Эдип убил Лая

Эдип убил своего отца —

в математике не встает, так как в ней нет семантики, это чисто синтаксическая система.

6.241 Вот что гласит доказательство Пропозиции $2 \times 2 = 4$:

$(\Omega^n)^m, x = \Omega^{n \times m}, x$ Def.

$\Omega^{2 \times 2}, x = (\Omega^2)^2, x = (\Omega^2)^{1+1}, x = \Omega^2, \Omega^2, x = \Omega^{1+1}, \Omega^{1+1}, x = (\Omega' \Omega)' (\Omega' \Omega)' x = \Omega' \Omega' \Omega' \Omega' x = \Omega^{1+1+1+1}, x = \Omega^4, x.$

На мой взгляд, витгенштейновское доказательство того, что дважды два — четыре можно «деформализировать» следующим образом. Ω — как мы помним, — знак Операции. Выражение $(\Omega^n)^m x$ означает, что операция Ω^n должна быть применена m раз, и это эквивалентно тому, что эта Операция умножения n на m . Первое уравнение $\Omega^{2 \times 2} x = (\Omega^2)^2 x$ означает, что Операция «два умножить на два» есть то же, что Операция с индексом 2 — должна быть повторена 2 раза, т. е. на $1 + 1$ $(\Omega^2)^1 x$. А это то же самое, что повторяются две Операции с индексом два, стало быть, повторяются две Операции с индексом $1 + 1$ $(\Omega^2 \Omega^2 x = \Omega^{1+1} \Omega^{1+1} x)$. А это то же самое, что два раза по две Операции $((\Omega' \Omega)' (\Omega \Omega)' x)$. Это эквивалентно четырем одинаковым Операциям $(\Omega' \Omega' \Omega' \Omega' x)$ или одной Операции с индексом $1 + 1 + 1 + 1$, т. е. одной Операции с индексом 4: $\Omega^{1+1+1+1} x = \Omega^4 x$.

6.3 Изучение Логики означает изучение всего, что является закономерным.

6.31 Так называемый закон индукции ни в коем случае не может быть законом Логики, так как он с очевидностью является осмысленной Пропозицией. И поэтому он не может быть законом аргюги.

Здесь Витгенштейн переходит от границ Мира к его внутренней Структуре — от Логики к естественным наукам. В отличие от Логики и Математики, они — не метод, а описание Мира (истинное или ложное описание). Они являются совокупностью осмысленных Пропозиций, а раз так, то они не могут носить априорного характера. Не совсем понятно, что Витгенштейн подразумевает под законом индукции, но ясно, что он противопоставляет индукцию аксиоматике. Когда мы делаем некий общий вывод, генерализуя частные наблюдения, то, если этих наблюдений много и они достаточно однородны, соизмеримы и репрезентативны, в принципе этот вывод должен быть верен. Это и есть закон, который получают путем индукции (см., например [Kaplan 1965]). Вспомним 6.1231, где Витгенштейн говорит, что всеобщность (*Allgemeingültigkeit*) не является свойством логической пропозиции. Соответственно, сколько бы всеобщим ни было бы индуктивное обобщение, оно все равно не будет носить априорного логического характера. Допустим, мы посчитали и обнаружили, что практически у всех людей есть голова. Все равно это не логическое обобщение.

Оно не является априорной Пропозицией, и, стало быть, в принципе, может быть и истинным, и ложным. Невероятность ложности утверждения, что у человека нет головы, — проблема естественных наук, а не Логики. Логика не имеет отношения к Фактам Мира.

6.32 Закон причинности — это не закон, а скорее, Форма некоего закона.

6.321 «Закон причинности» — родовое наименование. И как в механике мы говорим, что существует закон минимума, нечто вроде наименьшего действия — так и в физике существует причинный закон, закон, имеющий Форму, относящуюся к причинности.

Вспомним, что для Витгенштейна Форма и Структура связаны с Возможностью (2.033, 2.151). Закон причинности — это возможность индуктивного обобщения, например, того, что у всех людей есть голова. Тогда мы можем сказать: «Да, этот человек не может быть человеком, у него нет головы». Но это не необходимое логическое знание. Логически можно представить себе живого человека без головы. М. А. Булгаков, хорошо знакомый со средневековой философией, недаром заставил говорить голову Берлиоза (в «Мастере и Маргарите»). Необходимыми могут быть только логические связи. Причинные связи — лишь сфера Возможного.

6.3211 О том, что должен существовать «закон наименьшего действия», догадывались до того, как он был провозглашен.

(Здесь, как всегда, доказываемое положение оказывается чем-то и чисто логическим.)

Закон наименьшего действия впервые был сформулирован в 1747 году Маупертусом. Принцип экономии был введен одним из предшественников Витгенштейна, лидером второго позитивизма Эрнстом Махом.

6.33 Мы не а priori верим в закон сохранения, скорее, мы знаем а priori возможность некой Логической Формы.

6.34 Все такие Пропозиции, как закон основания, закон непрерывности в природе, наименьшей затраты сил в природе и т. д. и т. д., все они представляют собой утверждения а priori возможных Форм Пропозиций науки.

Закон сохранения энергии, или Первое начало термодинамики — одно из основоположений не только физики, но и вообще всей нашей модели мира. В этом смысле можно сказать, что каждый физик Нового Времени после Ньютона исходил из этого закона. Но закон сохранения — не логическая Тавтология, он осмыслен. Но что значит, скорее, что мы зна-

ем Возможность некоей Логической Формы. Мы знаем, что такая форма, как Первый закон термодинамики, логически возможна. Наша логика его допускает.

6.341 Ньютонова механика, например, приводит описание Мира к некой единой Форме. Представим некую белую поверхность, на которой в беспорядке разбросаны черные пятна. Теперь мы говорим: какую бы картину они ни образовали, я всегда могу сделать ее описание точным, покрывая эту поверхность достаточно частой сеткой, составленной из квадратных ячеек и говоря о каждом квадрате, белый он или черный. Так я приведу описание поверхности к некой единой Форме. Эта Форма произвольна, потому что я бы мог с таким же успехом использовать сетку из треугольных или шестиугольных ячеек.

Может случиться, что описание с помощью треугольной сетки было бы более простым, то есть мы могли бы точнее описать поверхность с помощью более редкой треугольной сетки, чем с помощью более частой, составленной из квадратных ячеек (или наоборот) и т. д. Различным сеткам будут соответствовать различные описания Мира; механика определяет Форму описания Мира, говоря: все пропозиции в описании Мира должны быть получены данным способом из некоего числа данных Пропозиций — аксиом механики. Тем самым они закладывают кирпичи в фундамент здания науки и говорят: какое бы здание ты ни захотел воздвигнуть, его нужно каким-то способом сложить из этих и только этих кирпичей.

(Как числовая система предоставляет Возможность написать любое число, так система механики может давать Возможность написать любую Пропозицию физики.)

Продолжая последнюю мысль, высказанную в 6.33, Витгенштейн с некоторой долей парадоксальности утверждает, что законы физики, в сущности, — это не обобщения эмпирических наблюдений, и выражения Возможностей Логических Форм. Думается, что Смысл этой парадоксальности в том, что до этого подчеркивалась тавтологичность, асеман-тичность законов Логики и, кажется, законы науки надо им противопоставить. Но нет, дело тут идет, скорее, о сопровитопоставлении. Законы Логики и законы естественных наук связаны как априорное необходимое знание (которое вовсе не является знанием, поскольку ничего не говорит о мире) с неаприорным знанием как возможности этой априорности: получается, что научное знание взаимно обеспечивается логическим незнанием, скоррелировано с ним. По сути, это высказывание в духе естественно-научной эпистемологии середины XX века, в частности, со-

ответствует позиции Гейзенберга, заключающейся в положении о неразрывности и взаимообусловленности объективного и субъективного начал в квантовой физике [Гейзенберг 1987].

Витгенштейн развивает это положение во фрагменте, который кажется странным прежде всего своим объемом: это самый большой фрагмент в «Трактате». В сущности, Витгенштейн говорит здесь следующее: неважно, к какой именно форме привести описание Мира, гораздо важнее, чтобы это была *единая* форма (треугольники ли, квадраты ли, — это, по сути, все равно — важно выбрать нечто одно, некую единую и непротиворечивую систему аксиом). Видимо, объем этого раздела и степень подробности того, что сейчас, в конце XX века кажется очевидным, объясняется сравнительной новизной для начала XX века такой большой степени научного релятивизма, вошедшего после Второй мировой войны в плоть и кровь европейской методологии науки.

Обратим внимание на сочетание черного и белого цветов. Как уже говорилось (*Предметы бесцветны* — 2.0232). Картина Мира в «Трактате» — черно-белая (см. подробно об этом [Руднев 1996а]). Когда же цветов по сути нет, то черное и белое начинают символизировать не цвета, а что-то иное. Например, ночь и день, плохое и хорошее, жизнь и смерть и т.п. Я думаю, что у Витгенштейна белый цвет ассоциировался с понятием Истинности, а черный — с понятием Ложности, т. е. «говоря о каждом квадрате, белый он или черный», можно читать как «говоря о каждой Пропозиции, Истинная она или Ложная».

6.342 И теперь мы видим обоюдность положения Логике и механики. (Можно было бы построить сетку из разного вида фигур, например, треугольников и шестиугольников.) То, что Картину, подобную вышеупомянутой, можно описать при помощи сетки данной Формы, ничего не говорит. (Поскольку относится к любой Картинае такого типа.) Что характеризует Картину, так это то, что она может *полностью* описываться определенной сеткой *определенной* частоты.

Также ничего не говорит о Мире то, что его можно описать Ньютоновой механикой; но при этом о Мире нечто говорит то, что он может быть описан ею так, как это фактически и есть. Также говорит о Мире нечто то, что одна механика описывает его проще, чем другая.

Итак, для Витгенштейна при анализе соотношения Логике и естественных наук главное подчеркнуть, что в науке важнее последовательная *актуализация* Возможности, заложенной в Логике. Можно описывать Мир не шестиугольниками, а шарами, но тогда уже не переходя снова на шестиугольники. Логика не поможет науке, какую именно систему акси-

ом выбрать, но она поможет проконтролировать последовательность и корректность выведенной из этих аксиом теорий. Все это безусловно является в основе своей картезианством в самом прямом смысле — т. е. восходит к «Рассуждению о методе» Декарта.

6.343 *Механика есть попытка все истинные Пропозиции, в которых мы нуждаемся для описания Мира, сконструировать по единому плану.*

Витгенштейн говорит так, как будто он не знал, что существуют А. Эйнштейн и А. Пуанкаре, М. Планк и Н. Бор. В то время как основания общей теории относительности ко времени написания «Трактата» были не только сформулированы, но и опубликованы. В этом, как кажется, сказывается австро-венгерский провинциализм Витгенштейна, для которого новое слово в физике — это механика Генриха Герца, а ведь к этому времени (1920 г.) квантовая физика развивалась очень бурно. Здесь, конечно сказывается в целом пренебрежительное отношение Витгенштейна к культуре XX века и ее деятелям (см. [Drury 1981]).

6.3431 *Законы физики со всем их логическим аппаратом все-таки говорят о Предметах Мира.*

Единство плана, как будто говорит Витгенштейн, не должно заводить в тупик; несмотря на то, что физика опирается на Логику, она описывает Мир, т. е. опять-таки подчеркивается предметность физики, ее как бы предостерегают от того, чтобы она слишком не возносилась, все равно Логика важнее.

6.3432 *Мы не должны забывать, что описание Мира механикой всегда абсолютно универсально. В механике, например, речь никогда не идет об определенных материальных точках, но всегда о любых.*

Такие законы, как закон основания и т. д., говорят о сетке, но не о том, что описывает сетка.

Универсально, но не общезначимо, описываются любые объекты, но не *a priori* любые объекты. Можно было бы сказать, что для Витгенштейна важнейшее свойство науки — универсальность (*Allgemeingültigkeit*), тогда как важнейшее свойство Логики — общезначимость (*Allgemeinheit*).

6.35 *Хотя пятна на нашей картине суть геометрические фигуры, геометрия сама по себе не может решительно ничего сказать об их действительной Форме и положении. Но сетка является чисто геометрической, все ее свойства могут быть заданы *a priori*.*

Геометрия в данном случае синоним Логике, т. е. учение о свойствах, которые могут быть заданы *a priori*. У физических законов, как бы говорит Витгенштейн, логическая подкладка.

6.36 Если бы был дан закон причинности, то он бы гласил: «Законы природы существуют». Но, разумеется, такое нельзя сказать: оно само себя обнаруживает.

Почему нельзя сказать: «Законы природы существуют»? По двум причинам. Первую Витгенштейн изложил в своем учении о «формальном понятии» — закон природы — это формальное понятие — оно ничего не значит, это переменная. Стало быть, сказать «Законы природы существуют» это равносильно тому, чтобы сказать « X — существует», — что бессмысленно.

Вторая причина заключается в амбивалентности слова «существовать». Это слово в языке «существует» одновременно в двух ипостасях: как квантор и как предикат. То есть если записать данное высказывание в духе теории квантификации, то получится нечто вроде: «Существуют такие законы природы, которые существуют». Весьма характерная для Витгенштейна риторическая позиция. Вначале что-то говорить, а потом добавлять, что так говорить нельзя. Конечно, если бы он этого не делал, он просто не смог бы написать «Трактат».

6.361 Пользуясь терминологией Герца, можно сказать: лишь закономерные отношения мыслимы.

М. Блэк приводит здесь следующую цитату из Г. Герца: «Существует связь между серией материальных точек, когда в результате знания о некоторых компонентах расположения этих точек мы можем утверждать о них как о стабильных компонентах». Связь с текстом «Трактата» тут очевидно слабая. Я думаю, мысль Витгенштейна здесь такая: если можно помыслить что-либо, то эта мысль тем самым должна подчиняться законам логики.

6.3611 Ни один процесс мы не можем сравнить с «течением времени» — такового просто не существует. Скорее, можно лишь сравнить один процесс с другим (нечто вроде хода часов).

Поэтому описание временного течения возможно только если мы берем за основу другой процесс.

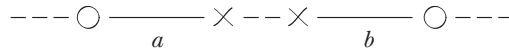
Абсолютно то же о пространстве. Там, например, где, говорят, что ни одно из двух событий (которые взаимоисключают друг друга) не может наступить, поскольку не имеется никакой первопричины, в соответствии с которой одно должно наступить прежде другого, в действительности дело в том, что нельзя описать даже одно из этих двух событий, если нет какой-то асимметрии. А когда такая асимметрия налицо,

мы можем рассматривать ее как первопричину наступления одного и не наступления другого события.

В этом разделе в первый и последний раз в «Трактате» Витгенштейн говорит о времени. Первое, на что обращаешь внимание, это то, что Витгенштейн отрицает «течение времени». Отсюда можно предположить, что он был знаком и симпатизировал темпоральным идеям абсолютных идеалистов Ф. Брэдли, С. Александера, Дж. МакТаггарта (о том, что он читал книгу Александера «Пространство, время и Божество», известно из его бесед с Морисом Друри [*Drury 1981*]), которые придерживались так называемой «статической концепции времени: Мир уже весь дан: не время движется, а мы движемся во времени» [*Уитроу 1962*].

Ход часов есть нечто чисто пространственно-механическое, а не временное (ср. об этом рассуждения в «Волшебной горе» Томаса Манна). С другой стороны, Витгенштейн, конечно, знал статистическую термодинамику Больцмана. Отсюда понятно, почему Витгенштейн говорит о «событии», как о чем-то пространственном, а не временном.

6.36111 Кантовская проблема правой и левой руки, которые не могут совпасть при наложении, существует уже на плоскости и даже в одномерном пространстве, где две конгруэнтные Фигуры a и b также не могут совпасть при наложении, не выходя из этого пространства.



Правая и левая руки фактически полностью конгруэнтны. И то, что они не могут совпасть при наложении, не имеет к этому никакого отношения.

Правую перчатку можно было бы надеть на левую руку, если бы ее можно было бы вращать в четырехмерном пространстве.

6.362 То, что можно описать, может также и произойти, а то, чего не может допускать закон причинности, нельзя и описать.

Я бы сказал здесь по-другому: все, что может произойти, должно быть при этом зафиксировано и описано [*Руднев 1993*]. Но Витгенштейн, по-видимому, говорит о другом. Тут все упирается в понимание слова «описать» (*beschreiben*). Писатель может описать все, что угодно: круглый квадрат, например, — ученый должен следовать принятой Логике. Витгенштейн говорит о логическом описании. Но и здесь с ним трудно полностью согласиться. В конце концов, что значит этот пресловутый закон причинности? Карму? Опыты С. Грофа как будто убеждают, что мож-

но описывать нечто запредельное [Гроф 1992]. Но другой вопрос, можно ли это назвать описанием в витгенштейновском смысле?

6.363 Процесс индукции состоит в том, что мы принимаем простейший закон, согласующийся с нашим опытом.

То есть, если у нас, скажем, есть три варианта решения какой-то проблемы, мы выбираем простейший из них, следуя принципу У. Оккама и Э. Маха.

6.3631 Но этот закон не имеет под собой никакого логического основания, лишь психологическое.

Ясно, что нет никаких оснований полагать, что в Реальности произойдет именно этот простейший случай.

Но ведь нам неизвестно, действительно ли этот вариант является самым простым — это чисто психологическое полагание. В квантовой физике не существует закона причинности, о котором говорит Витгенштейн, там существует только царство вероятности.

6.36311 То, что завтра взойдет солнце, некая гипотеза; и это значит: мы не знаем, взойдет оно или нет.

Конечно, это наиболее вероятная гипотеза, из всех возможных, «простейший закон». Но, конечно, к Логике он не имеет никакого отношения. В своей позднейшей работе «О достоверности» Витгенштейн стал считать, что мы должны принимать подобные высказывания на веру, иначе мы не сможем двигаться дальше: «Чтобы двери могли двигаться, петли должны оставаться неподвижными» [Wittgenstein 1980].

6.37 Нет ничего неизбежного, чтобы одно должно было происходить потому, что произошло другое; существует лишь логическая необходимость.

Вообще интересно, что наука, в частности, физика, со времен написания «Трактата» продвинулась настолько, что как Философию науки рассуждения Витгенштейна всерьез принять трудно. В истории Философии все не так. В Философии нет прогресса. И в этом смысле можно сомневаться вообще в правильности выражения «история Философии».

6. 371 В основании всего современного миропонимания лежит иллюзия, что так называемые законы природы проясняют что-то в природных явлениях.

6.372 Так вот люди останавливаются перед законами природы как будто это нечто неприкосновенное, как древние перед Богом и Роком.

И они правы и неправы.

Но у древних, разумеется, была куда большая ясность, ведь они признавали единый ясный Абсолют, в то время как новые системы представляют дело так, как будто *все объяснимо*.

Непонятно, о каких «новых системах» говорит Витгенштейн. И надо было уж слишком не любить XX век, чтобы говорить таким образом. Непонятно также, какие «древние» имеются в виду. И какой Абсолют они подразумевали? Последнее свойственно скорее неоплатоникам и гностикам, но какие же они древние? У древних, по-настоящему архаических племен, никакого Абсолюта быть не могло. При этом хорошо известно, что Витгенштейн читал внимательно Дж. Фрэзера и критиковал его [Витгенштейн 1989a]. К сожалению, неизвестно, читал ли он Л. Леви-Брюля и как к нему относился.

6.373 Мир не зависит от моей воли.

Кажется, что это противоречие тезису 5.63 «Я есть мой Мир» (Микрокосм). Но Витгенштейн мог бы считать, что и Я не зависит от своей воли, что вполне естественно.

6.374 Даже если бы все, чего бы мы хотели, произошло, все это было бы, так сказать, Милостью Рока, ибо нет никакой логической связи между волей и Миром, которая бы это гарантировала, и мы сами все-таки не можем вновь хотеть принятой физической связи.

Витгенштейн отказывается от шопенгауэровской установки. Волевое «речевое действие», как бы мы сейчас сказали, переименовав витгенштейновское же позднее выражение «языковая игра», имеет детерминированный характер, но не логически детерминированный. Причинная связь между моим желанием поесть, и тем, дадут ли мне еду, или я сам ее раздобуду, не является логической.

6.375 Поскольку существует лишь логическая необходимость, то и невозможность бывает лишь логическая.

Это естественное понимание невозможности через необходимость. Невозможно = *необходимо, что не*. В общем, это, конечно, Тавтология.

6.3751 То, что, например, два цвета не могут одновременно находиться в одном месте в одном поле зрения, является именно логической невозможностью, ибо это исключено логической структурой цвета.

Посмотрим, как изображается это противоречие в физике. Примерно так: частица не может в одно и то же время обладать различными скоростями, то есть не может находиться в разных местах, то есть частицы в разных местах в одно время не могут быть тождественными.

(Ясно, что логическое произведение двух элементарных Пропозиций не может быть ни Тавтологией, ни Противоречием. Утверждение, что точка в поле зрения одновременно может иметь два разных цвета, — Противоречие.)

Не вполне понятно: можно ведь взять два образца одного цвета и наложить их. Вот они и будут находиться в одном месте. Как в детстве накладывают прозрачные стекла и через них смотрят. По-видимому, Витгенштейн здесь хочет сказать, что два элементарных Положения Вещей не могут существовать зависимо, так как конъюнкция (логическое сложение) двух элементарных Пропозиций может давать в результате только сложное утверждение.

6.4 Все Пропозиции равноценны.

6.41 **Смысл Мира должен лежать за его пределами. В Мире все есть как есть и происходит как происходит; внутри него не существует никакой ценности — а если бы она там имелась, то не имела бы никакой ценности.**

Если имеется ценность, имеющая ценность, то она должна находиться за пределами всего происходящего и так-сущего. Ибо все происходящее и так-сущее — случайны.

То, что делает их неслучайными, не может находиться внутри Мира! Ибо в противном случае оно вновь было бы случайным.

Оно должно лежать за пределами Мира.

Это заключительное учение о ценности и этике кажется чрезвычайно сильным и убедительным. Как будто, плутая в непроходимых дебрях Логики, мы наконец вышли на дорогу, залитую ровным светом. Все Пропозиции равноценны, поскольку «теория типов» невалидна (3.333). Утверждение о ценности любой Пропозиции имеет такую же ценность, как та пропозиция, ценность которой утверждается (ср. более поздние рассуждения Витгенштейна в разделе «Лекции об эстетике» книги [*Wittgenstein 1966.*])

6.42 **Поэтому не может существовать никаких Пропозиций Этики.**

6.421 **Ясно, что Этика не может быть высказана.**

Этика трансцендентальна.

(Этика и Эстетика — одно.)

Этические Пропозиции в принципе мыслятся как сверхценные. Витгенштейн показывает, что все Пропозиции равноценны, и, стало быть, этические Пропозиции не будут никак выделяться среди прочих (что сводит на нет их ценность как этических утверждений), либо они становятся бессмысленными восклицаниями. «Не спрашивай, а делай» — фра-

за, услышанная Витгенштейном от одного крестьянина и рассказанная Н. Малкольмом [*Людвиг Витгенштейн 1994*] – вот этический смысл учения Витгенштейна.

Почему этика и эстетика это одно и то же? В соответствии с 6.41 эстетическая Пропозиция так же, как и любая другая аксиологически окрашенная Пропозиция не имеет никакой ценности. Настоящий эстетический жест может быть выражен только в поступке. Эстетический поступок является одновременно этическим. Прекрасный поступок не может быть дурным поступком (подробнее об этом афоризме см. [*Руднев 1992*]).

6.422 Первой мыслью при установлении этического закона в *Форме «Ты должен»*, является: *«Я что если я этого не сделаю?»*

Ясно, однако, что Этика не имеет ничего общего с наказанием и вознаграждением в обычном смысле. Поэтому вопрос о последствиях каких-либо действий не должен иметь Значения — по крайней мере, эти последствия не должны быть событиями. Ибо нечто должно все же в такой постановке вопроса быть верным. Должно существовать какого-то рода этическое вознаграждение и этическое наказание, но они должны находиться внутри самого действия.

(И также ясно, что вознаграждение должно быть чем-то приятным, а наказание — чем-то неприятным.)

То есть если при помощи слов проповедник скажет: «Не укради!», то вор может подумать «Это все пустые слова, вот возьму и украду; не пойман — не вор». Но если проповедник силой своей личности и своего поведения покажет правомерность того, что бессмысленно передавать словами, это может нравственно подействовать и на вора. Вопрос о последствиях действия, которое «не должно иметь значения» сильно напоминает этическое учение «Бхагаватгиты». Человек должен совершать поступки не во имя последствий, а вследствие понимания своего этического долга. Поэтому его действия должны быть незаинтересованными: он «не должен отличать поражения от победы».

6.423 **Нельзя говорить о воле как носителе этического начала.**

И воля как феномен интересует лишь психологию.

Воля связана не логической, а причинной (психологической) связью. Поэтому Воля не может порождать абсолютных этических пропозиций (ср. «Лекцию об этике» [*Витгенштейн 1989*]). Воля может лишь сказать: «Красть грешно», но изменить мир она не в состоянии.

6.43 **Если добрая воля изменяет мир, она может изменить лишь границы Мира, а не Факты; ничего из того, что может быть проявлено в речи.**

Короче, Мир должен при этом условии стать каким-то другим. Он должен, так сказать, уменьшиться или увеличиться как целое.

Мир счастливого — это некий другой Мир по сравнению с Миром несчастливого.

Мы бы сейчас сказали — «модель Мира», подразумевая под этим совокупность или систему Логических Форм Картин Мира. Допустим, Иисус Христос — его добрая воля и Воля Отца, пославшего Его, говорим мы, изменила границы Мира, а не Факты. То есть после Христа люди стали думать не о других Фактах, а о тех же Фактах по-другому. Мир, конечно, при этом стал совсем другим. Иисус внес новый Смысл в Мир, и, конечно, этот Смысл в своей наиболее фундаментальной части непроговариваем. Витгенштейн тут близок к гипотезе лингвистической отнесенности Б. Уорфа: язык структурирует мир, а не наоборот [Warf 1956].

6.431 Как и с наступлением смерти Мир не меняется, а скорее, перестает быть.

6.4311 Смерть никакое не событие жизни.

Смерть не переживается.

Если под вечностью понимают не бесконечную временную продолжительность, но, скорее, отсутствие времени, то вечно живет тот, кто живет в настоящем.

Наша жизнь так же бесконечна, как безгранично наше поле зрения.

Логика этого рассуждения ясна. Смерть — это граница Мира, а не Факт внутри его. Она не проговариваема и мистична. Но не только до Витгенштейна вся культура строилась во многом по своему отношению к феномену смерти, но и после него. Христос воскрес, «смертию смерть поправ». Можно ли сказать, что смерть не была событием в жизни Христа?

Кажется, что высказывание Витгенштейна о том, что «вечно живет тот, кто живет в настоящем», неоригинально. Это обычное христианское понимание (например «Довлеет дневи злоба его»).

6.4312 Временное бессмертие души человека, означающее, стало быть, ее вечное воплощение после смерти, не только ничем не подтверждено, но прежде всего это допущение вовсе не то, которого всегда хотели достичь. Решается ли какая-либо загадка тем, что я буду вечно воплощаться? Не столь же загадочна эта вечная жизнь, что и настоящая? Решение загадки жизни в пространстве и времени находится за пределами пространства и времени.

(Никакие естественно-научные проблемы здесь не решаются.)

Можно себе представить некую новую или альтернативную естествен-

ную науку, которая выйдет за пределы пространства и времени, как их понимает Витгенштейн. Но тогда, конечно, появятся новые загадки.

6.432 Как существует Мир — для высшего абсолютно не имеет Значение. Бог не обнаруживает себя *внутри* Мира.

Это тоже кажется достаточно тривиальным высказыванием, хотя оно логически четко следует из всего предыдущего. Чудо нельзя рассказать, оно после этого сразу впишется в нашу Картину Мира и перестанет быть чудом. Об этом Витгенштейн прекрасно и гораздо менее тривиально говорил в «Лекции об этике» [*Витгенштейн 1989*].

6.4321 Все Факты принадлежат к задаче, а не к решению.

Потому что решение состоит в том, что задача была неверно поставлена или ее вообще нет. Так же, как в одной Элементарной Пропозиции потенциально содержатся все Пропозиции, и в одной Тавтологии — все возможные Тавтологии.

6.44 Не как Мир существует, является мистичным, но, скорее, что он вообще существует.

6.45 Взгляд на Мир *sub specie aeterni* есть взгляд на него как на органическую целостность. Ощущение Мира как органической целостности — это мистическое.

6.5 Для ответа, который нельзя выговорить, нельзя выговорить вопроса.

Загадки нет.

Если вопрос вообще можно поставить, то на него также можно и дать ответ.

Это понимание сохранило свою свежесть до сих пор. Ставьте правильные вопросы, тогда вы поймете, что ответ может быть и не нужен. О большей важности вопросов (правильно поставленных вопросов) по сравнению с ответами, писал, например, основатель отечественного структурализма Ю. М. Лотман [*Лотман 1972*].

6.51 Скептицизм не непровержим, скорее, совершенно бессмыслен; поскольку он хочет сомневаться, там, где не должно спрашивать.

Ибо сомнение может быть лишь там, где существует вопрос; вопрос — лишь там, где находится ответ, а ответ — лишь там, где нечто можно сказать.

Скептицизм у Витгенштейна появился гораздо позднее, в «Философских исследованиях», в частности, в рассуждениях о невозможности ин-

дивидуального языка. Подробный анализ витгенштейновского скептицизма см. [Kripke 1982].

6.52 Мы чувствуем, что если бы на все возможные вопросы был бы дан ответ, жизненные вопросы при этом не были бы даже затронуты. Разумеется, тогда не остается никаких вопросов, и это и есть ответ.

То есть не все вопросы, которые возможно поставить, т. е. не вопросы естественных наук. Конечно, при таком понимании никаких ответов не будет.

6.521 Решение проблемы жизни заключается в исчезновении этой проблемы. (Не это ли причина того, что люди, которым стал ясен Смысл жизни после долгих сомнений, все-таки не могли сказать, в чем этот Смысл состоит.)

Да, это прекрасная фраза, и не его вина, что звучит она как «Отче наш» или «Боже царя храни». А возможно, Витгенштейн понимал, что это будут учить наизусть. Тут трудно что-либо сказать по существу, кроме того, что это очень верно и по-восточному мудро.

6.522 Бывает, конечно, нечто невысказываемое. Оно себя само обнаруживает; это мистично.

Я не согласен с тем распространенным взглядом, что у Витгенштейна две доктрины невысказываемого — одна связана с Логической Формой, другая — с Мистическим (см. например [Black 1966]). Мистическое — это и есть Логическая Форма Мира. Как в теории типов мы приходили к бесконечному регрессу, так и в озвученном богословии профанируется сама идея религиозности. Мистика, Этика, Эстетика, Логическая Форма — это все проявления Одного — как в сказке о двух лошадях, их юношах и их лилиях».

6.53 Корректным методом Философии был бы следующий: не говорить ничего, кроме того, что можно сказать, то есть кроме естественно-научных Пропозиций — то есть того, что не имеет с Философией ничего общего, — и тогда всегда, когда кто-то другой захочет сказать нечто метафизическое, указать ему на то, что он в своих Пропозициях не снабдил никаким Значением некоторые Знаки. Этот метод был бы для другого неудовлетворителен — у него не было бы чувства, что мы учим его Философии — но все же он единственно строго корректен.

Эту программу, конечно, нельзя воспринимать как реалистическую. Во-первых, в естественно-научных Пропозициях зачастую содержится

очень много метафизики, например, у И. Ньютона, Г. В. Лейбница, любимых Витгенштейном Г. Герца и Л. Больцмана, не говоря уже о Н. Боре и В. Гейзенберге. Можно ли эту программу воспринимать как корректный метод обучения кого-либо Философии «Трактата»? Пожалуй, и это не так. В «Трактате» мы найдем много метафизических высказываний. На ближайших же страницах: «Этика трансцендентна...», «Бог не обнаруживает себя в Мире» и т.п. Хочется спросить: а откуда же это вам известно? И разве это ваш корректный метод Философии?

Во-вторых, естественные науки, о которых говорит Витгенштейн, вовсе не так просты. Физика XX века вообще не может существовать без своих метафизических оснований. Так же, как и физика и астрономия Галилея, общая теория относительности, Второе начало термодинамики и т.п. — все это равным образом и физические и метафизические доктрины. Витгенштейн сводит Философию к философской Логике — не случайно это был один из вариантов названий «Трактата», предложенных одним из издателей. Как общеполитическая стратегия, этот метод, давший несколько интереснейших работ, среди которых такие шедевры, как «Логический синтаксис языка» Р. Карнапа, очень быстро себя исчерпал. Но как метод логической семантики он оказался весьма плодотворен в той ее линии, которую представляли Р. Карнап, У. Куайн и отчасти Г. Рейхенбах, и затем их восприимчивики и критики, Г. фон Вригт, Я. Хинтикка, С. Крипке, Д. Скотт, Р. Монтегю и другие замечательные философы логики XX века.

6.54 Мои Пропозиции для того, кто понял меня, в конце концов истолковываются как усвоение их бессмысленности, — когда он с их помощью — через них — над ними взберется за их пределы. (Он будет должен, так сказать, отбросить лестницу после того, как взберется по ней наверх).

Он должен преодолеть эти Пропозиции, тогда он увидит Мир правильно.

Кажется, что путь, предложенный здесь, — единственно правильный для такого мыслителя, каким был Витгенштейн, и для такого произведения, каким является «Трактат». Ведь по сути «Трактат» — это собрание связанных афоризмов, которые являются либо развитием логических Тавтологий, и поэтому, исходя из доктрины самого «Трактата», асемантичны, либо это метафизические утверждения — стало быть, в соответствии с той же доктриной тоже бессмысленные. Надо понять их, увидеть то, что они показывают своей структурой и — да! — отбросить их. И кажется, что неправы те, которые рассуждают так (например, так рассуждал Рассел): «Как же Витгенштейн говорит, что надо говорить только естественно-научные пропозиции, а сам наговорил столько метафи-

зики!» Он и наговорил ее для того, чтобы было что выбрасывать. В этом смысле путь Витгенштейна — сугубо дзэнский и этот афоризм в весьма дзэнском духе. «Кто хочет меня понять, тот должен понять, что я осел» или «убить Будду» и т.п. (ср. [Судзуки 1994]). Лестница, которую надо отбросить, это вторая после юношей на лошадях с их лилиями и последняя мифологема, венчающая здание «Трактата». Лестница организует модель мира по вертикали, это одновременно путь наверх, путь познания, и возможность сорваться вниз, в пучину зла. По лестнице спускался с небес Шакьямуни [Топоров 1982]. Лестница — символ креста и крестных мук, а также символ ступенчатости познания. С лестницы обычно срываются, возмечтав подняться на ней на небеса или на Луну, как это случается во многих фольклорных текстах. Мотив отбрасывания ненужной лестницы, кроме того, — дерзко-дзэнский, вызывающий, он говорит: обратной дороги нет, мы уже достигли совершенства, а то, при помощи чего мы его достигли, это черновик — он нам более не нужен. В соответствии с этим Р. Карнап предлагал так и поступать читателям с «Трактатом» — прочитать его и выбросить. Кроме того, учитывая, что книга Фрейда «Толкования сновидений» была одной из наиболее актуальных для Витгенштейна [Wittgenstein 1966] и если верить материалам и биографическим реконструкциям книги [Bartley 1973], то отбрасывание лестницы — символа полового акта — прочитывается как зашифрованное автобиографическое заклинание самому себе — оставить путь порока (= Логических бессмысленных проблем; Рассел утверждал, что Логика отождествлялась Витгенштейном с чем-то глубоко интимным, личным [McGuinness 1988]) и ступить на путь аскезы (= этики, мистического, безмолвного).

7 О чем нельзя говорить, о том должно умолкнуть.

О чем невозможно говорить? (Вместо комментария к седьмому тезису)

Скажи ему, как все произошло

И что к чему. Дальнейшее — молчанье.

Шекспир. «Гамлет»

Рядом с внешней, реальной драмой развивается другая, углубленная внутренняя драма, которая протекает в молчании (первая внешняя — в словах) и для которой внешняя драма служит как бы рамкой. За внешним, слышимым диалогом ощущается внутренний, молчаливый.

Л. С. Выготский.

(«Трагедия о Гамлете принце Датском У. Шекспира»)

Почему словами нельзя высказать всего? Какова здесь позиция Витгенштейна? Каковы ее истоки?

Конечно, это прежде всего романтическая традиция — «Невыразимое подвластно ль выражению?» (В. А. Жуковский). Традиция эта носит отчетливо эгоцентрический характер, и это очень важно. Себе сказать можно все, что угодно, но то, что можно сказать только себе, нельзя передать другому человеку — это проблема позднего Витгенштейна, известная как «аргумент против индивидуального языка». То, что говорится только себе, — это не речь. Но при этом другому можно объяснить очень мало. Почти ничего. Почему?

Допустим, я хочу сказать: «Необходимо быть правдивым и порядочным при любых обстоятельствах». Упростим эту пропозицию до логической формулы:

$$(x) N x (p \ \& \ q)$$

То есть для всех x необходимыми являются свойства p и q . Допустим, это мой нравственный деонтический закон. Я считаю его универсальным, т. е. распространяю его на всех вменяемых людей. Но я при этом точно знаю, что это мой личный («private») закон, который не может быть никому преподан в словах, потому что прекрасно понимаю, что далеко не всегда возможно одновременно быть правдивым и порядочным. Например, я могу себе представить непорядочного человека, говорящего правду там, где нравственнее промолчать или даже солгать. Но я в моем private постараюсь найти выход из сложного положения, подобного описываемому. Однако при этом я не смогу дать исчерпывающих инструкций, когда надо солгать или промолчать, говорить правду опасно или даже безнравственно. Я могу лишь показать своим собственным поведением, как я поведу себя в том или ином случае.

Может быть, такое понимание Витгенштейна слишком прямолинейно. Но последний тезис «Трактата» отличается от большинства остальных своей заостренной экзистенциальностью. После таких слов было бы глупо начать писать и издавать другие книги и единственно возможным было то, что и сделал Витгенштейн, — замолчать на самом деле. Поэтому так справедливо в прагмасемантическом плане сравнение «Трактата» с книгой «Даодезин» — «Дао, которое выражено словами, не есть подлинное дао. [...] Тот, кто знает, молчит. Тот, кто говорит, не знает», — а судьбу Витгенштейна — с судьбой Лао-цзы, который, написав свой трактат, по преданию, передал рукопись начальнику стражи родного города и покинул навсегда его пределы.

Сводится ли витгенштейновское учение о различии между сказанным и показанным просто лишь к тому, что сказанное конвенционально, а показан-

ное иконично? Как в детской игре: «Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем»? Так или иначе, иконическое, показанное, молчаливей конвенциональной дескрипции, так же, как ближе к оригиналу изображение по сравнению с описанием. Как лучше один раз молча увидеть, чем сто раз слышать, не видя. (Наша культура видеоцентрична в силу физиологических причин — большая часть информации проходит по зрительному каналу.)

Но разве танцующая балерина «молчит»? Даже если предположить, что мы не слышим музыку.

ЛИТЕРАТУРА

Принятые сокращения

МН – Мифы народов мира. Т., М., 1982.

НЛ – Новое в зарубежной лингвистике, вып., М.

Семиотика – Семиотика / Под ред. Ю. С. Степанова. М., 1983.

УЗ – Ученые записки Тартуского ун-та, вып., Тарту.

ФЛЯ – Философия. Логика. Язык. М., 1987.

ХЖ – Художественный журнал, М., вып.

Анандавардхана. Свет дхвани. М., 1976.

Бор Н. Атомная физика и человеческое познание. М., 1961.

Вендлер З. Иллокутивное самоубийство // НЛ, 16, 1985.

Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М., 1958.

Витгенштейн Л. Лекция об этике // Даугава, N 2, 1989a.

Витгенштейн Л. Заметки о «Золотой ветви» Фрэзера // Историко-философский ежегодник. М., 1989b.

Витгенштейн Л. Культура и ценности // Даугава, № 2, 1992.

Витгенштейн Л. Избранные философские работы. Ч. 1. М., 1994.

Витгенштейн Л. Из «Тетрадей 1914–1916» // Логос, 6, 1995a.

Витгенштейн Л. Логико-философский трактат (фрагмент) / Комментированный пер. В. Руднева // Ковчег, март 1995b.

Вригт Г. фон. Логико-философские исследования. М., 1986.

Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1976.

Гаспаров Б. М. Из курса лекций по синтаксису современного русского языка: Простое предложение. Тарту, 1971.

Гейзенберг В. Шаги за горизонт. М., 1987.

Голосовкер Я. Э. Логика мифа. М., 1987.

Гроф С. За пределами мозга: Рождение, смерть и трансценденция в психоанализе. М., 1992.

- Грязнов А. Ф. Эволюция философских взглядов Л. Витгенштейна. М., 1985.
- Грязнов А. Ф. Язык и деятельность: Критический анализ витгенштейнианства. М., 1991.
- Даммит М. Что такое теория значения // ФЛЯ, 1987.
- Данн Дж. У. Художник и картина // ХЖ, 8, 1996.
- Ельмслев Л. Прологомены к теории языка // НЛ, 2, 1962.
- Зиновьев А. А. Философские проблемы многозначной логики. М., 1960.
- Иванов В. В. Близнечные мифы // МН, 1, 1982а.
- Иванов В. В. Конь // МН, 1, 1982b.
- Карнап Р. Значение и необходимость: Исследование по семантике и модальной логике. М., 1959.
- Карнап Р. Философские основания физики. М., 1965.
- Клини С. К. Математическая логика. М., 1970.
- Крипке С. Семантическое рассмотрение модальной логики // Семантика модальных и интенциональных логик. М., 1979.
- Крипке С. Загадка контекстов мнения // НЛ, 18, 1986.
- Конрад Н. И. Запад и Восток. М., 1972.
- Куайн У. В. О. Референция и модальность // НЛ, 13, 1981.
- Кун Т. Структура научных революций. М., 1975.
- Левин-Броль Л. Первобытное мышление. М., 1994.
- Левин-Строс К. Структурная антропология. М., 1983.
- Лосев А. Ф. О пропозициональных функциях древнейших лексических структур // Лосев А.Ф. Знак. Символ. Миф. Труды по языковедению. М., 1982.
- Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста: Структура стиха. Л., 1972.
- Лотман Ю. М. Динамические механизмы знаковых систем // УЗ, 463, 1978а.
- Лотман Ю. М. Феномен культуры // Там же, 1978b.
- Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Миф — имя — культура // 23, 308, 1973.
- Льюис К. Виды значений // Семиотика, 1983.
- Людвиг Витгенштейн: Человек и мыслитель / Сост. В. Руднев. М., 1994.
- Малкольм Н. Мур и Витгенштейн о значении выражения «Я знаю» // ФЛЯ, 1987.

- Малкольм Н.* Состояние сна. М., 1993.
- Мейлах М. Б.* Лилия // МН, 1, 1982.
- Мелетинский Е. М.* Поэтика мифа. М., 1976.
- Моуди Р.* Жизнь после жизни. М., 1991.
- Налимов В. В.* Вероятностная модель языка: О соотношении естественных и искусственных языков. М., 1979.
- Остин Дж.* Слово как действие // НЛ, 17, 1986.
- Паскаль Ф.* Витгенштейн: Личные воспоминания // Людвиг Витгенштейн: Человек и мыслитель. М., 1994.
- Поппер К.* Логика и рост научного знания. М., 1983.
- Пятигорский А. М.* Некоторые общие замечания о мифологии с точки зрения психолога // УЗ, 181, 1965.
- Пятигорский А. М.* О некоторых теоретических предпосылках семиотики // Сб. статей по вторичным моделирующим системам. Тарту, 1973.
- Рассел Б.* Введение в математическую философию. М., 1996.
- Рассел Б.* Мое философское развитие // Аналитическая философия / Под ред. А. Ф. Грязнова. М., 1993.
- Руднев В.* Текст и реальность: Направление времени в культуре // Wiener slawistischer Almanach, 17, 1986.
- Руднев В.* Поэтика модальности // Родник, 5, 6, 1988.
- Руднев В. П.* Основания философии текста // Научно-техническая информация. Серия 2. Информационные процессы и системы, 3, 1992а.
- Руднев В.* Серийное мышление // Даугава, 3, 1992б.
- Руднев В.* Феноменология события // Логос, 4, 1993.
- Руднев В.* Витгенштейн: — вскользь, по касательной // ХЖ, 8, 1995а.
- Руднев В.* Миф о первобытном сознании // Там же, 1996б.
- Руднев В.* Морфология реальности: Исследования по философии текста. М., 1996а.
- Руднев В.* О недостоверности // Логос, 8, 1996б.
- Сааринен Э.* О метатеории и методологии семантики // НЛ, 18, 1986.
- Семантика модальных и интенциональных логик // М., 1979.
- Семенцов В. С.* «Бхагаватгита» в традиции и в современной научной критике. М., 1985.

- Соссюр Ф. де.* Труды по языкознанию. М., 1977.
- Степанов Ю. С.* В трехмерном пространстве языка. М., 1985.
- Строссон П. О.* О референции // НЛ, 13, 1982.
- Судзуки Д. Т.* Основы дзэн-Буддизма. Бишкек, 1993.
- Текст в тексте: УЗ, 14, 1981.
- Теньер Л.* Введение в структурный синтаксис. М., 1990.
- Топоров В. Н.* Лестница // МН, 1, 1982.
- Фреге Г.* Смысл и денотат // Семиотика и информатика. Вып. 8. М., 1977.
- Фреге Г.* Мысль: Логическое исследование // ФЛЯ, 1987.
- Фрейденберг О. М.* Происхождение пародии // УЗ, 308, 1973.
- Хилпчинен П. Р.* Семантика императивов и деонтическая логика // НЛ, 18, 1986.
- Хинтиikka Я.* Логико-эпистемологические исследования. М., 1980*a*.
- Хинтиikka Я.* Вопрос о вопросах // Логика и методология науки. М., 1980*b*.
- Хомский Н.* Синтаксические структуры // НЛ, 2, 1960.
- Уиздом Дж.* Витгенштейн об индивидуальном языке // Логос, 6, 1995.
- Уиттроу Дж.* Естественная философия времени. М., 1964.
- Целищев В. В.* Логика существования. Новосибирск, 1976.
- Черч А.* Введение в математическую логику. М., 1959.
- Шлик М.* Поворот в философии // Аналитическая философия: Избр. тексты. М., 1993.
- Шопенгауэр А.* Собр. соч. Т. 1. М., 1992.
- Юнг К. Г.* Воспоминания. Сновидения. Размышления. Киев, 1994.
- Якобсон Р. О.* В поисках сущности языка // Семиотика, 1983.
- Ямпольский М. Б.* Память Тиресия: Интертекстуальность и кинематограф. М., 1993.
- Alexander A.* Space, time and Deity. L., 1903.
- Anscombe G. E. M.* An Introduction to Wittgenstein Tractatus. L., 1960.
- Apel K.* Wittgenstein and hermeneutics // Ludwig Wittgenstein: Critical Assesments. V. 4. L., 1988.
- Bartley W.* Wittgenstein. L., 1973.
- Black M.* A Companion to Wittgenstein's Tractatus. Ithaca, 1966.
- Berlin B., Kay P.* Basic color terms. Berkeley, 1969.

- Bradley F.* Appearance and reality. Oxford, 1969.
- Canfield J.* Wittgenstein and Zen // Ludwig Wittgenstein: Critical Assaisements. V. 4. L., 1986.
- Carnap R.* The Logical syntax of language. L., 1936.
- Copi I. M.* Objects, properties and relations in the Tractatus // Essays on Wittgenstein. N. Y., 1966.
- Drury M.* Conversations with Wittgenstein // Ludwig Wittgenstein: Personal recollections. Oxford, 1981.
- Dunne J. W.* An Experiment with time. L., 1920.
- Dunne J. W.* The Serial universe. L., 1930.
- Engelmann P.* Letters from Ludwig Wittgenstein. With a Memoir. N. Y., 1968.
- Favrholdt D.* An Interpretation and critique of Wittgenstein's Tractatus. Copenhagen, 1964.
- Feierabend P.* Against method. L., 1975.
- Finch H. L.* Wittgenstein. The Early philosophy. N. Y., 1977.
- Findley J.* Wittgenstein. L., 1984.
- Fogelin R.* Wittgenstein. L., 1976.
- Fromm E.* The Forgotten language. N. Y., 1956.
- Gudmunsen C.* Wittgenstein and buddhism. L., 1977.
- Godel K.* Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme 1 // Monatshifte fur Mathematik und Physik, 38, 1931.
- Hintikka J.* On Wittgenstein's «solipsism» // Essays on Wittgenstein's Tractatus. N. Y., 1966.
- Hudson W.* Wittgenstein and religious belief. L., 1975.
- Janik A., Toulmen S.* Wittgenstein's Vienna. L., 1973.
- Keyt D.* Wittgenstein's notion of an object // Essays on Wittgenstein's Tractatus. N. Y. 1966.
- Kripke S.* Naming and necessity. Cambridge (Mass.), 1980.
- Kripke S.* Wittgenstein on rules and private language. Oxford, 1982.
- Lacan J.* Ecrits. P., 1956.
- Lambert K.* Existential import revisited // Notre Dame Journal of Formal Logic, 4, 1973.
- Lejewski C.* Logic and existence // British Journal for the philosophy of science, 5, 1971.

- Leonard H.* The Logic of existence // Philosophical studies, 13, 1966.
- Lewis D.* Philosophical papers. V. 1. Oxford, 1983.
- McGuinness B.* The Mysticism of the Tractatus // Philosophical Review, VLXXV, 3. 1966.
- McGuinness B.* Wittgenstein: A Life. Oxford, 1989.
- McTaggart J.* Selected writings. L., 1968.
- Malcolm N.* Nothing is hidden. Oxford, 1986.
- Maslow A. A.* Study on Wittgenstein's Tractatus. Berkeley, 1961.
- Meinong A.* Untersuchungen zur Gegenstandstheorie und Psychologie. B., 1904.
- Monk R.* Wittgenstein: The Duty of Genius. L., 1991.
- Moore J. E.* Philosophical Papers. L., 1959.
- Mounce H.* Wittgenstein's Tractatus: An Introduction. Chicago, 1981.
- Prior A. N.* Time and modality. Oxford, 1960.
- Prior A. N.* Past, present and future. Oxford, 1967.
- Putnam H.* Dreaming and depth grammar // Putnam H. Philosophical papers. V. 2. Cambridge, 1975.
- Quine W. V. O.* From a logical point of view. Cambridge (Mass.), 1953.
- Quine W. V. O.* Word and object. Cambridge (Mass.), 1960.
- Reichenbach H.* Elements of symbolic logic. N. Y., 1948.
- Ross A.* Imperatives and logic // Theoria, 7, 1941.
- Ross J. R.* On declarative sentences // Readings in English transformational grammar. Waltham (Mass.), 1970.
- Russell B.* Introduction // Wittgenstein L. Tractatus logico-philosophicus. L., 1922.
- Russell B.* Logic and knowledge. L., 1965.
- Russell B.* An Inquiry into meaning and truth. L., 1980.
- Ryle G.* The concept of mind. L., 1949.
- Searle J. R.* Speech acts: Essay in philosophy of language. Cambridge. (Mass.), 1969.
- Stenius E.* Wittgenstein's Tractatus: A Critical expositions of its main lines of thought. Oxford, 1960.
- Waismann F.* Wittgenstein und der Wiener Kreis. Oxford, 1967.
- Warf B. L.* Language, thought and reality. L., 1956.
- Weiler G.* Mautner's critique of language. Cambridge, 1970.

- Weisgerber L.* Von der Kraften der deuchen Sprache. Bd. 2. Vom Weltbild de deuchen Sprache. Düsseldorf, 1950.
- Wiersbicka A.* Semantics primitives. Frankfurt a. M., 1972.
- Wiersbicka A.* Lingua mentalis. Sydney, 1980.
- Wittgenstein L.* Lectures and conversations on aesthetics, psychology and religious belief. Cambridge, 1966.
- Wittgenstein L.* Philosophical Investigations.
- Wittgenstein L.* On certainty. Oxford, 1980.
- Wittgenstein L.* Notebooks 1914-1916. Oxford, 1982.
- Woods J.* The Logic of fiction. The Hague; P., 1974.
- Wright G. H.* Wittgenstein. Oxford, 1982.

КОРИЧНЕВАЯ
КНИГА

КОРИЧНЕВАЯ КНИГА

I

Августин, описывая то, как его обучали языку, рассказывает, что его учили говорить посредством заучивания названия предметов. Ясно, что кто бы ни говорил такое, он подразумевает способ, при помощи которого ребенок обучается словам вроде «человек», «сахар», «стол» и т. д. Конечно же, он не думает в первую очередь о таких словах, как «не», «но», «может быть».

Представим себе человека, который описывает шахматную игру, ничего не говоря ни о том, что существуют шахматные фигуры, ни о том, каким образом они ходят. Его описание игры как естественного явления будет в этом случае неполным. С другой стороны, мы можем сказать, что он полно описал более простую игру. В этом смысле мы можем сказать, что Августиново описание обучения языку было бы правильным по отношению к более простому языку, чем наш. Представим себе такой язык: —

1) Его функция — это обеспечение коммуникации строителя *A* и его подручного *B*. *B* должен подавать *A* строительные камни. Это блоки, кирпичи, балки, колонны. Соответственно язык состоит из слов «блок», «кирпич», «балка», «колонна». *A* выкрикивает одно из этих слов, на что *B* приносит камень определенного типа. Представим себе общество, в котором это единственная языковая система. Ребенок обучается этому языку у взрослых посредством тренировки в его употреблении. Я употребляю слово «тренировка» аналогично тому, как оно употребляется тогда, когда мы говорим, что дрессируем животных с тем, чтобы они могли совершать различные действия. Это делается, например, посредством вознаграждения, наказания и т.п. Часть этой тренировки заключается в том, что мы показываем на строительный камень, направляем внимание ребенка на него и произносим соответствующее слово.

Я буду называть эту процедуру *демонстративным* обучением языку. В реальном употреблении этого языка один человек выкрикивает слова в виде приказов, а другой действует в соответствии с ними. Но обучение такому языку будет включать следующую процедуру: ребенок просто «именует» вещи, т. е. он произносит слова языка, когда учитель указывает на соответствующие предметы. На самом деле здесь будет еще более легкое упражнение: ребенок повторяет слова, которые произносит учитель.

(Заметь. Возражение. Слово «кирпич» в языке (1) не имеет того же значения, которым оно обладает в *нашем* языке. — Последнее истинно, если означает, что в нашем языке есть такие употребления слова «кирпич», которые отличаются от наших употреблений этого слова в языке (1)).

Но разве мы иногда не используем выражение «Кирпич!» именно таким способом?

И скажем ли мы, что когда мы используем это выражение, оно является эллиптическим предложением, сокращением выражения «Принеси мне кирпич»? Правильно ли говорить, что если мы говорим «кирпич!» мы *имеем в виду* «Принеси мне кирпич»? Почему я склонен переводить выражение «Кирпич!» в выражение «Принеси мне кирпич»? И если они — синонимы, почему бы мне не сказать: «Если он говорит “Кирпич!”, он имеет в виду “Кирпич!”...? Или: почему бы ему не быть в состоянии подразумевать просто «Кирпич!», если он в состоянии подразумевать «Принеси мне кирпич», если вы не хотите утверждать, что всякий раз, когда он громко говорит «Кирпич!», он на самом деле всегда осмысленно произносит «Принеси мне кирпич»? Но что нас заставляет утверждать это? Предположим, кто-то спросил: «Если человек отдает приказ “Принеси мне кирпич!”, должно ли подразумеваться, что приказ состоит из четырех слов, не может ли подразумеваться, что это одно составное слово, синонимичное слову “Кирпич!”»? Кто-то будет склонен ответить на это: «Он подразумевает все четыре слова, если в его языке он использует это предложение по контрасту с другими предложениями, в которых эти слова используются, например, так: “Унеси эти два кирпича»». Но что если я спросил: «А каким образом его предложение контрастирует со всеми остальными? Должен ли он их держать в уме одновременно или незадолго до того или некоторое время после того, или достаточно того что он некогда выучил их все и т. д.»? Когда мы задаем себе этот вопрос, кажется, что все эти альтернативы в данном случае незначимы. И мы склонны сказать, что все, что действительно важно, это то, чтобы эти контрастные варианты употребления существовали в системе языка, которой он пользуется, и что нет нужды в том, чтобы они в каком бы то ни было смысле присутствовали в его сознании в то время, как он употребляет свое предложение. Теперь сравним этот вывод с нашим изначальным вопросом. Когда мы задавали его, мы, казалось, задавали вопрос о состоянии сознания человека, который произносит предложение, в то время как идея подразумевания, которая возникла в конце вопроса, не имела отношения к состоянию сознания. Мы порой думаем о значениях знаков как о состояниях сознания человека, употребляющего их, иногда — как о роли, которую эти знаки играют в системе языка. Связь между этими двумя идеями состоит в том, что психическое переживание, которое сопровождает употребле-

ние знака, без сомнения опосредуется нашим употреблением знака в определенной языковой системе. Уильям Джеймс говорил о специфическом чувстве, сопровождающем употребление таких слов, как «и», «если», «или». И нет сомнения, что по крайней мере определенные жесты часто связаны с подобными словами, как собирающий жест со словом «и» и отвергающий жест со словом «не». И существуют очевидные визуальные и мускульные ощущения, связанные с этими жестами. С другой стороны, достаточно ясно, что подобные ощущения не сопровождают каждое употребление слов «не» и «и». Если в некотором языке слово «но» означает то, что в английском языке означает слово «не», то ясно, что нам не придет в голову сравнивать значения этих слов путем сравнения тех ощущений, которые они создают. Спросите себя, что это будут за значения, которые мы обнаружим в чувствах, вызываемых этими значениями у разных людей и в разных обстоятельствах. Спросите себя: «Когда я сказал “Дай мне яблоко и грушу и выйди из комнаты”, были ли у меня одни и те же чувства, когда я произносил и одно и другое “и”?» Но мы не отрицаем того, что люди, использующие слово «но» так, как в английском языке используется «не», в широком смысле имеют сходные ощущения, сопровождающие слово «но», с теми, какие имеют англичане, использующие слово «не». Слово «но» в этих двух языках будет сопровождаться различными ощущениями.)

2) Давайте теперь посмотрим на расширение языка (1). Подручный рабочего знает наизусть последовательность слов от одного до десяти. Заслышав распоряжение «Пять кирпичей!», он идет туда, где сложены кирпичи, проговаривает слова от одного до пяти, с каждым словом беря по кирпичу, и несет их строителю. Здесь оба используют язык посредством проговаривания слов. Выучивание чисел наизусть будет одной из существенных особенностей обучения этому языку. Употребление же чисел опять-таки будет демонстративным. Но теперь то же самое слово, например «три», будет выучиваться посредством указания на плиты или на кирпичи, или на колонны и т. д. И, с другой стороны, различные числа будут усваиваться посредством указания на группы камней одинакового размера.

(Замечание. Мы подчеркнули знание последовательности чисел наизусть, потому что других особенностей, кроме этой, по сравнению с языком (1) не было. И это показывает, что посредством введения чисел мы вводим в наш язык совершенно новый *тип* инструмента. Отличие этого нового типа становится более очевидным, когда мы размышляем над таким простым примером, чем когда мы смотрим на наш обыденный язык с бесчисленными типами слов, которые все кажутся более или менее похожими друг на друга, когда они стоят в словаре.

Что же общего имеет демонстративное объяснение чисел с подобными же объяснениями слов «плита», «колонна» и т. д. помимо указательно-

го жеста и произносимых слов? Способы, при помощи которых жест используется в первом и втором случаях, различны. Это различие становится расплывчатым, когда кто-то говорит: «В одном случае мы указываем на очертания предмета, а в другом — на номер». Различие становится очевидным и ясным, только когда мы рассматриваем пример *полностью* (т. е. языковой пример, полностью разработанный в деталях).

3) Давайте введем новый инструмент для коммуникации — собственное имя. Он дается определенному объекту (определенному строительному камню) посредством указания на объект и произнесения имени. Если *A* выкрикивает имя, *B* приносит объект. Демонстративное обучение собственному имени опять-таки отличается от обучения в случаях (1) и (2).

(Замечание. Это различие, тем не менее, локализуется не в актах указания и произнесения слова и не в каком-либо психическом акте (подразумевания?), сопровождающем первые два акта, но в той роли, которую играет демонстрация (указание и произнесение) во всем обучении в целом и в использовании, которое осуществляется посредством коммуникации в рамках этого языка. Кто-то может подумать, что это различие можно описать, сказав, что в разных случаях мы указываем на разные типы объектов. Но, положим, я показываю рукой на голубое джерси. Каким образом указание на его цвет отличается от указания на его очертания? — Мы склонны сказать, что отличие заключается в том, что мы *подразумеваем* нечто разное в этих двух случаях. И «подразумевание» здесь является своего рода процессом, имеющим место в тот момент, когда мы указываем. Что особенно склоняет нас к этой точке зрения, это то, что человек, когда его спрашивают, указывал ли он на цвет или на очертания, по крайней мере в большинстве случаев в состоянии ответить на это и быть при этом уверенным, что его ответ правилен. Если, с другой стороны, мы ищем два таких характерных психических акта, как подразумевание цвета и подразумевание очертания и т. д., то мы будем не в состоянии что-либо найти, или по крайней мере мы не найдем ничего, что должно всегда сопровождать указание на цвет и, соответственно, указание на очертание. Мы предполагаем лишь *приблизительной* идеей того, что это значит, что где-либо внимание сосредоточено на цвете или, напротив, на очертании или *vice versa*. Различие, кто-то может сказать, локализуется не в акте демонстрации, но, скорее, в окружении этого акта при его использовании в языке.)

4) Заслышав приказ «Этот кирпич!», *B* приносит кирпич туда, куда указывает *A*. Заслышав приказ «Кирпич сюда!», он приносит кирпич в указанное место. А слову «сюда» тоже обучаются демонстративно? И да и нет! Когда человек тренируется в употреблении слова «сюда», обучающий, тренируя его, будет делать указывающий жест и произносить слово «сюда». Но скажем ли мы, что он тем самым дает месту имя «сюда»?

Вспомним, что указывающий жест в этом случае является частью самой практики коммуникации.

(Замечание. Когда-то предполагалось, что такие слова, как «здесь», «там», «сейчас», «этот», являются «*подлинными собственными именами*» в противоположность тому, что мы называем собственными именами в обыденной жизни, которые лишь в самом грубом смысле могут быть названы таковыми с той точки зрения, о которой я говорю. Существует распространенная тенденция рассматривать то, что в обыденной жизни называют собственными именами, лишь как метафорическое приближение к тому, что в идеальном случае может быть названо ими. Сравним это с расселовской идеей «индивида». Он говорит об индивидах как о крайних составляющих реальности, но при этом утверждает, что достаточно трудно сказать, какие предметы являются индивидами. Идея состоит в том, что дальнейший анализ здесь невозможен. Мы, с другой стороны, ввели идею собственного имени применительно к языку, в котором она прилагается к тому, что в обыденной жизни мы называем «объектами», «предметами» («строительными камнями»).

Что означает слово «точность»? Является ли это подлинной точностью, если вы предполагали прийти на чай в 4.30 и действительно пришли, как часы, ровно в 4.30? Или подлинная точность начинается лишь в том случае, если вы вошли в дверь в тот момент, когда начали бить часы? Но как определить этот момент и как определить «начало открывания двери»? Правильным ли было бы сказать: «Трудно сказать, в чем состоит подлинная точность, потому что все, что мы знаем, есть лишь нечто приблизительное»?)

5) Вопросы и ответы. А спрашивает: «Сколько кирпичей?» В считает кирпичи и отвечает, называя их число.

Такие системы коммуникации, как, например, (1), (2), (3), (4), (5), мы будем называть языковыми играми. Они в большей или меньшей степени похожи на то, что мы в обыденном языке называем играми. Дети изучают свой родной язык при помощи таких игр, и здесь имеет место даже развлекательный характер этих игр. Мы, тем не менее, не рассматриваем языковые игры, которые мы описываем, как некие неполные части языка, но как языки, полные сами по себе, как полные системы человеческого общения. Чтобы удержать в сознании эту точку зрения, часто бывает полезно представлять такой простой язык как единственную систему общения в некоем примитивном первобытном племени. Подумай, например, о примитивной арифметике, которая могла бы существовать в таком племени.

Когда ребенок или взрослый выучивают то, что можно назвать специальным техническим языком, например, использование чертежей и диаграмм, начертательной геометрии, химической символики и т. д., он уз-

нает все больше и больше языковых игр. (Замечание. Картина языка взрослого, которой мы располагаем, представляет собой расплывчатую массу языка, его родной язык, окруженный дискретными или более или менее ясно выделенными языковыми играми и техническими языками.)

б) Задавание вопросов об именах: мы вводим новые формы строительных камней. *В* указывает на один из них и спрашивает: «Что это?»; *А* отвечает: «Это ...». Позже *А* выкрикивает это новое слово, скажем, «арка», и *В* приносит соответствующий камень. Слова «Это есть ...» вместе с указующим жестом мы будем называть остенсивным объяснением или остенсивным определением. В случае (б) исходное имя было объяснено в действительности как название очертания. Но мы можем аналогичным образом задать вопрос относительно собственного имени определенно объекта, относительно имени для цвета, числа или направления.

(Замечание. Наше использование таких выражений, как «имена чисел», «имена цветов», «имена материалов», «имена наций», может исходить из двух источников. Один из них заключается в том, что мы можем представить функции собственных имен, чисел, слов для обозначения цвета и т. д. гораздо более похожими друг на друга, чем они есть на самом деле. Если мы так поступаем, то мы склонны думать, что функция каждого слова более или менее сходна с функцией собственного имени человека или таких общих имен, как «стол», «стул», «дверь» и т. д. Второй источник заключается в том, что если мы видим, насколько фундаментально отличаются функции таких слов, как «стол», «стул» и т. д., от функций собственных имен, и насколько отличны от них функции, скажем, названий цветов, то мы не видим причины, почему бы нам не говорить об именах чисел или именах направлений не таким образом, как говорятся такие вещи, как «числа и направления суть совсем другие формы объектов», но, скорее, путем подчеркивания аналогии между функциями слов «стул» и «Джек», с одной стороны, и «восток» и «Джек» — с другой.)

7) У *В* есть таблица, на которой написаны знаки, расположенные против картинок, изображающих предметы (скажем, стол, стул, чайная чашка и т. д.). *А* пишет один из знаков, *В* ищет его на таблице, смотрит или водит пальцем от написанного знака к соответствующей картинке, а затем приносит предмет, изображенный на картинке.

Давай теперь посмотрим на другие знаки, которые мы ввели. В первую очередь разграничим предложения и слова. Предложением я буду называть каждый полный знак в языковой игре, а знаки, его составляющие — словами. (Это сугубо приблизительное и общее замечание о том способе, которым я буду использовать слова «предложение» и «слово».) Предложение может состоять только из одного слова. В языке (1) знаки «кирпич!» и «колонна!» являются предложениями. В языке (2) предложения состоят из

двух слов. Согласно той роли, которую предложения играют в языковой игре, мы разграничиваем приказы, вопросы, объяснения, описания и т.д.

8) Если в языковой игре, похожей на (1), *A* выкрикивает приказ «Плиту, колонну, кирпич!», которая обязывает *B* принести плиту, колонну и кирпич, мы можем говорить здесь о трех предложениях, а можем и об одном. Если, с другой стороны,

9) приказ, состоящий из слов, служит для *B* эквивалентом приказа принести соответствующие строительные камни, то мы скажем, что *A* выкрикивает одно предложение, состоящее из трех слов. Если команда в этом случае принимает форму «Плиту, затем колонну, затем кирпич!», то мы бы сказали, что это предложение состоит из четырех слов (не из пяти!). Среди этих слов мы видим группы, выполняющие сходные функции. Мы можем с легкостью видеть сходство в употреблении слов «один», «два», «три» и т. д. или же в употреблении слов «плита», «колонна», «кирпич» и т. д., и таким образом мы разграничиваем части речи. В (8) все слова предложения принадлежат одной и той же части речи.

10) Приказ, согласно которому *B* должен приносить камни в (9), может быть распознан посредством употребления порядковых числительных таким образом: «Второй — колонна; первый — плита; третий — кирпич!» Здесь мы имеем случай, в котором то, что было функцией приказа в словах в одной языковой игре, является функцией определенных слов в другой.

Размышления, подобные тем, которые приведены выше, показывают нам бесконечное разнообразие функций слов в предложениях, и забавно сравнить то, что мы видели в наших примерах, с теми простыми и жесткими правилами, которые дают логики для построения пропозиций. Если мы сгруппируем слова в соответствии со сходством их функций, разграничив таким образом части речи, легко будет видеть, как много различных классификаций может быть здесь предложено. На самом деле мы могли бы с легкостью представить причину, по которой не следует относиться к одному классу слова «один» и «два». Например,

11) рассмотрим следующее варьирование нашей языковой игры (2). Вместо выкрикивания «Одну плиту!», «Одну балку!» и т. д. *A* просто выкрикивает «Плиту!», «Балку!» и т. д., при этом использование остальных чисел будет таким, как оно описано в (2). Предположим, что человек, приученный к этой форме общения (11), был ознакомлен с употреблением слова «один», как оно описано в (2). Мы можем с легкостью представить, что он откажется поставить «один» в один и тот же класс с числами «2», «3», и т. д.

(Замечание. Подумайте о доводах за и против классифицирования «0» вместе с другими числительными. «Являются ли черный и белый цветами?» В каких случаях вы были бы склонны согласиться с этим, а в каких нет? — Для шахматиста эти слова могут быть сопоставлены многими спосо-

бами. Подумайте о различных путях разграничения различных типов фигур в шахматной игре (например, пешки и «слоны»).

Вспомним выражение «два или больше»).

Для нас естественно называть жесты, как они используются в (4), или картинки, как они представлены в (7), элементами или инструментами языка. (Иногда мы говорим о языке жестов.) Картинки в (7) и другие элементы языка, имеющие сходные функции, я буду называть образцами (patterns). (Это объяснение, как и те другие, которые мы давали, является расплывчатым и подразумевается как расплывчатое.) Мы можем сказать, что слова или образцы обладают различными типами функций. Когда мы используем образец, мы что-то с ним сравниваем, например, стул с картинкой стула. Мы не сравниваем плиту со словом «плита». Вводя разграничение «слово/образец», мы не имеем в виду некую окончательную логическую классификацию. Мы только выделяем два характерных типа инструментов из разнообразия инструментов нашего языка. Мы будем называть «один», «два», «три» и т. д. словами. Если вместо слов мы используем «—», «— —», «— — —», «— — — —», мы можем назвать это образцами. Предположим, что в языке числами были «один», «один один», «один один один» и т. д.; чем бы мы назвали тогда «один» — словом или образцом?

Один и тот же элемент в одном месте может быть использован как слово, а в другом — как образец. Круг может быть названием для эллипса или, с другой стороны, круг, с которым сравнивается эллипс, является определенным методом проекции. Рассмотрим также следующие две системы выражения:

12) *A* отдает *B* приказ, состоящий из двух записанных символов, первый — это неясных очертаний пятно какого-либо цвета, скажем, зеленого, второй — нарисованные контуры геометрической фигуры, скажем, круга. *B* приносит объект этого контура и этого цвета, скажем, круглый зеленый объект.

13) *A* отдает *B* приказ, состоящий из одного символа, геометрической фигуры, нарисованной определенным цветом, скажем, зеленый круг. *B* приносит ему зеленый круглый объект. В (12) образцы соотносились с нашими названиями цветов, а другие образцы — с нашими названиями очертаний. Символы в (13) не могут быть рассмотрены как комбинации таких двух элементов; выражение, взятое в одинарные кавычки, может быть названо образцом. Так, в предложении «Он сказал “Иди к дьяволу”», «Иди к дьяволу» является образцом того, что он сказал. Сравним два случая: а) Кто-то говорит: «Я просвистел...» (просвистывает мелодию); кто-

то пишет: «Я просвистел ». Ономатопоэтическое слово

вроде «шуршание» может быть названо образцом. Мы называем огромное количество процессов «сравнением объекта с образцом». Мы подразумеваем большое количество типов символов под именем «образец». В (7) *B* сравнивает картину на таблице с объектом, который он видит перед собой. Но в чем заключается сравнение картины с объектом? Предположим, на таблице показаны: а) изображение молотка, клещей, пилы и зубила; б) двадцать различных видов бабочек. Представим себе, в чем будет заключаться процесс сравнения этих двух случаев, и отметим различия. Сравним с этими двумя случаями третий случай с), где картинка на таблице изображает строительные камни, нарисованные в соответствии с масштабом, а сравнение должно быть произведено при помощи линейки и компаса. Предположим, задание *B* заключается в том, чтобы приносить отрез материи определенного цвета, сверенного с образцом. Как в этом случае будут сравниваться цвет образца и цвет материи? Как сравнить цвет образца и материи? Представим себе ряд различных возможностей:

14) *A* показывает образец *B*, после чего *B* идет и берет материал «по памяти».

15) *A* дает *B* образец, *B* переводит взгляд от образца к лежащим на полкам отрезам материи и выбирает нужный.

16) *B* кладет образец на каждый рулон материи и выбирает тот, цвет которого он не может отличить от цвета образца, тот, для которого различие с образцом исчезает.

17) Представим себе, с другой стороны, что отданный *B* приказ был следующим: «Принеси материю несколько более темного цвета, чем цвет образца». В (14) я говорил, что *B* берет материю «по памяти», что является использованием обычной формы выражения. Но то, что может произойти в этом случае сравнения «по памяти», имеет большую степень разнообразия. Представим несколько примеров:

14а) Перед мысленным взором *B* возникает образ-воспоминание. Он попеременно смотрит на материю и припоминает свой образ. Он проделывает эту процедуру, скажем, с пятью рулонами. В некоторых случаях говоря себе: «Этот слишком темный», а в других случаях — «Слишком светлый». На пятом рулоне он останавливается и говорит: «Точно, именно такой» и берет его с полки.

14б) Никаких образов памяти перед мысленным взором *B*. Он смотрит на четыре рулона, каждый раз качая головой, чувствуя некоторого рода психическое напряжение. Когда он достигает пятого рулона, это напряжение ослабевает, он кивает головой и берет рулон с полки.

14с) *B* идет к полке, не имея никаких образов памяти, просматривает пять рулонов один за другим и берет пятый рулон с полки.

Но в этом не может заключаться сравнение.

Когда мы описывали три предшествующих случая сравнения с памятью, мы чувствовали, что их описание в каком-то смысле неудовлетворительно или неполно. Мы склонны сказать, что описание игнорировало существенные особенности такого процесса и давало нам только те особенности, которые лежат на поверхности. Существенными особенностями можно считать то, что можно назвать особым переживанием сравнения и узнавания. И вот странно, что, внимательно рассматривая случаи сравнения, легко увидеть большое число действий и состояний сознания, которые все *в большей или меньшей степени* характеризуют акт сравнения. На самом деле это так и есть, говорим ли мы о сравнении по памяти или о сравнении с образцом, находящимся у нас перед глазами. Мы знаем *огромное* число различных способов. Мы держим лоскутки, цвета которых мы хотим сравнить друг с другом, смотрим на них одновременно или попеременно, помещаем их под различные источники света, произносим различные слова и, делая это, удерживаем в памяти определенные образы, чувства или напряжение или расслабление, удовлетворение или неудовлетворение, различные чувства натяжения в глазах или вокруг глаз, сопровождающие длительное рассматривание одного и того же объекта, и все возможные комбинации этих и многих других переживаний. Чем больше подобных случаев мы рассматриваем и чем ближе мы смотрим на них, тем больше сомнений мы чувствуем относительно нахождения точной психической характеристики для сравнения. Действительно, если после того, как вы внимательно изучили определенное число такого рода случаев, я полагаю, что здесь существует некое особое психическое переживание, которое вы можете назвать переживанием сравнения, и что, если вы настаиваете, то я буду применять слово «сравнение» только для тех случаев, применительно к которым можно говорить об этом особом переживании, и тогда бы вы почувствовали, что выделение этого особого переживания утратилось, потому что это переживание было расположено бок о бок с огромным числом других переживаний, которые после того, как мы проработали эти случаи, кажутся чем-то, что реально конституирует то, что объединяет все случаи сравнения. Ибо то «специфическое переживание», которое мы ищем, подразумевалось как играющее роль, которая была принята на себя той массой переживаний, которая была нами обнаружена в ходе нашего исследования. Мы никогда не хотели, чтобы особое переживание было лишь одним из многих *более или менее* характерных переживаний. (Можно сказать, что существуют два способа, чтобы посмотреть на данную проблему; первый — это как бы непосредственно, лоб в лоб, а второй — с некоторого расстояния и посредством некоего особой природы медиума.) На самом деле мы обнаружили, что то употребление, которое мы производили со словом «сравнение», отличается от того, которое мы рассматривали, что оно далеко от того, что

мы ожидали видеть. Мы обнаруживаем, что то, что связывает все случаи сравнения, это огромное число накладывающихся друг на друга подобий, и поскольку мы видим это, мы не можем больше говорить о том, что должна существовать одна особенность, общая для всех случаев. То, что привязывает корабль к пристани, это веревка, и веревка состоит из волокон, но она не получает свою силу из одного отдельного волокна, которые натянуты на ней от одного конца до другого, но от того факта, что она состоит из огромного числа переплетенных волокон.

«Но, конечно, в случае (14с) *B* ведет себя совершенно автоматически. Если то, что произошло, было действительно тем, что было описано, он не знал, почему он выбрал тот рулон, который он выбрал. У него не было причин выбрать именно его. Если он выбрал правильный рулон, он сделал это, как сделала бы это машина». Наш первый ответ состоит в том, что мы не отрицаем, что *B* в случае (14с) обладал тем, что мы бы назвали индивидуальным переживанием, потому что мы не говорим, что он не видел материй, из которых он выбирал, или ту, которую он выбирал, или что у него не было мускульных или тактильных ощущений или чего-то тому подобного, когда он делал это. Тогда что же это могла быть за причина, которая обусловила его выбор и сделала его неавтоматическим? (т. е. как бы мы могли *представить* подобную причину?). Я полагаю, мы могли бы сказать, что противоположность автоматическому сравнению есть как бы идеальный случай сознательного сравнения, состоящий в обладании ясным образцом в памяти перед мысленным взором, или случай реального смотрения на образец или обладание специфическим чувством того, что ты не в состоянии отличить определенным образом эти образцы и выбранную материю. Я полагаю, что это особое ощущение и есть причина, оправдание выбора. Это специфическое чувство, кто-то может сказать, связывает два переживания — видения образца, с одной стороны, и материи, с другой. Но если так, *что* связывает это специфическое переживание с другими? Мы не отрицаем, что подобное переживание может иметь место. Но глядя на него так, как мы только что это делали, мы можем видеть, что различие между автоматическим и неавтоматическим не остается таким же ясным и окончательным, каким оно казалось вначале. Мы не имеем в виду, что это различие теряет свою практическую ценность в конкретных случаях, например, если нас при определенных обстоятельствах спросят: «Вы взяли этот рулон с полки автоматически или подумавши?», мы можем удовлетвориться ответом, что мы действовали не автоматически, и сказать в качестве объяснения, что мы внимательно осматривали материю, пытаясь воскресить в памяти образец и затем уже прибегать к сомнениям или решениям. Этот способ может *в конкретном случае* служить разграничению между автоматическим и неавтоматическим возникновением образов памяти и т.д.

Если наш случай (14с) беспокоит вас, вы можете быть склонны сказать: «Но *почему* он приносит именно этот рулон материи? Как он узнает, что это именно тот, правильный рулон? Посредством чего?» — Если вы спрашиваете «Почему?», то спрашиваете ли вы о причине или о поводе? Если о причине, то достаточно легко выдвинуть философскую или психологическую гипотезу, которая объяснит его выбор при данных обстоятельствах. Это задача экспериментальных наук — проверять такие гипотезы. Если, с другой стороны, вы спрашиваете о поводе, ответ будет таков: «Выбор не нуждался в поводе. Повод — это шаг, который предшествует шагу выбора. Но почему каждый шаг должен предшествовать один другому?»

«Но ведь *B* на самом деле не *осознал*, что им была выбрана правильная материя». — Вы не нуждаетесь в том, чтобы рассматривать (14с) в ряду других случаев опознавания, но если вы стали осознавать факт, что процессы, которые мы называем процессами узнавания, формируют огромную семью с пересекающимися сходствами, то вы, возможно, будете склонны включить и (14с) в эту семью. — «Но разве *B* в этом случае утерял критерий, посредством которого он мог бы опознать материю? В (14с), например, у него был образ-воспоминание, и он опознал материю, которую он искал, посредством осознания согласованности с этим образом». Но была ли у него также картина этой согласованности, картина, с которой он мог сравнить степень согласованности между образцом и рулоном, чтобы понять, является ли этот рулон правильным?

И, с другой стороны, разве ему не могли дать такую картину? Предположим, например, что *A* хотел, чтобы *B* помнил, что то, что он хочет, это рулон в точности такого же цвета, как на образце, а не (как, возможно, в других случаях) материя несколько более темного цвета, чем образец. Разве не мог бы *A* в этом случае продемонстрировать *B* пример требуемой согласованности, дав ему два лоскута одного и того же цвета (например, в качестве образца запоминания)? Является ли какая-либо связь между приказом и его выполнением именно той, что намечена выше? — И если вы говорите, что в (14с) он по крайней мере должен был ослабить напряженность, и посредством этого опознать материю, должен ли был он иметь перед собой образ этого ослабления, чтобы опознать его подобно тому образу, посредством которого он опознавал правильный рулон материи?

«Но предположим, что *B* приносит рулон, как в (14с) и, сравнивая его с образцом, обнаруживает, что это не тот рулон, который нужен?» — Но разве не могло случиться так и во всех остальных случаях? Предположим, что в (14с) рулон, который приносит *B*, как обнаруживается, не совпадает с образцом. Скажем ли мы в некоем подобном случае, что его образ-воспоминание изменился, а в других случаях, что изменился образец или сама материя, а в-третьих, что изменился свет? Не трудно ввести случаи, вообразить

обстоятельства, в которых можно было сделать каждое из этих суждений. — «Но разве все же не существует существенного различия между (14а) и (14с)?» — Разумеется! Именно это отмечено в описаниях этих случаев.

В случае (1) *В* учится носить строительные камни, услышав выкрикиваемое слово «Колонна!» Мы можем сказать, что в таком случае может произойти следующее. В сознании *В* выкрикиваемое слово приносит образ, скажем, колонны; мы можем сказать, что появления этой ассоциации можно достичь посредством тренировки. *В* берет камень, который соответствует его образцу. — Но является ли происходящее чем-то *необходимым*? Если посредством тренировки можно достичь появления — автоматического — идеи или образа в сознании *В*, почему бы им не быть принесенными в *действия В* без интервенции образа? Это только привело бы к некоторой легкой вариации ассоциативного механизма.

18) Объект тренировки в использовании таблицы (как в (7)) может не только быть научен использованию одной конкретной таблицы, но он может оказаться не способным выучиться употреблять или конструировать собственные таблицы с новыми координациями написанных знаков и картинок. Предположим, что первая картинка, использованию которой тренировали человека, содержала четыре слова: «молоток», «пила», «клещи», «стамеска» и соответствующие картинки. Мы можем добавить картинку другого объекта, который был у ученика перед этим, скажем, изображение самолета и коррелирующее с ним слово «самолет». Мы сделаем соответствие между этой новой картинкой и словом в той же мере похожим, как соответствие на предыдущей таблице. Так мы можем добавить новое слово и картинку на том же листе и расположить новое слово под предыдущими словами, а новую картинку — под предыдущими картинками. Ученик теперь будет стимулирован использовать новую картинку и новое слово без специальной тренировки, которую мы уже дали ему, когда обучали его использовать первую таблицу. Эти акты стимулирования могут быть различных типов, и многие из таких актов лишь тогда будут возможны, когда ученик на них отвечает, причем отвечает определенным способом. Представим те жесты, звуки и т. д. приободрения, которыми вы пользуетесь, обучая собаку возвращаться. Представим, с другой стороны, что вы пытаетесь обучать тому же кошку. Поскольку кошка не будет отвечать на ваши подбадривания, большинство актов подбадривания, которые представлены при обучении собаки, в данном случае становятся сомнительными.

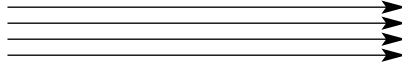
19) Ученика можно также тренировать давать вещам имена по его собственному желанию и приносить предметы, когда выкрикиваются имена. Например, ему дается таблица, на которой он находит картинки предметов, расположенных вокруг него, с одной стороны, и незаполненные пустые клетки — с другой, и он играет в игру, записывая знаки собственно-

го изобретения напротив картинок и реагируя на них так же, как и в предшествующих играх, когда знаки использовались как приказы. Или же —

20) игра может состоять в том, что *V* строит таблицу и выполняет приказы, дающиеся в терминах этой таблицы. Когда таблица используется для обучения и при этом состоит, скажем, из двух вертикальных колонок, левая содержит имена, а правая — картинки, то картинка будет соотнесена с именем, стоя на одной горизонтальной черте с ним, тогда важной особенностью тренировки может быть то, что ученика побуждают водить пальцем слева направо, как будто бы это тренировка на то, чтобы рисовать ряд горизонтальных линий, одну под другой. Подобная тренировка может помочь делать перевод от первой таблице к новой.

Таблицы, остенсивные определения и подобные инструменты я буду называть правилами в соответствии с обычным употреблением этого слова. Такое употребление правила может быть объяснено посредством дальнейшего правила.

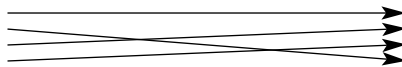
21) Рассмотрим пример. Мы вводим различные способы прочтения таблицы. Каждая таблица состоит из двух колонок со словами и картинками, как было описано выше. В некоторых случаях их надо читать горизонтально, слева направо, т. е. в соответствии со следующей схемой:



В других случаях — в соответствии с такими схемами, как



или



и т. д.

Схемы этого типа можно прилагать к нашим таблицам в качестве правил для их чтения. Могут ли правила быть подвергнуты дальнейшему объяснению? Конечно. С другой стороны, является ли правило объясненным не полностью, если не даны правила его использования?

Мы вводим в наши языковые игры бесконечный ряд чисел. Но как это делается? Очевидно, что аналогия между этим процессом и процессом введения ряда из двадцати чисел не та же самая, что аналогия между введением ряда из двадцати чисел и введением ряда из десяти чисел. Предположим, что наша игра была примерно такой, как (2), но игралась с бесконечным рядом чисел. Различие между этой игрой и игрой (2) не только в том, что здесь используется большее количество чисел. То есть,

предположим, что фактически в этой игре мы использовали 155 чисел, все равно, игра в которую мы играем, не будет чем-то, что можно описать, сказав, что мы играем в игру (2), но только со 155, а не с 10 числами. Но в чем же тогда состоит разница? (Разница, кажется, должна состоять в самом духе, в котором играется эта игра.) Разница между играми может лежать, скажем, в числе использующихся фишек, в числе квадратов на игровой площадке или в том факте, что в одном случае мы используем квадраты, а в другом — шестиугольники, и т.п. А вот разница между конечной и бесконечной играми не находится в сфере материальных инструментов игры; поскольку мы склонны говорить, что бесконечность не может быть выражена в них, т. е. что мы можем только предполагать ее в наших мыслях, и следовательно именно в наших мыслях должны быть разграничены конечные и бесконечные игры. (Хотя странно, что эти мысли должны быть способны быть выраженными в знаках.)

Рассмотрим две игры. Обе они играют с картами, имеющими номера, и больший номер берет взятку.

22) Наша игра играется с фиксированным числом таких карт, скажем, с 32. В другой игре нам при определенных обстоятельствах разрешено увеличивать количество карт настолько, насколько мы хотим, нарезая листки бумаги и ставя на них номера. Мы назовем первую из этих игр ограниченной, а вторую — неограниченной. Предположим, игрался кон второй игры, и число реально использованных карт составляло 32 карты. В чем заключается в этом случае различие между коном игры а) в неограниченную игру и коном игры б) в ограниченную игру?

Это не будет различием между коном ограниченной игры с 32 картами и коном ограниченной игры с большим количеством карт. Число карт в обоих случаях, как мы сказали, было одинаковым. Но здесь будет иметь место различие другого рода, т. е. ограниченная игра играется с нормальной колодой карт, неограниченная — со все время увеличивающимся количеством пустых карт и карандашей. Неограниченная игра открывается вопросом «Как высоко мы взберемся?» Если игроки взглянут на правила этой игры в книге правил, они найдут фразу «и так далее» или «и так далее до бесконечности» в конце определенного ряда правил. Таким образом, различие между двумя играми а) и б) состоит в тех инструментах, которыми мы пользуемся, а не в картах, которыми они играют. Но это различие кажется тривиальным, а не существенным различием между играми. Мы чувствуем, что здесь где-то должно быть большое и существенное различие. Но если вы внимательно посмотрите на то, что происходит, когда играют игры, вы обнаружите, что можете наблюдать лишь большое число различий в деталях, каждое из которых будет казаться несущественным. Действия, например, обращение с картами и игра в них, *могут* быть в обо-

их случаях идентичными. В ходе игры а) игроков можно рассматривать как набирающих все большее количество карт и вновь отбросить эту идею. Но на что это будет похоже – рассматривать игру подобным образом? Это будет нечто вроде такого процесса говорения про себя или вслух: «Удивительно, но мне надо взять еще одну карту». Опять-таки, ни одно подобное рассмотрение не может прийти в голову игрокам. Возможно, что в целом различие между событиями ограниченной игры и игры неограниченной лежит в том, что говорится перед тем, как начинают игру, например: «Давайте играть в ограниченную игру».

«Но будет ли корректным сказать, что “сети” двух различных игр принадлежат к двум различным системам?» – Конечно. Только те факты, с которыми мы соотносимся, говоря, что они принадлежат к различным системам, являются значительно более сложными, чем мы ожидаем.

Давайте теперь сравним те языковые игры, о которых мы бы сказали, что они играют с ограниченным множеством чисел, с теми языковыми играми, о которых мы бы сказали, что они играют с бесконечным рядом чисел.

23) Так же, как и в (2), *A* отдает приказ *B* принести ему определенное число строительных камней. Числа обозначаются знаками «1», «2», «9», каждый из которых написан на карте. *A* имеет некое множество таких карт, он отдает *B* приказ, показывая ему на одну из них и выкрикивая слова «плита», «колонна» и т. д.

24) Так же, как и в 23, но только здесь нет множества проиндексированных карт. Ряды чисел от одного до девяти выучиваются наизусть. Определенные номера выкрикиваются в команде, и ребенок узнает их на слух по выкрику.

25) Используются счеты. *A* дает счеты *B*, *B* идет с ними туда, где лежат плиты и т. д.

26) *B* считает плиты, сложенные одна на другую. Он делает это с помощью счет, счеты имеют по двадцать бусин. В кладке никогда не бывает больше 20 плит. *B* считает на счетах количество плит в кладке и показывает *A* счеты с посчитанной суммой.

27) Так же, как (26). Счеты имеют 20 маленьких бусин и одну большую.

Если кладка составляет более 20 плит, большая бусина передвигается. (Таким образом, большая бусина так или иначе соотносится со словом «много».)

28) Так же, как (26). Если кладка содержит n плит, при n больше 20, но меньше 20, то *B* передвигает $20+n$ бусин, показывает *A* этот результат на счетах и при этом хлопает в ладоши.

29) *A* и *B* используют числа десятичной системы (записанные или произносимые) от 1 до 20. Ребенок, который учится этому языку, выучивает эти числа наизусть так же, как в (2).

30) Некое племя обладает языком типа (2). Числа используются те же, что в нашей десятичной системе. Ни одно из используемых чисел не было замечено в том, что оно играло доминирующую роль, подобно числам в вышеописанных играх (27) и (28). (Кто-то будет склонен продолжить это предложение, сказав, что «при этом, конечно, существует наибольшее число, которое в действительности употребляется в этой игре».) Дети в этом племени выучивают числа следующим образом. Их учат знакам от 1 до 20, как это предполагается в (2), а также учат считать ряды бусин не более чем по 20 в каждом. Им говорят: «Считай». Когда, считая, ученик достигает числа 20, учитель делает жест, означающий «Продолжай», после чего ребенок говорит (по крайней мере в большинстве случаев): «21». Аналогичным образом дети досчитывают до 22 и более, причем ни одно число не играет в этих упражнениях роль наибольшего. Последняя стадия тренировки заключается в том, что ребенку отдается приказание сосчитать группу объектов, которых более 20, без соответствующего жеста, который ранее использовался для того, чтобы помочь ребенку перешагнуть порог после числа 20. Если ребенок не отвечает на этот жест, он отделяется от остальных и его обучают как отсталого.

31) Другое племя. Его язык подобен языку (30). Наибольшее используемое число составляет 159. В жизни этого племени число 159 играет особую роль. Положим, я говорю: «Они рассматривают это число как наибольшее», — но что это значит? Можем ли мы ответить: «Они просто говорят, что оно самое большое»? Они произносят какие-то слова, но откуда мы знаем, что они означают? Критерием того, что они означают, был бы случай, в котором слово, которое мы склонны переводить словом «самый большой», используется в той роли, которую, как мы можем наблюдать, это слово играет в жизни племени. В действительности мы могли бы с легкостью представить число 159 используемым в такой ситуации, в соотнесенности с такими жестами и формами поведения, которые указывали бы нам, что это слово играет роль непереходимого предела, даже если племя не имеет слова, соответствующего нашему выражению «самый большой», и критерий для того, чтобы определить, что число 159 представляет собой самое большое число, не заключается в чем-либо, что *говорится* об этом числе.

32) Племя имеет две системы счета. Люди учатся считать при помощи алфавита от A до Z, а также при помощи десятичной системы, как в (30). Если человек хочет сосчитать объекты при помощи первой системы, ему предписывается считать «закрытым способом», а во втором случае — «*открытым способом*»; племя также использует слова «закрытый» и «открытый» для закрытой и открытой двери.

(Замечание. Случай (23) очевидным образом ограничен количеством карт. Случай (24): Заметим наличие аналогии и ее исчезновение в случае с

ограниченным числом карт в (23) и слов в нашей памяти в (24.) Пронаблюдаем то, что ограничение в случае (26), которое, с одной стороны, лежит в *инструменте* (счеты с 20 бусинами) и использование этого ограничения в нашей игре, с другой стороны (совершенно другим образом), в том факте, что в реальной практике игры сосчитывается не более 20 объектов. В случае (27) более поздний тип ограничения отсутствовал, но большая бусина скорее подчеркивала ограничение наших возможностей. Является ли (28) ограниченной или неограниченной игрой? Практика, которую мы описали, дает предел в 40 единиц. Мы склонны сказать, что эта игра, «имея это число в себе самой», может быть продолжена неопределенно долго, но вспомним, что мы также могли построить предшествующие игры в качестве оснований системы. В (29) систематически используемый аспект чисел даже более заметен, чем в (28). Кто-то может сказать, что в этой игре не было ограничений, вводимых посредством ее инструментов, если бы не замечание, что числа до 20 заучиваются наизусть. Это предполагает идею, в соответствии с которой ребенка не обучают «*понимать*» систему, которую мы видим в десятичной записи. О племени из случая (30) мы можем с достоверностью сказать, что их тренируют строить числа неопределенно, что арифметика их языка не является финитной, что их ряды чисел не имеют конца. (Просто в том случае, когда числа строятся «неопределенно», мы говорим, что люди обладают бесконечной серией чисел.) Случай (31) может показать вам, какое огромное разнообразие случаев можно представить, применительно к которым мы будем склонны сказать, что арифметика племени имеет дело с конечными рядами чисел, даже несмотря на тот факт, что детей тренируют в использовании чисел, не предполагая наибольшего числового предела. В (32) термины «закрытая» и «открытая» (которые могут быть более слабыми вариантами, заменимыми терминами «ограниченный» и «неограниченный») вводятся в язык самого племени. Введенный в эту простую и ясно описываемую игру, термин «открытый» в своем использовании не несет ничего таинственного. Но это слово соотносится с нашим словом «бесконечный», и игры, в которые мы играем с последним словом, отличаются от (31) лишь гораздо большей сложностью. Другими словами, наше использование слова «бесконечный» настолько же *простое*, как использование слова «открытый» в (31). И наша идея о том, что его значение является «трансцендентным», покоится на непонимании.

В первом приближении мы можем сказать, что неограниченные случаи характеризуются следующим: они не играют с *определенным количеством* чисел, но с системой, которая умеет строить числа (неопределенно). Когда мы говорим, что кто-то имеет дело с системой построения чисел, мы в целом думаем об одной из трех вещей: а) о том, что его натренировали подобно тому, как это описано в (30), что, как нас учит опыт, это даст ему

возможность пройти тесты того типа, который там предусмотрен; b) о создании *предрасположенности* в человеческом сознании, или мозге, к тому, чтобы реагировать таким образом; c) о снабжении его общим правилом для построения чисел.

Что мы называем правилом? Рассмотрим следующий пример.

33) *В* продвигается в соответствии с правилами, которые ему дает *А*.

	a	→
В снабжен следующей таблицей	b	←
	c	↑
	d	↓

А отдает приказ в соответствии с буквами на таблице, скажем: «aacadd». *В* смотрит на стрелки, соответствующие каждой букве, и движется

соответствующим образом; в нашем случае так: → → $\begin{matrix} \uparrow \\ \rightarrow \\ \downarrow \\ \downarrow \end{matrix}$

Таблицу (33) мы назовем правилом (или же «выражением правила»; почему я даю эти синонимические выражения, выяснится позже). Мы не были бы склонны назвать предложение «aacadd» само по себе правилом. Это, конечно, описание пути, который *В* должен проделать. С другой стороны, такое описание при определенных обстоятельствах может быть названо правилом, как например, в следующем случае:

34) *В* должен рисовать различные орнаментальные узоры. Каждый узор — повторение одного элемента, который дает ему *А*. Так, если *А* отдает ему приказ «cada», *В* рисует линию так: $\square\square\square\square$. В этом случае, я думаю, мы бы сказали, что «cada» является правилом для рисования узора. Грубо говоря, то, что мы называем правилом, характеризуется своей повторяемостью, применимостью к неопределенному числу случаев. Ср. с (34), например, следующий случай:

35) на шахматной доске играется игра с фигурками различных очертаний. Способ, которым каждой фигурке разрешается двигаться, опосредуется правилом. Так, правилом для некой определенной фигурки является «ас», для другой — «асаа» и т.д. Первая фигурка, стало быть, может двигаться так: $\rightarrow\uparrow$, вторая так $\rightarrow\uparrow\rightarrow$. Как сама формула «ас», так и соотношенная с ней диаграмма, могут быть названы правилом.

36) Предположим, что после игры (33) несколько раз, как показано выше, она игралась с вариантами: *В* больше не смотрел на таблицу, но считывал воображаемые стрелки, которые чертил в воздухе *А*, после чего действовал в соответствии с направлением этих воображаемых стрелок.

37) После нескольких партий, проигрываемых таким образом несколько раз, *В* движется в соответствии с написанным приказом, после че-

го он должен отыскать или представить стрелки без каких-либо изобразительных вспомогательных средств. Представим даже такой вариант:

38) *V* натренирован на то, чтобы следовать письменному приказу, ему один раз показывают таблицу из (33), следуя которой, он выполняет приказ *A* без дальнейшей помощи таблицы таким же образом, каким он в (33) делает то же самое, но каждый раз с помощью таблицы.

Применительно ко всем этим случаям мы можем сказать, что таблица (33) является правилом игры. Но в каждом случае это правило играет разные роли. В (33) таблица является инструментом для того, что мы бы назвали *практикованием* в игре. В (36) этот принцип заменяется работой ассоциаций. В (37) даже эта тень таблицы выносится за скобки практикования игры и в (38) таблица остается лишь в качестве инструмента для *тренировки V*.

Но представим дальнейший случай.

39) Некое племя пользуется определенной системой коммуникации. Я опишу ее, сказав, что она похожа на нашу игру (38) за исключением того, что никакие таблицы при тренировке не используются. Тренировка *может* заключаться в том, что ученика водят несколько раз за руку по тропинке, по которой некто хочет, чтобы он прошел. Но мы также могли бы представить случай,

40) где даже такая тренировка не была бы обязательной, где, как бы мы сказали, простой взгляд на буквы *abcd* побуждал бы двигаться по описанному пути. Этот случай на первый взгляд кажется загадочным. Здесь мы как будто предполагаем наиболее необычную работу сознания. Или мы можем сказать: «Каким же образом он узнает, куда ему идти, если ему просто показывают букву *a*?» Но не является ли реакция *V* в этом случае той же самой реакцией, которая описана в (37) и (38), и фактически нашей собственной обычной реакцией, когда, например, мы слышим и выполняем приказ? Ибо тот факт, что тренировка в (38) и (39) *предшествовала* выполнению приказа, не изменяет сам процесс выполнения. Другими словами, «забавный психический механизм», предложенный в (40), не является совершенно иным по сравнению с теми, относительно которых мы предложили, что они осуществляются посредством тренировки в (37) и (38). «Но *могли бы* такой механизм родиться вместе с вами?» Но разве вы находите какую-то трудность в предположении, что *этот* механизм родился вместе с *V*, что позволяет ему реагировать на тренировку таким образом, каким он это делает? И вспомним, что правило объяснения знаков *abcd*, как оно дано в таблице (33), было по существу не последним и что мы могли бы дать таблицу для использования таких таблиц и т.д. (ср. (21)).

Каким образом один человек объясняет другому, как выйти в дверь посредством приказа «Иди *этим* путем!» (показывая стрелкой путь, которым тот должен идти)? Не может ли этот способ показывать направление, про-

тивоположное тому, куда указывает стрелка? Не находится ли каждое объяснение того, как ему следовать стрелке, в позиции другой стрелки? Что бы вы сказали на такое объяснение: человек говорит: «Если я укажу на этот путь (показывает правой рукой), это подразумевает, что ты должен идти так (показывает левой рукой тот же путь)»? Этот пример просто показывает вам те экстремумы, между которыми варьируется использование знаков.

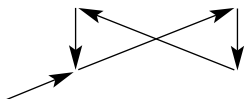
Давайте вернемся к (39). Некто посещает племя и наблюдает использование его членами знаков их языка. Он описывает язык, говоря, что его предложения содержат буквы *abcd*, использующиеся в соответствии с таблицей (33). Мы видим, что выражение «Игра играется в соответствии с правилом так-то и так-то» используется в случаях, аналогичных (36), (37), (38), но даже и в тех случаях, когда правило не является ни инструментом в тренировке, ни в практике игры, но находится в том отношении к ней, в каком наша таблица находится к практике игры (39). Кто-то может в этом случае назвать таблицу естественным законом, описывающим поведение людей в этом племени. Или мы можем сказать, что таблица является достижением, принадлежащим естественной истории этого племени.

Заметим, что в игре (33) я четко разграничивал выполняемый приказ и применяемое правило. С другой стороны, в (34) мы называли предложение «сада» правилом, и в то же время это был приказ. Представим также такой вариант:

41) игра похожа на (33), но ученика здесь не тренируют использовать единственную таблицу; цель тренировки состоит в том, чтобы заставить ученика использовать любую таблицу, соотносящую буквы со стрелками. И вот под этим я подразумеваю не более того, что это тренировка особого типа, грубо говоря, аналогичная той, которая была описана в (30). Я буду называть тренировку, более или менее похожую на ту, что была описана в (30), «общей тренировкой». Общая тренировка образует семью, члены которой очень сильно отличаются друг от друга. Предмет того типа, о котором я думаю, по большей части состоит из: а) тренировки в ограниченном числе действий; б) предоставления ученику ключа к расширению этого количества и с) случайных (random) упражнений-тестов. После общей тренировки приказ состоит из предоставления ему знака такого типа:

rrtst
 r ↗
 s ↖
 t ↓

Он осуществляет выполнение приказа, двигаясь следующим образом:



Здесь, как я полагаю, мы можем сказать, что таблица, правило, является *частью* приказа.

Заметьте, что мы не говорим, «*что такое правило*», но просто даем различные применения слову «правило»: и мы безусловно делаем то же самое, давая применение словам «выражение правила».

Заметьте также, что в (41) нет ясного случая, который говорил бы против называния всего данного символа предложением, хотя мы можем разграничить там предложение и таблицу. Что в этом случае особенно склоняет нас к этому разграничению, так это линейное написание той части, которая находится за пределами таблицы. Хотя с определенной точки зрения мы могли бы назвать линейный характер предложения глубоко внешним и несущественным, но этот характер и подобный ему играет большую роль в том, что мы, как логики, склонны сказать о предложениях и высказываниях. И поэтому, если мы рассматриваем символ в (41) в качестве некоего единства, это может заставить нас понять, что *может* собой представлять предложение.

Давайте теперь рассмотрим две такие игры.

42) *A* отдает приказ *B*. Они пишут знаки, состоящие из точек и тире. *B*, выполняя это задание, составляет фигуру, вытанцовывающую определенные па. Так, приказ «— .» осуществляется посредством шага и прыжка; приказ «. . — —» — двумя прыжками и тремя шагами и т. д. Тренировка в этой игре является «общей», в том смысле, который объяснен в (41); я бы мог сказать: «Отдаваемые приказы не ограничивают число движений. Они осуществляют комбинации любого числа точек и тире». — Но что это значит, сказать, что приказы не ограничивают число движений? Разве это не нонсенс? Когда бы ни отдавался приказ в практике игры, он конституирует ограниченное количество. — Хорошо, то, что я имел в виду, говоря «приказы не ограничивают число движений», означало, что ни в обучении игре, ни в самой ее практике ограничение на количество не играет доминирующей роли (см. (30)). Или, как мы можем сказать, ранг игры (здесь искусственным было бы говорить «ограниченный») является просто расширением реальной (акцидентальной) практики. (Наша игра в этом смысле подобна (30).) Ср. это со следующей игрой:

43) Приказы и их исполнение — как в (42); но используются только три знака: «—», «— . .», «. — —». Мы говорим, что в (42) *B*, исполняя приказ, является *ведомым* данным ему знаком. Но если мы спросим себя, действительно ли три знака в (43) ведут *B* в его исполнении приказов, то кажется, что мы можем сказать и «да» и «нет», смотря по тому, как мы *смотрим* на исполнение приказов.

Если мы пытаемся решить, является ли *B* (43) ведомым знаками или нет, то мы склонны дать такие ответы, как следующие: а) *B* является ведо-

мым, если он не просто смотрит на приказ, скажем, «. —», как на нечто целое и затем действует, но если он читает его слово за словом (слова, которые используются в нашем языке, это «.» и «—») и действует в соответствии со словами, которые он прочитал.

Мы могли бы лучше прояснить эти случаи, если бы представили, что чтение слова за словом состоит в указании на каждое слово в предложении пальцем, в противоположность указанию на целое предложение, скажем, посредством указания на его начало. Действия же в соответствии со словами мы для простоты будем представлять как состоящие из действий (шаг или прыжок), следующих после каждого слова предложения. b) *В* является ведомым, если он проходит сквозь сознательный процесс, который осуществляет связь между указанием на слово и действием шагания и прыгания. Такую связь можно представить многими различными путями. Например, у *В* есть таблица, где тире соотносится с картинкой, на которой изображен человек, делающий шаг, а точка — с картинкой, на которой человек прыгает. Тогда сознательный акт связывания чтения приказа и его выполнения может заключаться в консультировании с таблицей или в консультировании с образом памяти перед «мысленным взором». c) *В* является ведомым, если он не просто реагирует, глядя на каждое слово приказа, но испытывает при этом специфическое напряжение «попытки запомнить, что означает знак», а в дальнейшем — расслабление этого напряжения, когда значение, или идея правильного действия, приходит ему в голову.

Все эти объяснения кажутся в той или иной форме неудовлетворительными, а неудовлетворительными их делает ограничение, которое мы накладываем на нашу игру. Это выражается в объяснении того, что *В* является ведомым определенной комбинацией слов одного из наших трех предложений в том случае, если бы он также мог выполнять приказы, состоящие из других комбинаций точек и тире. И если мы говорим это, то кажется, что «способность» выполнять другие приказы является специфическим состоянием личности, выполняющим приказы типа (42). И в то же время мы не можем в этом случае обнаружить чего-либо, что мы могли бы назвать состоянием.

Давайте посмотрим, какую роль в нашем языке играют слова «мочь» или «быть в состоянии». Рассмотрим такие примеры:

44) представим, что для некоторой цели или некоторыми людьми используется определенного типа инструмент; он состоит из доски с отверстием в ней, которая управляет действием крючка. Человек, использующий этот инструмент, опускает крючок в отверстие. Существуют доски с прямоугольными отверстиями, круглыми отверстиями, эллиптически и т. д. Язык человека, использующего этот инструмент, имеет выраже-

ния для описания движений крючка (колышка) в отверстии. Они говорят о его движении по кругу, по прямой линии и т. д. Они также обладают значениями, описывающими использование доски. Они делают это в такой форме: «Это доска, в которой колышек *можно* двигать по кругу». Кто-то предпочел бы в этом случае назвать слово «мочь» оператором, посредством которого форма выражения, описывающая действие, превращается в описание инструмента.

45) Представим, что у людей в этом языке нет таких форм предложения, как «книга в ящике» или «вода в бутылке», но тем не менее они могут использовать подобные формы, говоря: «Книгу можно вынуть из ящика», «Воду можно вылить из бутылки».

46) Действия людей в некоем племени направлены на то, чтобы проверять палки на прочность. Они делают это, пытаясь согнуть палку руками. В своем языке они имеют выражения формы «Эту палку можно легко согнуть» или «Эту палку согнуть трудновато». Они используют эти выражения так же, как мы используем выражение «Эта палка ломкая» или «Эта палка крепкая». Я хочу этим сказать, что они не используют выражения типа «Эта палка может быть с легкостью согнута» так, как мы используем предложения типа «Я с легкостью сгибаю эту палку». Скорее, они используют свои выражения таким способом, который побудил бы нас сказать, что они описывают состояние палки. То есть они используют такие предложения, как «Эта хижина построена из палок, которые легко погнуть». (Подумайте о способе, с помощью которого мы формируем отглагольные прилагательные при помощи суффикса «able» (быть в состоянии), например «deformable» (сгибаемая)).

Теперь мы можем сказать, что в этих последних трех случаях предложений формы «произошло то-то и то-то» описываются состояния объектов, но при этом существуют значительные различия между этими примерами. В (44) мы видели, как состояние описывается у нас перед глазами. Мы видели, что у доски было круглое или прямоугольное отверстие и т. д. В (45), в некоторых случаях по крайней мере, это был пример, когда мы могли видеть объекты в ящике, воду в бутылке и т. д. В этих случаях мы употребляем выражение «состояние объекта» таким способом, который соотносится с тем, что кто-то может назвать неподвижным чувственным опытом.

Когда, с другой стороны, мы говорим о состоянии палки в (46), мы наблюдаем, что с этим «состоянием» не соотносится никакой определенный чувственный опыт, который бы заканчивался в тот момент, когда заканчивается состояние. Вместо этого определение критерия для чего-либо, находящегося в этом состоянии, заключается в некоем *тестировании*.

Мы можем сказать, что машина делает 20 миль в час, даже если она находится в пути лишь полчаса. Мы можем объяснить нашу форму выраже-

ния, которая говорит, что машина движется со скоростью, позволяющей ей преодолевать 20 миль в час. И здесь мы также склонны говорить о скорости машины, о состоянии ее движения. Я думаю, что мы не стали бы использовать это выражение, если бы мы не обладали другими «опытами движения», чем нахождение тела в определенное время в определенном месте, а затем в другое время в другом месте; если, например, наш опыт движения был бы того типа, как тот, который мы наблюдаем, когда мы видим, что часовая стрелка передвинулась с одной точки на другую.

47) Некое племя имеет в своем языке команды для побуждения людей к определенным действиям, такие как «Огонь!», «Бегом!», «Ползком!» и т. д. Они также обладают способом описания строения человеческого тела. Подобное описание имеет форму «Он может быстро бегать», «Он может далеко бросить копьё». Что оправдывает меня, когда я говорю, что эти предложения являются описаниями строения человеческого тела, так это употребление предложений данной формы. Так, если они видят человека с развитыми мышцами ног, но который, как бы мы сказали, по той или иной причине не может ходить, то они говорят, что это человек, который может быстро бегать. Нарисованный образ человека, который демонстрирует огромные бицепсы, они описывают как образ, представляющий человека, «который может далеко бросить копьё».

48) Люди в этом племени проходят своего рода медицинское обследование, прежде чем идти на войну. Экзаменующий проводит человека через ряд стандартизированных тестов. Он заставляет его поднимать тяжести, размахивать руками, прыгать и т. д. Затем экзаменующий выносит свой вердикт в форме «Так-то и так-то бросает копьё» или «Умеет бросать бумеранг», или «Пригоден для того, чтобы преследовать врага» и т. д. В языке этого племени нет специальных выражений для действий, предусмотренных этими тестами; те же, которые мы привели, применяются только как тесты для определенных действий во время ведения войны.

Существует важное замечание относительно этого примера. Можно возразить, что, давая описания языка этого племени и приводя примеры их языка, мы заставляем их говорить по-английски, тем самым уже предполагая англоязычный фон, т. е. наши обычные значения слов. Так, если я говорю, что в определенном языке нет специального глагола для понятия «метания копья», но что данный язык вместо этого использует форму «прохождение теста на бросание бумеранга», то кто-то может спросить, как я должен охарактеризовать использование выражений «проходить тест на» и «бросание бумеранга», чтобы они удовлетворяли замене этих английских выражений на какие бы то ни было реальные слова, обозначающие эти понятия у туземцев. На это мы должны ответить, что можем давать только беглое определение практики нашего вымышлен-

ного языка, в некоторых случаях только намеки, но так, чтобы кто-либо другой мог сделать эти описания более полными. Так, в (48) я мог бы сказать, что экзаменатор использует приказы, побуждающие человека проходить тесты. Эти приказы начинаются с одного и того же выражения, которое я могу перевести на английский язык словами «Пройди тест». И этому выражению следует каждый, кто в реальных военных условиях используется для определенных действий. Так, существует команда, по которой люди бросают свои бумеранги и которую поэтому я бы переводил как «Бросай бумеранги!» Далее, если человек дает отчет о сражении своему начальнику, то он опять-таки использует выражение, которое я перевел как «бросать бумеранг», на этот раз в виде дескрипции. И вот, что характеризует приказ как таковой или дескрипцию как таковую, или вопрос как таковой, это — как мы должны были бы сказать — та роль, которую употребление этих знаков играет в целостной практике языка. Так сказать, тот факт, правильно ли некоторое слово из языка нашего племени переведено на английский язык, зависит от той роли, которую это слово играет в целостной жизни племени: случаи, в которых оно употребляется, выражения эмоций, которыми оно обычно сопровождается, те идеи, которые оно обычно пробуждает или побуждает их высказать и т. д. и т. д. Разве упражнение спрашивает у вас: в каких случаях вы бы сказали, что определенное слово, употребляемое людьми племени, является приветствием? В каких случаях вы бы сказали, что оно соответствует нашему «до свидания» или «привет»? В каких случаях вы бы сказали, что слово иностранного языка соотносится с нашим «возможно»? — с нашими выражениями сомнения, доверия, достоверности? Вы обнаружите, что оправдание для называния чего-то выражениями сомнения, осуждения и т. д. по большей части, хотя, конечно, не всегда, состоит из описаний жестов, игры лицевой мимики и даже интонации голоса. Вспомним в этой связи, что индивидуальные переживания эмоций отчасти должны быть строго локализованы; поскольку, если я злобно нахмурился, то я испытываю мускульное напряжение бровей и лба, а если я плачу, то ощущения вокруг моих глаз безусловно являются частью и при этом важной частью того, что я чувствую. Это именно то, я думаю, что имел в виду Уильям Джеймс, когда он сказал, что человек не плачет, потому что ему грустно, но ему грустно, потому что он плачет. Причина, по которой эта идея часто остается не понятой, заключается в том, что мы думаем о выражении эмоции так, как если бы это был некий искусственный прием, направленный на то, чтобы дать другим знать, что мы чувствуем. И вот не существует четкой границы между такими «искусственными приемами» и тем, что можно назвать естественным выражением эмоций. Ср. в этом плане случаи, когда: а) плачут; б) поднимают го-

лос, будучи рассерженными; с) пишут злобное письмо; d) звонят в звонок, чтобы вызвать слугу, которого хотят выбрать.

49) Представим себе племя, в языке которого есть выражение, соотносимое с нашим выражением «Он сделал то-то и то-то», и другое выражение, соответствующее нашему «Он мог сделать то-то и то-то». Это последнее выражение, так или иначе, используется тогда, когда его употребление оправдано тем же фактом, который оправдывает употребление предыдущего выражения. Но что заставляет меня так говорить? Они обладают формой общения, которую мы бы назвали повествованием о прошлых событиях, потому что об этом говорят обстоятельства, при которых эта форма употребляется. Существуют также такие обстоятельства, при которых мы задаем и отвечаем на такие вопросы, как «Может ли то-то и то-то сделать это?» Подобные обстоятельства можно описать, например, сказав, что начальник одевает подчиненного в удобную форму для совершения определенного действия, скажем, переплыwania реки, взбирании на гору и т. д. В качестве определяющего критерия того, «что начальник одевает подчиненного в форму, удобную для его действий», я не буду брать то, что он сказал, но лишь другие особенности ситуации. Начальник в этих обстоятельствах задает вопрос, который в той степени, до которой распространяются его практические последствия, можно было бы перевести как «Можно ли так-то и так-то переплыть через реку?» Так или иначе, на этот вопрос могут ответить утвердительно те, кто в действительности переплывал через реку. Этот ответ не дается в тех же словах, которые он использовал бы в ситуации, характеризующей повествование о том, что он переплыл через реку, но ответ дается в терминах вопроса, заданного начальником. С другой стороны, этот ответ не дается в случае, в котором мы бы определенно дали ответ: «Я могу переплыть через реку», если, например, я совершал и более трудный подвиг переплыwania через реку, а не просто переплыл через эту обычную реку.

Между прочим, имеют ли две фразы «Он сделал то-то и то-то» и «Он мог сделать то-то и то-то» одно и то же значение в этом языке или они обладают в нем разными значениями? Если вы подумаете об этом, нечто вас будет склонять к тому, чтобы один раз сказать одно, а другой раз — другое. Это показывает лишь, что в вопросе нечетко определено значение. Все, что я могу сказать, это следующее: «Если тот факт, что он говорит лишь “Он может...”, если он сделал...» является вашим критерием для одного и того же значения, то, значит, два выражения имеют одно и то же значение. Если обстоятельства, при которых выражение используется, формируют его значение, то, стало быть, значения различны. Употребление, которое произведено словом «может», — выражение возможности в (49) — может пролить свет на идею о том, что то, что может произойти, должно было прои-

зойти раньше (Ницше). Так же интересно будет взглянуть в свете наших примеров на утверждение о том, что то, что происходит, может произойти.

Прежде чем мы продолжим наши рассуждения об употреблении «выражения возможности», давайте проясним ситуацию, связанную с тем делом нашего языка, в котором говорятся вещи, связанные с прошлым и будущим, т. е. с употреблением предложений, содержащих такие выражения, как «вчера», «год назад», «через пять минут», «перед тем, как я это сделал» и т. д. Рассмотрим такой пример:

50) представим себе, как можно натренировать ребенка в практике «повествования о прошедших событиях». Вначале его тренируют, задавая вопросы об определенных вещах (как бы давая ему приказания, см. (1)). Часть этой тренировки заключалась в упражнении на «именование вещей». Так, он должен был научиться называть (и задавать вопросы о) дюжину своих игрушек. Теперь мы скажем, что он играл с тремя из них, например, с мячом, палкой и погремушкой, затем их у него отобрали, и вот взрослый говорит следующую фразу: «У него есть мяч, палка, погремушка». В некоем сходном случае он приостанавливает перечисление и предлагает ребенку закончить его. В другом случае, может быть, он просто говорит: «У него есть...», предоставляя ребенку дать полное перечисление. И вот «побуждение ребенка продолжать» может быть таким: взрослый приостанавливает перечисление с определенным выражением лица и подъемом тона голоса, таким, какой обычно бывает у нас, когда мы зовем кого-то. Все остальное зависит от того,отреагирует ли ребенок на «побуждение» или нет. И вот существует странное непонимание, которым мы все повязаны и которое заключается в том, что мы рассматриваем «внесловесные способы», используемые учителем, чтобы побудить ребенка продолжать, так же, как то, что мы можем назвать косвенными способами заставить его самого понять ребенка. Мы рассматриваем этот случай так, как если бы ребенок уже освоил язык, на котором он думает, и что работа учителя состоит в том, чтобы побудить его выбрать значение в царстве значений, простирающемся перед его, ребенка, мысленным взором, как если бы ребенок мог на своем индивидуальном языке задать самому себе вопрос вроде «Он что, хочет, чтобы я продолжал или повторил то, что он сказал, или еще что-то?» (Ср. (30)).

51) Другой пример примитивного типа повествования о событиях прошлого: мы живем в местности с характерными естественными ориентирами на горизонте. Поэтому не представляет труда запомнить то место, в котором садится солнце в определенное время года. В нашей местности мы располагаем несколькими характерными картинами солнца в различных положениях. Давайте назовем этот ряд картин солнечным рядом. У нас есть также несколько характерных картин поведения ребенка — ле-

жащего в кровати, встающего, одевающегося, завтракающего и т. д. Это множество я назову жизненными картинами. Я представляю, что ребенок обычно может наблюдать положение солнца на протяжении своего дневного поведения. Мы обращаем внимание ребенка на положение солнца в определенном месте, в то время как ребенок занимается определенными вещами. Затем мы просим его посмотреть на картину, изображающую его занятия, и на картину, показывающую солнце в его положении на этот момент. Так, мы можем приблизительно рассказать историю дня ребенка посредством ряда жизненных картин, и сверх этого посредством того, что я называл солнечными картинами, — два ряда в тесной соотнесенности. Мы будем затем продолжать просить ребенка дополнить историю, изображенную на картине, которую мы оставили неполной. И я хочу сказать, что такая форма тренировки (см. (50) и (30)) является одной из характернейших особенностей использования языка или мышления.

52) Вариант (51). В детской висят большие часы, для простоты предположим, что у них есть только часовая стрелка. Рассказ о дне ребенка происходит так же, как выше, но здесь нет солнечного ряда; вместо этого мы записываем один из номеров циферблата против каждой жизненной картины.

53) Заметим, что могла бы существовать сходная игра, в которую также было бы включено время, оно в этом случае просто накладывалось бы на жизненные картины. Мы могли бы играть в эту игру с помощью слов, которые соотносились бы с нашими «до» и «после». В этом смысле мы можем сказать, что (53) включает в себя идею «до» и «после», но не идею измерения времени. Нет нужды говорить, что, сделав небольшой шаг, мы придем от повествований типа (51), (52) и (53) к повествованиям при помощи слов. Возможно, кто-то, рассматривая подобные формы повествования, может подумать, что в них еще вовсе не включена подлинная идея времени, но лишь некая грубая замена ее, положение часовой стрелки и т. п. И вот если человек заявляет, что существует идея пяти часов и что часы здесь не при чем, что часы — это только грубый инструмент, лишь указывающий на то, когда бывает пять часов, или что существует идея часа, которая не связана с инструментом для измерения времени, то я буду возражать ему, но сначала я попрошу его объяснить мне, в чем заключается его употребление слов «час» или «пять часов». И если эти слова не включают в себя идею часов (clock), то, значит, это какие-то другие слова; и потом я спрошу его, почему он использует термины «пять часов», «час», «долгое время», «короткое время» и т. д. в одном случае в связи часами, а в других случаях — независимо от них; это будет иметь место благодаря определенным аналогиям, содержащимся между двумя этими употреблениями, но у нас сейчас нет двух употреблений этих терминов, и нет никакой причины

говорить, что одно из них более подлинное и чистое, нежели другое. Это можно прояснить при помощи следующего примера.

54) Если мы отдаем человеку приказ: «Произнеси вслух любое число, какое тебе пришло в голову!», — он в общем может исполнить его моментально. Предположим, было обнаружено, что произнесенные такими образом числа увеличиваются — у каждого нормального человека — на протяжении дня; человек начинает утром с некоторого маленького числа и достигает очень большого перед тем, как ложится спать. Посмотрим, что могло бы склонить кого-либо назвать описанные реакции «способом измерения времени» или даже сказать, что это настоящие верстовые столбы в ходе времени, солнечные часы и т. д., будучи при этом лишь косвенными маркерами. (Исследуем утверждение о том, что человеческое сердце есть подлинные часы, лучше всех других часов.)

Давайте теперь рассмотрим дальнейшую языковую игру, в которую входят выражения времени.

55) Она происходит из (1). Если выкрикивается приказ типа «Плита!», «Колонна!» и т. д., то *B* натренирован выполнять его немедленно. Теперь мы введем в эту игру часы. Приказ отдается таким образом, что мы тренируем ребенка не выполнять его до тех пор, пока стрелка часов не достигнет точки, на которую указывают пальцем. (Это может быть, например, сделано таким образом: сначала вы тренируете ребенка выполнять приказ немедленно. Затем вы отдаете приказ, но придерживаете ребенка, отпуская его только тогда, когда стрелка часов достигает точки на циферблате, на которую мы указываем пальцем.)

На этой стадии мы могли бы ввести слово «сейчас». В этой игре у нас есть два типа приказов: те, которые используются в (1), и приказы, совмещенные с жестом, указывающим точку на стрелке циферблата часов. Для того чтобы сделать различие между этими двумя типами приказов более эксплицитным, мы можем добавлять специальный знак к приказам первого типа, скажем, «Сейчас плиту!»

Теперь будет легко описать языковые игры с такими выражениями, как «за пять минут до», «полгода назад».

56) Давайте теперь возьмем случай *описания* будущего, предсказание. Кто-то, может быть, например, пробудил в ребенке напряженное ожидание, которое проявляется в его всепоглощающем внимании к изменяющимся огням светофора. У нас тоже есть красный, зеленый и желтый диски, и, указывая попеременно на один из дисков, мы предсказываем цвет, который сейчас появится. Легко себе представить дальнейшее развитие этой игры.

Глядя на эти языковые игры, мы не проходим через идеи прошлого, настоящего и будущего в их проблемном или даже мистическом аспекте.

В чем заключается этот аспект и как так получается, что он начинает проявлять себя, может быть наиболее наглядно продемонстрировано, если мы обратим внимание на вопрос: «Куда уходит настоящее, когда оно становится прошлым, и где находится прошлое?» — При каких обстоятельствах этот вопрос является приманкой для нас? Ибо при определенных обстоятельствах он не является таковой, и мы отбрасываем его как нонсенс.

Ясно, что этот вопрос может легко возникнуть, если мы поглощены случаями, в которых есть предметы, проплывающие мимо нас — коряги, проплывающие вниз по реке. В таком случае мы можем сказать, что коряги, которые *минули* нас, ушли вниз по направлению налево, а те, которые *будут миновать* нас, уходят направо. Когда мы используем эту ситуацию как образец всего того, что происходит во времени, и даже воплощаем этот образец в нашем языке, когда говорим «настоящее проходит» (коряга прошла), «будущее придет» (коряга подплывет), мы говорим о течении событий; но мы также говорим о течении времени — реке, по которой путешествует коряга.

Здесь открываются наиболее плодотворные источники философской озадаченности: мы говорим о событиях будущего как о чем-то, что входит в нашу комнату, а также о будущем, приходящем в это событие.

Мы говорим: «*Что-то* произойдет», а также «Что-то приближается ко мне»; мы относимся к коряге, как к *чему-то*, но коряга также приближается ко мне.

Может так получиться, что мы окажемся не в состоянии освободить себя от импликаций собственного символизма, которые вроде бы должны допускать вопросы типа «Куда уходит пламя свечи, когда она погашена?», «Куда уходит свет?», «Куда уходит прошлое?» Мы становимся повязаны собственным символизмом. — Мы можем сказать, что к озадаченности нас приводит аналогия, которая нас неудержимо затягивает. — И это также происходит, когда значение слова «сейчас» является нам в мистическом свете. В примере (55) получается так, что функцию «сейчас» никоим образом нельзя сравнить с функцией выражений типа «пять часов», «полдень», «время, когда садится солнце» и т. д. Эту последнюю группу выражений я мог бы назвать «спецификаторами времени». Но наш обыденный язык использует слово «сейчас» и спецификаторы времени в сходных контекстах. Так, мы можем сказать

Солнце садится в шесть часов.

Солнце садится сейчас.

Мы склонны сказать, что и «сейчас», и «шесть часов» «относятся к временным точкам». Это использование слов порождает загадку, которую можно выразить словами «Что такое “сейчас”? — поскольку, с одной стороны, это момент времени, но все же нельзя сказать, что этот “тот момент, в который я говорю”, “тот момент, в который бьют часы”, и т. д.

и т. д.» — Наш ответ таков: функция слова «сейчас» совершенно отлична от функций спецификаторов времени. — Это можно легко увидеть, если мы посмотрим на роль этого слова, которую оно играет в нашем использовании языка, но она затемняется, когда вместо рассмотрения *целой языковой игры* мы лишь смотрим на контекст, языковую фразу, в которой используется слово. (Слово «сегодня» — это не число, но и не нечто, похожее на него. Оно отличается от числа не так, как молоток отличается от деревянного молоточка, но так, как молоток отличается от гвоздя; и, конечно, мы можем сказать, что существует связь и между молотком и молоточком, и между молотком и гвоздем.)

Кто-то склонен сказать, что «сейчас» — это наименование момента (мгновения) времени, и это, конечно, будет почти то же самое, что сказать, что «здесь» — это наименование места, «это» — наименование вещи, а «Я» — человека. (Можно, конечно, также сказать, что «год назад» — это наименование времени, «где-то здесь» — наименование места, а «ты» — наименование человека.) Но нет ничего менее похожего, чем употребление слова «это» и употребление собственного имени — я имею в виду те *игры*, которые играют с этими словами, а не фразы, в которых они используются. Поскольку мы говорим «Это короткое» (This is short) и «Джек — коротышка» (Jack is short); но вспомним, что «Это короткое» без указательного жеста и без предмета, на который мы указываем, будет лишено значения. — Если что и можно сравнить с именем, то не слово «это», но если угодно, символ, состоящий из этого слова, жеста и образца. Мы могли бы сказать: ничто не является более характерным для собственного имени А, чем то, что мы его употребляем в такой фразе, как «Это А»; и не имеет смысла говорить «Это — это» или «Сейчас — это сейчас» или «Здесь — это здесь».

Идея пропозиции, говорящей нечто о том, что произойдет в будущем, даже в большей мере ответственна за загадку, чем идея пропозиции о прошлом. Ибо, сравнивая будущие события и прошлые события, кто-то будет почти склонен сказать, что хотя прошедшие события реально не существуют при полном свете дня, они существуют в преисподней, откуда они проникают в нашу реальную жизнь; в то время как будущие события лишены даже такого теневого существования. Мы могли бы, конечно, представить царство нерожденных будущих событий, откуда они приходят в реальность, а оттуда следуют в царство прошлого; если мы будем думать в терминах этой метафоры, мы будем удивлены, так как обнаружится, что будущее является в меньшей мере существующим, чем прошлое. Как бы то ни было, вспомним, что грамматика наших темпоральных выражений не симметрична в отношении соотношенности с настоящим моментом. Так, грамматика выражений, относящихся к прошлому, не повторяется «с противоположным знаком» в грамматике будущего времени. Вот причина, по которой

говорилось, что пропозиции, содержащие будущие события, не являются подлинными пропозициями. И здесь можно сказать, что все в порядке до тех пор, пока имеется в виду не более, чем решение, касающееся употребления термина «пропозиция»; решение, которое, хотя и не согласовано с обычным употреблением слова «пропозиция», может при определенных обстоятельствах показаться людям естественным. Если же философ говорит, что пропозиции о будущем не являются подлинными пропозициями, то это потому, что он сбив с толку асимметрией грамматики темпоральных выражений. Опасность состоит в том, что он может вообразить, что сделал своего рода научное утверждение о «природе будущего».

57) Играется следующим образом. Человек бросает игральную кость, но перед тем, как бросить ее, он рисует на листе бумаги одну из шести граней кости. Если после броска кость упадет той гранью, которая нарисована на бумаге, он чувствует удовлетворение. Если выпадает другая грань, он неудовлетворен. Или, предположим, есть два партнера, и каждый раз один загадывает, что если он бросит правильно, другой уплатит ему пенни, а если неправильно, то наоборот, пенни уплатит первый. Рисование грани кости при определенных обстоятельствах языковой игры можно будет назвать «загадыванием загадки» или «гаданием».

58) В некоем племени состязаются в беге, поднятии тяжестей и т. д., а зрители делают ставки на соревнующихся. Изображения всех соревнующихся расположены в ряд, и то, что я называю зрительской ставкой (обычно на одного из соревнующихся), представляет собой нечто лежащее (слиток золота) под картинками. Если человек поместил свое золото под изображение победителя в соревновании, то он забирает свою ставку удвоенной. В противоположном случае он теряет свою ставку. Такой обычай мы несомненно назовем заключением пари, даже если мы наблюдаем его в обществе, чей язык не имеет терминов для таких понятий, как «степень вероятности», «случайность» и т. п. Я склонен думать, что поведение зрителей, энтузиазм и возбуждение как до, так и после выигрыша известно. Я даже представляю, изучив распределение ставок держателей пари, почему они поступили именно таким образом. Я имею в виду: в соревновании борцов фаворитом бывает более рослый мужчина: или если маленький, то, я думаю, он выказал незаурядную силу на прошлых соревнованиях, или что здоровяк только что болел и поэтому забросил тренировки и т. д. И вот может быть так, что язык этого племени не в состоянии выражать причины распределения ставок. То есть ничто в их языке не соответствует тому, как если бы я, например, сказал: «Я ставлю на этого, потому что он выглядит здоровяком, в то время как другой пропускал тренировки» и т. п. Я могу описать это положение вещей, сказав, что мое наблюдение обучило меня определенным *поводам* ставить ставки так, как

это делают они, но держатели пари не используют *причин* для того, чтобы поступать так, как они поступают.

Племя, с другой стороны, имеет язык, который состоит из «предоставления причин». И вот эта игра в предоставление причин: почему кто-то действует определенным образом, не включая обнаружения поводов его действий (посредством обычного наблюдения условий, при которых эти действия возникли). Представим себе следующее:

59) если человек из нашего племени потерял свою ставку и его по этому поводу дразнят или бранят, он указывает, возможно, преувеличенно, на определенные особенности того человека, на которого он поставил ставку. Здесь можно представить дискуссию за и против, проходящую следующим образом. Два человека указывают попеременно на определенные особенности двух соревнующихся, чьи шансы, как бы мы сказали, они обсуждают; *A* указывает жестом на рост своего протеже, *B* в ответ поигрывает своими мускулами, показывая на размеры бицепсов своего протеже и т. д. *Я* мог бы с легкостью добавить другие детали, что позволило бы сказать, что *A* и *B* предоставляют причины, в соответствии с которыми они делают ставки на одного персонажа, а не на другого.

И вот кто-то может сказать, что предоставление причин для ставок безусловно предполагает, что люди, которые их предоставляют, пронаблюдали причинные связи между результатом борьбы и определенными особенностями тел борцов или их тренировки. Но это предположение, не важно, справедливо оно или нет, я определенно не должен делать при описании нашего случая. (Не должен я также делать предположения, что заключающие пари предоставляют причины своих причин.) В случае, подобном этому, нам следует лишь описать без всякого удивления, если обнаружится, что язык этого племени содержит то, что мы называем выражениями степени доверия, осуждения, достоверности. Эти выражения могут состоять, как можно предположить, в использовании определенного слова, произносимого с различными интонациями, или серии слов. (*Я*, тем не менее, не думаю, что они используют шкалу вероятностей — так же легко представить, что люди нашего племени сопровождают свои ставки словесными выражениями, которые можно перевести как «*Я* верю, что тот-то и тот-то может победить *того-то* и *того-то* в борьбе» и т. д.)

60) Представим сходным образом предсказания о том, может ли определенный заряд пороха быть достаточным, чтобы взорвать определенную скалу, и предсказание тогда будет выражено фразой «Это количество пороха может взорвать эту скалу».

61) Сравним с (60) случай, в котором выражение «*Я* в состоянии поднять этот груз» используется как сокращение для предсказания «Моя рука, держащая этот груз, будет подниматься, если я пройду через процесс “де-

лания усилия, чтобы поднять его”». В последних двух случаях слово «мочь» характеризует то, что мы бы назвали выражением предсказания. (Конечно, я не имею в виду, что мы назовем предложение предсказанием только по той причине, что в нем есть слово «мочь»; но, называя предложение предсказанием, мы ссылаемся на ту роль, которую оно играет в языковой игре; и мы переводим слово, используемое в нашем племени, как «мочь», если «мочь» — это то слово, которое мы употребляем в описанных обстоятельствах. Теперь ясно, что употребление слова «мочь» в (59), (60) и (61) тесно связано с употреблением «мочь» в (46) — (49), отличаясь от них, тем не менее, в том, что в (46) — (49) предложения, говорящие, что нечто *может* произойти, не были выражением предсказания. И вот можно возразить на это, сказав: «Ясно, что мы хотим употреблять слово «мочь» только в таких случаях, как (46) — (49), потому что в этих случаях было бы разумно, исходя из тестов, которые человек прошел, или из состояния, в котором он находится, предсказать, что он будет делать в будущем.

И вот это правда, что я намеренно придумал случаи (46) — (49), чтобы показать, что предсказания такого типа разумны. Но я также намеренно придумал их так, чтобы они *не* содержали предсказания. Мы можем, если нам нравится, выдвинуть гипотезу, в соответствии с которой племя никогда не стало бы использовать такую форму выражения, как та, которая используется в (49), и т. д., если опыт не показывал им, что... и т. д. Но это предположение, которое, хотя, возможно, оно и верно, ни в какой мере не предполагается в играх (46) — (49), как они в действительности были описаны мной.

62) Пусть игра будет такой. *A* записывает ряд чисел. *B* следит за ним и пытается определить систему последовательности чисел. Когда он догадывается, то говорит: «Ну, теперь я могу продолжить». Этот пример поучителен, поскольку «состояние готовности продолжить» здесь кажется чем-то вроде неожиданной остановки в форме ясно очерченного события. — Предположим тогда, что *A* записывает ряд 1, 5, 11, 19, 29. В этой точке *B* кричит: «Ну, теперь я знаю, как продолжить». Что это было, что произошло, когда он вдруг увидел, как продолжить? Могло произойти огромное количество событий. Давайте тогда будем исходить из того, что в то время как *A* записывал одно число за другим, *B* в уме перебирал алгебраические формулы, пытаясь найти подходящую. Когда *A* написал «19», *B* пришла в голову формула $a_n = n^2 + n - 1$. Когда *A* записал число «29», это подтвердило его догадку.

63) Или: никакие формулы не приходят в голову *B*. Глядя на возрастающий ряд чисел, которые записывает *A*, возможно, с чувством напряжения и туманными идеями, плавающими в его сознании, говорит себе: «Он сначала умножает, а потом всегда прибавляет еще один»; тогда он предугадывает следующее число последовательности и обнаруживает, что оно соответствует тому, которое записал *A*.

64) Или: ряд, который записывал *A*, был 2, 4, 6, 8. *B* смотрит на него и говорит: «Конечно, я могу продолжить», — и продолжает ряд чисел. Или он ничего не говорит и просто продолжает. Может быть, глядя на ряд 2, 4, 6, 8, который записал *A*, он испытывал какое-то ощущение или ощущение, часто сопровождаемая его такими, например, словами, как «Да это легко!» Ощущение этого типа есть, например, ощущение легкого, быстрого дыхания, того, что кто-то может назвать легким стартом.

И что же, могли бы мы сказать, что высказывание «*B* может продолжить ряд» означает, что просто имеет место одно из событий. Не ясно ли, что утверждение «*B* может продолжить...» — не то же самое, что утверждение, что формула $a_n = n^2 - 1$ приходит в голову *B*? Это событие, может быть, и было всем, что имело место. (Ясно, между прочим, что в данном случае для нас может не быть разницы, обладал ли *B* переживанием формулы перед своим мысленным взором, переживал ли он написание или чтение формулы или выделял ее глазами среди различных формул, записанных ранее.) Если бы эту формулу употребил попугай, мы бы не сказали, что он может продолжить ряд. — Поэтому мы склонны говорить, что «быть в состоянии...» должно означать больше, чем просто применение формулы — а на самом деле больше, чем любое из тех событий, которые мы описали. И это, мы продолжаем, показывает, что произнесение формулы было лишь симптомом того, что *B* в состоянии продолжать, а не сама по себе его способность продолжать. Теперь, что здесь заводит в тупик — это то, что мы склонны намекать, что здесь имеется некое специфическое действие, процесс или состояние, называемое «быть в состоянии продолжать», которое каким-то образом скрыто от наших глаз, но манифестирует себя в таких проявлениях, которые мы называем симптомами (подобно тому, как воспаление слизистых оболочек носа продуцирует симптом насморка). Когда мы говорим: «Конечно, должно быть что-то еще за простым употреблением формулы, поскольку одно это мы не можем назвать “быть в состоянии...”», причем слово «за», конечно, употребляется метафорически, и за применением формулы могут находиться обстоятельства, при которых оно употреблялось. Верно, что сказать «*B* может продолжить...» — не то же самое, что сказать «*B* произносит формулу...», но из этого не следует, что выражение «*B* может продолжить...» относится к некой деятельности, не такой, как произнесение формулы в том смысле, в котором «*B* произносит формулу» относится к хорошо известному типу деятельности. Ошибка, которую мы совершаем, аналогична следующему. Кому-то говорят, что слово «стул» не означает тот определенный стул, на который я указываю, с которого он обозревает комнату в поисках предмета, который является денотатом слова «стул». (Этот случай может быть даже еще более яркой иллюстрацией, если предположить, что человек пытается-

ся заглянуть внутрь стула с тем, чтобы обнаружить подлинное значение слова «стул».) Ясно, что когда мы употребляем предложение «Он может продолжить ряд» с референцией к акту написания или произнесению формулы и т. д., это должно быть обусловлено некоей связью между записыванием формулы и реальным продолжением ряда. А связь между переживанием этих двух событий, или действий, достаточно ясна. Но эта связь склоняет нас к предположению, что предложение «**В** может продолжить...» означает нечто вроде «*В* делает нечто, что, как показывает нам опыт, приводит его к продолжению ряда». Но действительно ли *В*, когда он говорит «Ну теперь я могу продолжить», подразумевает «Теперь я делаю нечто, что, как показывает опыт, и т. д. и т. д.»? Подразумеваете ли вы, что у него в сознании вертелась эта фраза или что он готовился дать нам объяснения того, что он сказал? Сказать, что фраза «*В* может продолжить...» корректно употреблена, будучи подсказана такими случаями, которые описаны в (62), (63), (64), но что эти случаи оправдывают свое употребление лишь при определенных обстоятельствах (например, когда опыт показывает определенную связь), еще не значит сказать, что предложение «*В* может продолжить...» слишком коротко для предложения, которое описывает все эти обстоятельства, т. е. всю ситуацию, которая является основанием нашей игры.

С другой стороны, *при определенных обстоятельствах* мы были бы готовы заменить «*В* знает формулу», «*В* произнес формулу» на «*В* может продолжить ряд». Точно так же, когда мы спрашиваем врача: «Может ли пациент ходить?» — мы порой готовы заменить это предложение вопросом «Зажила ли его нога?» — «Может ли он говорить?» при определенных обстоятельствах означает «*В* порядке ли его горло?», а при иных обстоятельствах (если речь, например, идет о маленьком ребенке) вопрос «Может ли он говорить?» может означать «Научился ли он говорить?» На вопрос «Может ли пациент ходить?» — врач может ответить: «С его ногой все в порядке». Мы употребляем фразу «Он может ходить в той мере, в какой это позволяет состояние его ноги», особенно когда мы хотим противопоставить эти условия его возможности ходить какой-то иной возможности, например, возможности удерживать свой позвоночник. Здесь мы должны остерегаться того, чтобы думать, что в самой природе этого случая есть нечто, что мы можем назвать полным множеством условий, например, для его возможности ходить; т. е. как бы даже если пациент не может ходить, он *должен* ходить, если все эти условия соблюдены.

Мы можем сказать: «Выражение “*В* может продолжить ряд” употребляется при определенных обстоятельствах с тем, чтобы произвести различные разграничения. Так, оно может разграничивать: а) случай, когда человек знает формулу, и случай, когда он ее не знает; б) случай, когда человек

знает формулу и не забыл, как записывают числа в десятичной системе, и случай, когда он знает формулу, но забыл, как писать числа; с) (может быть, так же, как в (64)), случай, когда человек чувствует себя нормально, и случай, когда он находится в состоянии мозгового шока; d) случай человека, который уже до этого делал такого типа упражнения, и случай человека, для которого они совершенно новы. Это, конечно, лишь несколько примеров из большой семьи случаев».

На вопрос, означает ли «Он может продолжить...» то же самое, что «Он знает формулу», можно ответить несколькими различными способами. Мы можем сказать: «Эти утверждения не означают то же самое, т. е. они в целом не используются как синонимы, как, например, фразы «У меня все в порядке» и «Со мной все хорошо»; или мы можем сказать: «*При определенных обстоятельствах* “Он может продолжить...” означает, что он знает формулу». Представим себе язык (в каком-то смысле аналогичный случаю (49)), в котором две формы выражения, два различных предложения используются для того, чтобы сказать, что ноги у человека в полном порядке. Одна форма выражения используется исключительно при таких обстоятельствах, когда идет подготовка экспедиции, пешего похода или чего-то подобного; другая используется в случаях, когда нет речи о подобной подготовке. Здесь мы будем испытывать сомнения, сказать ли, что оба предложения имеют одно и то же значение или что они имеют разные значения. В любом случае положение вещей проявится только тогда, когда мы детально взглядем в употребление наших выражений. — И ясно, что если бы в настоящем случае мы решили сказать, что два выражения имеют разные значения, мы определенно не были бы в состоянии сказать, что различие это таково, что тот факт, который делает истинным второе предложение, отличается от того факта, который делает истинным первое предложение.

Мы можем вполне оправданно сказать, что предложение «Он может продолжить...» отличается по значению от предложения «Он знает формулу». Но мы не должны воображать, что можем обнаружить то особое положение дел, «к которому осуществляет референцию первое предложение», как если бы был некий более высокий уровень, на котором располагались бы определенные случаи (такие, как знание формулы, представление определенных дальнейших терминов и т. д.).

Давайте зададимся следующим вопросом. Предположим, что по той или иной причине В сказал: «Я могу продолжить ряд», но, когда его попросили продолжить, он обнаружил, что не способен сделать это — сказали бы мы тогда, что это доказывает, что его утверждение, что он может продолжить, было ложным, или мы сказали бы, что он в момент произнесения фразы о том, что он может продолжить, действительно мог продолжить? Сказал ли бы себе сам В: «Вижу, я был неправ» или он сказал бы: «То, что я

сказал, было истинным, тогда я мог сделать это, но сейчас не могу»? — Существуют случаи, в которых правильнее было бы ответить первое, а существуют такие случаи, в которых, он, скорее, должен был бы ответить второе. Предположим: а) когда он говорил, что может продолжить, он видел формулу перед своим мысленным взором, но когда его попросили продолжить, он обнаружил, что забыл ее; или б) когда он сказал, что может продолжить, он произнес про себя последние пять чисел ряда, но теперь он обнаруживает, что они не приходят ему в голову; или в) прежде чем он продолжил ряд, он сосчитал пять номеров и еще помнит эти пять чисел, но уже забыл, как считал их; или г) он говорил «Тогда я чувствовал, что могу продолжать, а теперь нет»; или д) «Когда я говорил, что могу поднять этот груз, моя рука была в порядке, а теперь она повреждена» и т. д.

С другой стороны, мы говорим: «Я думал, что могу поднять этот груз, но теперь понимаю, что не могу», «Я думал, что я мог прочесть этот отрывок наизусть, но вижу, что ошибался».

Эти иллюстрации употребления слова «мочь» могли бы быть дополнены иллюстрациями, показывающими разнообразие употреблений слов «забывание» и «попытка», поскольку эти употребления тесно связаны с употреблением слова «мочь». Рассмотрим эти случаи: а) Прежде, чем *V* произнес про себя формулу, «он обнаруживает ее полное отсутствие». Прежде, чем он произнес про себя формулу, он на мгновение потерял уверенность, «было ли это 2^n или 3^n »; б) Он забыл имя, которое «вертелось на кончике его языка». Или в) Он вообще не уверен, знал ли он это имя или забыл его.

Теперь посмотрим на тот способ, при помощи которого мы употребляем слово «попытка»: а) человек пытается открыть дверь, толкая ее с такой силой, на которую он только способен; б) он стремится открыть сейф, пытаясь найти нужную комбинацию; в) он стремится найти комбинацию, пытаясь вспомнить ее, или г) поворачивая ручку и слушая стетоскоп. Рассмотрим различные процессы, которые мы называем «попыткой вспомнить». Сравним это: е) с попыткой пошевелить пальцем (например, когда кто-то держит его, и в) с ситуацией, когда пальцы обеих рук переплетены определенным образом и вы чувствуете, «что не знаете, что делать, чтобы пошевелить определенным пальцем».

(Рассмотрим также класс случаев, в которых мы говорим «Я могу сделать то-то и то-то, но не стану этого делать»; «Я бы смог, если бы попытался» — например, поднять 100 фунтов; «Я бы смог, если бы захотел» — например, произнести алфавит по порядку.)

Возможно, кто-то может предположить, что единственный случай, в котором было бы правильным говорить, без ограничений, что я могу сделать определенную вещь, это тот случай, когда, говоря это, я одновременно делаю это, когда я на самом деле делаю это, а во всех других случаях

я должен был бы сказать: «Я смогу сделать это, как только я этим займусь». Кто-то будет склонен думать, что в случае, описанном выше, человек обладает подлинным доказательством того, что он в состоянии сделать это.

65) Но если мы смотрим на языковую игру, в которой выражение «Я могу...» употребляется таким образом (т. е. на игру, в которой делание чего-то является единственным оправданием для того, чтобы сказать, что ты способен это сделать), то мы видим, что здесь нет *метафизической* разницы между этой игрой и той, в которой приемлемы иные оправдания для того, чтобы можно было сказать: «Я могу сделать то-то и то-то». Игра типа (65), между прочим, показывает нам подлинное употребление фразы «Если что-то происходит, то определенно что-то может произойти»; практически это бесполезная фраза нашего языка. Она звучит так, как будто обладает ясным и глубоким смыслом, но подобно большинству общих философских высказываний, она является бессмысленной за исключением чрезвычайно специфических случаев.

66) Проясните это для себя, представив язык (похожий на (49)), который обладает двумя выражениями для предложения вроде «Я поднимаю вес в пятьдесят фунтов»; одно выражение используется независимо от того, когда происходит это действие, в качестве теста (скажем, перед тяжелоатлетическими соревнованиями), другое используется, когда действие не представляется в виде теста.

Мы видим, что огромная сеть семейных подобий связывает случаи, в которых употребляются выражения возможности, «мочь», «быть в состоянии» и т. д. Определенные характерные черты, можем мы сказать, появляются в этих случаях в различных комбинациях: здесь есть, например, элемент предсказания (что некто будет вести себя определенным образом в будущем); описания состояния чего-либо (в качестве условия для его поведения определенным образом в будущем); отчет об определенных тестах, которые кто-либо прошел.

Существуют, с другой стороны, различные причины, склоняющие нас к тому, чтобы посмотреть на тот факт, что нечто возможно, некто в состоянии что-то сделать и т. д., как на факт, в соответствии с коим этот некто находится в особом состоянии. Грубо говоря, тот факт, что «А находится в состоянии возможности что-то сделать», является формой репрезентации, которую мы в наибольшей мере склонны принять; или, как кто-либо также может поставить вопрос, мы в большой мере склонны употреблять метафору чего-то, находящегося в особом состоянии, для того, чтобы сказать, что он может вести себя определенным образом. И этот способ репрезентации, или эта метафора, воплощается в выражениях «Он способен...», «Он в состоянии умножить большое количество чисел в уме», «Он умеет играть в шахматы»: в этих предложениях глагол употребляется

в *настоящем времени*, предполагая, что эти фразы являются описаниями состояний, которые существуют в тот момент, когда мы говорим.

Та же тенденция проявляется в нашей способности решать математические задачи, наслаждаться музыкальным фрагментом и т. д. в определенных состояниях сознания; мы не подразумеваем под этим выражением «сознательные психические явления». Скорее, состояния сознания в этом смысле — это состояния гипотетического механизма, модели разума, призванной объяснить сознательные психические явления. (Такие материи, как бессознательное или предсознательное психические состояния, являются особенностями *модели* сознания.) В этом смысле мы также с трудом можем помочь рассмотрению памяти в качестве склада. Не только то, как уверены люди в том, что они способны складывать или умножать, или прочесть наизусть стихотворения и т. д., должно соответствовать особому состоянию их мозгов, хотя, с другой стороны, они ничего не знают о подобных психофизиологических соответствиях. Мы рассматриваем эти явления как манифестации этого механизма, а их возможность есть специфическое построение самого механизма.

Теперь заглянем назад, в нашу дискуссию в (43), мы видим, что там не было подлинного объяснения ведомости *B* посредством знаков, когда мы говорили, что *B* ведом, если он также *может* выполнить приказы, представляющие собой другие комбинации точек и тире, чем те, которые даны в (43). Фактически, когда мы рассматривали вопрос, действительно ли *B* (43) был ведом посредством знаков, мы все это время были склонны говорить нечто вроде того, что мы лишь в том случае можем решить этот вопрос с определенностью, если сможем заглянуть в реальный механизм, соединяющий понимание знаков с действиями в соответствии с этим пониманием. Ибо мы располагаем достаточно ясной картиной того, какие части механизма являются ведомыми посредством других частей. Фактически, это механизм, который немедленно представляет себя сам, как только мы хотим показать, что в случае, подобном (43), мы называем «быть ведомым посредством знаков», есть механизм типа пианолы. Здесь, в работе пианолы мы имеем ясный случай определенных действий, производимых фортепианными молоточками, ведомыми образцами отверстий в барабане пианолы. Мы можем употребить такое выражение: «Пианола *читает с листа* запись, сделанную посредством перфорации барабана», и мы можем назвать образцы такой перфорации комплексными знаками, или предложениями, противопоставляя их функцию в пианоле функции, сходные приемы которой имеются в механизмах различного типа, например, в комбинации выемок и зубцов в головке ключа. Засов замка поворачивается посредством этой особой комбинации, но мы бы не сказали, что движение засова ведомо посредством того, как мы комбинируем выемки и

зубцы, т. е. мы бы не сказали, что засов движется *в соответствии* с паттерном головки ключа. Здесь вы видите связь идеи ведомости и идеи «быть в состоянии» читать новые комбинации знаков; ибо мы бы сказали, что пианола *может* читать *любой* образец перфорации определенного типа, она сделана не для одной определенной мелодии или ряда мелодий (как музыкальная шкатулка) — в то время как засов замка реагирует на тот образец головки ключа, который предназначен именно для этого замка.

Мы могли сказать, что выемки и зубцы, формирующие головку ключа, несопоставимы со словами, формирующими предложение, но сопоставимы с буквами, формирующими слова, и что образец головки ключа в этом смысле соответствует не сложному знаку, предложению, а слову.

Ясно, что хотя мы можем использовать идеи таких механизмов в качестве образчиков для описания того способа, посредством которого *В* действует в игре (42), ни один такой механизм реально не включен в эти игры. Мы будем должны сказать, что то употребление выражения «быть ведомым», которое мы использовали в наших примерах с пианолой и замком, есть только одно употребление в семействе употреблений, хотя эти примеры могут служить в качестве метафор, способов репрезентации для других употреблений.

Давайте исследуем употребление выражения «быть ведомым», исследуя употребление выражения «чтение». Под «чтением» я здесь подразумеваю действие перевода в звуки чего-либо написанного, письмо под диктовку, копирование написанного и т. п.; чтение в этом смысле не включает в себя такую вещь, как понимание того, что вы читаете. Употребление слова «чтение», конечно, чрезвычайно близко нам в обстоятельствах нашей обыденной жизни (было бы чрезвычайно трудно описать эти обстоятельства даже приблизительно). Некий человек, скажем, англичанин, имеет сына, прошедшего через обычное школьное обучение, он умеет читать по-английски, позже он читает книги, газеты, письма и т. д. Что происходит, когда он читает газету? — Его глаза пробегают по напечатанным словам, он произносит их вслух или про себя, но определенные слова он произносит, просто беря их образец как целое, другие же слова он произносит, вначале просмотрев первые буквы слова, другие он читает буква за буквой. Мы бы также сказали, что можно утверждать, что он прочел предложение в том случае, если в то время, как его глаза пробежали по нему, он ничего не произнес вслух или про себя, но когда его спросили о том, что он прочитал, он был в состоянии воспроизвести предложение дословно или близко к тексту. Он может также действовать таким способом, который мы можем назвать читающей машиной, я имею в виду, что он может читать, не обращая внимания на то, что он сам в это время говорит, или, возможно, концентрируя внимание на чем-то совершенно постороннем. В этом случае мы бы сказали, что он читает, если

бы он действовал безупречно, как надежная машина. — Сравним этот случай со случаем начинающего. Он читает каждое слово болезненно, по складам. Некоторые слова, тем не менее, он угадывает по контексту или, возможно, знает фрагмент текста наизусть. В этом случае учитель говорит, что он притворяется, что читает слова, или что он на самом деле не читает их. Если, глядя на этот пример, мы спросим себя, что такое чтение, мы будем склонны сказать, что это некий особый психический акт сознания. Это тот случай, в котором мы говорим: «Только он знает, читает он или нет: никто другой не может реально это знать». Еще мы должны заметить, что настолько, насколько распространяется понятие чтения отдельного слова, точно такая же вещь должна происходить в сознании начинающего, когда он «притворяется», что читает, как в сознании продвинутого читателя, когда он прочитывает слово. Мы употребляем слово «чтение» одним способом, когда говорим о совершенном читателе, и другим, когда говорим о начинающем. То, что в одном случае мы называем случаем чтения, в другом случае мы так не называем. — Конечно, мы склонны говорить, что то, что происходит в случае с совершенным читателем и в случае с начинающим читателем, когда они произносят слова, не может быть одним и тем же. Различие пролегает если не в состоянии их сознания, то в бессознательных областях их сознания или мозга. Здесь мы представляем два механизма, внутреннюю работу которых мы можем видеть, и эта внутренняя работа есть подлинный критерий того, читает человек или не читает. Но на самом деле в подобных случаях такие механизмы нам неизвестны. Посмотрим на проблему следующим образом:

(67) представим себе, что человеческих существ или животных использовали как читающие машины; предположим, что для того, чтобы стать читающей машиной, они нуждаются в особой тренировке. Человек, тренирующий их, говорит некоторым из них, что они уже умеют читать, а другим, что они еще не умеют. Возьмем случай ученика, который еще не слишком далеко продвинулся в обучении. Если вы поставите перед ним напечатанное слово, он иногда будет произносить какие-то звуки, и каждый раз «случайно» будет происходить так, что эти звуки будут более или менее соответствовать напечатанному слову. Некое третье лицо слышит сотворенное посредством тренировки правильное употребление звука, смотря на слово «стол». Третье лицо говорит: «Да, он читает!», но учитель отвечает: «Нет, он не читает, это чистая случайность». Но представим теперь, что этот ученик, которому показывают другие слова и предложения, продолжает читать их правильно. Спустя некоторое время учитель говорит: «Теперь он умеет читать». — Но что же с первым словом «стол»? Скажет ли учитель: «Я был не прав. Тогда он тоже читал»? или он скажет: «Нет, он начал читать позже»? «Когда же он на самом деле начал читать?» или: «Какое первое слово или какую первую букву он прочитал?» Ясно,

что этот вопрос здесь не будет иметь смысла, пока я не дам «искусственное» объяснение вроде: «Первое слово, которое он прочитал = первое слово первой сотни последовательности слов, которую он читает правильно». — Предположим, с другой стороны, что мы употребили слово «чтение» с тем, чтобы разграничить случай, когда имеет место определенный сознательный процесс произнесения слов в мозгу человека, и случай, когда этого не происходит. — Тогда, по крайней мере, человек, который читает, мог бы сказать, что такое-то и такое-то слово было первым, которое он реально прочитал. — Также в другом случае читающей машины, которая является механизмом, соединяющим знаки с реакциями на эти знаки, например, в случае пианолы, мы могли бы сказать: «Только после того, как такая-то и такая-то вещь произошла с машиной, например, определенные части соединились посредством проводов, машина реально начала читать; первая буква, которую она прочитала, была буква *d*».

В случае (67), называя определенные существа «читающими машинами», мы лишь имели в виду, что они определенным образом реагируют на видение печатных знаков. Никакой связи между видением и реагированием, никакого внутреннего механизма этот случай не подразумевает. Было бы абсурдно, если бы тренер на вопрос, читает ли ученик слово «стол» или нет, ответил: «Возможно, читает», — потому что в этом случае нет места сомнению по поводу того, что в действительности делает ученик. Изменение, которое имело место, можно назвать изменением в поведении ученика в целом, и в этом случае нам не дано значение выражения «первое слово в новой эре». (Ср. это со следующим случаем:

.....

В нашей фигуре ряд точек с большими интервалами следует за рядом точек с маленькими интервалами. Какая точка является последней в первой последовательности и какая — первой во второй последовательности? Представим, что наши точки служат отверстиями во вращающемся диске сирены. Тогда мы услышали бы звуки низкого тона, следующие за звуками высокого тона (или наоборот). Спросим себя: «В какой момент начинается звук низкого тона и кончается звук высокого тона?»)

Существует, с другой стороны, большой соблазн рассматривать сознательный психический акт как единственный подлинный критерий, отграничивающий чтение от нечтения. Ибо мы склонны сказать: «Конечно, человек всегда знает, когда он читает, а когда притворяется, что читает», или: «Разумеется, человек всегда знает, когда он на самом деле читает». Если *A* пытается заставить *B* поверить в то, что он способен читать кириллическое письмо, обманывая его, прочитав наизусть заученное русское предложение, глядя на него так, как будто он его читает, мы

можем с определенностью сказать, что А знает, что он притворяется, и тот факт, что он не читает, в этом случае характеризуется особым личным опытом, а именно опытом прочтения предложения наизусть. Также, если А делает ошибку в прочтении наизусть, этот опыт будет отличаться от того, когда человек делает ошибку, *читая*.

68) Но предположим теперь, что человек, который умел читать в совершенстве и которого попросили прочитать несколько предложений, раньше им никогда не читанных, читает эти предложения, но на протяжении всего времени чтения у него появляется специфическое ощущение, что он знает эту последовательность слов наизусть. Скажем ли мы в этом случае, что он не читал, т. е. будем ли мы рассматривать его личный опыт в качестве критерия, разграничивающего чтение и нечтение?

69) Или представим такой случай: человеку, находящемуся под воздействием определенного наркотического средства, показывают группу из пяти знаков, но не букв, существующего алфавита; и, глядя на них со всеми своими внешними знаками и личными переживаниями произнесения слова, он произносит слово «above» (наверх). Такого рода вещи случаются во сне. В этом случае после пробуждения мы говорим: «Мне казалось, что я прочитываю эти знаки, хотя они вообще не были знаками». В такого рода случае одни люди могут быть склонны сказать, что он читает, а другие, что нет. Мы можем представить, что после того, как он произнес слово «above», мы показали ему другие комбинации из пяти знаков и предложили ему прочитать их попеременно с чтением первой комбинации знаков, показанных ему. Посредством ряда однотипных тестов мы можем обнаружить, что он использовал то, что мы можем назвать воображаемым алфавитом. Если так, мы будем в большей степени готовы сказать: «Он читает», чем «Он воображает, что читает, но на самом деле нет».

Заметим также, что существует продолжительный ряд промежуточных случаев, располагающихся между случаем, когда человек знает наизусть то, что лежит напечатанным перед ним, и случаем, когда он разбирает каждую букву слова без какой-либо помощи вроде подсказки контекстом, знания наизусть и т. п.

Сделайте так: произнесите наизусть ряд целых чисел от одного до двенадцати. — Теперь посмотрите на циферблат своих часов и *прочитайте* эту последовательность чисел. Спросите себя, что в этом случае вы называли чтением, т. е. что вы сделали для того, чтобы это стало чтением?

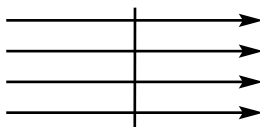
Попытаемся дать такое объяснение: человек читает в том случае, если он *образует* копию, продуцируемую им с модели, которую он копирует. (Я буду употреблять слово «модель» подразумевая то, что он считывает, например, напечатанные предложения, которые он читает или копирует при переписывании, или такие знаки, как «— . . —» в (42) и (43), кото-

рые он «читает» посредством движения, или ноты, по которым играет пианист, и т. д. Слово «копия» я употребляю для предложения, произнесенного или списанного с напечатанного, для движений, соответствующих таким знакам, как «— . . —», для движений пальцев пианиста или для мелодии, которую он играет по нотам, и т. д.) Таким образом, если мы обучили человека кириллическому алфавиту, а также тому, как произносится каждая буква, если затем мы дали ему листок бумаги с напечатанным на нем кириллическим письмом и он воспроизводил каждую букву в соответствии с ее произнесением так, как мы его учили, мы несомненно скажем, что он образовывал звуки каждого слова от напечатанного текста и произносил буквы алфавита, выученного им. И это также будет явным случаем чтения. (Мы можем употребить выражение «Мы научили его *правилу* алфавита».)

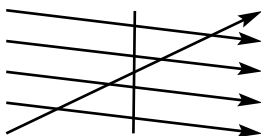
Но посмотрим: что заставляет нас говорить, что он *образовывал* произносимые слова из напечатанных при помощи правила алфавита? Не есть ли все, что мы знаем, лишь то, что мы сказали ему, что эта буква произносится так, а та этак, и т. д. и что после этого он прочитывает слова кириллического письма? Что предполагается для нас в качестве ответа, что он каким-то образом должен показать, что он на самом деле осуществляет перевод из напечатанного в произносимое посредством правила алфавита, которое мы ему дали. И что мы имеем в виду, что его показ станет определенно яснее, если мы поменяем пример и

70) предположим, что он прочитывает текст, транскрибируя его, скажем, от прямых букв к курсиву. Ибо в этом случае мы можем предположить, что правило алфавита дано в форме таблицы, которая показывает прямой и курсивный алфавиты в параллельных колонках. Тогда процесс *образования* копии из первоначального текста мы можем представить следующим образом: человек, который копирует, заглядывает через определенный интервал в таблицу, чтобы посмотреть на каждую букву, или говорит себе нечто вроде: «Ну, как же выглядит маленькое *a*?», или пытается визуализировать таблицу, повторяя ее образ в уме вместо того, чтобы каждый раз заглядывать в нее.

71) Но что если, проделывая все это, он транскрибировал «*A*» в «*b*», «*B*» в «*c*» и т. д.? Тогда ведь мы не назовем это «чтением», «образовыванием»? Мы можем в этом случае описать производимую им процедуру, сказав, что он использовал таблицу так же, как мы, но не слева направо, вот так:



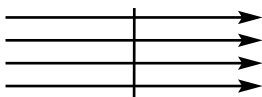
а вот так:



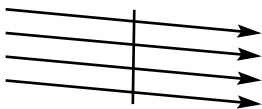
хотя, когда он в действительности смотрит на таблицу, она проходит перед его глазами или пальцем горизонтально слева направо. — Но представим теперь,

74) что, проходя через нормальный процесс смотрения на таблицу, он транскрибирует «А» в «п», а «В» — в «х», короче, действует, как бы мы могли сказать, в соответствии со схемой стрелок, которые не показывают простых путей. Назвали ли бы мы это также «образовыванием»? — Но представим,

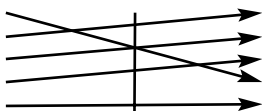
75). что он не пошел по этому пути транскрибирования. На самом деле он изменил его, но в соответствии с простым правилом: после транскрибирования «А» в «п», он транскрибирует следующее «А» в «о», следующее — в «р» и т. д. Но где граница между этой процедурой и процессом транскрибирования вообще без всякой системы? Вы можете возразить на это, сказав: «В случае (71) ты с очевидностью предполагал, что он *понимает таблицу по-другому*; он не понимает ее обычным образом». Но что мы называем «понимать таблицу особым образом»? Но как бы вы ни представляли себе это «понимание», есть только другая связь, располагающаяся между внешним и внутренним процессом образования, который я описал, и действительным транскрибированием. На самом деле этот процесс понимания должен быть очевидным образом описан посредством схемы того типа, который представлен в (71), и мы могли бы тогда сказать, что в некотором особом случае он смотрит на таблицу как-то так:



понимает ее так:



а транскрибирует так:



Но означает ли это, что слово «образовывание (или «понимание») реально здесь не имеет значения, так как, если следовать его значению, это, кажется, приведет к ничто? В случае (70) значение «образовывания» вырисовывалось достаточно ясно, но мы сказали себе, что это лишь один специфический способ образовывания. Нам кажется, что сущность процесса образовывания была здесь одета в необычное платье и что, сняв это платье, мы доберемся до сути дела. И вот в (71), (72) и (73) мы пытались освободить наш случай от того, что казалось лишь его особой одеждой, чтобы обнаружить, что то, что казалось одеждой на самом деле является сущностными особенностями этого случая. (Мы действовали так, как будто стремились найти подлинный артишок, срывая с него один лист за другим.) Употребление слова «образовывание» на самом деле представлено в (70), т. е. этот пример показывал нам один из семейных случаев, в которых употребляется это слово. И объяснение употребления этого слова, так же как употребления слова «чтение» или «ведомость посредством символа», в сущности состоит из описания выборки примеров, представляющих характерные особенности, некоторые примеры показывают эти особенности в преувеличенном виде, остальные показывали переходные случаи, другие ряды примеров показывали следы этих особенностей. Представим, что кто-то захотел дать вам идею характеристик лиц определенной семьи. Он сделал бы это, показав вам множество семейных портретов и обращая ваше внимание на определенные характерные черты, и его основная задача состояла бы в особом *расположении* этих снимков, которое, например, позволило бы вам видеть, как определенные влияния постепенно изменяли особенности, какими характерными путями члены семьи старели, какие особенности при этом проступали все явственнее.

Задачей наших примеров не было показать сущность «образовывания», «чтения» и т. д. посредством выявления их существенных особенностей; эти примеры не были описаниями нашего внешнего побуждения разгадать внутреннее, которое по той или иной причине не видно во всей своей наготе. Мы склонны думать, что наши примеры являются косвенными средствами для продуцирования определенного образа или идеи в человеческом сознании, — что они *намекали* на что-то, чего они не показывали. Это было бы так в случае, подобном следующему: предположим, я хочу спродуцировать в ком-то ментальный образ внутренностей характерной комнаты XIX века, в которую он как будто входит. Тогда я использую следующий метод: я показываю ему дом снаружи, указываю на окна подразумеваемой комнаты, далее я провожу его через другие комнаты того же периода.

Наш метод является *сузубо дескриптивным*; описания, которые мы даем, не являются намеками на объяснения.

II

1. Испытываем ли мы ощущение знакомства, когда смотрим на знакомые объекты? Или мы его испытываем всегда?

Когда же мы на самом деле испытываем его?

Нам поможет ответить на этот вопрос, если мы зададим другой: что мы противопоставляем ощущению знакомства?

Нечто из того, что мы противопоставляем ему, это чувство неожиданности.

Можно сказать: «Не-знакомство гораздо ближе нашему опыту, чем знакомство».

Мы говорим: *A* показывает *B* ряд объектов. *B* должен сказать *A*, знаком ли ему данный объект или нет. Вопрос может быть таким: а) «Знает ли *B*, что это за объекты?» или б) «Узнает ли он определенный объект?»

1) Рассмотрим случай, в котором *B* показывают ряд приборов — весы, термометр, спектроскоп и т. д.

2) *B* показывают карандаш, ручку, чернильницу и линзу. Или:

3) Вместо знакомого предмета ему показывают предмет, о котором он говорит: «Похоже, что он служит для какой-то цели, но я не знаю, для какой».

Что происходит, когда *B* опознает нечто как карандаш?

Предположим, *A* показал ему предмет, похожий на палочку. *B* берет его в руки, вдруг предмет разделяется на части, одна из которых напоминает футляр, а другая карандаш. *B* говорит: «О, да это карандаш». Он опознал объект как карандаш.

4) Мы могли бы сказать: «*B* всегда знал, как выглядит карандаш; он мог, например, рисовать одним из тех карандашей, о которых его теперь спрашивают. Он не знал того, что предмет, который ему дали, содержит карандаш, при помощи которого он мог рисовать в любое время. Сравним со случаем (5):

5) *B* показывают слово, написанное на листке бумаги, который держат, перевернув его вверх ногами. Он не узнает слово. Листок постепенно переворачивают до тех пор, пока *B* не говорит: «Теперь я вижу, что это такое. Это “карандаш”».

Мы могли бы сказать: «Он всегда знал, как выглядит слово “карандаш”. Он не знал, что слово, которое ему показали в перевернутом виде, на самом деле выглядит как “карандаш”».

В обоих случаях (4) и (5) вы могли бы сказать, что нечто было скрыто. Но отметим, что и слово «скрыто» имеет различные употребления.

6) Сравним это с таким случаем: вы читаете письмо и не можете прочитать в нем одно слово. Вы догадываетесь из контекста, что это должно быть за слово. Вы опознаете эту закорючку как *e*, другую — как *a*, третью —

как *t*. Этот случай отличается от того, где слово «eat» (принимать пищу) было закрыто кляксой, и вы лишь могли догадаться, что на этом месте должно стоять слово «eat».

7) Сравним: вы видите слово и не можете прочесть его. Кто-то видоизменяет его, добавив черточку, удлинив штрих или что-то в этом роде. Теперь вы можете прочитать его. Сравним это видоизменение с переворачиванием в (5) и отметим, что есть смысл сказать, что если слово было перевернуто, то вы видели, что оно *не* было видоизменено. То есть существует случай, в котором вы говорите: «Я смотрел на слово после того, как его перевернули назад, и видел, что это было то же самое слово, которое я не узнавал».

8) Предположим, игра между *A* и *B* заключается в том, что *B* говорит, знаком ли ему тот или иной предмет, но не говорит, какой именно это предмет. Допустим, ему показывают обыкновенный карандаш после того, как показали гидрометр, которого он раньше никогда не видел. Когда ему показали гидрометр, он сказал, что не знаком с таким предметом, когда ему показали карандаш, он сказал, что знает, что это такое. Что произошло, когда он опознал карандаш? Должен ли он был сказать себе, хотя он ничего не говорил *A*, что то, что он видит, это карандаш? Почему мы так считаем?

В таком случае, если он опознал карандаш, то как что он его опознал?

9) Предположим даже, что он сказал себе: «О, да это же карандаш», — могли ли бы вы сравнить этот случай со случаем (4) или (5)? В этих случаях предполагалось, что кто-то говорит: «Он опознал это как то-то» (показывая, например, как на «это», на нечто, закрывавшее карандаш, и на «то» — на обыкновенный карандаш (сходным образом в (5))).

В (8) карандаш не претерпевал изменений, и слова «О, да это же карандаш» не относились к парадигме случаев, где *B* опознавал показанный ему карандаш.

Если спросить *B* «Что такое карандаш?», он не станет указывать на другой объект как на образец, но может, напротив, прямо указать на показанный ему карандаш.

Но когда он сказал: «О, да это же карандаш», как он узнал, что это такое, если он его никак не опознал? — Тут действительно подходящим будет сказать: «Как он опознал “карандаш” в качестве имени такого рода предмета?» — Ну, и как же он опознал его? Он просто отреагировал на него особым образом, сказав это слово.

10) Предположим, кто-то показывает вам цвета и просит назвать их. Указывая на определенный объект, вы говорите: «Это красное». Что бы вы ответили, если бы вас спросили: «Откуда ты знаешь, что это красное?»

Конечно, возможен случай, в котором *B* дается общее объяснение, скажем, «Мы будем называть словом “карандаш” все, чем можно с легкостью

писать на восковой табличке». Тогда *A* показывает *B* среди других объектов маленький заостренный предмет, и *B* после минутного размышления говорит: «О, да это же карандаш»; «Этим можно с легкостью писать». В этом случае, как мы можем сказать, имеет место *образовывание*. В (8), (9), (10) образовывания нет. В (4) мы можем сказать, что *B* образовывает, что показанный ему предмет есть карандаш, посредством парадигмы, в противном случае никакое образовывание не может здесь иметь места.

Теперь скажем ли мы, что *B*, увидев карандаш после того, как он видел инструменты, с которыми он не был знаком, испытал ощущение знакомства? Давайте представим, что произошло на самом деле. Он увидел карандаш, улыбнулся, почувствовал облегчение, и название предмета, который он видел, сразу пришло ему на ум или возникло на языке.

Что же, может быть, именно чувство облегчения характеризует переживание перехода от незнакомых вещей к знакомым?

2. Мы говорим, что переживаем напряжение и расслабление, облегчение, натянутость и отдых в таких разных случаях, как следующие: человек поднимает тяжести на вытянутой руке; его рука, все его тело находится в состоянии напряжения. Мы разрешаем ему опустить тяжесть, напряжение спадает. Человек бежит, потом отдыхает. Он мучительно размышляет о решении проблемы Евклида, затем находит решение и расслабляется. Он пытается вспомнить имя и расслабляется, вспомнив его.

Что если мы спросим: «Что имеют все эти случаи общего, что позволяет нам сказать, что это случаи напряжения и расслабления?»

Что позволяет нам употребить выражение «порыться в памяти», когда мы пытаемся вспомнить слово?

Давайте зададимся вопросом: «В чем состоит сходство между поисками слова в памяти и поисками друга в парке?» Каким бы мог быть ответ на такой вопрос?

Один тип ответа безусловно будет состоять в описании ряда промежуточных случаев. Кто-то может сказать, что случай, в котором мы ищем что-то в своей памяти, в наибольшей степени похож не на поиски моего приятеля в парке, а, скажем, на поиски правильного написания слова в словаре. И кто-то может продолжить интерполяцию подобных случаев. Другим способом *указания* на сходство будет сказать, например: «В обоих этих случаях мы сначала не можем записать слово, а потом можем. Вот это мы и называем указанием на общую особенность».

Теперь важно отметить, что мы не нуждаемся в том, чтобы опознавать сходство, отмеченное таким образом, когда нас что-то побуждает использовать слова типа «поиски» в случае попытки что-то вспомнить.

Кто-то может испытывать склонность сказать: «Конечно, сходство должно поражать нас, или мы не могли бы даже пошевелиться, чтобы упот-

ребить то же слово». — Сравним это утверждение со следующим: «Сходство между этими случаями должно поражать нас тем, чтобы мы были склонны употребить одну и ту же картину, репрезентирующую оба случая». Это говорит о том, что некое действие должно предшествовать действию употребления этой картины. Но почему бы тому, что мы называем «сходство поражает нас», не состоять частично или полностью из нашего употребления одной и той же картины? И почему бы ему не состоять полностью или частично из нашего побуждения употребить одну и ту же фразу?

Мы говорим: «Эта картина (или эта фраза) неопровержимо говорит сама за себя». Что же, разве здесь нет никакого переживания?

Мы изучаем здесь случаи, в которых, как можно приблизительно сказать, грамматика слова, кажется, предполагает «необходимость» определенного промежуточного шага, хотя на самом деле это слово употребляется в случаях, где нет такого промежуточного шага. Так, мы склонны сказать: «Человек *должен* понять приказ прежде, чем выполнить его», «Он должен знать, где локализуется его боль, прежде чем указать на это место», «Он должен знать мелодию прежде, чем он споеет ее» и т. п.

Давайте зададимся вопросом: предположим, я объяснил кому-то слово «красный» (или значение слова «красный»), указывая на различные красные предметы и давая остенсивное объяснение. — Что означает сказать: «Теперь, если он понял значение, он принесет мне красный предмет, когда я попрошу его об этом»? Это, кажется, то же самое, что сказать: если он действительно усвоил то общее, что есть между всеми объектами, которые я ему показал, он будет находиться в положении следования моим приказам. Но что это такое — то, что есть общего во всех этих предметах?

Могли бы вы сказать мне, что общего между бледно-розовым и темно-розовым? Сравним это со следующим случаем: я показываю вам два изображения двух различных ландшафтов. На обеих картинах среди прочих предметов изображен куст, и на одной он в точности такой же, как на другой. Я прошу вас: «Укажите на то, что является общим в обеих картинах», и в ответ вы указываете на этот куст.

Теперь рассмотрим такое объяснение: я даю кому-то две коробки, в которых лежат разные вещи, и говорю: «Предмет, который является общим для обеих коробок, называется вилок для тостов». Человек, которому я даю это объяснение, должен перебрать предметы в обеих коробках, пока не найдет того предмета, который является общим для них, поэтому мы можем сказать, что он приближается к остенсивному объяснению. Или такое объяснение: «На этих двух картинах вы видите мазки нескольких цветов; один из них, который вы обнаруживаете на обеих картинах, называется “розовато-лиловый”». — В этом случае имеется ясный смысл, в котором можно сказать: «Если он видел (или обнаружил)

то, что является общим для этих двух картин, он сможет принести мне теперь розовато-лиловый предмет».

Существует также следующий случай. Я говорю кому-либо: «Я объясню тебе слово “w”, показывая различные предметы. То, что будет общим для всех них, и есть то, что означает “w”». Сначала я показываю ему две книги, и он спрашивает себя: «“W” означает “книга”?» Тогда я показываю на кирпич, и он говорит себе: «Вероятно, “w” означает “параллелепипед”». Наконец я показываю ему на раскаленные угли, и он говорит себе: «О, да это же “красное”, то, что он имеет в виду, ведь все эти предметы имеют что-то красное». Было бы интересно рассмотреть другую форму этой игры, в которой человек на каждой стадии должен *нарисовать* карандашом или красками то, что, как он думает, я имею в виду. Любопытность этой версии заключается в том, что в определенных случаях будет совершенно очевидным, что он может нарисовать нечто, скажем, когда видит, что все предметы, которые я показал ему, имеют одну и ту же торговую марку (он рисует торговую марку). — Что, с другой стороны, он нарисовал бы, если бы осознал, что во всех предметах есть что-то красное? Красное пятно? А какого размера и оттенка? Здесь можно заключить договоренность, скажем, что нарисованное красное пятно с зазубренными краями не подразумевает, что предметы имеют общим такое красное пятно с зазубренными краями, но просто *что-то* красное.

Если, указывая на пятна различных оттенков, вы спросили человека: «Что они имеют общего, что позволяет тебе назвать их красными?», он будет склонен ответить: «А ты что, сам не видишь?» И это, конечно, не будет указанием на нечто общее.

Существуют такие случаи, где опыт учит нас, что человек не в состоянии выполнить приказ, скажем, формы «Принеси мне x», если он не видит, что общего в различных предметах, на которые я указываю в качестве объяснения того, что я подразумеваю под «x». И «видение того, что они имеют общего», в некоторых случаях заключается в указании на них, в побуждении взгляда остановиться на окрашенном пятне после процесса продумывания и сравнения, а также в словах: «Ну да, он имеет в виду красное» и, возможно, в то же самое время, в окидывании взглядом всех красных пятен на всех предметах и т. д. — С другой стороны, существуют случаи, в которых нет никакого процесса, сопоставимого с этим промежуточным «видением того, что есть общего», и применительно к которым мы все же употребляем это выражение, хотя на этот раз мы должны сказать: «Если после того, как я показал ему эти предметы, он приносит мне другой красный предмет, тогда я *смогу сказать*, что он действительно видел общую особенность тех предметов, которые я показывал ему». Выполнение приказа является, таким образом, критерием понимания.

3. «Почему ты называешь все эти различные переживания “напряжением”?» — «Потому что они имеют некий общий элемент». — «Что же это, что является общим у телесного и ментального напряжения?» — «Я не знаю, но совершенно очевидно, что есть некое сходство».

Тогда почему ты сказал, что переживания имеют нечто общее? Разве это выражение не просто сравнивает настоящий случай с теми случаями, в которых мы прежде всего говорим, что два переживания обладают чем-то общим? (Так, мы можем сказать, что некоторые переживания радости или страха имеют общим учащенное сердцебиение.) Но когда ты сказал, что два переживания напряжения имеют что-то общее, применительно к этому случаю можно было употребить лишь какие-то иные слова для того, чтобы сказать, что эти переживания сходны. И тогда не было бы объяснения для того, чтобы сказать, что сходство состоит в появлении общего элемента.

Скажем ли мы также, что вы обладаете ощущением сходства, когда вы сравниваете два переживания, и что это позволяет вам использовать одно и то же слово для обоих случаев? Если вы говорите, что обладаете ощущением сходства, мы зададим вам несколько вопросов по этому поводу.

Могли бы вы сказать, что это ощущение локализовалось здесь или там?

Когда реально вы почувствовали, что обладаете этим ощущением? Ибо то, что мы можем назвать сравнением двух переживаний, является довольно сложной деятельностью: возможно, вы назвали два переживания перед своим мысленным взором и представили телесное напряжение, а потом представили ментальное напряжение, и каждое представление было воображаемым процессом, а не единообразным вневременным состоянием. Затем спросите себя, на протяжении какого времени, пока все это продолжалось, вы обладали ощущением сходства.

«Но я ведь безусловно не сказал бы, что они сходны, если бы не обладал переживанием их сходства», — Но должно ли это переживание быть чем-то, что вы называете ощущением? Предположим на секунду, это было переживание такого рода, что слово «сходный» было бы здесь само собой разумеющимся. Назвали бы вы это ощущением?

«Но разве не существует ощущения сходства?» — Я думаю, что существуют ощущения, которые можно назвать ощущениями сходства. Но вы не всегда обладаете этим ощущением, когда «замечаете сходство». Рассмотрим некоторые различные переживания, которые вы претерпеваете, когда замечаете сходство.

а) Существует такого рода переживание, которое можно назвать состоянием, в котором с трудом можно различить нечто. Вы видите, например, две длины, два цвета, почти полностью идентичных. Но если я спрошу себя: «Заключается ли этот опыт в обладании определенным ощущением?», — то в ответ скажу, что это определенно не характерно для

любого такого ощущения, что наиболее важная часть опыта есть побуждение моего взгляда осциллировать между двумя предметами, фиксировать намеренно взгляд то на одном, то на другом, возможно, произнесение слов, выражающих сомнение, покачивание головой и т. д. и т. д. Вряд ли найдется какое-то пространство для ощущения сходства среди этих разнообразных переживаний.

б) Сравним это со случаем, в котором невозможны никакие трудности по распознаванию двух объектов. Предположим, я говорю: «Мне нравятся цветы двух видов и притом схожих оттенков, я предпочитаю избегать строгого контраста». Переживание, которое тут возникает, можно с легкостью описать, как легкое скольжение взгляда с одного на другое.

с) Я слушаю музыкальную вариацию на определенную тему и говорю: «Я еще не вижу, каким образом эта мелодия может быть вариацией темы, но я вижу определенное сходство». То, что происходило, заключалось в том, что в определенных моментах вариации, в определенных поворотных ключевых пунктах нечто побуждало меня претерпеть переживание «знания того, где проходит тема». И это переживание опять-таки могло заключаться в представлении определенных мелодических фигур темы или видении их написанными перед моим мысленным взором или в действительном указывании на них в партитуре и т. д.

«Но когда два цвета похожи, переживание сходства безусловно заключалось бы в отмечании сходства, которое *есть* между ними», — Но разве зелено-голубой похож на сине-зеленый? В определенных случаях мы сказали бы, что они похожи, а в других случаях — что они совсем не похожи. Было бы ли корректным сказать, что в этих двух случаях мы отметили между ними различные связи? Предположим, я наблюдал за процессом, при котором сине-зеленый постепенно сменялся чисто зеленым, потом желто-зеленым, желтым и оранжевым. Я говорю: «Чтобы сине-зеленый превратился в желто-зеленый, требуется совсем мало времени, потому что эти цвета похожи». — Но разве не должны вы пережить некий опыт сходства, чтобы быть в состоянии сказать это? — Переживание может быть таким — видение двух цветов и произнесение слов о том, что они оба зеленые. Или оно может быть таким — видение полосы, чей цвет изменяется от одного конца к другому описанным путем и обладание одним из тех переживаний, которые можно назвать замечанием того, насколько близки друг другу сине-зеленый и желто-зеленый по сравнению с сине-зеленым и оранжевым.

Мы употребляем слово «похожий» в огромном семействе случаев.

Есть нечто важное в том, чтобы сказать, что мы употребляем слово «напряжение» и для ментального, и для телесного напряжения, потому что между ними есть сходство. Сказали бы вы, что мы употребляем слово «синий» и для светло-синего и для темно-синего, потому что между ни-

ми есть сходство? Если бы вас спросили: «Почему вы называете это тоже «синим»? — вы бы ответили: «Потому что это *тоже* синее».

Можно предположить, что объяснение состоит в том, что в этом случае вы называете «синим» то, что *является общим* у этих цветов, и что если вы называете «напряжением» то, что было общим у двух переживаний напряжения, было бы неправильно говорить: «Я назвал оба эти переживания напряжением, потому что они обладали определенным сходством», — но скорее вам следует сказать: «Я в обоих случаях употребил слово “напряжение”, потому что напряжение присутствовало в обоих случаях».

А что мы ответили бы на вопрос: «Что общего имеют светло-синий и темно-синий?» На первый взгляд, ответ кажется очевидным: «Они оба являются оттенками синего». Но на самом деле это тавтология. Тогда давайте зададимся вопросом: «Что общего имеют те цвета, на которые я указал?» (Предположим, один из них светло-синий, а другой темно-синий.) Ответ должен быть таким: «Я не знаю, в какую игру вы играете». И именно от игры зависит, скажу ли я, что они имеют нечто общее и что именно они, по моему мнению, имеют общего.

Представим такую игру: *A* показывает *B* различные цветовые пятна и спрашивает его, что у них является общим. *B* должен отвечать, указывая на определенный первичный цвет. Таким образом, если *A* указывает на розовый и оранжевый, *B* должен указать на чистый красный. Если *A* указывает на два оттенка зеленовато-синего, *B* должен указать на чистый зеленый и чистый синий и т. д. Если в этой игре *A* показал *B* светло-синий и темно-синий, и спросил, что они имеют общего, то нет сомнения в том, каким будет ответ. Если же он указал на чистый красный и чистый зеленый, ответ должен заключаться в том, что у этих цветов нет ничего общего. Но я бы мог с легкостью представить обстоятельства, при которых мы могли бы сказать, что они имеют нечто общее и не колебались бы в том, чтобы указать на то, в чем именно это сходство состоит. Представим себе употребление некоего языка (некой культуры), в которой есть общее название для зеленого и красного, с одной стороны, и желтого и синего — с другой. Предположим, например, что там существует две касты, одна из них, патриции, носят красные и зеленые одежды, а другая, плебеи, голубые и желтые. И голубой и желтый всегда относятся к плебейским цветам, а красный и зеленый — к аристократическим. Если человека, принадлежащего к этому племени, спросить, что красный и зеленый цвета имеют общего, он, не колеблясь, ответит, что оба они являются цветами аристократов.

Мы также могли бы с легкостью представить себе язык (и это подразумевает опять-таки и культуру), в котором не существует общего выражения для светло-синего и темно-синего, и первый, скажем, называется «Кембридж», а второй — «Оксфорд». Если вы спросите человека, принад-

лежащего к этому племени, что общего имеют Кембридж и Оксфорд, он будет склонен ответить «Ничего».

Сравним эту игру с одной из приведенных выше: *V* показывают определенные картинки, комбинации из цветовых пятен. Когда его спрашивают, что эти картинки имеют общего, он должен указать на образец красного в том случае, если на обеих картинках есть красный цвет, и на образец зеленого, если там есть зеленый цвет, и т. д. Это показывает вам, какими разными способами может быть использован один и тот же ответ.

Рассмотрим такое объяснение, как: «Я подразумеваю под “синим” то, что эти два цвета имеют общим». — Разве невозможно, чтобы кто-то понял это объяснение? Например, если ему отдадут приказание принести другой синий предмет, он исполнит его вполне удовлетворительно. Но, предположим, он принесет красный предмет, и мы будем склонны сказать: «Он, кажется, заметил какого-то рода сходство между образцами, которые мы ему показывали, и этим красным предметом».

Заметьте: некоторые люди, когда их просят спеть ноту, которую мы играем для них на пианино, часто поют на квинту выше. Это позволяет с легкостью представить, что язык может иметь одно название для определенной ноты и ее квинты. С другой стороны, мы бы смутились, отвечая на вопрос: «Что нота и ее квинта имеют общего?» Потому что, конечно, это не будет ответом, если мы скажем: «Они имеют определенное родство».

Эта одна из наших задач — дать картину грамматики (употребления) слова «определенный».

Сказать, что мы употребляем слово «синий», имея в виду «то, что все эти оттенки цвета имеют общего», само по себе значит не сказать ничего кроме того, что мы употребляем слово «синий» во всех этих случаях.

И фраза «Он видит то, что все эти оттенки имеют общего» может относиться ко всем типам различных явлений, т. е. ко всем типам тех явлений, которые используются в качестве критерия для «его видения, что...». Или же все, что происходит, может быть таким, что если его просят принести другой оттенок синего, он выполнит наше приказание вполне удовлетворительно. Или пятно чистого синего цвета может появиться перед его мысленным взором, когда мы показываем ему различные образцы синего цвета; или он может инстинктивно повернуть голову к какому-то другому оттенку синего, который мы ему не показывали в качестве образца, и т. д. и т. д.

И вот скажем ли мы, что ментальное напряжение и телесное напряжение суть «напряжения» в одном и том же смысле слова или в разных (или «слегка различных») смыслах? — Существуют случаи такого рода, в которых мы не будем сомневаться в том, какой ответ нам дать.

4. Рассмотрим такой случай: мы научили кого-то употреблять слова «темнее» и «светлее». Он мог, например, выполнить такое приказание,

как «Изобрази мне пятно более темного цвета, чем то, которое я показал тебе». Предположим, теперь я говорю ему: «Прослушай пять гласных а, е, і, о, и и расположи их в порядке возрастания их темноты». Он может просто выглядеть озадаченным и не сделать ничего, но может (и некоторые люди так и сделают) расположить гласные в определенном порядке (наиболее часто это будет і, е, а, о, и). Теперь можно подумать, что расположение гласных в порядке увеличения их темноты предполагает, что когда гласный произносился, человеку в голову приходил определенный цвет, что он затем расположил эти цвета в порядке возрастания их темноты и сообщил вам соответствующее расположение гласных. Но на самом деле не обязательно, чтобы дело обстояло именно так. Человек будет исполнять приказ: «Распредели гласные в порядке возрастания их темноты» и без того, чтобы видеть цвета перед своим мысленным взором.

Теперь, если такого человека спросить, «действительно» ли звук *и* темнее, чем *е*, он скорее всего ответит нечто вроде: «Он не то чтобы на самом деле темнее, но каким-то образом производит на меня впечатление большей темноты».

Но что если мы спросим его: «Тогда что позволяет тебе вообще употреблять слово “темнее” применительно к данному случаю?»

Опять-таки мы можем быть склонны сказать: «Он должен был видеть что-то, что было общим в отношении между двумя цветами и в отношении между двумя гласными». Но если он не в состоянии определить, что это был за общий элемент, это оставляет нас с фактом, что он был склонен употреблять слова «темнее», «светлее» применительно к обоим случаям.

Ибо отметим слово «должен» в «Он должен был видеть что-то...». Когда вы сказали, что вы не имели в виду, что из прошлого опыта вы делаете заключения, что он, возможно, видел что-либо и что вот почему-то это предложение ничего не добавляет к тому, что мы знаем, а только предлагает новую форму слов для описания.

Если кто-то сказал: «Я вижу определенное сходство, только я не могу описать его», я бы сказал на это: «Это уже характеризует твое переживание».

Предположим, вы смотрите на два лица и говорите: «Они похожи, но я не знаю, в чем состоит это сходство». И предположим, что некоторое время спустя вы говорите: «Теперь я знаю; их глаза имеют одинаковые очертания», на что я бы сказал: «Теперь ваше переживание их сходства отличается от того, когда вы видели сходство, но не знали, в чем оно состоит». И вот на вопрос «Что позволило вам употреблять слово “темнее”...?», — ответ может быть таким: «Ничто не заставляло меня использовать слово «темнее», если вы спрашиваете меня о *причине*, по которой я употребляю его. Я просто употреблял его и, более того, я употреблял его с той же интонацией в голосе и, возможно, с той же мимикой и жестиком, кото-

рые я склонен употреблять в определенных случаях, когда применяется слово, обозначающее цвета». — Все это легче увидеть, когда мы говорим о *глубокой* печали, *глубоком* звуке, *глубоком* колодце. Некоторые люди способны различать толстые и худые дни недели. И их опыт, когда они рассматривают некий день как толстый, состоит в применении этого слова, возможно, вместе с жестом, выражающим полноту и определенный комфорт.

Но вы можете быть склонны сказать: это употребление слова и жеста не является их первичным переживанием; прежде всего он должен определить день как толстый и потом выразить это понятие посредством слова или жеста.

Но почему вы употребляете выражение «Он должен»? Знакомы ли вы с переживанием, которое вы применительно к данному случаю называете «понятие того-то и т. д.»? Потому что, если вы не знакомы, не есть ли это то, что можно назвать лингвистическим предрассудком, что заставляет вас сказать: «Он должен был обладать понятием, прежде чем... и т. д.»?

Скорее из этого примера, как и из других, вы можете научиться тому, что существуют случаи, в которых мы можем назвать определенное переживание «замечанием, определением того, что в данном случае дело обстоит так-то и так-то», прежде чем выразить это словом или жестом, и что существуют другие случаи, в которых, если мы вообще говорим об опыте обдумывания, мы должны применять это слово вместе с переживанием употребления определенных слов, жестов и т. д.

Когда человек сказал, что «*и* не то чтобы действительно темнее, чем *е...*», существенным было, что он имел в виду, что слово «темнее» использовалось им в другом смысле, по сравнению с тем, как оно употребляется, когда говорят, что один цвет является более темным, чем другой.

Рассмотрим такой пример. Предположим, что мы научили человека употреблять слова «зеленый», «красный», «синий», указывая на соответствующие цветовые пятна. Мы научили его приносить нам предметы определенного цвета, давая задание типа «Принеси мне что-нибудь красное!», сортировать объекты различных цветов, сваленные в кучу, и т. п. Предположим, мы теперь показываем ему кучу листьев, некоторые из которых бледно-красно-коричневые, другие бледно-зеленовато-желтые, и отдаем ему приказание: «Разложи красные и зеленые листья по разным кучам». Весьма возможно, что он разделит желто-зеленые листья и красно-коричневые. И вот следует ли нам сказать, что мы здесь употребляли слова «красный» и «зеленый» в некотором смысле, как в предыдущем случае, или мы употребляли их в другом, но сходном смысле? Какие причины можно предоставить для принятия последней точки зрения? Можно указать на то, что если попросить человека изобразить красное пятно, он определенно не станет изображать бледно-красно-коричневое пятно,

и поэтому можно сказать, что «красный» означает нечто различное в этих двух случаях. Но почему бы мне не сказать, что это было одно значение, но употреблялось оно, конечно, применительно к конкретным обстоятельствам?

Вопрос состоит в том, дополняем ли мы наше утверждение о том, что слово имеет два значения, утверждением, говорящим, что в одном случае оно имеет одно значение, а в другом — другое. В качестве критерия того, что слово имеет два значения, мы можем использовать тот факт, что слову были даны два объяснения. Так, мы скажем, что слово «bank» имеет два значения; поскольку в первом случае оно обозначает вещь такого рода (указываем, допустим, на берег (bank) реки), в другом же случае это вещь такого рода (указываем на Английский Банк). И вот то, на что я указываю, суть парадигмы для употребления слов. Нельзя сказать: «Слово “красный” имеет два значения, потому что в одном случае оно означает это (указываем на светло-красный), а в другом случае то (указываем на темно-красный)», если, так сказать, в нашей игре использовалась только одна остенсивная дефиниция слова «красный». Можно, с другой стороны, представить языковую игру, в которой два слова, скажем, «красный» и «красноватый», объяснялись бы посредством двух остенсивных дефиниций, первая показывала темно-красный объект, а вторая — светло-красный. То, сколько объяснений дается, два или только одно, зависит от естественных реакций людей, употребляющих язык. Мы могли бы обнаружить, что человек, которому мы дали остенсивное определение «Это называется “красным”» (указывая на некий красный предмет), вследствие этого принесет нам любой красный предмет любого размера и оттенка, если ему скажут: «Принеси мне что-нибудь красное!» Другой человек не сделает этого, но принесет предметы определенного размера и только того оттенка, который находится по соседству от указанного ему. Мы можем сказать, что этот человек «не видит того, что общего между различными оттенками красного цвета». Но помните, пожалуйста, что наш единственный критерий, это поведение, которое мы описываем.

Рассмотрим следующий случай: *В* обучили употреблению слов «светлее» и «темнее». Ему показывали предметы различных цветов и говорили, что этот цвет темнее, чем этот, тренируя его на то, чтоб он мог приносить предмет по приказу: «Принеси мне что-нибудь более темное, чем это», а также описывать цвет предмета, говоря, что этот темнее, а этот светлее определенного образца и т. д. и т. д. И вот ему дают задание взять ряд объектов и расположить их в порядке возрастания темноты. Он делает это, разложив определенным образом ряд книг, а также написав пять гласных в таком порядке — u, o, a, e, i. Мы спрашиваем его, почему он расположил буквы в таком порядке, и он говорит: «Ну, o светлее, чем

и, а е светлее, чем *о*». — Мы удивляемся его установке, но в то же время допускаем, что что-то есть в том, что он говорит. Возможно, мы скажем: «Но посмотри, конечно же *е* не светлее, чем *о* в том смысле, что одно выглядит светлее, чем другое» — Но он может пожать плечами и сказать: «Не знаю-не знаю, но *е* точно светлее, чем *о*, разве не так?»

Мы можем быть склонны исследовать этот случай как некоего рода аномалию и сказать: «*В* должен употреблять эти слова в другом смысле, с помощью которого он распределяет и цветные предметы, и гласные». А если мы попытаемся придать этой нашей идее ясность и эксплицитность, то мы придем к следующему: «Нормальный человек регистрирует степень светлоты и темноты визуальных объектов при помощи одного инструмента, а то, что называют светлотой и темнотой гласных — при помощи другого, в том смысле, что мы можем воспринимать лучи определенной волны нашими глазами и лучи другой волновой частоты нашим ощущением температуры. *В*, с другой стороны, хотим мы сказать, организует и звуки, и цвета при помощи лишь одного инструмента (органа чувств) (в том смысле, в котором фотоаппарат может воспринимать лучи такого уровня, которого мы можем достигнуть только при помощи двух органов чувств).

Такова приблизительно картина, стоящая за нашей идеей, что *В* должен «понимать» слово «темнее» по-другому, чем нормальный человек. С другой стороны, давайте рассмотрим вместе с этой картиной тот факт, что в нашем случае нет доказательства для «другого ощущения». — И фактически то, как мы употребляем слово «должен», когда говорим «*В* должен понимать это слово по-другому», уже показывает нам, что это предложение (в действительности) выражает нашу склонность смотреть на явления, которые мы наблюдаем, в свете картины, нарисованной в этом предложении.

«Но, безусловно, он употребил “светлее” в другом смысле, когда он сказал, что *е* светлее, чем *и*». — Что это означает? Различаете ли вы смысл, в котором он употребил слово, и употребление этого слова? То есть хотите ли вы сказать, что если кто-то употребляет слово подобно *В*, то вместе с различием в употреблении должно иметь место какое-то другое различие, коренящееся, скажем, в его сознании? Или все, что вы хотите сказать, это то, что безусловно употребление слова «светлее» было другим, когда оно использовалось применительно к гласным?

Теперь, тот ли факт, что употребления различаются тем или иным образом, и есть то, что вы описываете, когда указываете на определенные различия?

Что, если кто-либо сказал, указывая на два пятна, которые я назвал красными: «Вы, конечно, употребляете слово “красный” двумя различными способами»? — Я бы сказал на это: «Это светло-красный, а это темно-красный, — но почему я должен говорить о различных употреблениях?»

Конечно, легко указать на различия между той частью игры, в которой мы применяем «светлее» и «темнее» к цветным предметам, и той ее частью, в которой мы применяем эти слова к гласным. В первой части мы сравнивали два предмета, положив их друг перед другом и поглядывая то на один, то на другой, там было изображение более темного и более светлого оттенков, чем определенный данный образец; во второй части не было сравнения для глаза, не было изображения и т. д. Но когда эти различия отмечены, мы все еще вольны говорить о двух частях одной и той же игры (как мы только что делали) или же о двух разных играх.

«Но разве я не предполагаю, что отношение между более светлым и более темным кусочками материи отличается от отношения между гласными *e* и *u*, — подобно тому, как, с другой стороны, я полагаю, что отношение между *u* и *e* является идентичным отношению между *e* и *i*?» — При определенных обстоятельствах в этих случаях мы будем склонны говорить о различных отношениях, а при других обстоятельствах — об одних и тех же отношениях. Можно сказать: «Это зависит от того, как их сравнивать».

Зададим такой вопрос: «Скажем ли мы, что стрелки \rightarrow и \leftarrow указывают на одно и то же направление или на разные?» — На первый взгляд, вы можете быть склонны сказать: «Конечно, на разные». Но посмотрите на это следующим образом: «Если я смотрю в зеркало и вижу отражение своего лица, я могу взять это за критерий того, что я вижу свою собственную голову. Если с другой стороны, я вижу свое лицо на обратной стороне головы, я могу сказать: «Это не может быть моя голова, то, что я вижу, это голова, которая смотрит в противоположном направлении». И вот это может привести меня к тому, чтобы я сказал, что стрелка и отражение стрелки в зеркале имеют одно и то же направление, если наконечник одной указывает на хвост другой. Представим случай, в котором человека обучили обычному употреблению слова «одинаковый» (один и тот же) в случаях «один и тот же цвет», «один и тот же размер», «одна и та же длина». Он также обучен употреблять слово «указывать на» в таких контекстах, как «Стрелка указывает на дерево». И вот мы показываем ему две стрелки, направленные «лицом» друг к другу, и две стрелки, наконечник одной из которых смотрит в хвост другой, и спрашиваем его, к какому из этих случаев он применил бы выражение «Стрелки указывают одно направление». Не правда ли, легко представить, что если в его сознании превалируют определенные установки, он будет склонен сказать, что стрелки $\rightarrow\leftarrow$ указывают «одно направление»?

Когда мы слышим диатоническую гамму, мы склонны сказать, что после того, как пройдут семь нот, повторится та же нота, что идет вначале, и если нас спросят, почему мы называем ее той же самой нотой, мы можем ответить: «Ну, потому что это тоже “до”». Но это не то объяснение, которого

бы я хотел, поскольку я могу спросить: «Что заставляет вновь называть эту ноту “до”?» И ответ на мой вопрос, кажется, будет таким: «Хорошо, разве ты не слышишь, что это тот же самый звук, только октавой выше?» — Здесь мы также можем представить, что человека обучили употреблять слово «один и тот же» применительно к цветообозначениям, длине, направлению и т. д., и что вот мы играем диатоническую гамму для него и спрашиваем его, слышит ли он вновь те же ноты с определенными интервалами, и мы можем с легкостью представить различные ответы, например такой, — что он слышит одну и ту же ноту через каждые четыре или три ноты (т. е. он называет одной и той же нотой тонику, доминанту и октаву).

Если бы проделали этот эксперимент с двумя людьми *A* и *B*, и *A* применил выражение «та же самая нота» только к октаве, а *B* — к доминанте и октаве, имели бы мы право сказать, что эти двое людей слышат разные звуки, когда мы проигрываем им диатоническую гамму? — Если мы скажем, что это так, давайте проясним, хотим ли мы утверждать, что должно быть некоторое другое различие между этими двумя случаями, кроме только что описанного, или мы не хотим делать такого утверждения.

5. Все вопросы, рассматриваемые здесь, объединены такой проблемой: предположим, вы обучили кого-то записывать ряд чисел, в соответствии с правилом формы: всегда записывай число n большее, чем предыдущее. (Сокращенно это правило звучит как «Прибавь n ».) Числа в этой игре могут быть группами, состоящими из черточек |, ||, ||| и т. д. То, что я называю обучением этой игре, состоит, конечно, из предоставления общих объяснений и примеров. — Эти примеры берутся в диапазоне, скажем, от 1 до 85. И вот мы отдаем ученику приказ «Добавь 1». Через некоторое время мы наблюдаем, что после того, как он прошел 100, он сделал то, что мы бы назвали добавить 2; пройдя 300, он делает то, что мы бы назвали добавить 3. Мы говорим ему: «Разве я не сказал тебе всегда добавлять 1? Посмотри, что ты сделал, когда добрался до сотни!» — Предположим, ученик отвечает, указывая на числа 102, 104 и т. д.: «Ну, разве я не сделал именно это? Я думал, вы от меня хотели именно этого». — Вы видите, что вряд ли имеет смысл опять говорить ему: «Но разве ты не видишь...?», вновь указывая ему на правила и примеры, которые вы ему давали. Мы можем в этом случае сказать, что этот человек действительно понимает (интерпретирует) правило (и примеры), которые мы ему дали, подобно тому, как если бы мы поняли правило (и примеры), говорящее нам: «Добавьте 1 к 100, затем 2 к 200 и т. д.»

(Это может быть сходным со случаем человека, который противостоит приказу, данному ему посредством указывающего жеста, движущегося в направлении от плеча к кисти, в противоположном направлении. Понимание здесь означает то же самое, что реагирование.)

«Я предполагаю, что то, что вы говорите, сводится к тому, что для того, чтобы корректно следовать правилу “Прибавь 1”, на каждом новом этапе требуется новый инсайт, новая интуиция». — Но что это значит — следовать правилу *корректно*? Как и когда это решается, какой шаг является корректным и применительно к какой точке? — «Корректный шаг в каждой точке — это тот шаг, который находится в согласии с установленным правилом». — Я полагаю, что идея такова: когда вы формулируете правило «Прибавь 1» и подразумеваете его, вы подразумеваете, что после 100 пишется 101, после 198 — 199, после 1040 — 1041 и т. д. Но как вы осуществили эти действия подразумевания (я предполагаю, что их бесконечно много), когда вы формулировали правило? Или это неправильное представление правила? И скажете ли вы, что имело место лишь одно действие подразумевания, от которого, и тем самым из всех них, или некоторых из них, все и пошло? Но разве суть дела состоит не в этом: «Что следует из общего правила?» Вы можете сказать: «Безусловно я знал, когда формулировал правило, что я подразумевал, что после 100 должно следовать 101». Но здесь вы введены в заблуждение грамматикой слова «знать». Разве знание — это некий психический акт, посредством которого вы время от времени осуществляете переход от 100 к 101, некоторое действие, похожее на то, чтобы сказать себе: «Я хочу, чтобы он написал после 100 — 101»? В этом случае спросите себя, сколько таких действий вы совершали, когда вы формулировали ему правило. Или вы подразумеваете под знанием своего рода предрасположенность (*disposition*)? — тогда только опыт может научить нас, предрасположенностью к чему оно является. — «Но ведь безусловно, если меня спросят, какое число надо написать после 1568, я отвечу “1569”». — Осмелюсь сказать — если и так, то как вы можете быть уверены в этом? Ваша идея на самом деле заключается в том, что некоторым образом в таинственном акте *подразумевающего* правила вы осуществляете переводы, в действительности не осуществляя их. Вы пересекли все мосты раньше, чем подошли к ним. — Эта странная идея связана со специфическим употреблением слова «подразумевать». Предположим, наш испытуемый получил число 100 и написал после него 102. Вы бы тогда сказали: «Я *подразумевал*, что ты напишешь 101». И вот прошедшее время глагола «подразумевать» предполагает, что некий специфический акт подразумевания был произведен в то самое время, когда испытуемому давалось правило, хотя на самом деле это выражение не подразумевает такого акта. Прошедшее время могло бы быть объяснено посредством перевода предложения в форму «Если бы ты спросил меня, что я хочу, чтобы ты сделал на этой стадии, я бы сказал...». Но это лишь гипотеза, что вы действительно сказали это.

Чтобы прояснить все это, продумаем такой пример: некто говорит «Наполеон короновался в 1804 году». Я спрашиваю его: «Ты подразумеваешь

человека, который победил при Аустерлице?» Он говорит: «Да, я имею в виду его». — Означает ли это, что когда он «подразумевал его», он некоторым образом думал о Наполеоновой победе в сражении при Аустерлице? —

Выражение «Правило подразумевало, что он должен написать 101 после 100» заставляет подумать, что это правило, так, как оно подразумевалось, *предвещает* все переходы, которые нужно сделать в соответствии с ним. Но предположение о предвещании перехода не приведет нас никуда, потому что оно не наводит моста между ним и реальным переходом. Если одни только слова правила не могут предугадать будущего перехода, этого не смогут и никакие ментальные акты, сопровождающие эти слова.

Мы вновь и вновь встречаемся с этим смешным суеверием, как кто-то, может быть, склонен был бы его назвать, что ментальное действие способно перейти через мост, прежде, чем мы доберемся до него. Эта трудность возникает всегда, когда бы мы ни пытались думать об идеях мышления, желания, ожидания, веры или полагания, знания, пытаясь разрешить математическую задачу, при математической индукции и т. п. Не существует такого акта инсайта, интуиции, который заставляет нас употреблять правило, как мы это делаем в особых точках ряда. Было бы менее ошибочно называть это действие решением, хотя и это не совсем правильно, потому что ничто, похожее на акт решения, не должно иметь здесь места, но, возможно, просто акт написания или говорения. И ошибка, которую мы здесь, как и в тысяче подобных случаев, склонны совершать, означена словом «заставлять», как мы его употребляем в предложении «Нет никакого акта прозрения, который заставляет нас использовать правило так, как мы его используем», потому что здесь есть идея, что «нечто должно заставить нас» делать то, что мы делаем. И это вновь присоединяется к смешению между поводом и причиной. *Мы не нуждаемся ни в какой причине, чтобы следовать правилу так, как мы ему следуем.* Цепь причин имеет конец.

Теперь сравним такие предложения: «Безусловно, если после 100 вы пишете 102, 104, это является использованием правила “Прибавь единицу” совершенно другим образом» и «Безусловно, это является употреблением слова “темнее” совершенно другим образом, если после применения его к цветным пятнам мы применяем его к гласным». — Я бы сказал на это: «Это зависит от того, что вы называете “совершенно другим образом”».

Но я бы определенно сказал, что *назвал* бы применение слов «светлее» и «темнее» по отношению к гласным «другим употреблением слов»; и я бы также продолжил ряд «Добавь один», как 101, 102 и т. д. Но не для того или не обязательно для того, чтобы оправдать чье-то чужое психическое действие.

6. Существует определенного рода общая болезнь мышления, которая всегда ищет (и находит) то, что может быть названо ментальным состоя-

нием, из которого выскакивают все наши действия, как из резервуара. Так, кто-то говорит: «Мода меняется, потому что меняются вкусы людей». Вкусы — это ментальный резервуар. Но если портной сегодняшнего дня делает покрой платья, которое он шьет, иным, чем он был год назад, можем ли мы сказать при этом, что мы имеем дело с полным или частичным изменением его собственного вкуса, которое заставляет его поступать именно так?

И здесь мы скажем: «Но безусловно покрой нового платья не является сам по себе изменением чьего-то вкуса — так же, как говорение не есть автоматически подразумевание того, что ты говоришь, — так же, как произнесение слов, что я во что-то верю, не есть сама вера; должны быть ощущения, ментальные акты, сопровождающие эти последовательности и эти слова». — А причина, по которой мы утверждаем, что человек запросто мог бы придумать покрой нового платья, не изменив своего вкуса, говорит, что он полагает нечто, не полагая этого, и т. д. И очевидно, что это так. Но из этого не следует, что то, что разграничивает случай перемены чьего-то вкуса от случая, когда этого не происходит, при определенных обстоятельствах просто не кроит того, что до него не кроили. Так же из этого не следует, что в случае, в котором покрой нового платья не является критерием перемены вкуса, критерием должны быть изменения в каких-то других областях сознания.

То есть мы не употребляем слово «вкус» как имя ощущения. Думать, что мы так делаем, значит представлять языковую практику чрезвычайно упрощенно. Это, конечно, и есть путь, на котором возникают философские загадки; и наш случай вполне аналогичен тому, при котором думают, что когда бы мы ни делали предикативного суждения, мы утверждаем, что предмет имеет определенный ингредиент (что мы в действительности делаем в случае «Пиво содержит алкоголь»).

Для исследования нашей проблемы выгодно рассмотреть параллели между ощущением или ощущениями, характерными для обладания определенным вкусом, перемены чьего-то вкуса, подразумевания того, что говорится, и т. д. и т. д., и выражением лица (жестами или тоном голоса), характерным для тех же состояний или событий. Если кто-то возразит, сказав, что ощущения и выражения лица нельзя сравнивать, так как первые суть переживания, а вторые — нет, то пусть он рассмотрит мускульные, синестетические и тактильные переживания и сравнит их с жестами и выражениями лица.

7. Рассмотрим пропозицию: «Вера во что-то не просто заключается в произнесении слов, что ты веришь в это, вы должны произнести их с особым выражением лица, жестом и голосовой интонацией». Теперь несомненно, что мы рассматриваем определенные выражения лица, жесты и т. д.

как характеризующие выражение веры. Мы можем говорить об «интонации осуждения». И ясно при этом, что эта интонация осуждения не всегда имеет место, когда мы говорим с осуждением. «Вот именно, — можете вы сказать, — это показывает, что существует нечто другое, нечто, сопровождающееся нашими жестами и т. д., что является подлинной верой, в противопоставлении просто выражению веры». — «Вовсе нет, — возражу я, — много различных критериев разграничивают при определенных обстоятельствах случаи веры в то, что вы говорите, от тех случаев, когда вы не верите в то, что говорите». Могут быть случаи, когда присутствие ощущения, не связанного с жестами, интонацией и т. д., разграничивает тот факт, что вы подразумеваете то, что говорите, от того факта, что вы этого не подразумеваете. Но порой то, что разграничивает эти два случая, не является ничем, что происходит, пока мы говорим, но является многообразием действий и переживаний различных типов, совершающихся до или после говорения.

Чтобы понять это семейство случаев, будет опять-таки полезно рассмотреть аналогичный случай лиц, имеющих определенные выражения. Существует семейство дружелюбных выражений лица. Предположим, нас спросили: «Какая особенность характеризует дружелюбное выражение лица?» Вначале можно подумать, что существуют определенные черты, которые можно назвать дружелюбными чертами, каждая из которых заставляет лицо выглядеть до определенной степени дружелюбно и которые, представленные в огромном количестве, формируют дружелюбное выражение. Эта идея кажется порожденной обыденной речью, разговорами о «дружелюбных глазах», «дружелюбном взгляде» и т. д. Но легко видеть, что одни и те же глаза, о которых мы скажем, что они позволяют лицу выглядеть дружелюбным, не будут выглядеть дружелюбно или даже наоборот — будут выглядеть недружелюбно — в сочетании с морщинами на лбу, черточками вокруг рта и т. д. Почему мы вообще говорим, что именно эти глаза выглядят дружелюбно? Разве это не ошибка — говорить, что они характеризуют лицо как дружелюбное, поскольку, если мы говорим, что они характеризуют его «при определенных обстоятельствах» (эти обстоятельства сами по себе являются особенностями, характеризующими лицо), почему мы выделяем одну особенность из других? Ответ состоит в том, что в обширном семействе дружелюбных лиц существует то, что можно назвать главной ветвью, одна из которых может характеризоваться определенным типом глаз, другая — определенным типом рта и т. д.; хотя в огромном семействе недружелюбных лиц мы встретим те же самые глаза, и они отнюдь не будут смягчать недружелюбность выражения лица. — Более того, существует факт, что, когда мы замечаем дружелюбное выражение лица, наше внимание, наш пристальный взгляд направлен на определенные особенности лица, «дружелюбные глаза»

или «дружелюбные губы», и т. д., и что мы не останавливаемся на других особенностях, хотя они тоже отвечают за дружелюбное выражение.

«Но разве нет никакой разницы между тем, чтобы сказать нечто и подразумевать это, и между тем, чтобы сказать это, не подразумевая того же?» — Это различие не является необходимым, когда он говорит это, если же оно имеет место, различие это может быть всех видов и различных типов в соответствии с окружающими обстоятельствами. Из того факта, что существует то, что мы называем дружелюбным и недружелюбным выражением глаза, никак не следует, что должно быть различие между глазом дружелюбного и глазом недружелюбного лица.

Кто-то может быть склонен сказать: «Об этой черте нельзя сказать, что она придает лицу дружелюбное выражение, так как этому противоречит другая черта». Это все равно что сказать: «Произнесение чего-то с интонацией осуждения не является характеристикой осуждения, так как это может противоречить переживанию, которое сопровождает этот акт». Но ни одно из этих предложений не является правильным. Верно, что другие черты этого лица могут не соответствовать дружелюбному характеру этого глаза, но на этом лице есть еще один глаз, который является безупречно дружелюбным.

Существуют такие выражения, как «Он сказал это и подразумевал это», которые в наибольшей степени приспособлены к тому, чтобы заводить нас в тупик.

Сравним значение предложения «Я буду счастлив видеть вас» со значением предложения «Поезд приходит в 3.30». Предположим, что вы сказали первую фразу кому-либо и вас спросили после этого: «И вы подразумевали это?», тогда вы, вероятно, задумаетесь о своих чувствах, переживаниях, которыми вы обладали, когда произносили фразу «Я буду счастлив видеть вас». И соответственно вы бы в этом случае склонны были сказать: «Разве вы не видели, что я действительно подразумевал то, что говорю?» Предположим, что, с другой стороны, после того, как вы предоставили кому-либо информацию о том, что «поезд приходит в 3.30», он спросил вас: «Вы действительно подразумевали то, что вы говорили?», на это вы были бы склонны ответить: «Конечно. Почему бы мне не подразумевать этого?»

В первом случае мы будем склонны говорить о чувственной характеристике значения того, что мы сказали, но не во втором. Сравним также своеобразие того, что было бы ложью в обоих этих случаях. В первом случае мы были бы склонны сказать, что ложь состояла в том, что вы говорили не испытывая соответствующих чувств или даже с противоположными чувствами. Если бы мы лгали, давая информацию о поезде, мы должны были бы обладать другими переживаниями, чем те, которые мы испытывали, давая

правдивую информацию, но различие здесь не состояло бы в отсутствии характерного чувства, но, возможно, просто в наличии чувства дискомфорта.

Возможно даже, что лгущий обладает достаточно сильным переживанием того, что может быть названо характерным для подразумевания того, что он говорит — а также, при определенных обстоятельствах, а возможно, и при нормальных обстоятельствах, он соотносится с этим переживанием посредством слов «Я подразумевал то, что говорил», потому что случаи, в которых нечто может придавать ложь этому переживанию, не входят в наше рассмотрение. Во многих случаях поэтому мы склонны сказать: «подразумевание того, что я сказал» означает обладание такими-то и такими-то переживаниями в то время, когда я говорил это.

Если под «полаганием» (верой) мы подразумеваем действие, процесс, имеющий место, когда мы говорим, что мы полагаем (верим), мы можем сказать, что полагание есть нечто похожее или тождественное выражению полагания.

8. Интересно рассмотреть возражение на это: что, если я сказал «Я полагаю, что пойдет дождь» (подразумевая то, что я сказал), а кто-то захотел объяснить французу, не понимающему по-английски, что это такое, что я полагаю. Тогда, можете вы сказать, если все, что произошло, когда я полагал, заключалось в том, что я произнес предложение, то этот француз должен будет узнать в чем суть того, что я полагаю, если вы в точности передадите ему мои слова, которые я употребил, или скажете «Il croit "Будет дождь"». Но ясно же, что это не скажет ему, что я полагал, и следовательно, можете вы сказать, мы потерпели неудачу в том, чтобы передать ему, в чем заключалась суть подлинного акта моего полагания.— Но ответ состоит в том, что даже если мои слова сопровождалась всеми возможными переживаниями, и если бы мы могли перевести эти переживания на французский язык, все равно француз не узнал бы, в чем заключался феномен того, что я полагал, что будет дождь. Ибо «знание того, что я полагал», не просто означает: чувствовать то, что я делал, говоря это; так же, как знание того, что я намеревался сделать этот ход в шахматной игре, не означает знания точного состояния моего сознания в тот момент, когда я начинаю делать ход. Хотя в то же время в определенных случаях знание этого состояния сознания может снабдить вас весьма точной информацией относительно моего намерения.

Мы сказали, что сообщили бы французу о том, в чем заключается мое полагание, если бы перевели мои слова на французский язык. И *может* быть, что тем не менее мы не сообщили бы ему ничего даже косвенно о том, что происходило «во мне», когда я утверждал, что полагаю, что пойдет дождь. Скорее, мы указали бы ему на предложение, которое в его языке занимает то же место, что мое предложение в английском языке. — Опять-таки мож-

но сказать, что, по крайней мере в определенных случаях, мы могли бы сказать ему гораздо более точно, в чем заключалось мое полагание, если бы он свободно владел английским языком, потому что тогда он знал бы точно, что происходило внутри меня, когда я произносил эту фразу.

Мы употребляем слова «подразумевание», «полагание», «намерение» таким образом, что они соотносятся с определенными действиями, состояниями сознания, характерными при определенных обстоятельствах; так же, как посредством выражения «объявить кому-либо шах и мат» мы соотносимся с актом нанесения угрозы его королю. Если, с другой стороны, кто-либо, скажем, ребенок, играя с шахматистом, расположит несколько фигур на шахматной доске, не обращая никакого внимания на угрозу королю своего противника, то мы бы не сказали, что ребенок объявил кому-то шах и мат. — И здесь также можно подумать, что то, что разграничивает этот случай и реальное объявление шаха и мата, происходит в сознании ребенка.

Предположим, я сделал ход в шахматах и кто-то спросил меня: «Ты хотел поставить ему мат?», и я отвечаю: «Хотел», и тогда он спрашивает меня: «Откуда ты знаешь, что ты действительно этого хотел, если все, что ты *знаешь*, это то, что происходило внутри тебя, когда ты делал ход?», и я могу ответить: «В *этих* обстоятельствах это было намерением поставить ему мат».

9. То, что имеет силу для «подразумевания», сохраняет ее и для «думания». — Мы очень часто находим невозможным думать без того, чтобы половину не проговаривать вслух — и никто из тех, кого попросят описать, что произошло в этом случае, никогда не скажет, что нечто — мышление — сопровождало говорение, и что отнюдь не пара глаголов «говорение» / «думание» привела его к тому, что произошло, а также не те многие наши обычные фразы, в которых их употребления идут параллельно. Рассмотрим такие примеры: «Подумай прежде, чем сказать!», «Он говорит, не думая», «То, что я сказал, не в полной мере выражает мою мысль», «Он сказал одно, а подумал как раз противоположное», «Я не подразумевал ни одного слова из того, что я сказал», «Во французском языке слова следуют в том же порядке, что и мысли».

Если о чем-то в этом случае и можно сказать, что оно сопровождает говорение, то это будет нечто вроде модуляции голоса, изменений в тембре, акцентуация, и т. п., — все, что можно назвать способами выразительности. Некоторые из этих способов, такие как интонация голоса и ударение, никто по очевидным причинам не назовет сопровождающими речи; а такие способы выразительности, как игра выражениями лица или жестами, о которых можно сказать, что они сопровождают речь, никто и не подумает назвать элементами мышления.

10. Давайте возвратимся к нашему примеру употребления слов «светлее» и «темнее» применительно к цветным предметам и гласным. Причи-

на, по которой мы склонны были сказать, что здесь имеются два разных употребления, а не одно, состояла в следующем: «Мы не думаем, что слова “темнее” и “светлее” действительно выражают отношения между гласными, мы лишь чувствуем сходство между отношением звуков и более темными и более светлыми цветами». И вот, если вы хотите понять, какого рода это ощущение, попытайтесь без всякого предварительного предисловия спросить кого-то: «Произнеси гласные а, е, і, о, u в порядке увеличения их темноты». Если я спрашиваю это, я определенно говорю с другой интонацией, чем та, с которой я скажу: «Распредели эти книги в порядке увеличения темноты их обложек»; а именно, я сказал бы это, запынаясь, с интонацией, похожей на нечто вроде: «Хотелось бы, чтобы ты понял меня», и возможно, хитро улыбаясь, произнося эту фразу. И если что-то и будет описывать мои *ощущения*, так только это.

И это приводит меня к следующему пункту: когда кто-то спрашивает меня: «Какого цвета вон та книга?», я говорю «Красная», тогда он спрашивает: «Что заставляет тебя назвать этот цвет “красным”?», и я в большинстве случаев отвечаю: «Да ничего меня не *заставляет*. Здесь нет никакой *причины*. Просто я посмотрел на нее и сказал: “Она красная”». Тогда кто-то будет склонен сказать: «Безусловно, это не все, что произошло; потому что я мог мы смотреть на предмет какого-то цвета и произнести какое-то слово и тем не менее не назвать имя этого цвета». И потом он может быть склонен продолжить и сказать: «Слово “красный”, когда мы произносим его, называя цвет, на который мы смотрим, *приходит к нам специфическим образом*. Но, в то же время, если кого-то спросить: «Можешь ли ты описать тот способ, который ты имеешь в виду?» — никто не будет готов дать *какое-либо* описание. Предположим, теперь мы спросим: «Ты вообще помнишь, что название цвета приходило к тебе *тем специфическим образом*, когда ты называл цвета в предшествующих случаях?» — он должен будет согласиться с тем, что не помнит того специфического способа, при помощи которого все это происходило. На самом-то деле его можно легко побудить увидеть, что название цвета могло сопровождаться всеми возможными видами различных переживаний. Сравним это с такими случаями: а) Я кладу железо на огонь, чтобы оно накалилось докрасна. Я прошу вас наблюдать за железом и хочу, чтобы вы сообщали мне время от времени какой степени *накаливания* оно достигло. Вы смотрите и говорите: «Оно начинает быть светло-красным». б) Мы стоим на уличном перекрестке, и я говорю: «Наблюдайте за зеленым светом. Когда он появится, скажите мне, и я перебегу улицу». Задайте себе такой вопрос: если в одном из подобных случаев вы закричали: «Зеленый!», а в другом случае — «Беги!», приходят ли к вам эти слова одним и тем же способом или разными? Можно ли что-либо сказать об этом в общем и целом? с) Я спрашиваю вас: «Какого цвета лоскут мате-

рии, который вы держите в руках?» (я не могу его видеть). Вы думаете: «Как же он называется? “Берлинская лазурь” или “индиго”?»

И вот очень важно, что когда в философской беседе мы говорим: «Название цвета приходит к нам специфическим образом», мы не заботимся о том, чтобы подумать о многих различных случаях и способах, при помощи которых приходит это название. — И наш главный аргумент на самом деле заключается в том, что название цвета — это нечто другое, чем просто произнесение слова в некотором другом случае, когда смотришь на цвет. Так, можно сказать: «Предположим, мы считаем предметы, лежащие на столе — синий, красный, белый и черный — и, глядя на каждый, говорим: “Один, два, три, четыре”». Не правда ли, легко видеть, что здесь происходит нечто другое по сравнению со случаем, когда мы произносим просто слова и когда мы называем кому-то цвета предметов? И разве мы не можем с тем же правом, что в предшествующем случае, сказать: «Разве ничего больше не происходит, когда мы называем числа, а не просто произносим их, глядя на предметы»? И вот на этот вопрос можно дать два ответа. Первый: без сомнения, по крайней мере, в большинстве случаев, подсчитывание предметов будет сопровождаться переживаниями, отличными от тех, которые сопровождают называние цветов этих предметов. Легко приблизительно описать, в чем состоит различие. Счет сопровождается определенной жестикულიацией — загибанием пальцев или киванием головой. Существует, с другой стороны, переживание, которое можно назвать «концентрацией чьего-то внимания на цвете», достигая полного впечатления от этого. И это такого рода вещи, которые вспоминают, когда говорят: «Легко видеть, что происходит нечто разное, когда мы считаем предметы и когда называем их цвета». Но не является никоим образом необходимым, что определенные особые переживания в большей или меньшей степени характерны для того, что имеет место при счете, когда мы считаем, а не для того, что имеет место при пристальном рассматривании цвета, когда мы смотрим на предметы и называем их цвета. Верно, что процесс счета четырех предметов и процесс называния их цветов будут в целом, по крайней мере в большинстве случаев, различными, — это-то нас и поражает; но это вовсе не означает, что мы знаем, что в этих двух случаях каждый раз происходит нечто различное, когда мы произносим число, с одной стороны, и называем цвет с другой.

Когда мы философствуем о такого рода вещах, мы почти без вариантов проделываем нечто вроде следующего: мы повторяем для себя определенное переживание, скажем, глядя пристально на определенный предмет и пытаясь «прочитать» его, как если бы это было название цвета. И вполне естественно, что, проделывая это снова и снова, мы были бы склонны сказать: «Когда мы говорим слово “синий”, происходит нечто особое». Поскольку мы сознаем, что проходим вновь и вновь через

один и тот же процесс. Но спросим себя: является ли это тем же процессом, через который мы обычно проходим, когда в различных случаях — не философия — мы называем цвет предмета?

11. Проблема, над которой мы размышляем, также возникает при встрече думания с волеием, преднамеренного и невольного действий. Подумаем над следующими примерами: я намереваюсь поднять определенный, довольно тяжелый вес, решаюсь сделать это, затем прикладываю к нему свою силу и поднимаю его. Здесь, вы можете сказать, мы имеем вполне законченный случай волевого и намеренного действия. Сравним его с таким случаем, когда человек, зажегший спичку и давший прикурить другому человеку, видит теперь, что хочет прикурить сам; или опять-таки случай движения руки при письме, или движения губ, гортани и т. д. во время говорения. — И вот когда я назвал первый случай вполне законченным случаем волеия, я намеренно использовал это заводящее в тупик выражение. Ибо это выражение указывает на то, что кое-кто склонен думать о волеии, рассматривая такого рода случай как наиболее ясно представляющий типичные характеристики волеия. Берут свои идеи и свой язык, связанный с волеием, из этого примера и думают, что могут применить — пусть и не таким очевидным образом — ко всем случаям, которые можно назвать случаями волеия. — Это тот же случай, который мы встречаем снова и снова: формы выражения нашего обыденного языка заполняют наиболее очевидно определенные, весьма специфические применения слов «волеие», «мышление», «значение», «чтение» и т. д. и т. д.

И, таким образом, мы можем назвать случай, в котором человек «сначала думает, а потом говорит», наиболее законченным случаем мышления, а случай, в котором человек произносит вслух слова, которые он читает, наиболее законченным случаем чтения. Мы говорим об «акте волеия» как отличном от действия, которое совершается посредством воли, и в нашем первом примере много различных актов, ясно отграничивающих этот случай от того случая, в котором все, что происходит, это то, что рука поднимает вес: там есть приготовления к намерению и решению, там есть усилия поднятия, но где мы найдем аналогии к этим процессам в наших других примерах и в тех бесконечных примерах, которые мы можем дать?

И вот, с другой стороны, говорилось, что, когда человек, скажем, встает с кровати поутру, все, что происходит, может быть следующим: он размышляет: «Не пора ли вставать?», пытается привести в порядок свое сознание и затем вдруг *он обнаруживает, что он уже встает*. Описывая его действия таким образом, мы подчеркиваем отсутствие акта волеия. И вот, во-первых: где мы найдем прототип этого, т. е. как мы приходим к идее такого акта? Я думаю, что прототип акта волеия — это переживание мускульного усилия. — И вот существует нечто в вышеприведенном

описании, что пытается противостоять этому; мы говорим: «Мы не просто “находим” нечто, что пытается противостоять этому; мы говорим: “Мы не просто “находим”, наблюдаем себя встающими, как если бы мы наблюдали со стороны что-то еще! Это не похоже, скажем, на наблюдение за действием рефлекса. Если, например, я сажусь боком к стене, моя рука, которая расположена со стороны стены, тыльной стороной кисти прикасается к стене, и если теперь я, держа свою руку жестко, нажимаю тыльной стороной ладони на стену, делая это с приложением всех усилий своей дельтовидной мышцы, и если затем я быстро отступлю от стены, оставляя свою руку висеть свободно, то рука без всякого усилия с моей стороны начнет подниматься; это тот случай, когда будет уместным сказать: “Я обнаруживаю свою руку поднимающейся”».

И вот здесь вновь ясно, что существует много поразительных различий между случаем наблюдения, как поднимается моя рука в этом эксперименте, или наблюдением за кем-то, кто встает с постели, и случаем обнаружения того, что я встаю. Например, в этом случае совершенно отсутствует то, что можно назвать неожиданностью, я не *смотрю* на свои собственные движения, как я могу смотреть на кого-то, кто ворочается в постели, например, и говорю себе: «Он что, собирается вставать?» Существует различие между волевым актом вставания с постели и невольным поднятием моей руки. Но это не обычное различие между так называемыми волевыми и неволевыми актами, где определяющим является присутствие или отсутствие одного элемента, «акта воления».

Описание вставания с постели, при котором человек говорит: «Я просто обнаруживаю себя встающим», предполагает, что он хочет сказать, что он *наблюдает* себя встающим. А мы можем с определенностью сказать, что установка на наблюдение отсутствует в этом случае. Но установка на наблюдение опять-таки не является неким продолжающимся состоянием сознания или чего-то другого, в чем мы пребываем все время, пока наблюдаем. Скорее, существует семейство групп действий и переживаний, которые мы называем установками на наблюдение. Грубо говоря, можно сказать, что элементы наблюдения существуют в любопытстве, наблюдательном ожидании, неожиданности, и при этом можно сказать, что существуют выражения лица и жесты, выражающие любопытство, ожидание и неожиданность; и если вы согласны с тем, что существует более чем одно выражение лица, характерное для каждого из этих случаев, и что могут существовать случаи, в которых нет никаких характерных выражений лица, вы признаете, что каждому из этих трех слов соответствует *семейство* явлений.

12. Если я сказал: «Когда я сказал ему, что поезд отходит в 3.30, полагая, что так оно и есть, ничего не произошло сверх того, что я употребил предложение», и если кто-либо возразит мне, говоря: «Но, конечно, это

не может быть всем, что произошло, как если бы ты мог “просто произнести предложение”, не веря в то, что говоришь», мой ответ будет: «Я не хотел говорить, что нет разницы между тем, когда говоришь, полагая истинность того, что ты говоришь, и когда говоришь, не веря в то, что ты говоришь; но пара «полагание/отсутствие полагания» относится к разнообразным различиям в различных случаях (различия формируют семью), а не к одному различию между присутствием и отсутствием определенного ментального состояния».

13. Рассмотрим разнообразные характеристики волевых и не волевых действий. В случае поднятия тяжестей наиболее характерными являются разнообразные переживания усилия, которые очевидны, когда вы поднимаете тяжесть посредством волеизъявления. С другой стороны, сравним это со случаем письма также посредством волеизъявления, где в большинстве обычных случаев не будет никакого усилия; и даже если вы чувствуете, что от письма утомляются руки и напрягаются мышцы, это не является переживанием «толкания» и «сжимания», которые мы назвали бы типичными волевыми действиями. Сравним далее поднятие руки, когда вы вместе с ее поднятием поднимаете тяжесть или когда вы показываете на какой-то предмет, расположенный сверху по отношению к вам, — все это определенно надо рассматривать как волевое действие, хотя элемент усилия в нем почти отсутствует; на самом деле, это поднятие руки, показывающей на объект, чрезвычайно похоже на поднятие глаза, смотрящего на объект, и здесь мы с трудом можем усмотреть какое-либо усилие. — Теперь давайте опишем неволевой акт поднятия вашей руки. Существует такой случай в нашем эксперименте, характеризующийся полным отсутствием мускульного напряжения, но при этом наличием наблюдательной установки по отношению к поднятию руки. Но мы просто видели случай, в котором мускульное напряжение отсутствовало, а существуют случаи, применительно к которым мы назвали бы действие волевым, хотя мы сохраняем наблюдательную установку по отношению к нему. Но в огромном классе случаев просто невозможно занять наблюдающую позицию по отношению к определенному действию, которое характеризует волевой акт. Попробуйте, например, понаблюдать за своей рукой, которая поднимается, когда вы посредством волеизъявления поднимаете ее. Конечно, вы видите, как она поднимается; но вы не можете каким-либо образом следовать за ней посредством своего глаза. Это можно прояснить, если вы сравните два разных случая следования линии на листе бумаги посредством глаза; а) некая хаотическая кривая вроде этой:



b) написанное предложение. Вы обнаружите, что в случае а) глаз как бы попеременно скользит и увязает, в то время как, читая предложение, он плавно пробегает по его поверхности.

Теперь рассмотрим случай, в котором мы действительно имеем дело с наблюдательной установкой, я имею в виду весьма поучительный случай попытки нарисовать квадрат с диагоналями, расположив на бумаге зеркало и направляя свою руку на то, что вы видите, глядя в зеркало. И здесь кто-то будет склонен сказать, что наши подлинные *действия*, те, к которым непосредственно прилагается наша воля, это не движения нашей руки, но нечто, находящееся далеко позади, скажем, действия наших мускулов. Мы склонны сравнить этот случай со следующим: представим, что перед нами находится ряд рычагов, при помощи которых посредством скрытого механизма мы можем направлять карандаш, рисующий на листе бумаги. Мы можем тогда сомневаться, какие рычаги задействовать для того, чтобы достичь желаемого движения карандаша; и мы могли бы сказать, что *намеренно* двинули этот конкретный рычаг, хотя мы не собирались намеренно достичь неверного результата, которого мы этим движением достигли. Но это сравнение, хотя его легко представить себе, заводит в тупик. Потому что в случае с рычагами, которые мы видим перед собой, была такая вещь, как решение, которое мы должны были принять, прежде чем толкать рычаг. Но разве наша воля есть как бы игра на клавиатуре мускулов, выбирающая, какой из них следует за другим? — Для некоторых действий, которые мы называем намеренными, характерно, что мы в некотором смысле «знаем, что мы собираемся делать» прежде, чем делаем это. В этом смысле мы говорим, что знаем, на какой предмет мы собираемся указать, и то, что мы можем назвать «актом знания», может состоять в том, что мы смотрим на предмет прежде, чем указываем на него или описываем его местоположение при помощи слов или картинок. Теперь мы можем описать наше рисование квадрата через зеркало, сказав, что наши действия были преднамеренными до той степени, до какой они рассматривались в их двигательном аспекте, но не до той степени, до какой они рассматриваются в визуальном аспекте. Это может быть, например, продемонстрировано посредством нашей способности повторять движение руки, которая произвела неправильный результат, когда нам сказали сделать это. Но, очевидно, было бы абсурдно говорить, что этот двигательный характер волевого жеста состоит из нашего знания, предшествующего тому, что мы собирались делать, как если бы мы имели перед нашим мысленным взором картину синестетического ощущения и решили вызвать это ощущение. Вспомним эксперимент, в котором субъект переплетал пальцы; если здесь вместо того, чтобы указывать с определенного расстояния на палец, которым вы хотите,

чтобы он двигал, вы дотрагиваетесь до этого пальца, он всегда сможет пошевелить им без малейших трудностей. И здесь возникает соблазн сказать: «Конечно, я могу им сейчас пошевелить, потому что сейчас я знаю, каким пальцем меня попросили пошевелить». Это как если бы я сейчас показал бы вам, какие мускулы надо сократить, чтобы вызвать ожидаемый результат. Слово «конечно» заставляет подумать, как будто, коснувшись вашего пальца, я дал вам единицу информации, говорящую вам, что делать. (Как если бы в нормальном случае, когда вы говорите человеку, чтобы он пошевелил таким-то и таким-то пальцем, он может последовать вашему приказу, потому что он знает, как вызвать это движение.)

(Интересно подумать над случаем потягивания жидкости через трубочку; если спросить, какой частью вашего тела вы сосете, вы будете склонны ответить, что губами, хотя фактически это прodelывается мускулами, которые приводят в действие ваше дыхание.)

Давайте теперь спросим себя, что бы мы назвали «невольным говорением». Сначала отметим, что, когда вы нормально говорите, волеизъявительно, вы с трудом можете описать, что происходит, говоря, что актом воли вы приводите в движение свои губы, язык, гортань и т. д. как способ производства определенных звуков. Что бы ни происходило с вашими губами, гортанью и т. д. и какие бы ощущения вы ни наблюдали в этих органах, когда говорите, даже если они кажутся вторичными явлениями, сопровождающими производство звуков и волю, кто-то все равно захочет сказать, что он оперирует со звуками самими по себе, без какого-либо опосредующего механизма. Это показывает, как утрачивается идея носителя воления.

Теперь о невольном говорении. Представьте, что вы должны описать подобный случай — что бы вы сделали? Существует, конечно, случай говорения во сне; он характеризуется действиями, которые не осознаются и не вспоминаются после того, как они имели место. Но это, очевидно, не то, что бы вы назвали характерным для невольного действия.

Более удачный пример невольного говорения, я думаю, это ряд невольных восклицаний: «О!», «Помогите!» и т. п., и эти примеры подобны в чем-то крикам от боли. (Это, между прочим, может побудить нас подумать о «словах как выражениях ощущений».) Кто-то может сказать: «Конечно, это прекрасные примеры невольной речи, потому что в этих случаях нет не только акта воления, посредством которого мы говорим, но во многих случаях мы произносим эти слова *против* своей воли». Я бы сказал: «Я безусловно назвал бы это невольным говорением; и я согласен, что акт волеизъявления, подготавливающий или сопровождающий эти слова, отсутствует, — если под “актом волеизъявления” вы подразумеваете определенные действия намерения, преднамеренности или усилия. Но тогда во многих случаях волевой речи я тоже не найду усилия, более

того, я скажу, что воля может быть непреднамеренной, и я не знаю каких-либо актов намерения, предшествующих ей».

Крик боли, вырвавшийся против воли, можно было бы сравнить с поднятием руки против воли, когда кто-то поднимает ее, когда мы боремся с ним, но важно заметить, что воля — или, мы бы сказали, «желание» — не кричать побеждает не тем путем, каким побеждает наше сопротивление силу нашего противника. Когда мы кричим против воли, для нас самих это как бы становится неожиданностью, как если бы кто-то неожиданно приставил ружье к нашим ребрам искомандовал «Руки вверх!»

14. Рассмотрим теперь следующий пример, которой окажет большую помощь всем нашим аналитическим усилиям: для того, чтобы понять, что происходит, когда некто понимает слова, мы играем в такую игру: у вас есть список слов, отчасти эти слова принадлежат родному языку, отчасти — языкам, мне совершенно неизвестным (или, что то же самое, бессмысленные слова, изобретенные на ходу). Некоторые слова моего родного языка являются словами обыденного ежедневного употребления — такие, как «дом», «стол», «человек» — это то, что мы можем назвать примитивными словами, они находятся среди слов, которые первыми выучивает ребенок, а другие — это слова специфической детской речи, такие, как «мама», «папа». Среди них также более или менее обычные технические термины, такие как «карбюратор», «динамо», «запал», и т. д. и т. д. Все эти слова читаются мне и после каждого слова я должен сказать «да» или «нет» в соответствии с тем, понимаю ли я слово или нет. Тогда я стараюсь вспомнить, что происходило в моем сознании, когда я воспринимал те слова, которые я понял, и те, которые я не понял. И здесь вновь будет полезно рассмотреть специфическую интонацию голоса и выражение лица, с которым я говорю «да» и «нет» вместе с так называемыми ментальными событиями. — И вот нас может удивить, если мы обнаруживаем, что хотя этот эксперимент покажет нам множество различных характерных переживаний, он не покажет нам какое-либо переживание, которое мы были бы склонны назвать переживанием понимания. Там будут такие переживания, как: я слышу слово «дерево» и говорю «да» с интонацией и ощущением «конечно»; или я слышу «подтверждение» — я говорю себе: «Дай-ка подумаю», с трудом вспоминаю помогающий случай и говорю «да»; я слышу «приспособление», я представляю человека, который всегда употреблял это слово, и говорю «да»; я слышу «мама», оно поражает меня как забавное и детское — «да». Иностранное слово я очень часто буду переводить в уме на английский прежде, чем ответить. Я слышу «спинтарископ» и говорю себе: «Это должно быть какой-нибудь технический инструмент», возможно, пытаюсь понять его значение из его словообразовательной структуры, ничего не получается, и я говорю «нет». В другом случае я могу сказать се-

бе: «Звуки, напоминающие китайский язык» — «нет», и т. д. С другой стороны, будет большой класс случаев, в которых я не отдаю себе отчета в том, что происходит кроме того, что я слышу слово и произношу ответ. И будут также случаи, в которых я вспоминаю переживания (ощущения, мысли), которые вообще не имеют никакого отношения к этому слову. Таким образом, среди переживаний, которые я могу описать, я могу назвать типичные переживания понимания и некоторые типичные переживания непонимания. Но в противоположность этому будет большой класс случаев, в которых я должен буду сказать: «Я не знаю вообще никакого специфического переживания, я просто сказал «да» или «нет»».

Теперь, если кто-то сказал: «Но ведь что-то безусловно произошло, когда ты понял слово “дерево”, несмотря на то, что ты был совершенно рассеян, когда говорил “да”», то я склонен был бы поразмыслить и сказать себе: “Не обладал ли я каким-то простым чувством, когда вникал в смысл слова “дерево”?» Но тогда всегда ли я обладаю этим чувством, которое я сейчас отношу к тому, что, когда я слышу слово, употребленное или употребляемое мной самим, я вспоминаю, что употреблял его раньше или вспоминаю, скажем, множество из пяти ощущений, одним из которых я обладал каждый раз, когда я мог бы сказать, что понимаю слово? И далее, не является ли это «простое чувство», которое я отношу к этому переживанию, скорее характерным для специфической ситуации, в которой я нахожусь в настоящем, т. е. когда философствую о «понимании»?

Конечно, в нашем эксперименте мы можем называть произнесение «да» или «нет» характерными переживаниями понимания или непонимания, но что, если мы просто слышим слово в предложении, когда даже не встает вопрос о подобной реакции на него? — Мы тогда попадаем в забавное затруднительное положение: с одной стороны, кажется, что у нас нет причин говорить, что во всех случаях, в которых мы понимаем слово, присутствует одно или даже множество специфических переживаний. С другой стороны, мы можем почувствовать, что совершенно неправильно говорить, что все, что происходит в подобном случае, это то, что я слышу или произношу слово. Поскольку это равносильно тому, чтобы сказать, что мы какое-то время действуем, как автоматы. Ответ заключается в том, что в определенном смысле это так и есть, а в определенном смысле — нет.

Если кто-то говорил со мной с добрым выражением лица, следует ли из этого, что каждый короткий интервал времени его лицо выглядело так, что, видя его при любых других обстоятельствах, я должен был бы назвать его выражение добрым? А если нет, означает ли это, что его «доброе выражение лица» прерывалось периодами отсутствием какого-либо выражения? — Мы определенно не сказали бы этого применительно к обстоятельствам, которые я упомянул, и мы не чувствуем, что взгляд в ка-

кой-то момент перестает быть выразительным, хотя взятый сам по себе мы назовем его невыразительным.

Именно таким способом мы относим фразу «понимание слова» не непременно к тому, что происходит, когда мы произносим или слышим его, но ко всему окружению события его произнесения. И это также применимо к тому, когда мы скажем, что кто-то говорит, как автомат или как попугай. Говорение с пониманием определенно отличается от говорения, как автомат, но это не означает, что говорение в первом случае на протяжении всего времени сопровождается чем-то, что пропадает во втором случае. Примерно так, как когда мы говорим, что два человека вращаются в различных кругах, это не означает, что они не могут ходить по улице в одном и том же окружении.

Таким же образом действия волевые и неволевые во многих случаях характеризуются как таковые посредством большого количества переживаний, которые мы назовем переживаниями, характеризующими волевые акты. И в этом смысле правильным будет сказать, что то, что происходило, когда я вставал с постели — при том, что я определенно не называю это вставание невольным — заключалось в том, что я обнаружил себя встающим. Или, скорее, это просто один из возможных случаев; потому что ведь каждый день все происходит по-разному.

15. Затруднения, с которыми мы разбирались вплоть до §7, были тесно связаны с употреблением слова «особый» (*particular*). Мы были склонны говорить, что когда мы видим знакомые объекты, у нас возникает особое чувство, что слово «красный» пришло особым образом, когда мы осознали, что данный цвет является красным, что мы обладали особым переживанием, когда действовали волевым образом.

И вот употребление слова «особый» склонно производить род заблуждения и, грубо говоря, это заблуждение производится посредством двойного употребления этого слова. С одной стороны, мы можем сказать, что в первую очередь оно употребляется в качестве уточнения, описания, сравнения; с другой стороны как то, что можно описать как подчеркивание (ударение). Первое употребление я буду называть транзитивным, второе — нетранзитивным. Итак, с одной стороны, я говорю: «У этого лица особое выражение, которое я не могу описать». Следующее предложение может означать нечто вроде: «У этого лица чрезвычайно строгое выражение». Эти примеры показались бы более интересными, если бы мы заменили слово «особый» словом «своеобразный» (*peculiar*). Если я говорю: «У этого супа своеобразный запах: примерно такой суп мы ели в детстве», слово «своеобразный» может быть употреблено просто как интродукция к сравнению, которое за ним следует, как если бы я сказал: «Я скажу вам, как этот суп пахнет...». Если, с другой стороны, я говорю: «У этого супа сво-

еобразный запах!», то «своеобразный» здесь означает «необычный», «не такой, как всегда», «поразительный».

Мы можем спросить: «Вы сказали, что он имел своеобразный запах в противоположность не-своеобразному запаху или что он имел этот запах в противоположность какому-то другому запаху, или вы сказали и то и другое?» — Теперь на что бы это было похоже, если, философствуя, я сказал бы, что слово «красный» приходит особым образом, когда я описываю нечто, что я вижу как красное? То, что я собираюсь описать как тот особый путь, которым приходит слово «красный», было бы похоже на следующее: «Оно приходит всегда быстрее, чем слово “два”, когда я считаю цветные предметы», или «оно всегда причиняет своего рода шок» и т. д.? — Или то, что я хотел сказать, заключалось в том, что «красное» всегда приходит каким-то поразительным образом? — Не вполне так. Но скорее второе, чем первое. Чтобы прояснить это, рассмотрим другой пример. Вы безусловно постоянно на протяжении дня изменяете положение своего тела; задержите себя в любой такой позе (когда пишете, читаете, говорите и т. д.) и скажите себе так, как вы говорите, что «“Красное” приходит особым образом...»: «Я сейчас нахожусь в особой позе». Вы обнаружите, что можете сказать это вполне естественно. Но разве вы не всегда находитесь в какой-то особой позе? И, конечно, это не означает, что именно тогда вы были в особой поразительной позе. Что же тогда произошло? Вы сконцентрировались на своих ощущениях, как бы пристально усталились на них. И это именно то, что вы сделали, когда вы сказали, что «красное» приходит особым образом.

«Но разве я не имел в виду, что “красное” приходит другим путем, чем “два”?» — Может, вы это и имели в виду, но фраза «Они приходят разными путями» сама по себе порождает мешанину. Предположим, я сказал: «Смит и Джонс всегда входят в мою комнату по-разному»; я могу продолжить и сказать: «Смит входит быстро, а Джонс медленно», — так я уточню, как именно по-разному. С другой стороны, я могу сказать: «Я не знаю, в чем разница», подразумевая, что я *пытаюсь* определить разницу и, возможно, позже я скажу: «Теперь я знаю в чем она состоит; она состоит...». — С другой стороны, я мог бы сказать вам, что они приходят по-разному, и вы не знали бы, что делать с этим утверждением и, возможно, ответили бы: «Конечно, они приходят по-разному; просто по-разному и все». — Мы могли бы описать наше затруднение, сказав, что мы чувствуем, как будто мы могли бы дать этому переживанию имя, не производя в то же самое время его употребления, а фактически без всякого намерения вообще его употреблять. Так, когда я говорю, что «красное приходит особым образом...», я чувствую, что могу дать этому особому способу имя, если оно уже не получило одно имя, скажем, «А». Но, в то же время, я вовсе

не готов сказать, что я осознаю, что это именно тот самый способ, при помощи которого в подобных случаях приходит «красное», и даже не готов сказать, что существует, скажем, четыре способа — А, В, С, D, — посредством одного из которых оно всегда приходит. Вы можете сказать, что два способа, при помощи которых приходят «красное» и «два», можно идентифицировать, скажем, поменяв значения двух этих слов, употребляя «красное» как второе натуральное число «два», а «два» — как название цвета. Так, если меня спрашивают, сколько у меня глаз, я отвечаю «красное», а на вопрос «Какого цвета кровь?», — я отвечаю «два». Но тогда возникает вопрос, идентифицировали ли вы «способ, при помощи которого приходят эти слова», независимо от тех способов, при помощи которых они используются, — я имею в виду только что описанные способы. Хотели ли вы сказать, что слово, когда оно употреблялось *этим* способом, всегда приходит при помощи способа А, но может в следующий раз прийти при помощи того способа, при помощи которого обычно приходит слово «два»? Вы увидите, что не имели в виду ничего такого.

Что является *особым*, что можно сказать о том способе, при помощи которого приходит слово «красное», когда оно приходит в случае нашего философствования о нем, и что является особым в положении вашего тела, когда вы концентрируетесь на том, что такое концентрация. Кажется, что мы находимся на грани того, чтобы описать этот способ, в то время как на самом деле мы реально не можем противопоставить его какому-либо еще способу. Мы подчеркиваем, а не сравниваем, но выражаем себя так, как будто это подчеркивание было сравнением предмета с самой собой: это нечто кажущееся рефлексивным сравнением. Позвольте мне объяснить следующим образом: «Предположим, я говорю о том способе, при помощи которого А входит в комнату», а когда мне говорят: «Я заметил способ, при помощи которого А входит в комнату», я могу ответить: «Он всегда заглядывает (сует голову) в комнату, прежде чем войти в нее». Здесь я указываю на определенную особенность, и я мог бы сказать, что В поступает так же, или что А больше так не делает. Рассмотрим, с другой стороны, утверждение: «Я сейчас понаблюдать за способом, при помощи которого А сидит и курит». Я хочу обрисовать его примерно так. В этом случае я не нуждаюсь в том, чтобы давать какое-либо описание специфической особенности его поведения (установки) и мое утверждение может означать просто: «Я понаблюдать, как А сел и закурил». — Способ в этом случае не может быть отделен от него самого. И вот я, если бы я захотел нарисовать его так, как он сидит, и для этого созерцал и изучал его поведение, то для того, чтобы сделать это, я был бы склонен сказать и повторить про себя: «Он сидит каким-то особым образом». Но ответ на вопрос: «Каким же именно образом?» был бы: «Ну, вот именно *этим* об-

разом», и возможно, после этого следует дать зарисовку характерных черт того, как он сидит. С другой стороны, моя фраза «Он сидит каким-то особым образом» может быть просто переведена в форму «Я созерцаю его поведение». Придав ей эту форму, мы как бы выпрямляем высказывание; в то время как значение первой формы как будто описывает петлю, т. е. сказать, что слово «особый» здесь, кажется, употреблено транзитивно и даже более того, рефлексивно, значит сказать, что мы рассматриваем его употребление как особый случай транзитивного употребления. На вопрос: «Каким образом ты это имеешь в виду?» — мы склонны ответить: «*Таким* образом» вместо того, чтобы ответить: «Я не указывал ни на какую специфическую особенность; я просто наблюдал за его позицией». Мое выражение выглядело так, как будто я указывал на что-то, *касающееся* его способа сидения, или, в нашем предшествующем случае, касающееся способа, при помощи которого приходит слово «красный», в то время как то, что заставляет меня употреблять слово «особый», это тот факт, что посредством моей установки по отношению к явлению я делаю на нем ударение: я концентрируюсь на нем или возвращаюсь к нему мысленно, или зарисовываю его и т. д.

И вот эта ситуация является характерной для того, чтобы обнаружить себя в ней, когда размышляешь о философских проблемах. Существует множество затруднений, которые встают у тебя на пути, заключающихся в том, что слово имеет транзитивное и нетранзитивное употребление, и в том, что мы рассматривали последнее как частный случай первого, объясняя слово, когда оно употреблено нетранзитивно, посредством рефлексивной конструкции.

Так, мы говорим: «Под “килограммом” я подразумеваю вес одного литра воды», «Под “А” я подразумеваю “В”, где В есть объяснение А». Но существует также нетранзитивное употребление: «Я сказал, что мне это надоело, и именно это имел в виду». Здесь опять подразумевание того, что вы сказали, могло бы быть названо «возвращением к нему», «деланием ударения на нем», но употребление слова «подразумевание» в этом предложении заставляет подумать, что должен иметь смысл вопрос: «*Что* ты имеешь в виду (подразумеваешь)?» и ответ: «Под тем, что я сказал, я имел в виду (подразумевал) то, что я сказал», рассматривающий случай «Я подразумеваю то, что говорю», как частный случай «Говоря “А”, я подразумеваю “В”». На самом деле выражение «Я имею в виду то, что имею в виду» употребляют для того, чтобы сказать: «У меня нет объяснений для этого». Вопрос «Что подразумевает это предложение *p* (каково значение этого предложения...)?», если он не спрашивает о переводе *p* в другие символы, имеет не более чем тот смысл, что «Какое предложение сформировано посредством этой последовательности слов?»

Предположим, что на вопрос «Что такое килограмм²», я отвечаю: «Это то, сколько весит литр воды», и кто-то спрашивает: «Ну а сколько весит литр воды?»

Мы часто употребляем рефлексивную форму речи как способ что-то подчеркнуть. И во всех этих случаях наши рефлексивные выражение могут быть «выпрямлены». Так, мы употребляем выражение «Если я не могу, то не могу», «Я такой, какой есть», «Это просто то, что оно есть», а также «То — это то». Эта последняя фраза значит не менее, чем «То дело уже решенное», но почему мы выражаем «То дело уже решенное» посредством «То это то»? Ответ может быть дан путем представления нам ряда интерпретаций, которые осуществляют промежуточный перевод этих двух фраз. Так, вместо «Это дело уже решенное», я могу сказать «Дело закрыто». И это выражение как бы подшивает дело и кладет его на полку. И это подшивание означает то же, что поставить черту под ним, как иногда ставят черту под подсчетами, тем самым маркируя финал. Но это также и выделяет его; это способ подчеркнуть его. И выражение «То — это то» как раз подчеркивает «то».

Еще одно выражение, похожее на то, что мы только что рассматривали: «Вот оно; возьми его или оставь его в покое!» Это опять-таки похоже на своего рода вводное утверждение из тех, что мы порой делаем, прежде чем заметить определенные альтернативы, когда мы говорим: «Либо сейчас идет дождь, либо нет, если дождь идет, мы останемся дома, если нет...». Первая часть этого предложения не содержит никакой информации (точно так же, как «Возьми его или оставь его в покое» не осуществляет приказа). Вместо «Либо дождь идет, либо не идет» мы могли бы сказать: «Рассмотрим два случая...». Наше выражение подчеркивает эти случаи, обращает на них наше внимание.

Последнее тесно связано с тем, как, описывая случай (30), мы пытались употребить фразу «*Конечно*, существует число, дальше которого ни один член этого племени никогда не считал; пусть это число будет...». Если выпрямить эту фразу, она прочитается так: «Пусть число, дальше которого ни один член этого племени не может считать, будет...». Почему мы предпочитаем первое выражение выпрямленному — потому что оно более сильно направляет наше внимание на верхний числовой предел, употребляемый членами нашего племени в их реальной практике.

16. Давайте теперь рассмотрим весьма поучительный случай такого употребления слова «особый», в котором оно не указывает на сравнение и все же делает это — случай, когда мы размышляем о выражении лица, примитивно изображенном таким образом:



Пусть это лицо производит некое впечатление на вас. Вы можете тогда быть склонны сказать: «Конечно я вижу здесь не просто черточки. Я вижу лицо с определенным выражением». Но вы не имеете в виду, что оно обладает каким-то из ряда вон выходящим выражением, не смотря на то и как введение в описание выражения, хотя вы можете дать такое описание и сказать, например: «Оно выглядит как лицо самодовольного дельца, глупого и высокомерного, который несмотря на свою жирную комплекцию считает себя обольстителем женщин». Но это означало бы лишь приблизительное описание выражения. Иногда кто-то говорит: «Слова не могут этого выразить». И еще кто-то чувствует, что то, что он называет выражением лица, есть нечто, что может быть отделено от рисования лица. Это как если бы мы могли сказать: «Это лицо имеет особое выражение, а именно это» (указывая на него). Но если я должен был указать на что-то в этом месте, то это должен был бы быть рисунок, на который я смотрю. (Мы как бы находимся в плену оптического обмана, который посредством своего рода размышления заставляет нас подумать, что существует два объекта там, где есть только один. Этому обману помогает наше употребление глагола «иметь», когда мы говорим «Лицо *имеет* особое выражение». Вещи выглядят по-другому, если вместо этого мы говорим: «Это (it is) какое-то особенное лицо». То, что лицо есть (is), как мы подразумеваем, ограничено этим «есть»; то, что оно имеет, может быть отделено от него.)

«Это лицо имеет особое выражение». — Я склонен сказать это, когда пытаюсь побудить его произвести исчерпывающее впечатление на меня.

Что следует далее, это как бы акт переваривания его, усвоения его, и фраза «усвоение выражения этого лица» предполагает, что мы усваиваем вещь, которая располагается в лице и отлично от него. Кажется, что мы ищем чего-то, но мы не делаем этого в том смысле, что мы не ищем модель выражения вне лица, которое мы видим, но в том смысле, что мы измеряем глубину вещи без внимания. Когда я побуждаю лицо произвести впечатление на меня, это выглядит так, как если бы существовал двойник этого выражения, как если бы этот двойник был прототипом выражения и как если бы созерцание выражения лица было бы обнаружением прототипа, с которым оно соотносится, — как если бы в нашем сознании существовал некий образец (форма), и картина, которую мы видим, окунувшись бы в эту форму, заполняя ее. Но это скорее выглядит так, что мы побуждаем картину окунуться в наше сознание и сформировать форму там.

Когда мы говорим: «Это *лицо*, а не просто каракули», то мы, конечно, разграничиваем такой рисунок



от такого



И верно: если вы спросите любого: «Что это такое?» (показывая на первый рисунок), он безусловно ответит: «Это лицо», и он будет в состоянии незамедлительно ответить на такой вопрос, как «Это мужское лицо или женское?», «Улыбающееся или грустное?» и т. д. Если, с другой стороны, вы спрашиваете его: «Что это?» (указывая на второй рисунок), он скорее всего ответит: «Это вообще ничего», или «Это просто каракули». Теперь подумайте о том, как вы ищете человека на картинке пазла; часто бывает так, что то, что на первый взгляд кажется «просто каракулями», позднее становится лицом. В таких случаях мы говорим: «Теперь я вижу, что это лицо». И для вас должно быть достаточно ясно, что это не означает, что мы осознаем его как лицо друга или находимся под влиянием обмана, что видим «настоящее»: скорее, это «видение его *как лица*» надо сравнить с видением такого рисунка



либо как куба, либо как планиметрической фигуры, состоящей из квадрата и двух ромбов; или чего-то в таком роде



«как квадрата с диагоналями» или «как свастики», т. е. как предельный случай такого:



или опять-таки с видением этих четырех точек . . . как двух пар точек, идущих друг за другом, или как две пересекающихся пары, или как одну пару внутри другой и т. д.

Случай видения



как свастики представляет особый интерес, потому что это выражение при определенной оптической иллюзии так или иначе может означать, что квадрат не совсем закрыт, что есть пробелы, отличающие свастику от нашего рисунка. С другой стороны, совершенно ясно, что это было абсолютно не то, что мы обозначали как «видение нашего рисунка как свасти-

ки». Мы видели его тем способом, который предполагал описание «Я вижу его как свастику». Можно предположить, что мы должны были сказать «Я вижу его как закрытую свастику», — но тогда в чем разница между закрытой свастикой и квадратом с диагоналями? Я думаю, что в этом случае легко понять, «что происходило, когда мы собственными глазами видели нашу фигуру особым образом, стоя в центре, глядя по радиусу, или сбоку, смежному ей, вновь стоя в центре и т. д.» Но это *объяснение* данного явления видения фигуры как свастики не имеет для нас фундаментального интереса. Оно представляет для нас интерес только в той степени, в какой оно помогает понять, что выражение «видение фигуры как свастики» не означает видения *того* или *этого*, видения одной вещи как чего-то другого, когда, в сущности, *два* визуальных объекта входят в процесс того, что мы так поступаем. — Поэтому также видение первой фигуры как куба не подразумевает «рассматривание его как куба». (Потому что мы могли вообще не видеть куб и все-таки обладать этим переживанием «видения куба».)

И в этом смысле «видение черточек как лица» не включает в себя сравнения между группой точек и настоящим человеческим лицом; а с другой стороны, эта форма выражения наиболее явно предполагает, что мы ссылаемся на сравнение.

Рассмотрим еще такой пример: посмотрите на W сначала как на букву «дабл-ю», а потом как на перевернутую букву M. Понаблюдайте, в чем состоит первый и второй опыт.

Мы различаем видение рисунка как лица и видение его как чего-то другого или как «просто каракули». И мы также различаем поверхностный взгляд на рисунок (видение его как лицо) и побуждение лица произвести впечатление на нас. Но было бы странным сказать: «Я побуждаю лицо произвести на меня *особое* впечатление» (за исключением тех случаев, в которых вы можете сказать, что можете побудить одно и то же лицо произвести на вас разные впечатления). И при побуждении лица производить впечатление на меня и наблюдении его «особого выражения» дело не обстоит так, что сравниваются два или множества лиц; есть только одно лицо, которое нагружено ударением. Впитывая его выражение, я не обнаруживаю прототипа этого выражения в своем сознании; скорее я как бы делаю оттиск с этого выражения.

И это также описывает то, что происходит, когда в (15) мы говорим себе: «Слово “красный” приходит особым образом...». Ответ мог бы быть таким: «Я вижу, что вы вновь и вновь повторяете некоторое переживание и пристально всматриваетесь в него».

17. Мы можем пролить свет на все эти случаи, если мы сравним, что происходит, когда мы вспоминаем лицо кого-то, кто входит в нашу комнату, когда мы опознаем его как мистера Такого-то; сравнивая то, что на самом деле

происходит в подобных случаях, с нашим представлением, мы порой склонны придумывать события, поскольку здесь мы часто навязываем себе примитивную концепцию, в соответствии с которой мы сравниваем человека, видимого нами, с образом памяти в нашем сознании и обнаруживаем и то и другое. То есть мы представляем «опознание кого-либо» как процесс отождествления посредством картины (как преступник идентифицируется при помощи фотографии). Нет нужды в том, чтобы говорить, что в большинстве случаев, в которых мы опознаем кого-либо, не имеет места сравнение между ним и ментальной картиной. Мы, конечно, испытываем соблазн дать это описание, поскольку существуют образы памяти. Очень часто, например, такой образ возникает перед нашим мысленным взором непосредственно *после* того, как мы опознали кого-то. Я увидел его, как он стоял, когда мы виделись последний раз десять лет назад.

Здесь я вновь опишу *тип* события, которое происходит в вашем сознании, или, по-другому, когда вы узнаете человека, вошедшего в вашу комнату, при помощи того, что вы можете *сказать*, когда вы узнаете его. И это может быть просто «Хелло!» И таким образом мы можем сказать, что один тип события узнавания, как мы видим, состоит в том, чтобы сказать «Хелло!» словами ли, жестами, выражением лица и т. д. И точно так же мы можем думать, что когда мы смотрим на наш рисунок и видим его как лицо, мы сравниваем его с некоей парадигмой, и он согласуется с ней или заполняет форму, готовую для него в нашем сознании. Но ни одна такая форма или сравнение не входит в наше переживание, здесь есть только этот образ, и нет ничего другого для сравнения с ним, для того, чтобы как бы сказать «Разумеется». Это как, когда мы собираем пазл-мозаику, кое-где остается небольшое незаполненное пространство, и я вижу кусочек, который очевидно подходит к этому месту, и я ставлю его на это место, говоря себе «Ну разумеется». Но здесь мы говорим «Разумеется», *потому что* кусочек заполняет форму, в то время как в нашем случае видения рисунка как лица мы имеем эту же установку, не имея для этого *повода*.

Та же самая странная иллюзия, под обаянием которой мы находимся, когда, как нам кажется, мы ищем то, что выражает лицо, в то время как в реальности мы отказываем себе в тех особенностях, которые у нас перед глазами, — та самая иллюзия овладевает нами в еще большей степени, если, повторяя мелодию и побуждая ее оказывать на нас целостное впечатление, мы говорим: «Эта мелодия *о чем-то* говорит», и это происходит так, как будто я обнаружил то, *о чем* она говорит. И еще я знаю, что она не говорит ни о чем таком, что бы я мог выразить в словах или картинках. И если, понимая это, я отказываю себе в том, чтобы сказать: «Она просто выражает музыкальную мысль», это будет означать не более, чем «Она выражает сама себя». — «Но, разумеется, когда вы проигрываете эту мелодию, вы не

делаете это *абы как*, вы играете определенным образом, деля крещендо здесь и диминуэндо там, цезуру в этом месте и т. д. — Точно, и это все, что я могу сказать об этом, или это может быть всем, что я могу сказать. Потому что в определенных случаях я могу удовлетворительно объяснить особое выражение, с которым я проигрываю эту мелодию, при помощи сравнения, подобно тому, как когда я говорю: «В этой точке темы, вот здесь стоит как бы двоеточие» или «Это как бы ответ на вопрос, который был задан ранее» и т. д. (Это, между прочим, показывает, что представляют собой «оправдание» и «объяснение» в эстетике.) Верно, что я могу слышать играемую мелодию и сказать: «Это не то, как она должна играть, надо вот так» — и просвистываю ее в другом темпе. Здесь кто-то склонен спросить: «Что это означает: знать тот темп, в котором должен проигрываться музыкальный фрагмент?» И эта идея сама по себе предполагает, что мы приспособляем темп к определенной парадигме. Но в большинстве случаев, если кто-то спросил бы меня: «Как по-твоему надо играть эту мелодию?» — я вместо ответа просто просвистел бы ее определенным образом, и в моем сознании не будет присутствовать ничего кроме той мелодии, которая *в действительности высвистывается* (а не *ее образ*).

Это не означает, что неожиданное понимание музыкальной темы не может состоять в обнаружении формы словесного выражения, при помощи которой я задумываю словесного двойника темы. И точно так же я могу сказать: «Теперь я понял выражение этого лица», и то, что произошло, когда пришло понимание, заключалось в том, что я обнаружил слово, которое сюда подходило.

Рассмотрим также такое выражение: «Скажи себе, что это *вальс*, и тогда сыграешь его правильно».

То, что мы называем «пониманием предложения», имеет во многих случаях гораздо большее сходство с пониманием музыкальной темы, чем обычно склонны думать. Но я не имею в виду, что понимание музыкальной темы больше похоже на картину, которую кто-то пытается кому-то изобразить в качестве понимания предложения; но скорее то, что эта картина является неверной и что понимание предложения гораздо больше похоже на то, что в действительности происходит, когда мы понимаем мелодию, чем это кажется на первый взгляд. Потому что понимание предложения, как мы говорим, указывает на реальность за пределами предложения. В то время как кто-то может сказать: «Понимание предложения подразумевает схватывание его содержания; а содержание предложения находится в самом предложении».

18. Мы можем теперь вернуться к идеям «узнавания» и «знакомства» и фактически к тому примеру узнавания и знакомства, с которого мы начали свои размышления об употреблении этих терминов и множества

терминов, связанных с ними. Я имею в виду пример с чтением, скажем, написанного предложения на хорошо знакомом языке. — Я читаю такое предложение для того, чтобы понять, что представляет собой переживание чтения, что «происходит на самом деле», когда человек читает, и вот я достигаю особого переживания, которое я рассматриваю как переживание намекающего характера, как бы я сказал. (Я как бы нахожусь с выражением «Я читаю» в отношениях намека.)

Я склонен сказать, что при чтении произносимые слова приходят особым образом; а сами написанные слова, которые я читаю, не просто представляют собой какие-то закорючки. В то же время, я не в состоянии указать или ухватить этот «особый образ».

Феномен видения и произнесения слов кажется обволакавающимся особой атмосферой. Но я не осознаю эту атмосферу в качестве такой, каковая всегда характеризует ситуацию чтения. Скорее я замечаю ее, когда читаю строку, пытаюсь понять, на что похоже чтение.

Когда я замечаю эту атмосферу, я нахожусь в ситуации человека, который работает в своей комнате — читает, пишет, говорит и т. д., вдруг он обращает внимание на некий однообразный шум, такой, который можно почти всегда слышать особенно в городе (смутный шум, состоящий из всех различных шумов улицы, звуков дождя, ветра, мастерских и т. д.). Мы можем представить, что этот человек мог подумать, что особый ветер — это обычный элемент всего того, что он переживает в этой комнате. Мы бы тогда обратили его внимание на тот факт, что наибольшее количество времени он не замечал никакого шума, идущего извне, а во-вторых, что тот шум, который он слышит сейчас, был не всегда одним и тем же (иногда это был ветер, иногда нет, и т. д.).

И вот мы употребили заводящее в тупик выражение, когда сказали, что кроме опыта видения и говорения в чтении есть другой опыт и т. д. То, что мы сказали, означало, что к определенному опыту добавляется другой опыт. — Возьмем переживание видения грустного лица, скажем, на рисунке, — мы можем сказать, что видеть рисунок как грустное лицо не означает «просто» видеть его как совокупность линий (подумайте о картинке из пазла). Но слово «просто» здесь, кажется, намекает на то, что в видении рисунка как лица к переживанию видения его как простых линий добавляется еще какое-то переживание; как если бы я должен был сказать, что видение рисунка как лица состоит из двух переживаний, из двух элементов.

И вот вы могли бы заметить различие между этими случаями, в которых мы говорим, что переживание состоит из нескольких элементов или что оно является *сложным* переживанием. Мы могли бы сказать врачу: «У меня не одна боль, а две: головная и зубная». И кто-то мог бы выразить

то же самое, сказав: «Мое переживание боли не является простым, оно сложное, у меня болят зубы и голова». Сравним это со случаем, в котором я говорю: «У меня две боли в животе и еще общее болезненное состояние». Здесь я не разделяю составляющие переживаний, указывая на два местоположения боли. Или рассмотрим такое утверждение: «Когда я пью сладкий чай, мое вкусовое переживание состоит из вкуса сахара и вкуса чая». Или же: «Если я слышу аккорд в до мажоре, мои ощущения складываются из до, ми и соль». И, с другой стороны: «Я слышу фортепианную игру и какой-то шум с улицы». Наиболее поучительный пример такой: в песне слова поются в соответствии с определенными музыкальными звуками. В каком смысле переживание слышания гласного *a*, поющего вместе со звуком «до», является сложным? Спросите себя применительно к каждому из этих случаев: на что это похоже — выявлять из сложного переживания его составляющие?

И вот хотя переживание, в соответствии с которым видение рисунка как лица — это не просто видение линий, к которому надо добавить своего рода дополнительное переживание, мы, тем не менее, определенно не сказали бы, что когда мы видим рисунок как лицо, мы также обладаем переживанием видения его просто как линий и *кроме того* обладаем неким другим переживанием. И это становится еще яснее, когда мы представляем, что кто-то сказал, что видение рисунка



как куба состоит в видении его как планиметрической фигуры плюс переживание глубины.

И вот, когда я почувствовал, что хотя на протяжении чтения определенное постоянное переживание все продолжалось и продолжалось, трудность возникла от неправильного сравнения этого случая с тем, в котором одна часть моего переживания, можно сказать, была сопровождением другой. Так мы порой испытываем соблазн задать вопрос: «Если я чувствую это постоянное жужжание, продолжающееся все время, пока я читаю, то *откуда* оно берется?» Я хочу сделать указывающий жест, но указывать некуда. И слова «*lay hold of*» (ухватить, удержать) выражают ту же самую заводящую в тупик аналогию.

Вместо того, чтобы задавать вопрос: «Где то постоянное переживание, которое, кажется, продолжается на протяжении всего того времени, пока я читаю?» — мы бы спросили: «Чему я противопоставляю этот случай, когда говорю: “Особая атмосфера обволакивает слова, которые я читаю”?»»

Я попытаюсь прояснить этот случай посредством аналогичного: мы склонны быть озадаченными иллюзией трехмерности в рисунке



выражая эту озадаченность вопросом: «В чем заключается видение этого рисунка как трехмерного?» А на самом деле этот вопрос спрашивает: «Что это, что добавляется к простому видению рисунка, когда мы видим его трехмерно?» И какого же ответа мы можем ожидать на этот вопрос? Сама форма вопроса порождает загадку. Как говорит Герц: «Но наиболее часто вопрос подстраивается к ответу, который его уже поджидает» (р. 9 Einleitung, *Die Prinzipien der Mechanik*). Сам вопрос заставляет сознание биться о голую стену, тем самым предупреждая его от того, что когда-нибудь будет найден выход. Чтобы показать человеку, как выйти из тупика, вы должны прежде всего освободить его от заводящего в тупик влияния вопроса.

Посмотрите на написанное слово, скажем, «читать». — «Это не просто закорючка, это слово “читать”», — мог бы я сказать, — «оно имеет свою неповторимую физиономию». Но что это такое, что я на самом деле говорю о нем? Что такое это утверждение, если его выпрямить? Кто-то испытывает соблазн объяснить это так: «Слово падает в готовую форму в моем сознании, которая приготовлена для него *задолго* до этого момента». Но если я не воспринимаю ни слово, ни форму, то метафора слова, заполняющего форму, не может отсылать к переживанию сравнения пустого и заполненного объема прежде, чем они не заполнят друг друга, но скорее к переживанию видения заполненного объема, акцентированного особым образом.



i) было бы картиной пустого и заполненного объемов, прежде чем они наложились друг на друга. Мы видим два круга и можем их сравнить. ii) — картина заполненного в пустом. Здесь только один круг, и то, что мы можем назвать формой, лишь акцентирует это, или как мы как-то сказали, подчеркивает это.

Я испытываю соблазн сказать: «Это не просто закорючка, но это именно *это* конкретное лицо». — Но я не могу сказать: «Я вижу *это* как *это* лицо», но могу сказать: «Я вижу это как *некое* лицо». Но я чувствую, что хочу сказать: «Я не вижу это как *некое* лицо, я вижу это как *это* лицо». Но во второй половине этого предложения слово «лицо» избыточно, и данную фразу можно произнести как «Я не вижу это как *некое* лицо, а как *это*».

Предположим, я говорю: «Я вижу эту закорючку как *это*» и когда я говорю «эту закорючку», и когда смотрю на нее просто как на закорючку, когда же я говорю: «Смотрю как на *это*», я вижу лицо, — то это будет нечто вроде того, чтобы сказать: «То, что в какой-то момент кажется мне этим, в другой момент кажется мне тем», и здесь «это» и «то» сопровождалось бы различными способами видения. — Но мы должны спросить себя, в какой игре это предложение с сопровождающим его процессом может быть использовано. Например, кому я это говорю? Предположим, ответ такой: «Я это говорю себе». Но этого не достаточно. Мы здесь испытываем серьезную опасность поверить в то, что мы знаем, что делать с предложением, если оно выглядит более или менее похожим на обычные предложения нашего языка. Но здесь для того, чтобы не ввести себя в заблуждение, мы должны спросить себя: «Что собой представляет употребление слов, скажем, «тот» и «этот»? — или скорее «В чем заключается различие в их употреблении?» То, что мы называем их значением, не есть нечто, что они получают в своих употреблениях, или то, к чему они привязаны несмотря на то, как мы их употребляем. Так одно из употреблений слова «это» сопровождается жестом, указывающим на что-либо. Мы говорим: «Я вижу квадрат с диагоналями вот как это», указывая на свастику. И, имея в виду квадрат с диагоналями, я мог бы сказать: «То, что один раз кажется мне подобным этому



другой раз кажется мне подобным этому



И это явно не то употребление, которое мы производили с этим словом в предложении в случае, проанализированном выше. — Можно подумать, что в целом разница между двумя этими случаями состоит в том, что в первом случае мы имеем дело с ментальными картинками, а во втором — с рисунками. Мы спросим здесь себя, в каком смысле мы можем назвать ментальные образы картинками, потому что в некотором смысле они сопоставимы с рисунками или написанными картинками, а в некотором смысле — нет. Например, одной из существенных особенностей «материальной» картины мы назовем тот факт, что она остается неизменной не только на основании того, что она кажется нам остающейся неизменной, что мы помним, что раньше она выглядела так же, как она выглядит сейчас. На самом деле при определенных обстоятельствах мы скажем, что картина не меняется, хотя кажется, что она изменилась; и

мы говорим, что она не изменилась, потому что она сохраняется определенным образом, определенные влияния сохраняют ее. Поэтому выражение «Картина не изменилась» употребляется по-разному, когда мы говорим о материальной картине, с одной стороны, и о ментальной — с другой. Точно так же, как утверждение «Это тиканье следует через определенный интервал» обладает одной грамматикой, если речь идет о тиканье маятника, и критерием регулярности ударов является результат измерения, которое мы делаем нашим аппаратом, и другой грамматикой, если речь идет о воображаемом тиканье. Я могу для примера задать такой вопрос: «Когда я сказал себе “То, что один раз кажется мне таким, другой раз...”», осознаю ли я два аспекта, этот и тот, как один и тот же, по отношению к тем, которые я наблюдал в предшествующих случаях? Или были ли они для меня чем-то новым, и я старался запомнить их на будущее? Или сводилось ли все, что я хотел сказать, к фразе “Я могу изменить аспект этой фигуры”?»

19. Опасность заблуждения, которая нас подстерегает, становится наиболее очевидной, если мы предложим себе дать аспектам «это» и «то» имена, скажем, А и В. Ибо мы в большой мере склонны представлять, что именование заключается в соотношении неким особым и, скорее, даже таинственным образом звука (или любого другого знака) с чем-либо. То, как мы осуществляем употребление этой особой соотношенности, кажется уже вторым вопросом. (Можно было бы даже представить, что именование производится посредством некоего сакрального действия и что именно оно продуцирует некую магическую связь между именем и вещью.)

Но взглянем на другой пример; рассмотрим такую языковую игру: А посылает В в разные дома, находящиеся в их городе, чтобы принести разным людям различные товары. А дает В списки. Внизу каждого списка он делает закорючку, и В готовится идти к тому дому, на дверях которого он обнаружит такую же закорючку — это название дома. В первой колонке каждого списка он затем находит один или более знаков, которые он обучен читать вслух. Когда он входит в дом, он выкликает эти слова, и каждый житель дома готов подбежать к нему, когда выкликается один определенный звук, эти звуки — имена обитателей дома. Затем он обращается к каждому из них по очереди и показывает каждому последовательно два знака, которые стоят в списке против соответствующего имени. Первый из этих двух знаков люди из этого города обучены ассоциировать с определенным типом предмета, скажем, с яблоками. Второй относится к тому ряду знаков, который каждый человек записывает о себе на листке бумаги. Человек, к которому обращаются таким образом, приносит, скажем, пять яблок. Первый знак был родовым именем требуемого объекта, второй — обозначение нужного количества этих предметов.

В чем же состоит связь между именем и поименованным предметом, скажем, домом и его названием? Я предполагаю, что мы могли бы дать по меньшей мере два ответа. Первый состоит в том, что эта связь состоит в определенных строчках, нарисованных на двери дома. Второй ответ, я думаю, состоит в том, что связь, о которой мы говорим, достигается не просто посредством нанесения этих строчек на дверь, но особой ролью, которую они играют в практике нашего языка, когда мы рисовали их. — Опять-таки, связь имени человека с самим человеком состоит здесь в том, что человек обучен подбегать к любому, кто окликнет его по имени; или опять-таки мы можем сказать, что она состоит в этом, а также в целомном употреблении имени в языковой игре.

Посмотрим на эту языковую игру и пойдем, можем ли мы обнаружить таинственную связь предмета с его именем. — Связь имени с предметом, мы можем сказать, состоит из знака, начертанного на предмете, — и на этом все. Но мы не удовлетворены этим, потому что мы чувствуем, что написанный на предмете знак сам по себе не имеет никакого значения и несколько нас не интересует. И это так и есть; то, что имеет значение, это особое употребление знака, написанного на объекте, и мы в каком-то смысле упрощаем дело, когда говорим, что имя обладает специфической связью с предметом, связью, отличной от той, которая осуществляется посредством знака, написанного на предмете, или проговоренного человеком, указывающим на предмет пальцем. Примитивная философия сводит употребление имени к идее связи, которая поэтому становится некой таинственной связью. (Ср. с идеями ментальной деятельности — желания, веры, мышления и т. д., которые по той же причине содержат в себе нечто таинственное и необъяснимое.)

И вот мы можем употребить выражение: «Связь имени и предмета состоит не только в этого рода тривиальной “чисто внешней” связи», имея в виду, что то, что мы называем отношением имени и предмета, характеризуется полным употреблением имени; но тогда ясно, что между именем и предметом вообще нет никакого отношения, но имеется столько отношений, сколько имеется употреблений звуков или знаков, которые мы называем именами.

Поэтому мы можем сказать, что если именование чего-либо претендует на нечто большее, чем просто употребление звука в момент указания на что-либо, то должно иметь место в той или иной форме знание того, как в конкретном случае употребляется звук или графический знак.

Теперь, когда мы предположительно дали аспекты нарисованных имен, мы тем самым проявили тот факт, что посредством видения рисунка двумя различными способами и произнесения в каждом случае чего-либо мы сделали больше, чем это неинтересное действие; ведь теперь мы

видим, что это употребление «имени», а на самом деле деталь этого употребления придает именованию его специфическую значимость.

Поэтому не является праздным вопрос: «Напоминают ли мне “А” и “В” об этих аспектах; могу ли я выполнить приказ вроде “Попробуй увидеть этот рисунок в аспекте А”; соотносятся ли в определенном смысле картины этих аспектов с именами “А” и “В”



употребляются ли “А” и “В” в общении с другими людьми и какая именно игра играет с ними?»

Когда я говорю: «Я вижу не просто точки (или не просто закорючку), а лицо (или слово) с характерным выражением», то я этим не хочу утверждать никакой общей характеристики того, что я вижу, но я утверждаю, что вижу то конкретное выражение лица, которое я вижу. И очевидно, что при этом мои слова движутся по кругу. Но это так получается потому, что на самом деле то особое выражение лица, которое я вижу, уже должно было входить в мою пропозицию. — Когда я обнаружил, что «При чтении предложения, возникает особое переживание», я должен был на самом деле прочитать довольно длинный фрагмент, чтобы добиться того впечатления, о котором шла речь.

Я мог бы тогда сказать: «Я обнаружил, что то же самое переживание продолжается все время», но я хотел сказать: «Я не заметил, чтобы это было точно такое же переживание, я просто заметил некое особое переживание».

Глядя на стену, покрытую одним цветом, я могу сказать: «Я не вижу, что она точно такого же цвета, но я заметил, что она некоего особого цвета». Но, говоря так, я неправильно истолковываю функцию предложения. — Кажется, что вы хотите определить тот цвет, который вы видите, но вы делаете это, не говоря что-либо о нем и не сравнивая его с образцом, — а указывая на него; используя его в одно и то же время и как образец, и как то, с чем сравнивается образец.

Рассмотрим такой пример: вы просите меня написать несколько строк; когда я это делаю, вы спрашиваете: «Ты чувствуешь что-то в своей руке, когда пишешь?» Я говорю: «Да, у меня возникает определенное ощущение». — Могу ли я сказать себе, когда пишу: «У меня возникает *это* ощущение»? — Да, конечно, могу, и, говоря «это ощущение», я сосредотачиваюсь на этом ощущении. — Но что я буду делать с этим предложением? Какая мне от него польза? Кажется, что я указываю самому себе на то, что я ощущаю — как если бы мое действие сосредоточения было «внут-

ренним» актом указывания, которое никто, кроме меня, не может осознать, что, впрочем, неважно. Но я не указываю на ощущение посредством обращения внимания на него. Скорее обращение внимания на ощущение означает продуцирование или модификацию самого этого ощущения. (Хотя, с другой стороны, наблюдение стула не подразумевает продуцирование или модификацию стула.)

Наше предложение «У меня возникает *это* ощущение, когда я пишу» — того же типа, что предложение «Я вижу это». Я не имею в виду предложение, когда оно употребляется для того, чтобы информировать кого-то, что я смотрю на предмет, на который я указываю, ни когда оно употребляется, как выше, для того, чтобы передать кому-либо, что я вижу определенный рисунок способом А, а не способом В. Я имею в виду предложение «Я вижу это», как мы иногда думаем о нем, когда мрачно размышляем над определенными философскими проблемами. Тогда мы, скажем, завладеваем определенным визуальным впечатлением, взглядевшись в какой-нибудь предмет, и чувствуем, что наиболее естественно в этой ситуации сказать себе: «Я вижу это», хотя мы знаем, что никакой дальнейшей пользы от этого предложения нам не будет.

20. «Разумеется, имеет смысл сказать о том, что я вижу, но насколько было бы лучше, если бы я мог заставить то, что я вижу, самому сказать это!»

Но слова «Я вижу» в нашем предложении излишни. Я не хочу говорить себе, что это *Я*, кто видит это, а не что я *вижу* это. Или, по другому, невозможно, чтобы я не видел *это*. Это то же самое, что сказать, что я не могу указать «визуальной» рукой на то, что я вижу, как на самого себя; поскольку эта рука не указывает на то, что я вижу, но является частью того, что я вижу.

Это как если бы предложение выделялось особым цветом, который бы я видел; как если бы предложение этим представляло себя мне.

Как если бы цвет, который бы я видел, был бы описанием предложением самого себя.

Потому что указывание пальцем было неэффективно. (А зрительное — это не указывание, оно не определяет для меня направление, которое бы контрастировало с другими направлениями.)

То, что я вижу или ощущаю, входит в мое предложение подобно образцу; но этот образец бесполезен; слова моего предложения не имеют значения, они служат лишь для того, чтобы представить мне образец.

На самом деле я говорю не *о* том, что вижу, я говорю *с* ним самим.

Фактически я произвожу действие сопровождения, которое могло бы сопровождать употребление образца. И это то, что заставляет казаться таким, как если бы я заставлял придавать употребление образцу.

Эта ошибка похожа на веру в то, что остенсивное определение говорит нечто о предмете, на который оно направляет наше внимание.

Когда я сказал: «Я неправильно истолковал функцию предложения», это было потому, что с его помощью я, казалось, указывал самому себе, какой цвет я вижу, в то время как я просто размышлял об образце этого цвета. Мне казалось, что образец был описанием своего собственного цвета.

21. Предположим, я сказал кому-то: «Понаблюдай за особым освещением этой комнаты». — При определенных обстоятельствах смысл этого приказа будет совершенно ясным, например, если стены комнаты отражают красный свет заходящего солнца. Но предположим, что в любое другое время, когда нет ничего удивительного в свете, я сказал: «Понаблюдай за особым освещением этой комнаты»: — Ну, разве здесь нет особого освещения? Так какие же трудности с его наблюдением? Но человек, которому я велел наблюдать за освещением, когда в нем не было ничего примечательного, возможно, оглядел бы комнату и сказал: «Сейчас здесь точно такое же освещение, каким оно было и вчера», или «Здесь точно такой же слабый тусклый свет, какой ты видишь на фотографии этой комнаты».

В первом случае, когда комната была залита удивительным красным светом, вы могли бы указать на особенность, которую, как подразумевалось, вы наблюдали, хотя толком и не объяснили, в чем она состоит. Для того чтобы сделать это, вы могли, например, использовать образец определенного цвета. В этом случае мы будем склонны сказать, что нечто особенное было добавлено к обычному виду комнаты.

Во втором случае, когда комната была просто обычно освещена и в ее облике не было ничего удивительного, вы бы не знали точно, что делать, если бы вам сказали наблюдать за освещением этой комнаты. Все, что вы могли бы сделать, это осмотреться, как будто вы ищете что-то другое, о чем вам сказали и что наполняло первый приказ смыслом.

Но не была ли комната в обоих случаях освещена особым образом? Ну, этот вопрос, как мы его поставили, бессмыслен, так же, как и ответ на него «Она была...». Приказ «Наблюдать за особым освещением этой комнаты» не предполагает никаких утверждений, касающихся облика этой комнаты. Кажется, можно сказать: «Эта комната имеет особое освещение, которое мне нет нужды называть, наблюдайте за ним!» Освещение, на которое здесь ссылаются, как кажется, дается посредством образца, и вы должны найти применение образцу; примерно то же вы бы делали, копируя точный оттенок цветового образца на палитре. Тогда как приказ похож на такой: «Придерживайся этого образца!»

Представьте себя говорящим: «Здесь особое освещение, которое я должен наблюдать». Вы могли бы представить в этом случае себя смотрящим попусту вокруг, не видя никакого особого освещения.

Вам могли бы дать образец, например, клочок цветной материи и приказать вам: «Наблюдайте за цветом этого клочка». — И мы можем обрисо-

вать различие между наблюдением, рассматриванием поверхности образа и рассматриванием его цвета. Но рассматривание цвета не может быть описано как смотрение на вещь, связанное с образцом, скорее это смотрение на вещь особым образом.

Когда мы выполняем приказ «Наблюдай за цветом...», что мы должны сделать, чтобы раскрыть свои глаза по отношению к цвету? «Наблюдай за цветом...» не подразумевает «Гляди на цвет, который ты видишь». Приказ «Смотри так-то и так-то» — того же рода, что и приказ «Поверни голову в этом направлении»; то, что вы увидите, повернув голову, не входит в приказ. Глядя, присматриваясь, вы создаете впечатление; вы не можете смотреть на впечатление.

Предположим, кто-то ответил на наш приказ: «Все в порядке, я сейчас наблюдаю за особым освещением этой комнаты». — Это прозвучало бы так, как будто он мог указать нам на то, чем было это освещение. Приказ, так сказать, может казаться говорящим вам сделать что-то с этим особым освещением в противоположность другому приказу (например, «Нарисуй это освещение, а не это»). В то время как вы, выполняя приказ, рассматриваете освещение в противоположность направлениям, размерам и т. д.

(Сравним: «Держитесь цвета этого образца» и «Держите этот карандаш», т. е. возьмите и держите его.)

Я возвращаюсь к нашему предложению «Это лицо имеет особое выражение». В этом случае я тоже не сравниваю и не противопоставляю свое впечатление с чем-либо, я не пользуюсь образцом позади себя. Это предложение является выражением состояния внимания.

Что надо объяснить, так это: почему мы говорим с нашим впечатлением? — Вы читаете, погружая себя в состояние внимания, и вдруг говорите: «Несомненно, происходит что-то особенное». Далее вы склонны продолжать: «В этом какая-то легкость»; но вы чувствуете, что это неадекватное описание и что переживание может значить только само себя. Сказать «Несомненно, происходит нечто особенное» — все равно, что сказать «Я пережил некий опыт». Но вы не хотите делать общее утверждение, независимое от того особого опыта, который вы пережили, но скорее такое утверждение, в которое этот опыт уже входил бы.

Вы находитесь под каким-то впечатлением. Это побуждает вас сказать: «Я нахожусь под каким-то *особым* впечатлением», и это предложение, кажется, говорит вам самим, по крайней мере, о том, под каким впечатлением вы находитесь, как если бы вы, ссылаясь на картину в вашем сознании, сказали бы: «Вот на что похоже мое впечатление». В то время как вы лишь указали на свое впечатление. В нашем случае слова «Я заметил, что у этой стены особый цвет» похожи на рисунок, скажем, черного прямоугольника, огораживающего маленькое пятно на стене и

тем самым дающего понять, что это пятно является образцом для дальнейшего употребления.

Когда вы читали, как бы погрузившись со всем вниманием в то, что происходило в книге, то вы, казалось, наблюдали чтение как будто через увеличительное стекло и видели процесс чтения. (Но случай этот более напоминает наблюдение чего-то сквозь цветное стекло.) Вы думаете, что заметили процесс чтения, особый способ, при помощи которого знаки переводятся в произносимые слова.

22. Я читал строчку с особым вниманием; я находился под впечатлением от чтения, и это заставило меня сказать, что я наблюдал еще за чем-то кроме простого видения печатных знаков и произнесения слов. Я также выразил это, сказав, что заметил особую атмосферу вокруг видения и говорения. Как подобная метафора, воплощенная в последнем предложении, приходит с тем, чтобы представить себя мне, может стать более ясным, если обратиться к следующему примеру: если вы слышали предложение, которое произносилось монотонным голосом, вы могли бы испытывать соблазн сказать, что все его слова были окутаны особой атмосферой. Но не было бы это использованием специфического способа репрезентации, говорить, что произнесение предложения монотонным голосом добавляло что-то еще к простому говорению? Не могли бы мы даже рассматривать говорение монотонным голосом как результат удаления из предложения его лексического состава? Различные обстоятельства побудили бы нас принять различные способы репрезентации. Если, например, определенные слова должны быть прочитаны монотонным голосом, что определялось бы постоянным поддерживающим звуком, сопровождающим предложение, это звучание в очень сильной степени предполагало бы идею, что нечто было добавлено к чистому проговариванию предложения.

Я нахожусь под впечатлением от чтения предложения, и я говорю, что предложение показало мне что-то, что я что-то заметил в нем. Это побудило меня подумать о следующем примере: мы с другом однажды рассматривали клумбы с анютиными глазками. Каждая клумба демонстрировала другой вид цветка. Каждый производил на нас впечатление. Говоря о них, мой приятель сказал: «Какое разнообразие образцов цвета, и каждый говорит что-то». И это было как раз то, что я сам хотел сказать.

Сравним это утверждение со следующим: «Каждый из этих людей говорит что-то».

Если кого-то спросили, что ему говорит цветовой образец анютиных глазок, правильный ответ должен был бы, как кажется, заключаться в том, что каждый образец говорит сам за себя. Следовательно, мы должны были бы употребить интранзитивную форму выражения, скажем: «Каждый из этих цветовых образцов впечатляет».

Иногда говорилось, что музыка передает нам чувства радости, печали, триумфа и т. д. и т. д. И вот что отталкивает нас в таком взгляде на музыку, так это то, что, кажется, сказать такое — то же самое, что сказать, что музыка является инструментом для продуцирования в нас последовательности ощущений. А из этого можно сделать заключение о том, что любые другие способы произведения таких ощущений, кроме музыки, делают для нас. На это мы склонны ответить: «Музыка передает нам *саму себя!*»

Это похоже на такие выражения, как: «Каждый из этих цветовых образцов впечатляет». Мы чувствуем желание остеречься идеи, что цветовой образец — это способ продуцирования определенного впечатления. — Цветовой образец выступает здесь как лекарство, и мы заинтересованы лишь в том эффекте, который продуцирует это лекарство. — Мы хотим избежать любой формы выражения, которая кажется отсылающей к эффекту, продуцируемому предметом на сознание. (Здесь мы выходим на различие проблемы идеализма и реализма и проблему, являются ли утверждения эстетики субъективными или объективными.) Произнесение слов «Я вижу это и нахожусь под его впечатлением» побуждает сказать, что впечатление как будто кажется неким чувством, сопровождающим видение и что предложение говорит: «Я вижу это и ощущаю давление».

Я мог бы употребить выражение «Любой из этих цветовых образцов обладает значением»; однако я не стал бы говорить «обладает значением», потому что это провоцирует вопрос «Каким значением?», который в рассматриваемом случае является бессмысленным. Мы разграничиваем бессмысленные образцы и образцы, которые обладают значением; но в нашей игре нет такого выражения, как «Данный образец имеет такое-то и такое-то значение». Нет в ней даже такого выражения, как «Два этих образца обладают разными значениями», потому что это то же самое, что сказать: «Два этих разных образца оба обладают значением».

Хотя легко понять, почему мы склонны употреблять транзитивную форму выражения. Ибо посмотрим, какое употребление мы даем такому выражению, как «Это лицо говорит что-то», т. е. что это за ситуации, в которых мы употребляем это выражение, какие предложения предшествуют ему и следуют за ним (частью какого рода разговора оно является). Мы, возможно, последуем за этой репликой, сказав: «Взгляни на линию этих бровей» или «*Черные глаза и бледное лицо!*» — эти выражения привлекают внимание к определенным особенностям. В такой же связи мы бы употребили сравнения, как, например: «Этот нос похож на клюв», — но также и такие выражения, как: «В целом это лицо выражает замешательство», и здесь мы употребляли слово «выражение» транзитивно.

23. Теперь мы можем рассмотреть предложения, которые, как кто-то может сказать, дают анализ впечатления, под которым мы находимся,

скажем, от какого-то лица. Возьмем такое утверждение: «Это лицо производит особое впечатление благодаря маленьким глазкам и низкому лбу». Здесь слова «особое впечатление» могут означать определенное уточнение, например, «глупое выражение». Или, с другой стороны, они могут означать «то, что делает это выражение лица удивительным» (экстраординарным); или «то, что поражает в этом лице» (т. е. «то, что привлекает наше внимание»). Или опять-таки наше предложение может означать: «Если вы слегка измените *эти* особенности, выражение полностью изменится (в то время как вы могли бы изменить какие-то другие особенности, а предложение практически никак не изменилось бы)». Форма этого выражения, так или иначе, не должна заводить нас в тупик полагания, что в каждом случае имеется дополнительное утверждение формы «Сначала выражение было *таким*, а после изменения *таким*». Мы можем, конечно, сказать: «Смит нахмурился и его выражение изменилось с этого на то», указывая, скажем, на две черточки его лица. (Ср. это с двумя следующими утверждениями: «Он произнес эти слова» и «Его слова что-то говорили».)

Когда, пытаясь понять, что представляет собой чтение, я читаю написанное предложение, пусть его чтение само по себе производит на меня впечатление; тогда, если я сказал, что обладал особым впечатлением, кто-то должен спросить меня, не возникло ли это впечатление благодаря особому почерку. Это было равносильно вопросу о том, не изменилось ли бы мое впечатление, если бы почерк был другим, или, скажем, если бы каждое слово в предложении было бы написано другим почерком.

В этом смысле мы могли бы также задать вопрос, не возникло ли это впечатление в конечном итоге благодаря *смыслу* предложения, прочтенного мной. Кто-то может предложить: прочитай другое предложение (или, что то же самое, предложение, написанное другим почерком) и посмотри, можешь ли ты все еще утверждать, что обладаешь тем же самым впечатлением. И ответ может быть таким: «Да, впечатление, которым я обладал, возникало благодаря почерку». — Но это *не* предполагало бы, что когда я вначале говорил, что предложение оказало на меня особое впечатление, я противопоставлял одно впечатление другому или что мое утверждение не было такого рода: «Это предложение имеет *свой собственный характер*». Это положение станет яснее, если мы рассмотрим следующий пример. Предположим, что у нас есть три лица, нарисованных друг рядом с другом.



Я изучаю одно из них и говорю: «Это лицо имеет особое выражение». Тогда мне показывают второе и спрашивают, имеет ли оно то же самое выражение. Я отвечаю: «Да». Тогда мне показывают третье, и я говорю: «Оно имеет другое выражение». В двух своих ответах я, можно сказать, должен был разграничивать лицо и его выражение, поскольку b) отличается от a), но они имеют одно выражение, в то время как различие между c) и a) соотносится с различием их выражений; и это может побудить нас думать, что и в первом случае я разграничивал лицо и его выражение.

24. Давайте теперь вернемся к идее ощущения сходства, которое возникает, когда я вижу похожие предметы. Обдумывая вопрос о том, существует ли вообще такое ощущение, мы обычно вглядываемся в какой-нибудь предмет и говорим: «Не было ли у меня такого же ощущения, когда я смотрел на свое старое пальто и шляпу?» Но на это мы теперь отвечаем: «Какие ощущения ты сравниваешь или противопоставляешь? Ты хочешь сказать, что твое старое пальто вызывает в тебе то же самое ощущение, что и твой старый приятель А, с чьим обликом ты тоже хорошо знаком, или что *когда бы* тебе ни случилось посмотреть на свое пальто, ты испытываешь то ощущение, скажем, близости и теплоты?»

«Но разве нет такой вещи, как ощущение сходства?» — Я бы сказал, что существует множество различных переживаний, и некоторые из них являются ощущениями, которые мы называем «переживаниями (ощущениями) сходства».

Различные переживания сходства: а) Кто-то входит в мою комнату, я давно его не видел и не ждал его прихода. Я смотрю на него, говорю или ощущаю: «О, это ты». — Почему я, приводя этот пример, говорю, что давно не видел этого человека? Разве я не собирался описать *переживание* сходства? И с чем бы ни ассоциировалось это переживание, разве я не мог бы ощущать его, даже если бы я видел этого человека полчаса назад? Я имею в виду, что я привел обстоятельства узнавания человека как способ окончания описания предшествующей ситуации узнавания. Кто-то может возразить на этот способ описания *переживания*, сказав, что он имеет дело с незнакомыми вещами и фактически вообще не является *описанием* ощущения. Говоря так, человек берет в качестве прототипа описания, скажем, описание стола, которое рассказывает вам о точных очертаниях, размере и материале, из которого он сделан, а также его цвете. Такое описание, кто-то может сказать, воссоздает стол воедино. С другой стороны, существует описание стола иного рода, такое, которое вы, скажем, можете найти в романе, например: «Это был маленький расшатанный столик, изготовленный в мавританском стиле, столики такого рода используются для курительных принадлежностей». Такое описание может быть названо косвенным; но если его цель — соз-

дать живой образ стола, который бы вспыхнул на мгновение перед нашим мысленным взором, оно служит этой цели несравненно лучше, чем детальное «прямое» описание. — И вот, если я должен дать описание ощущения сходства или узнавания, — что вы ожидаете, чтобы я сделал? Должен ли я воссоздать ощущение? В каком-то смысле я, конечно, могу это сделать, давая вам множество различных стадий пути и путь в целом, по которому изменялось мое ощущение. Такие детальные описания вы можете найти в некоторых великих романах. И вот если вы думаете об описаниях воссоздания мебели, таких, которые вы можете найти в романе, вы увидите, что этого рода описанию вы можете противопоставить другое, использующее рисунки, измерения, подобные тем, какие бы вы дали дизайнеру вашего офиса. Этот последний тип мы склонны назвать единственным прямым и полным описанием (хотя этот способ выражения показывает, что мы забываем о том, что существуют определенные цели, которым это «подлинное» описание не удовлетворяет). Эти размышления предупреждают вас от того, чтобы вы думали, что существует одно подлинное и полное описание, скажем, ощущения узнавания в противоположность тому «косвенному» описанию, которое я дал.

b) То же самое, что a), но лицо не сразу кажется мне знакомым. Немного погодя узнавание «снисходит на меня». Я говорю: «О! Это ты», но с совершенно другой интонацией, чем в a). (Рассмотрим тон, интонацию, жесты, как *существенные* части нашего опыта, а не как его существенное сопровождение или лишь способ общения.)

c) Существует переживание, направленное к людям и вещам, которых мы видим каждый день, когда мы вдруг чувствуем их как «старых знакомых» или «добрых друзей».

d) Моя комната со всеми наполняющими ее предметами вполне знакома мне. Когда я вхожу в нее по утрам, встречаю ли я знакомые стулья, столы и т. д. с чувством «А, привет!» или я обладаю теми чувствами, которые описаны в c)? Но не является ли способ, при помощи которого я иду по ней, достаю что-то из ящика, сажусь на что-то и т. д., отличным от моего поведения в незнакомой комнате? И почему бы мне поэтому не сказать, что я обладал переживанием знакомства все то время, когда я жил среди этих знакомых предметов?

e) Не является ли это переживанием знакомства, когда меня спрашивают: «Кто этот человек?», — и я сразу отвечаю (или немного подумав): «Это такой-то»? Сравним это переживание с f) смотрение на написанное слово «ощущение» и говорение «Это почерк А» и, с другой стороны, g) переживание чтения слова, которое также является переживанием знакомства.

На e) можно возразить, сказав, что переживание произнесения имени человека не является переживанием знакомства, что этот человек уже должен быть знаком нам, если мы знаем его имя и что для того, чтобы мы

могли произнести имя, мы уже должны *знать его*. Или мы можем сказать: «Произнесения имени не достаточно, потому что мы безусловно произнесли имя, совершенно не зная, что это его имя». И это замечание совершенно справедливо, но только в том случае, если мы осознаем, что оно не предполагает, что знание имени является процессом, сопровождающим и предшествующим его произнесению.

25. Рассмотрим такой пример. В чем состоит разница между образом памяти, образом, который приходит через переживание ожидания и, скажем, образом дневной фантазии. Вы можете быть склонны ответить: «Существует внутреннее различие между этими образами». — А вы замечали эти различия, или просто сказали, что они есть, потому что полагаете, что они должны быть?

Но, разумеется, я осознаю образ памяти как образ памяти, образ дневной фантазии как образ дневной фантазии и т. д.! — Вспомните, как вы однажды сомневались в том, произошло ли то событие, которое вы наблюдали, наяву или во сне, или просто слышали о нем и живо его представили. Но, кроме того, что вы подразумеваете под «осознанием образа как образа памяти»? Я согласен с тем, что (по крайней мере в большинстве случаев), когда образ возникает перед вашим мысленным взором, вам не приходит в голову сомневаться, действительно ли он является образом памяти и т. д. Точно так же, если вас спросят, действительно ли ваш образ является образом памяти, вы в большинстве случаев ответите на этот вопрос без малейших колебаний. А вот, что если я спросил вас: «*Когда* вы узнаете, какого рода этот образ?» Назовете ли вы узнавание того, какого рода это был образ, пребыванием в состоянии сомнения или удивления? Это интроспекция заставляет вас видеть состояние или деятельность сознания, которое вы называете узнаванием того, что образ был образом памяти, и которое имеет место в то время, когда образ находится перед вашим мысленным взором? — И далее, если вы отвечаете на вопрос, какого рода образ это был, делаете ли вы это, как бы глядя на образ и обнаруживая в нем определенные характеристики (как если бы вас спросили, кем написана картина, вы посмотрели бы на нее, узнали стиль и сказали, что это Рембрандт)?

С другой стороны, легко указать на переживания, характерные для воспоминания, ожидания и т. д., сопровождающие соответствующие образы, и далее указать на различия в непосредственной близости или более отдаленном их окружении. Так мы определенно говорим различные вещи в различных случаях, например, «Я помню, как он вошел в мою комнату», «Я ожидаю того, что он войдет в мою комнату», «Я представляю, как он входит в мою комнату». — «Но ведь в этом не может заключаться все различие!» — А это и не все. Существуют три различ-

ных языковых игры, которые играют с этими тремя словами и окружающими их утверждениями.

Когда у нас допытываются: *понимаем* ли мы слово «помню» и т. д.? существует на самом деле разница между этим случаем и чисто словесным выражением, стоящим за ним? — наши мысли движутся в направлении непосредственного окружения образа, который мы видим, или выражения, которое мы употребляем. У меня возник образ совместного обеда в Холле с Т. Если меня спросят, является ли этот образ образом памяти, я скажу «Конечно», и мои мысли начнут двигаться по направлению к той тропинке, откуда начал движение этот образ. Я помню, кто сидел перед нами, о чем мы разговаривали, что я об этом думал, что произошло с Т. после этого, и т. д. и т. д. Представим себе две разные игры, которые обе играют шахматистами на шахматной доске. Начальные позиции у обоих одинаковые. Одна из игр всегда играет красными и зелеными фигурами, а другая — черными и белыми. Два человека начинают играть, они располагают шахматной доской с красными и зелеными фигурами. Кто-то спрашивает их: «Вы знаете, в какую игру вы собираетесь играть?» Игрок отвечает: «Конечно, мы играем в игру № 2». — «В чем разница между № 2 и № 1?» — «Ну, тут красные и зеленые фигуры, а не черные и белые, тогда мы говорим, что играем в игру № 2». — Но это не может быть единственным различием; разве вы не понимаете, что «№ 2» подразумевает и ту игру, которая играет с красными и зелеными фигурами?» Здесь мы склонны сказать: «Конечно, понимаю» и, чтобы доказать это самим себе, в самом деле начинаем ходить в соответствии с правилами игры № 2. Вот что я называю движением в непосредственной близости к нашей начальной позиции.

Но разве не существует особое ощущение «прошлости», характеризующее образы как образы памяти? Определенно, существуют переживания, которые я был бы склонен назвать ощущением «прошлости», хотя и не всегда, когда я что-то вспоминаю, непременно присутствует одно из таких ощущений. — Чтобы прояснить природу этих ощущений, опять-таки очень полезно помнить, что существуют жесты, выражающие прошлость и интонации, выражающие ее же, которые мы могли бы рассматривать как представляющие переживания прошлости.

Я рассмотрю один конкретный случай, представляющий ощущение, которое я приблизительно могу описать как ощущение «давным-давно». Эти слова и тон, с которым они произносятся, и есть жест прошлости. Но я усложню подразумеваемый мною опыт, сказав, что он соотносится с определенной мелодией (Davids Buhler Tanze — «Wie aus weiter Ferne»). Я представляю себе эту мелодию с правильным выражением, как она играет, скажем, на граммофоне. Тогда это будет наиболее разработан-

ным и точным выражением ощущения прошлого, которое я могу вообразить.

И вот скажу ли я, что прослушивание этой мелодии, играемой с этим выражением, само по себе является тем особым переживанием прошлого, или я бы сказал, что прослушивание этой мелодии опосредует возникновение ощущения прошлого, что это ощущение сопровождает мелодию? То есть могу ли я разделить то, что я называю переживанием прошлого, и просто переживание прослушивания мелодии. Или могу ли я отделить переживание прошлого, выражаемое жестом, от переживания совершения этого жеста? Могу ли я открыть что-либо, некое основополагающее ощущение прошлого, которое остается после отделения всех тех переживаний, которые я мог бы назвать переживаниями выражения ощущения?

Я склонен предложить вам положить на место переживания выражение переживания. «Но эти две вещи не одно и то же». Безусловно, по крайней мере, в том смысле, в котором было бы верным сказать, что железнодорожный поезд и железнодорожная катастрофа не одно и то же. Но есть оправдание тому, чтобы рассматривать как выражение «жест «давным-давно»», так и выражение «ощущение «давным-давно»» в качестве имеющих одно и то же значение. Так, я мог бы дать правила шахматной игры следующим образом: у меня есть шахматная доска с множеством фигур на ней. Я даю правила для того, как ходить этими конкретными фигурами (этими конкретными кусочками дерева) на этой конкретной доске. Могут ли эти правила быть правилами игры в шахматы? Они могут быть переведены в них посредством употребления, скажем, такого оператора, как «любой». Или же правила для моей конкретной партии могут оставаться такими же и стать правилами шахматной игры посредством изменения нашей начальной установки по отношению к ним.

Существует идея, что ощущение, скажем, прошлого является чем-то аморфным в нашем сознании и что это нечто является причиной или эффектом того, что мы называем выражением ощущения. Выражение ощущения тогда является косвенным способом передачи ощущения. А люди часто говорят о прямой передаче ощущения, которая подразумевает внешнего медиума коммуникации.

Представьте, что я говорю вам, чтобы вы смешали определенный цвет, и я описываю этот цвет, говоря, что это тот цвет, который вы получите, если заставите серную кислоту реагировать с медью. Это может быть названо косвенным способом сообщения того цвета, который я имею в виду. Можно представить, что реакция серной кислоты на медь при определенных обстоятельствах не даст того цвета, который я хочу, чтобы вы смешали, и что, глядя на цвет, который вы получили, я должен буду сказать: «Нет, это не то» и дать вам образец.

ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН

Можем ли мы теперь сказать, что сообщение ощущений посредством жестов является в этом смысле косвенным? Имеет ли смысл говорить о прямом сообщении в противоположность косвенному? Имеет ли смысл говорить: «Я не могу ощущать его зубную боль, но если бы я мог, я бы знал, что он чувствует»?

Если я говорю о сообщении ощущения кому-либо, не должен ли я для того, чтобы понимать, что я говорю, знать, что я буду называть критерием успешности сообщения?

Мы склонны говорить, что когда мы сообщаем ощущение кому-либо, нечто, чего мы никогда не узнаем, происходит на другом конце. Все, что можем получить от него взамен, это опять-таки выражение. Это вполне аналогично тому, чтобы сказать, что мы никогда не узнаем, когда луч света в опыте Физо достигнет зеркала.

ГОЛУБАЯ
КНИГА

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Так называемая «Голубая книга» Витгенштейна относится к очень непростому жанру «подготовительных материалов» (в данном случае к «Философским исследованиям»). Витгенштейн диктовал «Голубую книгу» машинистке, т. е. данный текст является чем-то средним между устной речью и письменной. Витгенштейн буквально думал вслух (как он обычно и читал свои лекции). К тому же нельзя не принимать во внимание, что хотя Витгенштейн хорошо знал английский еще с детства, это был не родной язык и, если его произведения, написанные по-немецки, считаются кроме всего прочего классикой философского стиля, то к текстам, подобным «Голубой книге», следует подходить иначе. Можно сказать, что в ней формируется то, что называется стилем позднего Витгенштейна: вопросы, которые остаются без ответа; парадоксальные параболы; неожиданные метафоры; характерная притчеобразность. Но все это, повторяем, только формируется. К тому же напомним, что эта машинопись вообще не предполагалась для печати. Все это ставит перед переводчиком сложную задачу: либо «причесать» текст, сделать из него подобие письменной речи, либо пытаться сохранить этот процесс перетекания из устной речи в письменную. Мы выбрали второй путь, чтобы сохранить типично витгенштейновские интонации. Поэтому перевод, на первый взгляд, может показаться несколько «растрепанным». Но таким же является и оригинал. Здесь мы хотим напомнить читателю о нашей переводческой концепции, которую мы назвали аналитическим переводом (см. Н. Малкольм. Состояние сна. М.: Прогресс, 1993; Винни-Пух и философия обыденного языка. М.: Гнозис, 1994 (2-е изд. — 1996)), суть которого в том, чтобы все время напоминать читателю о том, что перед ним текст, написанный на иностранном языке (см. положительные отзывы об аналитическом переводе, сделанные В. В. Целищевым в предисловии к его переводу книги Ричарда Рорти «Философия и зеркало природы» (Новосибирск, 1997) и Элизабет Маркштайн в статье о нашем переводе «Винни-Пуха» («Иностранная литература», 1996, № 9). Такой перевод ретардирует, задерживает чтение. Но «Голубая книга» на самом деле является одним из сложнейших текстов Витгенштейна и не было никакого смысла эту сложность в переводе сглаживать.

Вадим Руднев

ГОЛУБАЯ КНИГА

Что такое значение слова? Попробуем подступиться к этому вопросу, задав сначала другой: что такое объяснение значения слова; как выглядит объяснение значения слова? Способ, при помощи которого этот вопрос поможет нам, будет аналогичен тому способу, при котором вопрос «Как мы измеряем длину?» помог бы нам понять проблему того, «Что такое длина?»

Вопросы «Что такое длина?», «Что такое значение?», «Что такое число два?» и т. д. вызывают в нас ментальную судорогу. Мы чувствуем, что не можем ни на что указать в ответ на этот вопрос и, в то же время, — что должны на что-то указать. (Мы оказываемся перед лицом одного из величайших источников философского замешательства: существительное заставляет нас искать предмет, который соответствовал бы ему.) Спрашивая сначала: «Что такое объяснение значения?», — мы получаем два преимущества. В некотором смысле вопрос «Что такое значение?» переносится таким способом с небес на землю. Ибо несомненно, чтобы понять значение «значения», вы должны будете также понять значение «объяснения значения». Приблизительно это звучит так: «Давайте зададимся вопросом, что такое объяснение значения, ибо то, что оно объясняет и есть значение». Изучение грамматики выражения «объяснение значения» научит нас чему-либо, что относится к грамматике слова «значение», и приведет нас к попытке поискать вокруг себя некоторый объект, который мы могли бы назвать «значением».

То, что в целом называют «объяснением значения слова», можно *весьма приблизительно* разделить на вербальное и остенсивное определение. Позже будет ясно, в каком смысле это подразделение является лишь приблизительным и предварительным (а то, что это так, весьма важно). Вербальное определение, поскольку оно ведет нас от одного словесного выражения к другому, в каком-то смысле в дальнейшем ничего не достигает. С помощью остенсивного определения, так или иначе, мы, как кажется, делаем гораздо более реальный шаг по направлению к изучению значения.

Но одна трудность, которая нам мешает, состоит в том, что для многих слов в нашем языке нельзя подобрать остенсивных определений; например, для таких слов, как «один», «число», «не» и т. д.

Вопрос: Должно ли остенсивное определение само быть понято? — Не может ли оно оставаться непонятным?

Если определение объясняет значение слова, в таком случае, конечно, не может быть существенным то, что вы до этого слышали данное слово. Это дело остенсивного определения — *придавать* ему значение. Давайте тогда объясним слово «карандаш», показывая при этом на карандаш и говоря: «Это карандаш» (Вместо «Это карандаш» я мог бы сказать «Это называется “карандаш”»). Я отметил все это, чтобы раз и навсегда отвергнуть идею, в соответствии с которой слова, принадлежащие остенсивному определению, являются предикатом того, что они определяют, а именно путаницу между предложением «Это красное», атрибутирующим красный цвет чему-либо, и остенсивным определением «Это называется “красным”». И вот остенсивное определение «Это — карандаш» может быть интерпретировано любыми способами. Я дам некоторые такие интерпретации и буду при этом использовать английские слова с твердо установленными употреблениями. Тогда определение может быть проинтерпретировано как подразумевающее:

- «Это — карандаш»
- «Это — круглое»
- «Это — деревянное»
- «Это — одно»
- «Это — тяжелое» и т. д. и т. д.

На этот аргумент можно возразить, что все эти интерпретации предполагают другой словесный язык. И данное возражение значимо, если под «интерпретацией» мы подразумеваем лишь «перевод в словесный язык». — Позвольте мне дать несколько намеков, которые могут прояснить дело. Давайте спросим себя, каков наш критерий, когда мы говорим, что некто интерпретировал остенсивное определение неким специфическим образом. Положим, я даю англичанину остенсивное определение: «Это то, что немцы называют “Buch”». Тогда, по крайней мере, в подавляющем большинстве случаев, англичанину в голову придет английское слово «книга». Мы можем сказать, что он интерпретировал «Buch» как «книгу». Случай будет иным, если, например, мы укажем на некую вещь, которой раньше никогда не видели, и скажем: «Это банджо». Возможно, тогда ему придет в голову слово «гитара», а возможно, и ничего не придет, кроме образа какого-либо подобного инструмента, а возможно, что и вообще ничего. Представим тогда, что я отдаю ему приказание: «Теперь выбери банджо среди других предметов». Если он выберет именно то, что мы называем «банджо», мы сможем сказать, что «он дал слову “банджо” правильную интерпретацию»; если же он выберет какой-то другой инструмент — значит, «он интерпретировал “банджо” как “струнный музыкальный инструмент”».

Мы говорим: «Он дал слову “банджо” ту или иную интерпретацию, и мы склонны предполагать некий конечный акт интерпретации, не считая акта выбора».

Наша проблема аналогична следующей: если я отдаю кому-то распоряжение: «Сорви мне красный цветок с этой клумбы», — то как он узнает, какой именно цветок он должен принести, если я дал ему только слово?

И вот ответ, который можно было бы предложить, прежде всего состоит в том, что он шел искать красный цветок, имея в голове красный образ и, сравнивая его с другими цветами, видел, какой из них имеет цвет этого образа. И важно, что существует такой способ поиска, и вовсе не существенно, что образ, которым мы пользуемся, имеет ментальный характер. Фактически процесс может быть таким: у меня в голове нечто вроде схемы — имена и соотнесенные с ними цветные кружки. Когда я слышу приказание: «Сорви мне и т. д.», я провожу пальцем по схеме от слова «красный» к соответствующему кружку, а потом я иду и ищу цветок, который имеет тот же цвет, что и кружок.

Но это не единственный способ поиска, и он не является обычным способом. Мы идем, смотрим вокруг себя, подходим к цветку и указываем на него без какого-либо сравнения его с чем-либо для того, чтобы понять, что выполнение приказа вполне может быть чем-то вроде этого. Рассмотрим приказание «Представь себе красное пятно». В этом случае вы не будете склонны думать, что *перед* исполнением приказа вы должны иметь воображаемое красное пятно, служившее бы вам образцом для того красного пятна, которое вам приказали представить себе.

Теперь вы можете спросить: интерпретируем ли мы слова, прежде чем выполняем приказание? И в некоторых случаях вы обнаружите, что вы делаете нечто, что может быть названо интерпретированием, предшествующим исполнению приказа, а в некоторых случаях нет.

Кажется, что существуют *вполне определенные* ментальные процессы, граничащие с работой языка. Процессы, которые могут функционировать лишь при посредстве языка. Я имею в виду процессы понимания и подразумевания. Знаки нашего языка кажутся мертвыми без этих ментальных процессов; и может показаться, что единственная функция знаков состоит в том, чтобы индуцировать подобные процессы, и что это именно то, что должно вызывать наш интерес. Итак, если вас спросят, какова связь между именем и предметом, который оно именуется, вы будете склонны ответить, что связь эта психологическая и, возможно, говоря так, вы будете думать, в частности, о механизме ассоциации. — Мы склонны думать, что действие языка состоит из двух частей: неорганическая часть, оперирование со знаками, и органическая часть, которую мы можем назвать пониманием этих знаков, подразумеванием их, ин-

терпретацией их, мышлением. Эти более поздние действия, кажется, происходят в странном медиуме — сознании; а механизм сознания, природу которого мы, кажется, не до конца понимаем, способен производить эффект, который не может произвести материальный механизм. Так, например, мысль (мысль как таковая в подобном ментальном процессе) может согласовываться и не согласовываться с реальностью; я в состоянии думать о человеке, которого не вижу перед собой, я в состоянии представить его себе, подразумевать его в том замечании, которое я сделал относительно него, даже если он в этот момент находится за тысячу миль отсюда или умер. Кто-то может сказать: «Каким странным механизмом должен быть в таком случае механизм желания, если я могу желать того, что никогда не исполнится».

Есть, по крайней мере, один способ избежать оккультных феноменов в процессе мышления, и он заключается в том, чтобы заменить в этих процессах какую бы то ни было работу воображения действием смотрения на реальные объекты.

Так, может оказаться существенным, по крайней мере в определенных случаях, что, когда я слышу слово «красный», понимая его, реальный образ, красный образ как бы возникает перед моим мысленным взором. Но почему бы мне не заменить созерцание красного листа бумаги представлением красного пятна? Визуальный образ будет только живее. Представим человека, который всегда носит в кармане листок бумаги, где названия цветов соотношены с цветными пятнами. Вы можете сказать, что это было бы помехой — таскать за собой такую таблицу образцов — и что механизм ассоциации — это то, что мы используем вместо этого. Но последнее не существенно и во многих случаях даже не верно. Если, например, вы получили задание нарисовать определенный вид голубого цвета, называемого «берлинская лазурь», то вы можете использовать таблицу, которая приведет вас от слова «берлинская лазурь» к образцу этого цвета, который будет служить в качестве копии.

Для наших целей мы прекрасно могли бы заменить каждый процесс воображения процессом смотрения на объект или рисованием, зарисовыванием или моделированием его, а каждый процесс говорения — чтением кому-то вслух или написанием.

Фреге смеялся над формалистской концепцией математики, говоря, что формалисты путают несущественный знак с существенным значением. Конечно, кто-то захочет сказать, что математика не занимается вычерчиванием штрихов на листочке бумаги. Идею Фреге можно выразить так: пропозиции математики были бы мертвыми и неинтересными с точки зрения употребления, в то время как очевидно, что они в каком-то смысле нужны. И то же самое, конечно, можно было бы сказать о любой

пропозиции: лишенная смысла или лишенная мысли, пропозиция стала бы неупотребительной, мертвой и тривиальной. И далее — кажется, ясно, что добавление неорганических знаков не может оживить пропозицию. И вывод, который кто-то вынесет из этого, будет заключаться в том, что то, что должно быть добавлено к мертвым знакам, чтобы сделать пропозицию живой, есть нечто нематериальное, обладающее свойствами, отличными от свойств чистых знаков.

Но если бы мы должны были назвать нечто, что является жизнью знака, мы должны были бы сказать, что это его *употребление*.

Если значение знака (в общем, то, что существенно для знака) есть образ, строящийся в нашем сознании, когда мы видим или слышим знак, тогда сначала давайте применим метод, который мы только что описали, метод изменения этого ментального знака некоторым явно видимым образом. Например, рисованием или моделированием. Тогда почему этот написанный знак плюс этот нарисованный образ будет живым, если один написанный знак был мертвым? — На самом деле, как только вы думаете о замене ментального образа, скажем, нарисованным, этот образ сразу теряет свой оккультный характер, перестает вообще казаться дышащим какую-либо жизнь в предложении (это был действительно лишь оккультный характер ментального процесса, в котором вы нуждались для своих целей).

Ошибка, которую мы совершаем, может быть выражена так: мы ищем употребления знака, но мы ищем его, как если бы оно было объектом, *существующим* со знаком. (Одна из причин этой ошибки опять-таки состоит в том, что мы ищем «предмет, соотнесенный с действительным».)

Знак (предложение) получает значимость из системы знаков, из языка, которому он принадлежит. Примерно так понимание предложения подразумевает понимание языка. Можно сказать, что предложение получает жизнь как часть системы языка. Но кто-то склонен вообразить, что то, что дает предложению жизнь, есть нечто из оккультной сферы, сопровождающей предложение. Но чем бы это сопровождающее ни было, для нас это уже будет другой знак.

На первый взгляд кажется, то, что придает мышлению специфический характер, есть последовательность ментальных состояний, и, кажется, то, что странно и сложно понять в том, что касается мышления, — это процессы, происходящие в медиуме. Сравнение, которое само себя усиливает для нас, это ментальный медиум с клеточной протоплазмой, скажем, амебы. Мы наблюдаем определенные действия амебы — как она настигает пищу, протягивая усики, ее разделение на похожие амебы, каждая из которых растет и ведет себя как исходная амеба. Мы говорим: «Что это должна быть за странной природы протоплазма, чтоб она могла

действовать таким образом»; и, возможно, мы говорим, что никакой психический механизм не может вести себя таким образом и что механизм амебы должен быть совершенно другого типа. Таким же образом, мы склонны говорить, что механизм сознания должен быть наиболее подходящим для того, чтобы быть способным делать то, что делает сознание». Но здесь мы совершаем две ошибки. Ибо что смущает нас в качестве чего-то чрезвычайно странного в мысли и мышлении, — это вовсе не то, что они имеют странные эффекты, которые мы еще не в состоянии объяснить причинно. Наша проблема, другими словами, не научная: проблема заключается в том, что мы ощущаем путаницу.

Допустим, мы пытаемся сконструировать модель сознания как результат психологических исследований. Модель, которая, как мы сказали, объясняет действие сознания. Эта модель была бы частью психологической теории в том смысле, в котором механическая модель эфира может быть частью теории электричества. (Такая модель, между прочим, всегда является частью *символизма* теории. Ее преимущество может заключаться в том, что она может быстро усваиваться и легко удерживаться в сознании. Было сказано, что модели в некотором смысле одевают нагую теорию, что *голая* теория — это предложения и уравнения. Это должно быть исследовано более ясно позднее).

Мы можем обнаружить, что такая модель сознания должна была бы быть очень сложной и замысловатой для того, чтобы объяснить наблюдение ментального поведения; и на этом основании мы могли бы назвать сознание странного рода медиумом. Но этот аспект сознания нас не интересует. Проблемы, которые оно может поставить — это психологические проблемы, и метод их решения — тот же, что в естественных науках.

И вот, если нет причинной связи, на которой мы сконцентрированы, тогда поведение сознания лежит перед нами открытым. И когда мы беспокоимся о природе мышления, загадочность которого мы неверно интерпретируем как нечто, родственное природе медиума, это загадочность, причиняемая вводящим в заблуждение использованием нашего языка. Ошибка этого рода вновь и вновь повторяется в философии; например, когда мы озадачиваемся по поводу природы времени. Когда время кажется нам *странным*. Мы в наибольшей мере склонны думать, что существуют две вещи, скрытые от нас. Нечто, что мы можем увидеть извне, но внутрь чего не можем заглянуть. На самом деле, ничего подобного. Это не новые факты о времени, — это, что мы хотим узнать. Все факты, которые нас интересуют, лежат перед нами. Но употребление существительного «время» мистифицирует нас. Если мы посмотрим на грамматику этого слова, мы почувствуем, что она не менее поразительна, чем тот факт, что человек должен постигнуть божество времени. Что бы

это было — постигнуть божество отрицания или дизъюнкции? Вводит в заблуждение, когда говоря о мышлении как о «ментальном действии», мы можем сказать, что мышление есть по преимуществу действие, оперирующее со знаками. Это действие представляет рука, когда мы думаем на бумаге, рот и гортань, когда мы думаем в разговоре; а если мы думаем при помощи воображаемых знаков, то я не могу вам представить агента мышления. Если тогда вы скажете, что в этих случаях думает сознание, то я бы только обратил внимание на тот факт, что вы употребляете метафору, что здесь сознание является агентом в другом смысле, чем в том случае, когда можно сказать, что рука является агентом письма.

Если опять-таки встает вопрос о локализации моего мышления, мы имеем право сказать что эта локализация — на бумаге, на которой мы пишем, или во рту, при помощи которого мы говорим. А если мы говорим о голове или мозге как локализаторе мышления, то выражение «локализация мышления» употребляется здесь в другом смысле. Давайте исследуем, какие существуют причины, чтобы назвать голову местом мышления. Здесь дело не в нашем намерении критиковать эту форму выражения или находить, что она тут является неподходящей. Что мы должны сделать, так это понять его работу, его грамматику, например, увидеть, какова связь этой грамматики с выражением «мы думаем посредством рта» или «мы думаем посредством карандаша и листа бумаги».

Возможно, главная причина, по которой мы в столь сильной мере склонны говорить о голове как локализации наших мыслей, заключается в следующем: существование слов «мышление» и «мысль» среди слов, обозначающих (телесную) деятельность, такую, как писание, говорение и т. д., заставляет нас искать деятельность, отличную от этих, но аналогичную им. Соответствующую слову «мышление». Когда слова в нашем обыденном языке имеют *prima facie* аналогичные грамматики, мы склонны пытаться их интерпретировать аналогичным образом; т. е. мы пытаемся проводить аналогии повсеместно. — Мы говорим: «Мысль — это не то, что предложение, ибо английское и французское предложения употребляются по-разному, могут выразить по-разному одну и ту же мысль». И вот подобно тому, как предложения находятся *где-то*, так и мы ищем место для мысли. (Это как если бы мы искали для короля, предусмотренного шахматными правилами, место, противоположное местам различных кусочков дерева, королей различных типов.) — Мы говорим: «Конечно, мысль есть *нечто*, она не есть ничто»; и все, что можно на это ответить, это то, что слово «мысль» имеет свое *употребление*, которое совсем другого рода, чем употребление слова «предложение».

Но означает ли это, что бессмысленно говорить о локализации мысли? Конечно, нет. Эта фраза будет иметь смысл, если мы придадим ей

его. Теперь, если мы говорим «мысль расположена в наших головах», то в каком смысле эту фразу можно понять рационально? Я полагаю, что определенные психологические процессы соответствуют нашим мыслям таким образом, что, если мы знаем соответствия, то мы можем, наблюдая эти процессы, обнаружить мысль. Но в каком смысле о психологических процессах можно сказать, что они соответствуют мыслям, и в каком смысле мы можем говорить о получении мысли из наблюдения мозга?

Я полагаю, мы представляем, что соответствие должно быть подтверждено экспериментально. Представим себе такой примитивный эксперимент. Он состоит в том, что мы наблюдаем за мозгом в то время, когда он думает. А теперь вы можете подумать, что причина, по которой мои объяснения продолжают быть неверными, состоит в том, что, конечно, экспериментатор достигает мысли субъекта, только когда субъект их высказывает, субъект, выражающий их тем или иным образом. Но я преодолел эту трудность, предположив, что субъект в то же самое время является экспериментатором, который смотрит на свой собственный мозг, скажем, в зеркало. (Примитивность этого описания никоим образом не снижает ценности аргумента.)

Затем я спрашиваю вас, наблюдает ли субъект-экспериментатор один предмет или два предмета? (Не говорите, что он наблюдает один предмет одновременно изнутри и снаружи; ибо это не отодвинет трудность. Мы поговорим о «внутри» и «снаружи» позднее.) Этот субъект-экспериментатор наблюдает корреляцию двух явлений. Одно из них он, возможно, назовет *мыслью*. Она может состоять из последовательности образов, органических впечатлений, или, с другой стороны, из последовательности различных визуальных, тактильных и мускульных ощущений, которые он переживает при писании или проговаривании предложения. — Совсем другое переживание имеет место, когда кто-то видит работу своего мозга. Оба эти феномена могли бы быть безусловно названы «выражением мысли», и вопрос: «Где находится сама мысль?» лучше бы, дабы предотвратить путаницу, отбросить как бессмысленный. Если, тем не менее, мы используем выражение «мысль расположена в голове», то мы придаем этому выражению значение, которое описывает переживание, удовлетворявшее бы *гипотезе*, что мысль располагается в наших головах и описывает переживание, которое мы хотим назвать «наблюдением мысли в нашем мозгу».

Мы легко забываем, что слово «местоположение» используют во многих других смыслах и что существует много различного рода утверждений о предмете, которые в частном случае, в соответствии с общим употреблением, мы можем назвать спецификациями местоположения этого предмета.

Так, было сказано о визуальном пространстве, что его место в нашей голове, и я думаю, кто-то склонен будет сказать так отчасти из-за грамматического непонимания этого выражения.

Я могу сказать: «В моем визуальном поле я вижу образ дерева справа от образа башни» или «Я вижу образ дерева посередине визуального поля». И вот теперь мы склонны спросить: «А где ты видишь визуальное поле?» И вот если под «где» подразумевается вопрос о местоположении в том смысле, в котором мы определяем местоположение образа дерева, тогда я бы обратил ваше внимание на тот факт, что вы еще не придали смысла этому вопросу; т. е., вы действовали посредством грамматической аналогии, не разработав ее детально.

Говоря, что идея нашего визуального поля, расположенного в нашем мозгу, возникает из-за грамматического непонимания, я не имел в виду, что мы не могли бы придать смысл такому определению местоположения. Мы могли бы, например, легко представить переживание, которое мы бы описали посредством такого утверждения. Представьте, что мы смотрим на группу предметов в этой комнате, и пока мы смотрели, в наш мозг был вставлен зонд и было обнаружено, что, если бы конец зонда достиг определенной точки в нашем мозгу, то особая маленькая часть нашего визуального поля тем самым была бы уничтожена. Таким образом, мы можем скоординировать точки нашего мозга с точками визуального поля, и это может заставить нас сказать, что визуальное поле локализовано в таком-то и таком-то месте в нашем мозгу. И если теперь нам задали вопрос: «Где вы видите образ этой книги?», то ответ мог бы быть (как и выше) — «справа от того карандаша» или «по левую руку от моего визуального поля» или опять-таки: «В трех дюймах от моего левого глаза».

Но что, если кто-то сказал: «Я могу уверить вас, что чувствую визуальный образ в двух дюймах позади моей переносицы?» — Что мы ему ответим?

Сказать ли, что он говорит неправду или что такого не может быть? Что если он спрашивает нас: «Вы знаете, что все ощущения находятся там? Откуда же вы знаете, что там нет такого ощущения?»

Что, если прорицатель говорит нам, что когда он держит лозу, он *чувствует*, что вода находится на глубине пяти футов под землей? Или что он *чувствует*, что сплав меди и золота находится на глубине пяти футов под землей? Допустим, в ответ на наши сомнения он говорит: «Вы можете оценить длину, когда вы видите ее. Почему бы мне не обладать другим способом ее оценки?»

Если мы понимаем идею такой оценки, мы получим ясность относительно природы наших сомнений по поводу утверждения прорицателя и человека, который сказал, что почувствовал визуальное поле за переносицей. Вот утверждение: «Этот карандаш длиной в пять дюймов» и утвержде-

ние: «Я чувствую, что длина этого карандаша пять дюймов», и мы должны достичь ясности относительно связи грамматики первого утверждения «Я чувствую своей рукой, что вода находится на глубине трех футов»: мы ответим на него нечто вроде: «Я не знаю, что это *означает*».

Но прорицатель скажет: «Вы знаете, что значит “три фута под землей” и что значит “я чувствую”!» На это я бы ответил ему: Я знаю, что слово означает в *определенных контекстах*. Таким образом, я понимаю фразу «три фута под землей», скажем, в связи с предложениями «Измерение показало, что вода течет на глубине трех футов под землей», «Если мы выроем землю на три фута, мы доберемся до воды», «Глубина залегания воды на глазок примерно три фута». Но использование выражения «Ощущение в моих руках такое, что вода находится на глубине трех футов под землей» еще не объяснено мне.

Мы могли бы спросить прорицателя: «Как ты выучил значение слова “три фута”»? Мы полагаем, посредством показа этой длины, измерением ее и т. п.

Вас также обучали говорить о чувстве, что вода всегда течет на глубине трех футов, поскольку если это не так, что заставляет вас связывать слово «три фута» с чувством в вашей руке? Предположим, что мы всегда оцениваем длину на глаз, но никогда не измеряем ее. Как мы могли бы оценить длину в три дюйма посредством ее измерения. То есть как могли бы мы интерпретировать переживание измерения в дюймах? Вопрос стоит так: какова связь между, скажем, тактильным ощущением и переживанием измерения предмета при помощи лозы в один ярд. Эта связь покажет нам, что означает почувствовать, что вещь имеет шесть футов длины. Предположим, что прорицатель сказал: «Меня никогда не учили соотносить глубину воды под землей с чувствами в моей руке, но когда у меня определенное чувство напряжения в руках, слова “три фута” сразу возникают в моем сознании». Мы бы ответили на это: «Это очень хорошее объяснение того, что вы подразумеваете под “чувством глубины в три фута” и утверждение, что вы чувствуете это, не будет от этого ни больше, ни меньше, чем подразумевание того, что ваше объяснение дано. И если опыт показывает, что глубина воды на самом деле всегда согласуется со словами “ n футов”, которые приходят вам на ум, весь ваш опыт будет очень полезным для определения глубины воды». — Но вы видите, что значение слов «Я чувствую, что глубина воды равна n футов» должно быть объяснено; оно не было известно, когда значение слов « n футов» в обычном смысле (т. е. в обыденных контекстах) было известно. — Мы не говорим, что человек, который толкует нам о том, что он чувствует визуальный образ в двух метрах от своей переносицы, лжет или несет вздор. Но мы говорим, что не понимаем значения этой фразы. Она комбинирует хорошо известные слова, но комбинирует

их таким способом, смысла которого мы не понимаем. Грамматика этой фразы должна еще быть объяснена нам.

Важность исследования ответа прорицателя состоит в том факте, что мы придали значение некоему утверждению p , если только мы утверждали: «Я чувствую, что p имеет место» (мы поговорим в другой раз о том, как профессор Харди говорил, что теорема Гольбаха — это пропозиция, потому что он верит в то, что она истинна). Мы уже сказали, что лишь посредством объяснения значения слов «три фута» в обычном смысле мы не объясним смысла фразы «чувство, что вода находится на глубине трех футов». Но мы бы не чувствовали этих трудностей, если бы прорицатель сказал, что его *научили* оценивать глубину воды, скажем, посредством рытья в том месте, где бы он почувствовал, что там есть вода, и этим способом соотнося подобные ощущения с измерением глубины. И вот мы должны изучить связь процесса *обучения оценке* с действием оценивания. Важность этого исследования состоит не в том, что оно применимо к связи между обучением значению слова и употреблением слова. Или, более обобщенно, что оно показывает различные возможные связи между заданным правилом и его применением.

Давайте рассмотрим процесс оценки длины на глаз: чрезвычайно важно, чтобы вы осознали, что существует огромное количество различных процессов, которые мы называем «оценкой на глазок».

Рассмотрим следующие случаи:

(1) Кто-то спрашивает «Как вы оцениваете высоту здания?», — я отвечаю: «Оно имеет четыре этажа; я полагаю, каждый этаж примерно пятнадцать футов высоты: поэтому оно должно быть около четырех ярдов».

(2) В другом случае: «Я примерно знаю, как выглядит расстояние в один ярд; поэтому оно должно быть около четырех ярдов».

(3) Или опять-таки: «Я могу вообразить высокого человека, достигающего до этой точки; поэтому она должна быть что-то около шести футов над землей».

Или: «Я не знаю; просто оно выглядит на ярд длиной».

Этот последний случай нас, похоже, озадачивает. Если вы спрашиваете: «Что происходило в том случае, когда человек оценивал длину?», корректный ответ может быть: «Он *смотрел* на предмет и говорил: “Это выглядит на ярд”». Вот и все, что происходило. Мы говорили раньше, что мы бы не стали озадачивать себя по поводу ответа прорицателя, если бы он сказал нам, что его *обучили*, как оценивать глубину. И вот обучение оцениванию было, говоря в широком смысле, видно в различных связях с актом оценки; или как причина феномена оценки, или как снабжение нас неким правилом (стол, карта или какая-нибудь другая подобная вещь, которую бы мы использовали в акте оценки).

Предположим, что я учу кого-то использованию слова «желтый» посредством повторяющегося указания на желтое пятно и произнесения соответствующего слова.

В другом случае я предлагаю ему применить то, что он выучил, отдавая ему приказание «вынуть желтый мяч из сумки». Что это было, что происходило, когда он подчинялся моему распоряжению? Я говорю: «Возможно, всего лишь это: он услышал мои слова и взял зеленый мяч из сумки». И вот вы, может быть, склонны думать, что он представил что-то желтое, когда *понимал* приказание, и затем он выбрал мяч в соответствии со своим образом, чтобы видеть, что это не *обязательно* — помнить, что я мог бы отдать приказ «Представь желтое пятно». Вы все еще склонны предполагать, что он вначале представляет желтое пятно непосредственно в момент понимания моего приказа, а затем представляет себе желтое пятно под стать первому? (Я не говорю, что это невозможно. Но, придерживаясь этого метода, можно непосредственно показать, что это не обязательно. Так, между прочим, наглядно проясняется метод философии.)

Если мы обучились значению слова «желтый», получив некоторого рода остенсивное определение (правило употребления слова), то на это обучение можно посмотреть с двух различных точек зрения.

А. Обучение — это тренировка. Тренировка служит причиной того, что мы ассоциируем желтый образ, желтые предметы со словом «желтый». Так, когда я отдаю «приказание»: «Выбери желтый мяч из этой сумки», — слово «желтый» может воссоздать желтый образ или ощущение его осознания, когда взгляд упадет на желтый мяч. Обучение посредством тренировки могло бы в этом случае, так сказать, выстроить некий физический механизм. Но это, конечно, всего лишь гипотеза или даже метафора. Мы могли бы сравнить обучение с налаживанием электрической связи между выключателем и электрической лампочкой. Но параллель со связью была бы неверной или опровергалась бы тем, что мы называем забыванием объяснения или значения слова. (Мы должны будем говорить ниже о значении выражения «забывание значения слова»¹.)

Поскольку обучение вызывает ощущение, ассоциацию, опознание и т. д., и т. д., оно является *причиной* феномена понимания, исполнения и т. д.; но это представляет лишь гипотезу — что процесс обучения нуждается в том, чтобы вызывать все эти явления. В этом смысле ясно, что *все* процессы понимания, исполнения и т. д. должны происходить без того, чтобы кто-либо когда-либо обучался языку (это лишь *кажется* в высшей степени парадоксальным).

¹ Это никогда не было сделано. — *Здесь и далее прим. англ. ред.*

В. Обучение может снабдить нас правилом, которое само включено в процесс понимания, исполнения и т. д.; «включено» так или иначе, имея в виду то, что выражение данного правила формирует часть этих процессов.

Мы должны разграничивать то, что можно назвать «процессом, протекающим, в соответствии с правилом» и «процессом, включающим в себя правило» (в том смысле, который указан выше).

Приведем пример. Кто-то обучает меня возводить в квадрат действительные числа; он записывает ряд

1 2 3 4

и просит меня возвести эти числа в квадрат. (В этом случае я вновь меняю местами процесс, происходящий «в сознании» с процессом вычисления на бумаге.) Предположим, под первым рядом чисел я напишу:

1 4 9 16.

То, что я написал, соответствует общему правилу возведения в квадрат; но оно, очевидно, также соответствует и некоторому количеству других правил; и среди них то одно, что я написал, не в большей степени соответствует другому. В том смысле, в котором мы выше говорили о правилах, включенных в процесс, *ни одно* правило не было включено в этот процесс. Предположим, что для того, чтобы достичь своего результата, я считал 1×1 , 2×2 , 3×3 , 4×4 (т. е. в данном случае выписывал вычисления). Результат будет опять-таки соответствовать определенному количеству правил. Предположим, с другой стороны, что для того, чтобы достичь результата, я записал то, что можно назвать «правилом возведения в квадрат», скажем, алгебраически. В этом случае данное правило было включено в процесс в том смысле, в котором не было включено ни одно другое правило. Мы скажем, что правило *включено* в понимание, исполнение приказов и т. д., если, как я попытался бы выразить это, символ правила формирует часть вычисления. (Поскольку нас не интересует, где происходят процессы мышления и счета, мы можем для своих целей представить, что подсчет делался прямо на бумаге. Не будем вдаваться в различия: это внутреннее, это внешнее.)

Характерным примером случая *В* был бы такой, в котором обучение снабжало нас таблицей, которую бы мы реально использовали в понимании, исполнении приказаний и т. д. Если мы учимся играть в шахматы, мы можем выучить правила. Если после этого мы играем в шахматы, эти правила не будут нуждаться в том, чтобы их включили в саму игру. Но это можно и сделать. Представим, к примеру, что правила выражены в виде таблицы; в одном столбце нарисованы шахматисты; в параллельном столбце мы находим диаграммы, демонстрирующие «свободу» (правильные ходы) фигур. Предположим теперь, что способ, при помощи которого мы играем, включает в себя переход от поверхности возможных ходов посредством пробегания пальца одного из игроков через стол и затем один из этих ходов.

Обучение как гипотетическая история последующих действий (понимание, выполнение, оценка длины и т. д.) не входит в наше рассмотрение. Правило, которое было выучено и впоследствии применено, интересует нас только постольку, поскольку оно включено в применение правила. Правило, постольку, поскольку оно нас интересует, не действует на расстоянии.

Положим, я указал на лист бумаги и сказал кому-то: «Этот цвет я называю красным». После этого я отдаю ему распоряжение: «Теперь изобрази красное пятно». И затем спрашиваю его: «Почему, выполняя мое поручение, ты нарисовал именно этот цвет?» Его ответ может быть таким: «Этот цвет (окрашенный образец, который я дал ему) был назван красным, и пятно, которое я изобразил, имеет, как видишь, цвет образца». Он выложил мне причину того, почему он исполнил мое поручение именно этим способом. Определяя причину чего-либо, некто демонстрирует способ, показывающий тот путь, при помощи которого он достиг цели. В некоторых случаях это обозначает объяснение пути, который привел его туда, объяснение, находящееся в соответствии с определенными принятыми правилами. Так, когда спрашивают: «Почему ты выполнил мое распоряжение, изобразив именно этот цвет?», — человек может в ответ описать способ, который он взял на вооружение в случае с этим определенным типом цвета. Все это должно было бы быть так, как если бы, слыша слово «красный», он брал образец, который я дал ему, образец, помеченный ярлыком «красный», и рисуя пятно, *копировал* этот образец. С другой стороны, он мог нарисовать его «автоматически» или по памяти, а когда его просили объяснить причину, он все же мог указывать на образец, соответствующий пятну, которое он нарисовал. В этом последнем случае данное объяснение будет иметь причинный характер, т. е. будет служить определением *post hoc*.

Теперь, если кто-то думает, что не бывает понимания и исполнения приказа без предварительного обучения, он думает об обучении как о поддерживающей действие причине; и вот имеется идея, что, если приказ понят и исполнен, то должна быть причина для его исполнения; в действительности цепь причин уходит назад в бесконечность. Это как если бы кто-то сказал: «Где бы ты ни был, ты должен добраться откуда бы то ни было к этому месту, из которого ты вышел» и так *ad infinitum*. (Если, с другой стороны, вы сказали, что где бы вы ни были, вы *могли* бы добраться туда из любого места, расположенного на расстоянии 10 ярдов; и к этому другому месту от третьего — расположенного в 10 ярдов и т. д. *ad infinitum*, — если вы сказали все это, вы должны тогда подчеркнуть бесконечную *возможность* сделать еще один шаг.)

Итак, идея бесконечной цепи причин возникает вследствие путаницы вроде этой: отрезок определенной длины состоит из бесконечного чис-

ла частей, потому что он бесконечно делим, т. е. потому, что нет конца возможности его деления.

Если, с другой стороны, вы осознаете, что цепь *действительных* причин имеет начало, вы не будете больше противиться идее случая, в котором *нет* причины того способа, при помощи которого вы выполнили приказание. Так или иначе, в этом пункте нас подстерегает другая путаница — между причиной и поводом. Итак, когда цепь причин подходит к концу, и все же задают вопрос «почему?», кто-то будет склонен описать повод вместо причины. Если, например, на вопрос «Почему ты нарисовал пятно именно этого цвета, когда я велел тебе нарисовать пятно красного цвета?», ты отвечаешь: «Мне показали образец этого цвета и одновременно было произнесено слово “красный”; поэтому этот цвет теперь всегда приходит мне в голову, когда я слышу слово “красный”», то в этом случае вы объяснили повод своего действия, а не причину.

Пропозиция, в соответствии с которой ваши действия имеют такой-то и такой-то повод, есть гипотеза. Гипотеза является хорошо обоснованной, если кто-то обладает определенным числом ощущений, которые, грубо говоря, соответствуют показу того, что твое действие является регулярным следствием определенных условий, которые мы потом назовем плодом этого действия. Для того, чтобы знать причину, по которой вы сделали определенное утверждение, или действовали определенным образом и т. д., никакие ощущения не обязательны, и утверждение вашей причины не является гипотезой. Различие между грамматикой слов «причина» и «повод» похоже на различие между грамматикой слов «мотив» и «повод». О поводе можно сказать, что его *можно* не знать, можно только догадываться о нем. С другой стороны, часто говорят: «Конечно, я должен знать, почему я сделал это», — говоря о *мотиве*. Когда я говорю: «Мы можем только догадываться о поводе, но мы знаем мотив», то это утверждение, как будет видно в дальнейшем, является грамматическим. «Можем» — указывает на *логическую* возможность.

Двойное употребление слова «почему», вопрошающее и о причине, и о мотиве, вкупе с идеей, что мы можем знать наши мотивы, а не только догадываться о них, ведет к путанице, в соответствии с которой мотив есть причина, которую мы непосредственно осознаем, причина, «видимая изнутри», или наблюдаемая причина. — Представление о причине все равно, что представление об исчислении, посредством которого вы достигаете определенного результата.

Вернемся к утверждению о том, что мышление, по сути, состоит в оперировании знаками. Моя точка зрения заключалась в том, что, если мы будем говорить, что «мышление — это психическая деятельность», то это заведет нас в тупик. Вопрос о том, какого же рода деятельностью яв-

ляется мышление, аналогичен вопросу: «Где локализуется мышление?» Мы можем ответить: на бумаге, в нашей голове, в сознании. Ни одно из этих утверждений о локализации не дает нам *локализацию мышления*. Употребления всех этих уточнений верны, но мы не должны вводить себя в заблуждение простотой их лингвистической формы, делая из этого ложное заключение об их грамматике. Как если бы, например, вы сказали: «Ясно, что *действительное* место мышления в нашей голове». То же самое применимо к идее мышления как деятельности. Было бы правильным сказать, что мышление есть деятельность нашей правой руки, нашей гортани и нашего сознания только в том случае, если мы поняли грамматику этих утверждений. И более того, чрезвычайно важно осознать, каким образом вследствие заводящей в тупик грамматики наших выражений мы склонны думать об одном из этих утверждений как о дающем реальную локализацию деятельности мышления.

Можно возразить на слова о том, что мышление в некотором роде есть деятельность руки. Мышление, кто-то захочет сказать, есть часть нашего «индивидуального опыта». Оно не материально, но является событием в индивидуальном сознании. Это возражение может быть выражено в виде вопроса: «Может ли машина мыслить?» Я выскажу свое мнение по этому поводу в дальнейшем, а теперь лишь обращусь к аналогичному вопросу: «Может ли у машины быть зубная боль?» Вы, конечно, будете склонны ответить: «У машины не может быть зубной боли». Все, что я хочу теперь сделать, это обратить ваше внимание на употребление слова «может» и спросить у вас: «Вы имеете в виду, что весь наш прошлый опыт показывает нам, что у машины никогда не бывает зубной боли?» Невозможность того, о чем вы говорите, есть логическая невозможность. Вопрос вот в чем: каково отношение между мышлением (или зубной болью) и субъектом, который мыслит, у которого болят зубы и т. д.? Но сейчас я об этом больше распространяться не буду.

Если мы говорим, что мышление — это по сути оперирование со знаками, то первый вопрос, который может возникнуть в этом случае, следующий: «Что такое знаки?» Но вместо того, чтобы давать какого-либо рода общий ответ на этот вопрос, я предложил бы вам присмотреться внимательнее к частным случаям того, что мы называем «оперированием со знаками». Давайте рассмотрим простой пример оперирования со словами. Я отдаю кому-либо распоряжение «сходить и принести мне от зеленщика шесть яблок». Вот способ, каким я придал употребление своему распоряжению: слова «шесть яблок» написаны на листке бумаги, бумага вручается посланным мной человеком зеленщику, зеленщик сравнивает слово «яблоко» с образцами яблок на разных полках. Он находит надпись, соответствующую одному из образцов, считает от единицы до того числа,

которое написано на клочке бумаги и для каждого подсчитанного числа берет плод с полки и кладет в сумку. — И вот здесь мы имеем случай определенного употребления слов. В будущем я снова и снова стану обращать ваше внимание на то, что я называю языковыми играми. Существуют более простые способы употребления знаков, по сравнению с теми, которые мы используем в нашей — в высшей степени сложной — повседневной речевой деятельности. Языковые игры — это формы языка, при помощи которых ребенок начинает осваивать употребление определенных слов. Исследование языковых игр есть не что иное, как исследование примитивных форм языка. Если мы хотим изучать проблемы истины и лжи, согласованности и несогласованности высказываний с действительностью, проблемы природы утверждения, восклицания и вопроса, мы будем с огромным вниманием наблюдать за примитивными формами речевой деятельности, в которых эти формы мышления появляются в чистом виде, не смешанные с основаниями высоко усложненных процессов мышления. Когда мы наблюдаем за такими простыми формами языка, то ментальный туман, который, кажется, все время обволакивает обыденное употребление языка, исчезает. Мы видим действия, реакции, которые являются четкими и прозрачными. С другой стороны, мы узнаем в этих простых процессах формы языка, не разделенные барьером от более сложных. Мы видим, что можем построить сложные формы из примитивных посредством постепенного наращивания новых форм.

И вот если что и затрудняет для нас взять этот курс исследования, это наше непреодолимое стремление к обобщениям.

Это стремление к обобщениям является результатом определенного числа тенденций, связанных с частными проявлениями нашей общей философской путаницы. Это следующие тенденции:

(а) Тенденция искать нечто общее во всех сущностях, которые мы обычно относим к общим термам. — Мы склонны думать, что должно быть нечто общее, скажем, во всех играх и что это общее является оправданием применения общего термина «игра» применительно к различным играм; в то время как игры образуют *семью*, члены которой имеют семантические сходства. У некоторых из них похожие носы, у других одинаковые брови, у третьих — походка; и эти сходства пересекаются. Идея общего понятия, которая была общим свойством этих частных случаев, связывается с другими примитивными, часто слишком простыми идеями структуры языка. Последнее можно сравнить с представлением о том, что *свойства* являются *ингредиентами* вещей, обладающих этими свойствами; например, что красота является ингредиентом всех красивых вещей примерно так же, как алкоголь является ингредиентом пива и вина, и что поэтому мы можем выявить чистую неподдельную красоту чего-либо, что является красивым.

(b) Существует тенденция, коренящаяся в наших обычных формах выражения, думать, что человек, который научился понимать общий термин, скажем, слово «лист», тем самым, пришел к обладанию общей картины листа, в противоположность картинам конкретных листьев. Ему показывали различные листья, когда он обучался значению слова «лист»; и этот показ ему отдельных листьев был лишь средством завершить формирование «в нем» идеи того, что, как мы представляем себе, есть некоторого общего рода образ. Мы говорим, что он видит то, что общего во всех этих листьях; и это соответствует действительности, если мы подразумеваем под этим, что он (если его спросить) опишет нам определенные особенности или свойства, которые листья имеют общими. Но мы склонны думать, что общая идея листа есть нечто, подобное визуальному образу, но такому образу, который содержит лишь то, что является общим для всех листьев (ср. Гальтоновы снимки). Последнее опять-таки связано с идеей, в соответствии с которой значение слова есть образ, или мысль, соответствующая определенному слову. (Это приблизительно означает, что мы смотрим на слова так, как если бы все они были именами собственными, т. е. мы путаем носителя имени с его значением.)

(c) Опять-таки, идея того, что происходит, когда мы рассматриваем общее понятие «листа», «растения» и т. д., и т. д., связана с путаницей между ментальным состоянием, подразумевающим состояние гипотетического ментального механизма, и психическим состоянием, подразумевающим некое определенное состояние сознания (зубную боль и т. д.).

(d) Наше стремление к обобщению имеет и другой источник: нашу поглощенность методом науки. Я имею в виду метод редуцирования объяснения природных явлений к наименьшему возможному числу примитивных естественно-научных законов; так же, как в математике используются обобщения в целях унификации определенных тем. Философы постоянно имеют перед глазами этот научный метод и чувствуют непреодолимое стремление спрашивать и отвечать на вопросы так, как это делает наука. Эта тенденция — реальный источник метафизики, он приводит философа к полнейшей темноте. Я хочу сказать, что наша работа ни в коем случае не должна сводиться к редуцированию чего-либо к чему-либо, или даже к объяснению чего-либо. Философия на самом деле является «чисто дескриптивной» дисциплиной. (Подумайте о таких вопросах, как «Существуют ли чувственные данные?», — и спросите себя: «Какой метод определяет подобный вопрос? Интроспекция?»)

Наряду со «стремлением к обобщению» я бы сказал еще — «соблазнительная склонность к частному случаю». Если, например, кто-то пытается объяснить понятие числа или говорит нам, что такое-то и такое-то определение не пойдет, кажется неуклюжим, неприемлемым, потому что

оно применено, скажем, к конечному ряду чисел, то я бы ответил на это: «Сам по себе факт, что такое ограниченное определение возможно, делает его чрезвычайно важным для нас. (Элегантность — это *не* то, к чему мы стремимся.) Ибо почему-то то, что конечные и трансфинитные числа имеют общего, для нас более интересно, чем то, в чем они различаются?» Или, скорее, я бы не сказал: «Почему это было бы более интересным для нас? — это *не* так»; и это характеризует наш способ мышления.

Такая установка на более общее и более специальное в логике связана с употреблением слова *kind* (тип, сорт), которое также вносит свою долю путаницы. Мы говорим о типах чисел, типах высказываний, типах доказательств; а также о сортах яблок, сортах бумаги и т. д. В одном смысле то, что определяет тип, — это свойства — такие, как яркость, тяжесть и т. д., в других — различные типы — это различные грамматические структуры. Исследование в области помологии может быть названо неполным, если существует некий сорт яблок, которого оно не заметило. Здесь у нас имеется определенный стандарт полноты в природе. Предположим, с другой стороны, что существует игра, похожая на шахматы, но более простая — в ней не используется фигура слона. Можем ли мы назвать такую игру неполной? Назвали ли бы мы некую игру более полной, чем шахматы, но с добавлением неких новых элементов? Презрение к тому, что является меньшим, чем общий случай, в логике происходит от идеи, в соответствии с которой меньшее является неполным. Фактически это путаница — говорить об арифметических натуральных числах как о чем-то частном по отношению к чему-то более общему. Натуральные числа арифметики сами по себе не имеют никаких признаков неполноты; то же самое можно сказать о самой арифметике, которая в целом является и натуральной, и конечной. (Не существует никаких тонких различий между логическими формами, подобных вкусовым различиям между сортами яблок.)

Если мы изучаем, скажем, грамматику слов «желание», «мышление», «понимание», то мы не были бы разочарованы, если бы просто дали описание различных случаев желания, мышления и т. д. Если бы кто-то сказал: «Конечно, это не все, что называют “желанием”», то мы бы ответили: «Конечно, нет, но ты можешь построить более сложные случаи, если хочешь». И наконец, не существует одного определенного класса особенностей, которые характеризуют все случаи желаний, по крайней мере, в обычном употреблении слова. Если, с другой стороны, вы хотите дать определение желанию, т. е. очертить четкую границу этого слова, то тогда вы вольны очерчивать ее так, как вам вздумается; и эта граница никогда полностью не совпадет с реальным употреблением, поскольку реальное употребление не имеет четких границ.

Идея, в соответствии с которой для достижения ясности в том, что касается значения общего термина, надо найти общий элемент во всех применениях этого общего термина, эта идея будет сковывать философское исследование; ибо она не только не приведет ни к какому результату, но также побудит философа отвергнуть в качестве нерелевантных все конкретные случаи, которые, на самом-то деле, одни только и могут помочь понять употребление общего термина.

Когда Сократ задает вопрос: «Что такое значение?», он даже не рассматривает его как *предварительный* ответ на бесконечные случаи значения. («Тээтет», 146D-147C.)

Если бы я хотел понять какого рода предмет есть арифметика в действительности, было бы уместно в этом случае подвергнуть исследованию случай конкретной натуральной арифметики. Поскольку:

(а) это приводило бы меня ко все более сложным случаям;

(b) конечная натуральная арифметика не является неполной, она не имеет провалов, которые заполнялись бы потом остальной частью арифметики.

Что происходит, когда с 4 до 4.30 *A* ожидает прихода *B*. В каком-то смысле, в котором обычно употребляется фраза «ожидать чего-либо от 4 до 4.30», она не имеет в виду никакого процесса или состояния сознания, продолжающегося в определенном временном интервале, но представляет собой множество различных действий и состояний сознания. Если я, к примеру, ожидаю *B* к чаю, то при этом *может* происходить следующее: в 4 часа я смотрю в свой ежедневник и вижу имя «*B*» напротив сегодняшнего числа; я готовлю чай на двоих; я думаю несколько мгновений, «курит ли *B*?» и достаю сигареты; ближе к 4.30 я начинаю чувствовать нетерпение; я представляю себе *B*, как он входит в мою комнату. Все вместе это называется «ожиданием *B* от 4 до 4.30». И имеется бесконечное число вариаций этого процесса, который мы все описываем одним выражением. Если кто-то спрашивает, что общего имеют различные вариации процесса ожидания кого-либо к чаю, ответ будет состоять в том, что здесь нет такой единственной особенности, общей для всех вариаций, хотя существует много пересекающихся общих особенностей. Эти случаи ожидания образуют семью; они обладают семейными сходствами, которые четко определить невозможно.

Существует совершенно иное употребление слова «ожидание», если мы используем его, имея в виду какое-либо ощущение. Это употребление слов, подобное «желанию», «ожиданию» и т. д. легко себе представить. Существует очевидная связь между этим употреблением и тем, что описано выше. Нет сомнения, что во многих случаях, когда мы ожидаем кого-либо в первом смысле, все или некоторые действия, описанные выше,

сопровождаются специфическим ощущением напряженности; и здесь естественным оказывается употребить слово «ожидание», подразумевая это переживание напряженности.

И вот возникает вопрос: можно ли назвать это ощущение «ощущением ожидания» или «ощущением ожидания прихода *B*»? В первом случае сказать, что вы находитесь в состоянии ожидания, честно говоря, означает не полностью описать ситуацию ожидания того, что произойдет то-то и то-то. Второй случай часто поспешно относят к объяснению употребления фразы «ожидание» что произойдет то-то и то-то» и вы можете даже подумать, что, обладая этим объяснением, вы тем самым находитесь на твердой почве, поскольку любой дальнейший вопрос будет иметь дело с ответом, что ощущение ожидания является неопределенным.

Теперь не возникает возражений против того, чтобы называть определенные частные случаи «ожиданием прихода *B*». Здесь могут даже иметь место хорошие практические причины для употребления этого выражения. Заметим лишь: если мы объяснили значение фразы «ожидание прихода *B*» в этом смысле, то не существует фразы, которая образовывалась бы из последней путем замены «*B*» другим именем и тем самым происходило бы объяснение. Можно сказать, что фраза «ожидание прихода *B*» не является значением функции «ожидание прихода *x*». Чтобы понять это, сравним наш результат со значением функции «Я ем *x*». Мы понимаем высказывание «Я ем стул», хотя мы никогда специально не обучались значению выражения «поедание стула».

Роль, которую в нашем случае играет имя «*B*» в выражении «Я ожидаю *B*» можно сравнить с той ролью, которую играет имя Брайт в выражении «Брайтова болезнь» (воспаление почек. — *перев.*). Сравним грамматику этого слова с тем случаем, когда оно обозначает специфический тип болезни, с тем значением выражения «Брайтова болезнь», который означает болезнь, которой болел сам Брайт. Я охарактеризую различие между ними, сказав, что слово «Брайт» в первом случае является индексом комплексного имени «Брайтова болезнь»; во втором случае я назову его аргументом функции «болезнь *X*'а». Кто-то может сказать, что индекс отсылает к чему-либо, и эта отсылка может быть оправдана любым способом. Таким образом, называние ощущения «ожиданием прихода *B*» — есть придание его комплексному имени, и «*B*», возможно, напоминает человека, чьему приходу регулярно предшествовало это ощущение.

Опять-таки мы можем употребить фразу «ожидание прихода *B*» не в качестве имени, а в качестве характеристики определенных ощущений. Мы можем, например, объяснить ту определенную напряженность, которой сопровождается ожидание того, что *B* придет, и которая ослабляется, когда он приходит. Если мы так употребляем эту фразу, то можно с истинностью ска-

зять, что мы не знаем, чего мы ожидаем, пока наше ожидание не исполнится (ср. Рассел). Но никто не может поверить в то, что это единственный способ, даже если он является наиболее обычным способом употребления слова «ожидать». Если я спрашиваю кого-то: «Кого вы ждете?» и, получив ответ, вновь спрашиваю: «Вы уверены, что не ожидаете кого-то другого?», то в большинстве случаев этот вопрос будет расценен как абсурдный, и в ответ я услышу нечто вроде: «Разумеется, я должен знать, кого я жду».

Можно охарактеризовать значение, которое Рассел придает слову «ожидание желания», сказав, что оно значит для него род голода, который будет ослаблен посредством поедания определенной пищи. В расселовском способе употребления слова «желание» не имеет смысла говорить: «Я захотел яблоко, но был удовлетворен грушей»². Но мы на самом деле иногда говорим это, употребляя слово «желание» способом, отличным от расселовского. В этом смысле мы можем сказать, что напряженность желания может быть ослаблена без того, чтобы желание было удовлетворено; а также и то, что желание может быть удовлетворено без того, чтобы напряженность была ослаблена. То есть я могу в этом смысле быть удовлетворенным без того, чтобы удовлетворилось мое желание.

Теперь кто-то может быть склонен сказать, что различия, о которых мы говорим, сводятся просто к тому, что в некоторых случаях мы знаем, чего хотим, а в некоторых не знаем. Существуют определенные случаи, когда мы говорим: «Я чувствую желание, хотя и не знаю, чего я желаю» или «Я ощущаю страх, но не боюсь ничего конкретного».

И вот мы можем описать эти случаи, сказав, что у нас порой возникают определенные ощущения, не привязанные к каким-либо объектам. Фраза «не привязанные к каким-либо объектам» вводит грамматическое разграничение. Если, характеризуя подобные ощущения, мы употребляем глаголы вроде «бояться», «желать» и т. д., то эти глаголы будут переходными; «Я боюсь» будет аналогично «Я плачу». Мы можем плакать о чем-либо, но то, о чем мы плачем, не является составляющей процесса плача; т. е., так сказать, мы могли бы описать все, что происходит, когда мы плачем, не обращая внимания на то, о чем мы плачем.

Допустим теперь, что я предположил, что мы употребляем выражение «Я чувствую страх» и подобные ему лишь как переходные конструкции. Раньше мы говорили: «Я чувствую страх» (непереходно). Теперь мы будем говорить «Я боюсь чего-то, но не знаю чего». Является ли это возражением против данной терминологической системы?

Мы можем сказать: «Нет, не является, за исключением того, что мы в этом случае употребляем глагол “знать” необычным способом». Рас-

² См. Russell, *Analysis of Mind*, III.

смотрим этот случай: мы испытываем общее неопределенное переживание, которое заставляет нас сказать: «Теперь я знаю, чего мне было страшно. Мне было страшно, что произойдет то-то и то-то». Корректно ли описывать мое первое ощущение при помощи непереходного глагола, и должен ли я сказать, что мой страх имеет объект, хотя я не знаю, что собой представляет этот объект? Обе эти формы описания могут быть здесь употреблены. Чтобы понять это, исследуем такой пример: можно счесть уместным назвать определенное состояние гниения в зубе, не сопровождающееся тем, что мы называем зубной болью, «бессознательной зубной болью» и употребить в этом случае выражение, что у нас была зубная боль, но мы не знали этого. Именно в таком смысле психоанализ говорит о бессознательных мыслях, волевых актах и т. д. Разве неправильным будет в этом смысле сказать, что у меня была зубная боль, но я не знал этого? Здесь нет ничего неправильного, так как это просто новая терминология, и она может быть в любой момент переведена на обычный язык. С другой стороны, очевидно, что это придает употреблению слова «знать» некий новый смысл. Если вы хотите исследовать, как употребляется это выражение, то полезно в этом случае спросить себя: «На что в этом смысле похож процесс узнавания?», «Что мы называем “узнаванием” или “обнаружением”?»

Нельзя сказать, что в соответствии с нашей новой конвенцией неверным будет произнести слова «Я страдаю бессознательной зубной болью». Ибо чего же и можно требовать от нашей терминологии, как не того, что она разграничивает плохой зуб, который не дает зубной боли, от того, который ее дает? Но новое выражение заводит нас в тупик, вызывая картины и аналогии, которые затрудняют наше прохождение через эту конвенцию. И эти картины чрезвычайно трудно отвергнуть, если мы постоянно наблюдаем: особенно это трудно когда, философствуя, мы внутренне созерцаем те предметы, о которых *говорим*. Так, посредством выражения «бессознательная зубная боль» вы можете быть заведены в тупик, решив, что здесь сделано колоссальное открытие, которое в каком-то смысле опрокидывает наше привычное понимание вещей; или еще вы можете быть чрезвычайно озадачены выражением (философской загадкой) и, возможно, зададите такой вопрос, как «Каким образом возможна бессознательная зубная боль?» Вы можете затем быть склонны отрицать возможность бессознательной зубной боли; но ученый скажет вам, что это — доказанный факт, и скажет, что это похоже на человека, который разрушил предрассудки обыденного сознания. Он скажет: «Конечно, это довольно просто; существование других вещей, которых вы не знаете, и среди них может быть также зубная боль, которую вы не осознаете. Это просто новое открытие». Мы можем быть не удовлетворены этим отве-

том, но мы не будем знать, что на это возразить. Подобные ситуации постоянно возникают между учеными и философами.

В таком случае мы можем прояснить дело, сказав: «Посмотрим, как слова “бессознательный”, “знать” и т. д. употребляются в этом случае и как — в других случаях». *Насколько далеко простирается аналогия между этими употреблениями?* Мы также попытаемся построить новые способы записи, чтобы переломить те, к которым мы привыкли.

Мы говорим, что это был такой способ изучения грамматики (употребления) слова «знать» — спросить себя, что же именно в определенном числе случаев, которые мы изучаем, мы назовем «узнаванием». Существует склонность думать, что этот вопрос имеет лишь относительную значимость, если вообще имеет какую-либо, применительно к вопросу: «Что такое значение слова “знать”?» Мы оказываемся на запасном пути, когда задаем вопрос: «На что это похоже в данном случае — “узнавать”?» Но этот вопрос на самом деле является вопросом, затрагивающим грамматику слова «знать», и это становится более ясным, если мы задаем его в форме: «Что мы *называем* “узнаванием”?» Это является частью грамматики слова «стул», то, что мы называем «сидеть на стуле», и это является частью грамматики слова «значение», то, что называем «объяснением значения»; таким же образом, объяснить кому-то критерий того, что у другого человека зубная боль, значит дать грамматическое объяснение слова «зубная боль», и в этом случае объяснение будет составлять содержание выражения «зубная боль».

Когда мы выучили употребление фразы «У такого-то и такого-то зубная боль», мы подчеркнули определенный тип поведения тех, кто говорит, что у них болят зубы. В качестве примера такого рода давайте возьмем случай, когда тот, у которого болят зубы, держится за щеку. Предположим, что посредством наблюдения я обнаружил, что в определенных случаях, когда эти первые критерии были сообщены человеком, страдающим зубной болью, у него на щеке появлялось красное пятно. Допустим теперь я говорю кому-то: «Я вижу, у А болят зубы, — у него появилось красное пятно на щеке». Меня могут спросить: «Откуда же ты знаешь, что у А болят зубы, если ты видишь только красное пятно на его щеке?» Тогда я объясню, что определенные явления всегда сопровождаются появлением красного пятна.

Теперь кто-то может продолжить дискуссию, спросив у меня: «Откуда ты знаешь, что у него заболели зубы, если он держится за щеку?» Ответ на этот вопрос может быть таким: «Я говорю, что у него болят зубы, потому что я всегда сам держусь за щеку, когда у меня болят зубы». Но что если мы продолжим эту дискуссию, задав вопрос: «А почему ты полагаешь, что твоя зубная боль соотносится с тем фактом, что ты держишься в этот

момент за щеку?» На этот вопрос будет ответить затруднительно, потому что здесь он разбивается о скалу, т. е. мы подошли вплотную к конвенциям. (Если вы предполагаете в качестве ответа на последний вопрос, что когда бы вы ни видели человека, держащегося за щеку и спрашивали у него: «В чем дело?», — он неизменно отвечал: «У меня болят зубы» — то запомните, что подобный опыт лишь соотносит держание за щеку с произнесением определенных слов.)

Давайте введем два противоположных термина для того, чтобы избежать определенной элементарной путаницы: на вопрос «Откуда ты знаешь, что то-то и то-то имеет место?» — мы иногда отвечаем, давая «*критерии*», а иногда давая «*симптомы*». Если в медицине ангиной называется воспаление горла, обусловленное определенными бактериями, и мы спрашиваем в соответствующем случае: «Почему ты говоришь, что у этого человека ангина?», то ответ «Я обнаружил такие-то бактерии у него в крови» даст нам критерий, или то, что мы можем назвать критерием, определяющим ангину. Если, с другой стороны, в ответ было сказано: «У него воспаленное горло», — это может дать нам симптом ангины. Я называю «симптомом» феномен, переживание которого учит нас, что он сопровождается тем или иным образом явление, которое определяется нашим критерием. В этом случае сказать: «У человека ангина, если у него в крови обнаружены бактерии» — значит сказать тавтологию. Во всяком случае, эти слова представляют собой тупиковый путь установления определения того, что такое «ангина». Но сказать: «У человека ангина всегда, когда его горло воспалено», — это значит уже выдвинуть гипотезу.

Практически, если вас спрашивают, какой феномен является определяющим критерием, а какой — симптомом, вы в большинстве случаев не будете в состоянии ответить на этот вопрос никак иначе, кроме принятия произвольного решения *ad hoc*. Это может иметь место на практике — определить слово, взяв одно явление в качестве определенного критерия, но мы легко склонимся к тому, чтобы определить слово посредством того, что в соответствии с нашим первым употреблением было не критерием, а симптомом. Врачи будут употреблять названия болезней, никак не решая, какие явления рассматривать в качестве критериев, а какие — в качестве симптомов; и здесь не место сетовать на достойную в общем случае сожаления потерю ясности.

Ибо вспомним, что в целом мы не употребляем язык в соответствии с общими правилами — по крайней мере, мы не выучиваем наши употребления при помощи строгих правил. С другой стороны, мы в наших рассуждениях постоянно сравниваем язык с исчислением, строящимся в соответствии со строгими правилами. Это очень односторонний взгляд на язык. Практически мы очень редко употребляем язык подобно исчисле-

нию. Поскольку мы не только не думаем о правилах употребления — об определениях и т. д., — используя язык, но когда нас просят сформулировать такие правила, мы в большинстве случаев не в состоянии сделать это. Мы не способны ясно описать понятия, которые мы используем не потому, что мы не знаем их действительного употребления, но потому, что такого действительного «употребления» не существует. Допустить, что оно должно быть — подобно тому, чтобы допустить, что, когда дети играют в мяч, они играют по строгим правилам.

Когда мы говорим о языке как о системе символов в строгом исчислении, то это такие исчисления, которые мы можем обнаружить в естественных науках и математике. Наш обыденный язык соответствует этому стандарту точности лишь в редких случаях. Почему же мы тогда, философствуя, постоянно сравниваем наше употребление слов с точными правилами? Ответ состоит в том, что мы пытаемся как раз опровергнуть всегдашнюю установку подобного рода по отношению к языку.

Рассмотрим в качестве примера вопрос: «Что такое время?» так, как его задавал себе Святой Августин и другие философы. На первый взгляд, это вопрос об определении, но затем немедленно возникает другой вопрос: «Что это значит: дать определение, если оно лишь ведет нас к другим неопределенным терминам?»

И почему бы нам быть озадаченными только определением времени, а не потерей определения «стула»? Почему мы озадачены во всех случаях, когда у нас не получается определение? Потому что определение часто проясняет *грамматику* слова. И фактически то, что нас озадачивает в слове «время», это его грамматика. Мы лишь выражаем эту загадку, задавая слегка заводящий в тупик вопрос: «Что такое ...?» Этот вопрос — выражение нелепости, ментального дискомфорта, и его можно сравнить с вопросом «Почему?», который так часто задают дети. Это тоже выражение ментального дискомфорта, а необязательно вопрос о причине или поводе. И вот загадочность грамматики слова «время» возникает вследствие того, что можно условно назвать соответствующими противоречиями его грамматики.

Именно подобные «противоречия» озадачивали Святого Августина, когда он писал «Как это возможно — измерять время? Ибо прошлого нельзя измерить, ибо оно уже прошло; а будущего нельзя измерить, потому что оно еще не пришло. Настоящее же не может быть измерено потому, что у него нет протяженности».

Это противоречие, которое, кажется, здесь возникает, могло бы быть названо конфликтом между двумя употреблениями слова, в данном случае, слова «измерять». Мы можем сказать, что Августин думает о процессе измерения *длины*: скажем, расстояния между остановками путешествующего

странника, который проходит мимо нас и в лице которого мы можем видеть перед собой крошечный кусочек настоящего времени. Разрешение этой загадки состоит в сравнении того, что мы подразумеваем под «измерением» (грамматику слова «измерение»), когда применяем его к расстоянию путешествующего странника, с грамматикой этого слова, применимого ко времени. Проблема может казаться простой, но ее чрезвычайная трудность обязана тому очарованию, которое может производить на нас впечатление аналогии между двумя сходными структурами в нашем языке. (Полезно помнить, что иногда для ребенка почти невозможно поверить, что одно слово может иметь два разных значения.) И вот ясно, что эта проблема с понятием времени требует ответа, который должен быть представлен в форме строгого правила. Это загадка — о правилах. Возьмем другой пример — вопрос Сократа «Что такое значение?» Здесь случай даже более ясный, поскольку дискуссия начинается учеником, дающим пример точного определения, а затем по аналогии задается вопрос об определении слова «значение». В том, как здесь поставлена проблема, кажется нечто, что является неверным с точки зрения обыденного употребления слова «знание». Мы как будто бы не знаем, что оно значит, и поэтому, возможно, не имеем права его употреблять. На это мы бы ответили: «Нет ни одного точного употребления слова “знание”, но мы можем представить несколько таких употреблений, которые будут более или менее согласованы с тем, как реально употребляются слова». Человек, в философском смысле озадаченный чем-либо, видит некий закон в том способе, в котором употребляется слово и, пытаясь последовательно применять этот закон, приходит к случаям, ведущим к парадоксальным результатам. Очень часто дискуссии о таких загадках происходят следующим образом: сначала задается вопрос «Что такое время?» Этим вопросом выявляется, что то, чего мы хотим, — это определение. Мы ошибочно думаем, что определение — это то, что отодвинет неприятность (как в определенных состояниях расстройства желудка мы чувствуем голод, который не может быть утолен посредством еды). Затем на вопрос дается ответ в виде неверного определения, скажем, — «Время — это движение небесных тел». Следующий шаг состоит в том, чтобы увидеть, что данное определение неудовлетворительно. Но это лишь означает, что мы не употребили слово «время» синонимично выражению «движение небесных тел». Так или иначе, говоря, что первое определение неверно, мы теперь склонны думать, что должны его заменить другим определением, правильным.

Сравним это с определением числа. Здесь объяснение того, что число это то же самое, что цифра, удовлетворяет этому первоначальному стремлению давать определения. И очень трудно не задать вопрос: «Ладно, если это не цифра, то *что* это?»

Философия, как мы употребляем это слово, есть борьба против очарования выражениями, оказывающими давление на нас. Я хочу, чтобы вы помнили, что слова обладают значениями, которые мы им даем; а мы даем им значения посредством объяснений. Я могу дать определение слова и употреблять это слово в соответствии с этим определением, или те, кто научил меня употреблению этого слова, могут дать мне его объяснение, которое, когда нас спрашивают, мы готовы дать, т. е. если мы *готовы* дать некое определение, но в большинстве случаев мы не готовы. В этом смысле многие слова не имеют строгого значения. Но это не дефект. Думать об этом — все равно, что говорить о том, что свет моей настольной лампы — не настоящий. Потому что он не имеет резко очерченных границ.

Философы чрезвычайно часто говорят об исследовании, об анализе значения слова. Но не будем забывать, что слово не приобретает значения, данного ему как будто бы некоей силой, независимой от нас, так что здесь может иметь место род научного исследования того, что означает слово на самом деле. Слово имеет то значение, которое дал ему человек.

Существуют слова с различными ясно определенными значениями. Эти значения легко классифицируются. И существуют слова, о которых можно сказать: «Они употребляются тысячами различных способов, которые градуально переходят один в другой». Неудивительно, что мы не можем классифицировать строгие правила употребления подобных слов.

Неверно говорить, что в философии мы рассматриваем идеальный язык в противоположность обыденному языку. Потому что, если бы это было так, мы бы полагали, что можем усовершенствовать обыденный язык. Но в обыденном языке все в порядке. Когда мы создаем «идеальные языки», то это делается не для того, чтобы заменить наш собственный язык этим искусственным языком, но лишь для того, чтобы устранить некоторые затруднения, возникающие в сознании тех, кто полагает, что он достиг точного употребления обычного слова. Вот почему наш метод не просто состоит в том, чтобы исчислять реальные употребления, но, скорее, в том, чтобы умышленно вводить новые, чтобы показать абсурдность некоторых из них.

Когда мы говорим, что при помощи нашего метода мы пытаемся противиться заводящему в тупик эффекту определенных аналогий, важно понимать, что идея аналогии, будучи ошибочной, ровным счетом ничего не определяет. Ни одной четкой границы нельзя очертить вокруг случаев, применительно к которым мы сказали бы, что человек здесь был заведен в тупик аналогией. Употребление выражений, построенных по аналогичным паттернам, подчеркивает аналогии между различными случаями, на самом деле часто весьма далекими друг от друга. Проведя аналогию, мы делаем эти выражения чрезвычайно употребительными.

В большинстве случаев невозможно показать, однако, точное место, в котором аналогия начинает заводить нас в тупик. Каждая отдельная запись подчеркивает некую частную точку зрения. Если, например, мы называем свои исследования «философией», этот титул, с одной стороны, кажется подходящим, а с другой, конечно, заводит людей в тупик. (Можно сказать, что субъект, с которым мы имеем дело, является одним из наследников того субъекта, который называют «философией».) Случай, применительно к которым мы, в частности, хотим сказать, что нечто завело нас в тупик своей формой выражения, — это такие случаи, применительно к которым мы скажем: «Он не стал бы говорить так, как он говорил, если бы он осознавал различие между грамматиками тех-то и тех-то слов или если бы он осознавал возможность употребления других выражений и т. д.». Таким образом, мы можем сказать о некоторых философствующих математиках, что они, очевидно, не осознают различий между употреблениями слова «доказательство» и что у них нет ясности по поводу употребления слова «тип»; когда они говорят о типах чисел, типах доказательств, слово тип здесь означает то же, что в контексте «типы (сорта) яблок». Или мы можем сказать, что они не осознают различных значений слова «открытие», когда в одном случае мы говорим об открытии конструкции, а в другом — об открытии Северного полюса.

И вот когда мы разграничиваем переходное и непереходное употребления таких слов, как «желание», «страх», «ожидание» и т. д., мы говорим, что можно попытаться преодолеть наши трудности, сказав, что «различия между двумя случаями состоят просто в том, что в одном случае мы знаем, чего мы желаем, а в другом — не знаем». И вот тот, кто говорит это, я думаю, не видит, что различие, которое он пытается объяснить, вновь появляется, когда мы внимательно рассматриваем употребление слова «знать» в двух случаях. Выражение «Различие — это просто ...» подобно тому, как если бы мы проанализировали некий случай и обнаружили, что это простой анализ; так же, как в том случае, когда мы отмечаем, что две субстанции с совершенно различными именами трудно различить в составе сложной конфигурации.

Мы говорим в этом случае, что мы могли бы употребить оба выражения: «Мы ощущаем желание» (непереходно) и «Мы ощущаем желание, но сами не знаем, чего мы желаем». Может показаться странным сказать, что мы можем корректно употребить две формы выражения, которые, кажется, противоречат друг другу; но такие выражения вполне обычны.

Чтобы пояснить сказанное, давайте используем следующий пример. Мы говорим, что уравнение $x^2 = -1$ имеет решение $\pm\sqrt{-1}$. Было время, когда говорили, что это уравнение не имеет решения. И вот это утверждение, согласующееся или не согласующееся с тем, что нам говорят, опреде-

ленно не имеет своей степени сложности. Но мы можем с легкостью придать ему эту степень сложности, сказав, что уравнение $x^2 + ax + b = 0$ не имеет решения, но проходит рядом с ближайшим решением a , которое есть b . Аналогично мы могли бы сказать, что прямая линия всегда пересекает круг; иногда в реальности, иногда в сложных точках или — «Прямая линия либо пересекает круг либо нет и на a отклоняется от этого».

Эти два утверждения означают в точности одно и то же. Они будут более или менее удовлетворительными в соответствии с тем способом, при помощи которого человек хочет смотреть на них. Он может захотеть произвести различие между пересечением и непересечением как можно более незаметно, или, с другой стороны, он может захотеть подчеркнуть это; или может быть удовлетворена другая тенденция, скажем, посредством его частных практических целей. Но это вообще не может быть причиной того, почему он предпочитает одну форму выражения другой. То, какую форму он предпочтет, и предпочтет ли вообще, зависит от общих, глубоко запряженных тенденций его мышления. (Скажем ли мы, что существуют случаи, когда человек презирает другого человека и при этом не знает его; или опишем ли мы подобные случаи, сказав, что он не оскорбляет его, но при этом неумышленно ведет себя по отношению к нему тем или иным образом, говорит с ним определенным тоном и т. д. — что, в общем, обычно сопровождает действие оскорбления? Любая форма высказывания корректна: но эти формы могут менять различные тенденции сознания.)

Вернемся к изучению грамматики выражений «хотеть», «ожидать», «стремиться» и т. д. и рассмотрим наиболее важные случаи, в которых выражение «Я хочу, чтобы произошло то-то и то-то» является непосредственным описанием процесса сознания. То есть случай, применительно к которому мы склонны были бы ответить на вопрос: «Вы уверены, что это именно то, чего вы хотите?» словами: «Конечно, я должен знать, чего я хочу». Сравним этот ответ с ответом, который большинство из нас даст на вопрос: «Ты знаешь алфавит?» Имеет ли в виду подразумеваемое утверждение о том, что ты знаешь, в каком-то смысле то, что было в предыдущем утверждении? Оба утверждения каким-то образом отбрасывают вопрос, но предыдущее утверждение не имеет в виду сказать: «Конечно, я знаю такую простую вещь, как это», но, скорее, «Вопрос, который вы задали мне, не имеет смысла». Мы можем сказать: «Мы применяем здесь неверный метод, отбрасывая вопрос: “Конечно, я знаю”. Этот ответ мог бы здесь быть заменен ответом «Конечно, в этом нет никакого сомнения» и это интерпретируется как «В этом случае вообще не имеет смысла говорить о сомнении». Таким образом, ответ «Конечно, я знаю, чего я хочу» может быть интерпретирован как грамматическое утверждение.

Это походит на то, когда мы спрашиваем: «У этой комнаты есть длина?», и кто-то отвечает: «Конечно, есть». Он мог бы также ответить: «Не говори чепухи». С другой стороны, «Комната имеет длину» может быть употреблено как грамматическое утверждение. В этом случае оно говорит, что предложение «Комната имеет ____ футов длины» имеет смысл.

Великое множество философских трудностей связано со смыслом выражений «хотеть», «думать» и т. д., которые мы сейчас рассматриваем. Все это можно суммировать в одном предложении: «Как кто-то может подумать о том, чего еще нет?»

Это прекрасный пример философского вопроса. Он спрашивает: «Как кто-то может ...?», и поскольку это нас озадачивает, мы должны признать, что нет ничего легче, чем думать о том, чего нет. Я имею в виду, что это вновь показывает нам, что трудность, с которой мы столкнулись, возникает не из-за нашей неспособности представить, как протекает мышление. Точно так же, как философская трудность по поводу измерения времени возникала не из-за нашей неспособности представить, как действительно измеряется время. Я говорю это, потому что иногда почти кажется, что как будто наше затруднение было связано с воспоминанием того, что происходило, когда мы думали о чем-то, что это затруднение интроспективного порядка или чего-то в таком роде: в то время как на самом деле оно возникает, когда мы смотрим на факты сквозь медиум заводящей в тупик формы выражения.

«Как кто-то может подумать о том, чего нет? Если я подумаю, что в Королевском колледже пожар, когда там нет пожара, то факт наличия пожара не существует. Тогда как же я могу думать о нем? Как мы можем повесить вора, которого мы еще не поймали?» Наш ответ должен иметь следующую форму: «Я не могу повесить его, если он не пойман, но я могу искать его, если он не пойман».

Здесь нас заводят в тупик существительные «объект мысли» и «факт», а также различные значения слова «существует».

Толкование факта как «комплекса объектов» уничтожает это смешение (ср. «Логико-философский трактат»: Допустим, мы спрашиваем: «Как можно *представить*, что что-то не существует?» Ответ, кажется, должен быть таким: «Если мы это делаем, мы представляем несуществующие комбинации существующих элементов».) Кентавр не существует, но человеческая голова, торс и руки и ноги лошади существуют. «Но мы не можем представить объект полностью, отличный от другого объекта, который существует?» — Мы будем склонны ответить: «Нет; элементы, индивиды должны существовать. Если краснота, круглость и светлость не существовали бы, мы не могли бы представить их».

Но что ты подразумеваешь под выражением «краснота существует»? Мои часы существуют, если они не разбились на кусочки, если они не были *разрушены*. Что бы мы могли назвать «разрушенной краснотой»? Мы могли бы, конечно, иметь в виду разрушенным все красное; но не сделает ли это невозможным представить красный объект? Допустимый ответ на это: «Ну, конечно, красные объекты должны существовать, и вы должны их видеть, если способны представить их» — Но откуда вы знаете, что это так? Допустим, я сказал: «Увеличивающееся давление на ваш глаз продуцирует красный образ». Не мог ли бы быть способ, посредством которого вы впервые познакомились с красным цветом именно таким? А почему бы не представить просто красное пятно? (Трудность, которую вы можете здесь почувствовать, мы обсудим в дальнейшем.)

Теперь мы можем сказать следующее: «Каким образом факт, который мог бы сделать нашу мысль о нем истинной, если бы существовал, в случае своего существования, получается, есть уже не тот же самый факт, о котором мы думаем? Но это зависит только от того, как я хочу употребить слово «факт». Почему бы мне не сказать: «Я верю в тот факт, что в колледже пожар?» Это просто неуклюжее выражение для того, чтобы сказать: «Я верю в то, что в колледже пожар». Сказать: «То, во что ты веришь, это не факт», — само по себе является результатом путаницы. Мы думаем, что говорим нечто вроде: «Это не сахарный тростник — то, что мы едим, — а сахар», «Это не Мистер Смит — тот, кто висит в гостинице — а его портрет».

Следующий шаг, который мы можем сделать, это подумать о том, что поскольку объект нашей мысли не является фактом, он является тенью факта. Существует много имен у этой тени, например, «пропозиция», смысл предложения. Но это не устранил наших трудностей. Ибо вопрос теперь стоит так: «Как может нечто быть тенью факта, который не существует?»

Я могу выразить эту трудность в разных формах, например, говоря: «Откуда мы можем знать, тенью чего является тень?» — Тень — это нечто вроде портрета, и поэтому я могу вновь заявить нашу проблему, спросив: «Что делает портрет портретом мистера *N*?» Ответ вначале как будто напрашивается сам собой: «Сходство между портретом и мистером *N*». Этот ответ на самом деле показывает, что имеется у нас в сознании, когда мы говорим о тени факта. Достаточно ясно, тем не менее, что сходство не конституирует нашу идею портрета; ибо это — в самой сути этой идеи, что имеет смысл говорить о хорошем и плохом портрете. Другими словами, существенно, чтобы тень была способна репрезентировать предметы так, какими они в действительности не являются.

Очевидный и правильный ответ на вопрос: «Что делает портрет портретом такого-то?» — это то, что является намерением; но если мы хо-

тим знать, что это означает — «Намерение этого портрета быть портретом того-то и того-то», — то давайте посмотрим, что происходит в действительности, когда мы намереваемся сделать это. Вспомним случаи, когда мы говорили о том, что происходило, когда мы ожидали чего-то прихода от 4 до 4.30. Намерение картины быть портретом того-то и того-то (являющееся частью картины, например) не является ни определенным состоянием сознания, ни специфическим ментальным процессом. Но существует огромное множество комбинаций действий и состояний сознания, которые мы называем «намерением...». Это может быть тот факт, что кому-то заказали написать портрет *N*, то есть сесть перед *N* и произвести определенные действия, которые мы называем копированием лица *N*». На это можно возразить, сказав, что сущность копирования есть намерение копировать. На это я ответил бы, что существует великое множество процессов, которые мы называем «копированием чего-либо». Приведем пример. Я рисую эллипс на клочке бумаги и прошу вас скопировать его. Что характеризует процесс копирования? Ибо ясно, это не факт, что вы нарисуете точно такой же эллипс. Вы можете попытаться скопировать его и не быть удовлетворенным; или вы можете нарисовать эллипс, имея в уме совершенно другое намерение, и копирование эллипса получится случайно. Итак, что же вы делаете, когда пытаетесь копировать эллипс? Ну, вы смотрите на него, рисуете что-то на листке бумаги, возможно, измеряете то, что вы нарисовали, возможно, вы разочарованы, если находите, что оно не соответствует модели, или, может быть, вы говорите: «Я собираюсь скопировать этот эллипс» и просто рисуете эллипс, подобный копируемому. Существует бесконечное множество действий и слов, обладающих семейным сходством, которое можно назвать «попыткой копировать нечто».

Допустим, мы сказали, «что картина является портретом определенного объекта, состоящего из своей сути, образованной из этого объекта неким особым способом». Теперь легко описать то, что мы называем процессом образования картины из объекта (грубо говоря) процессом проекции. Но существуют определенные трудности с признанием того, что любой такой процесс есть то, что мы называем «намеренной репрезентацией». Ибо какой бы процесс мы ни описывали, существует способ репрезентации проекции этого процесса. Поэтому — кто-то склонен сказать, — такой процесс сам по себе не может быть намерением. Ибо мы можем всегда намереваться делать нечто противоположное посредством репрезентации процесса проекции. Представим себе такой случай: Мы даем кому-то распоряжение пройти определенное расстояние пешком, указав или нарисовав стрелку, указывающую это расстояние.

Допустим, что рисование стрелок есть язык, на котором мы обычно даем такое распоряжение. Может ли такое распоряжение быть преднамеренным в том смысле, что человек, который осуществляет его, идет в направлении, противоположном тому, которое указано стрелкой? Это очевидно могло бы быть осуществлено путем добавления к нашей стрелке каких-нибудь символов, которые мы можем назвать «*интерпретацией*». Легко себе представить случай, в котором, скажем, для того, чтобы обмануть кого-то, мы можем договориться, что приказание будет осуществляться в смысле, противоположном исходному. Символ, добавляющий интерпретацию к нашей исходной стрелке, может, например, быть другой стрелкой. Как бы мы ни интерпретировали символ тем или иным способом, его интерпретация есть новый символ, добавленный к старому.

И вот мы можем сказать, что, когда бы мы ни отдавали кому-либо распоряжения, показывая ему стрелку, и при этом не делали это «механически» (не думая), мы *подразумевали бы* стрелку, так или иначе. И этот процесс подразумевания, какого бы он типа ни был, может быть представлен другой стрелкой (указывающей в том же направлении или в противоположном по отношению к первому). В этой картине «подразумевания и говорения» существенно то, что мы представляли бы процесс говорения и подразумевания как имеющие место в различных сферах.

Правильнее было бы сказать, что ни одна стрелка не могла бы иметь значение сама по себе, в то время как все стрелки могли бы иметь противоположное значение.



Затем, если эта схема вообще служит нашей цели, она должна показывать нам, какой из трех уровней есть уровень значения. Я могу, например, сделать схему с тремя уровнями, и нижний уровень всегда будет уровнем значения. Но независимо от того, какую схему или модель вы примете, она будет иметь нижний уровень, и его уже нельзя будет интерпретировать. В этом случае сказать, что каждая стрелка может быть еще интерпретирована, будет только означать, что я *могу* всегда построить другую модель говорения и значения, которые имеют на один уровень больше, чем та модель, которую я использую.

Исследуем это таким образом: кто-то хочет сказать: «Каждый знак может быть проинтерпретирован, но само *значение* нельзя интерпретировать». Теперь я буду исходить из предположения, что вы рассматриваете значение как процесс, сопровождающий говорение, и что оно переводит

мо в другие знаки и в этом смысле эквивалентно им. Тогда вы должны будете сказать мне, что вы рассматриваете как метку, отличающую *знак* от *значения*. Если вы делаете это, говоря что значение — это стрелка, которую вы *представляете* направленной в противоположную сторону по отношению к другой стрелке, которую вы можете нарисовать или создать каким-либо иным образом, то вы тем самым говорите, что вы больше не укажете стрелки, интерпретацию которой вы представляете.

Все это станет яснее, если мы рассмотрим то, что происходит на самом деле, когда мы говорим нечто и подразумеваем то, что говорим. — Давайте спросим себя: Если мы говорим кому-либо «Я рад был бы видеть тебя» и подразумеваем именно то, пробегает ли сознательный процесс по этим словам, процесс, который мог бы сам быть переведен в произносимые слова? Вряд ли так обстоит дело.

Но давайте представим себе пример, в котором это происходит. Допустим, у меня была привычка сопровождать каждое свое английское предложение, которое я произносил вслух, немецким предложением, произносимым про себя. Если тогда по той или иной причине вы назовете молчаливое предложение значением произносимого вслух предложения, процесс значения, сопровождающий процесс произнесения, будет тем процессом, который мог бы быть сам переведен в невербальные знаки. Или *перед* каждым предложением, которое мы произносим вслух, мы проговариваем его значение (чем бы оно ни было) «в сторону». Пример, который, по крайней мере, похож на тот случай, который мы хотим представить, будет произнесением чего-то во время смотрения на картину перед мысленным взором, чего-то, что является значением и согласуется или не согласуется с тем, что мы говорим. Такие и подобные им случаи существуют, но они вовсе не являются правилом, когда мы говорим что-либо и подразумеваем это, или говорим одно, а подразумеваем другое. Существуют, конечно, реальные случаи, в которых то, что мы называем значением, есть определенный сознательный процесс сопровождения, предшествования или следования словесному выражению, который сам является вербальным выражением определенного рода или переводим в него. Типичным примером являются реплики «в сторону» на сцене. Но то, что склоняет нас к тому, чтобы думать о значении того, что мы говорим, как о процессе того типа, который мы описали, есть аналогия между формами выражения:

«сказать что-либо»

«подразумевать что-либо»

Кажется, что они относятся к параллельным процессам, — процесс, сопровождающий наши слова, который можно назвать «процессом подра-

зумеания их». Это может быть модуляция голоса, которым мы произносим слова; или один из процессов, сходных с тем, происходит не тем же способом, как немецкое предложение может сопровождать английское или написанное предложение сопровождает произносимое вслух предложение, но в том смысле, в каком мелодия песни сопровождает ее слова. Эта мелодия соответствует «чувству», с которым мы произносим это предложение. И я хочу подчеркнуть, что наше чувство — это выражение, с которым сказано предложение, или нечто подобное этому выражению.

Давайте вернемся к нашему вопросу: «Что такое объект мысли?» (Например, когда мы говорим «Я думаю, что в Королевском колледже пожар».)

Вопрос — как мы его поставили, уже является выражением разных смещений. Это видно хотя бы из того факта, что он звучит почти как вопрос физики, как вопрос: «Каковы конечные составляющие части материи?» (это типично метафизический вопрос в том смысле, что мы неясно выражаем неясность грамматики слов в самой *форме* научных вопросов).

Одно из происхождений нашего вопроса — это двойное употребление пропозициональной функции «Я думаю *x*». Мы говорим «Я думаю, что происходит то-то и то-то» или «что то-то и то-то имеет место», а также «Я думаю, в точности *так же*, как он», и мы говорим: «Я жду его», а также «Я жду, что он придет». Сравним с «Я убиваю его». Мы не можем убить его, если его здесь нет. Вот так возникает вопрос: «Как мы ждем чего-то, что не имеет места?», «Как мы можем ждать факта, который не существует?»

Способ разрешения этого затруднения кажется таким: то, чего мы ожидаем, это не факт, но тень факта; это как бы следующий за фактом предмет. Мы говорили, что думать так, значит только отвести вопрос на шаг назад. Существуют идеи этой тени разного происхождения. Одно из них такое: «Безусловно, два предложения из разных языков могут иметь одинаковый смысл»; и мы из этого выводим, что «поэтому данный смысл — не то же самое, что само предложение»; и задаем вопрос: «Что такое смысл?» И мы делаем его неким теневым существом, одним из многих, которые мы создаем, когда хотим придать значение существительным, которым не соответствуют никакие материальные объекты. Другой источник идеи теневого существа как объекта нашей мысли такой: мы представляем тень как картину, у которой нельзя *спросить* о ее намерении, т. е. картину, которую мы не можем интерпретировать, чтобы понять ее, но которую мы тем не менее понимаем без всякой интерпретации. Но существуют картины, о которых мы могли бы сказать, что мы интерпретируем их, т. е. переводим их в картину другого типа для того, чтобы понять их; и существуют картины, о которых мы могли бы сказать, что мы непосредственно интерпретируем их без какой бы то ни было дальнейшей интерпретации. Если вы видите телеграмму, написанную шифром, и знаете ключ к этому шифру, то вы в об-

щем не станете утверждать, что понимаете содержание телеграммы, пока не перевели ее на обычный язык. Конечно, вы лишь заменили символы одного типа на символы другого типа; и еще если вы теперь читаете телеграмму на своем языке, никакой дальнейшей интерпретации не будет места. — Или, скорее, вы теперь можете в определенных случаях вновь перевести эту телеграмму, скажем, в картину; но тогда вы тоже лишь замените одно множество символов другим.

Тень, как мы ее себе представляем, есть своего рода картина; фактически нечто, весьма похожее на образ, который предстает перед нашим мысленным взором; и это опять-таки нечто, подобное картинной интерпретации в обычном смысле. Источник идеи тени определенно является фактом, который в некоторых случаях — произнесения, аудирования или чтения предложения — проносит образы перед нашим мысленным взором, которые более или менее точно соотносятся с предложением и которые поэтому в определенном смысле являются переводами этого предложения на язык картин. — Но это чрезвычайно существенно для картины, которую мы представляем как тень, быть тем, что я назову «картиной сходства». Я не имею в виду под этим, что это картина похожа на то, что она намерена изображать, но картина только тогда является корректной, когда она похожа на то, что она изображает. Для картины этого типа можно употребить термин «копия». Грубо говоря, копии — это очень хорошие картины, между тем как они с легкостью могут ошибаться в том, что они изображают.

Двумерная проекция одного полушария нашего глобуса не является картиной сходства или копией в этом смысле. Это совпадает с тем, что я написал чей-то портрет, и его проекция каким-то странным образом, хоть и в соответствии с принятыми правилами проекции, на листе бумаги выглядит так, что ее трудно назвать «хорошим портретом того-то и того-то», потому что она несколько не будет похожа на него.

Если мы храним в сознании возможность картины, которая хотя и правильная, но не имеет сходства со своим объектом, то интерпретация тени, брошенной предложением от реальности, потеряет весь свой смысл. Потому что теперь предложение само может служить в качестве такой тени. Предложение и есть такая картина, которая не имеет ни малейшего сходства с тем, что она изображает. Если мы сомневаемся относительно того, как предложение «В Королевском колледже пожар» может быть картиной пожара в Королевском колледже, нам надо лишь спросить себя: «Как мы объясним, что означает это предложение?» Такое объяснение может заключаться в остенсивном определении. Мы могли бы сказать, например, «Это Королевский колледж» (указывая на здание), «Это пожар» (указывая на пожар). Последнее демонстрирует вам способ, посредством которого слова и вещи могут быть связаны между собой.

Идея, что то, чего мы хотим, должно быть представлено как тень в нашем желании, глубоко укоренена в наших формах выражения. Но фактически мы можем сказать, что она является лишь наименьшим злом в этом абсурде по отношению к тому, что мы на самом деле хотели сказать. Если бы она не была абсурдна, мы могли бы сказать, что тот факт, которого мы желаем, должен присутствовать в нашем желании. Ибо как же мы можем желать, чтобы *это просто* произошло, если именно этого нет в нашем желании? Было бы вполне справедливым сказать: одна только тень тут не спасет; ибо она останавливается перед объектом, а мы хотим, чтобы желание содержало сам объект. — Мы хотим, чтобы желание того, чтобы мистер Смит пришел в эту комнату, желало именно *мистера Смита*, а не его субститут, чтобы *пришел* именно он, а не его субститут, и именно *в мою комнату*, а не в ее субститут. Но это именно то, о чем мы говорим.

Эту путаницу легко описать следующим образом. В полном согласии с нашей обычной формой выражения мы думаем о факте, которого мы желаем, как о предмете, которого еще здесь нет и на который мы поэтому не можем указать. И вот для того, чтобы понять грамматику нашего выражения «объект нашего желания», рассмотрим лишь ответ, который мы даем на вопрос: «Что является объектом твоего желания?» Ответ на этот вопрос будет, конечно, таким: «Я хочу, чтобы произошло то-то и то-то». Каков же будет ответ, если мы, продолжая спрашивать, зададим следующий вопрос: «А что такое объект этого желания?» И он может заключаться в повторении нашего предыдущего выражения желания или в переводе его в некую иную форму выражения. Мы можем, например, утверждать, что мы желали, используя другие слова, или иллюстрировать наше желание картинкой и т. д. Теперь, когда мы находимся под впечатлением того, что то, что мы называем объектом нашего желания, является как бы человеком, который еще не вошел в комнату, и поэтому еще не может быть виден, мы представляем, что любое объяснение того, что это такое, что мы желаем, есть лишь самое последнее из того лучшего, что мы можем предложить по отношению к объяснению, которое показало бы нам *подлинный факт*, который, как мы опасаемся, не может быть еще показан, поскольку этот человек еще не вошел в комнату. — Это как если бы я сказал кому-то: «Я ожидаю мистера Смита», и он спросил меня «Кто это мистер Смит?», а я ответил бы: «Я не могу показать его тебе, его ведь еще здесь нет. Все, что я могу показать, — это его портрет». Тогда получается, что я никогда не смогу полностью объяснить то, чего я хотел, пока это не произойдет в действительности. Но, конечно, это заблуждение. Истина в том, что я не нуждался бы в том, чтобы давать лучшие объяснения того, что я хочу, после того, как желание исполнилось; поскольку теперь я могу совершенно спокойно показать Смита своему другу, а также показать ему,

что подразумевается под «войти в», и показать ему, что представляет собой моя комната перед тем, как мистер Смит в нее войдет.

Наше затруднение можно было описать таким способом. Мы думаем об определенных вещах. — Но как эти вещи приходят к нам в голову? Мы думаем о мистере Смита; но мистер Смит не нуждается в определении. Его портрет не сможет его представить, ибо откуда же мы знаем, кого он изображает? Фактически никакой замены для него не существует. Тогда как же он сам может быть объектом наших мыслей? (Я здесь употребляю выражение «объект наших мыслей» тем способом, который отличается от того, которым я пользовался до этого. Я имею в виду теперь ту вещь, о которой я думаю, а не ту, «которую я мыслю».)

Мы сказали, что связь между нашими мыслями или говорением о человеке и самим человеком осуществляется, когда для того, чтобы объяснить значение словосочетания «мистер Смит», мы указываем на него, говоря: «Это мистер Смит». И в этой связи нет ничего таинственного. Я имею в виду, что не существует никакого странного ментального действия, которое каким-то странным образом предполагает Смита в нашем сознании, в то время как реально его там нет. Увидеть связь затрудняет то, что эта связь, являющаяся особой формой выражения обыденного языка, которая заставляет появляться связь между мыслью (или выражением мысли) и вещью, о которой мы думаем, должна быть *на протяжении* действия заменена.

«Не странно ли, что, находясь в Европе мы в состоянии подразумевать кого-либо, кто находится в Америке?» — Если бы кто-то сказал: «Наполеон короновался в 1804 году» и мы спросили бы его: «Ты имеешь в виду человека, который выиграл сражение при Аустерлице?», он мог бы ответить: «Да, именно его». Кто-то говорит: «*N* придет ко мне сегодня днем». Я спрашиваю: «Ты имеешь в виду его?», указывая на кого-либо из присутствующих, и получаю в ответ: «Да». В этой беседе связь между словосочетанием «мистер *N*» и самим мистером *N* была достигнута. Но мы склонны думать, что, когда мой приятель сказал: «Мистер *N* придет повидать меня», — он подразумевал то, что должно было в его сознании создать эту связь.

Именно это отчасти заставляет нас думать о значении или мышлении как об особом роде *психической деятельности*; слово «психический» показывает, что мы не должны ожидать понимания того, как работают эти явления.

То, что мы сказали о мышлении, может быть также применено к представлению. Кто-то говорит, что он представляет пожар в Королевском колледже. Мы спрашиваем его: «Откуда ты знаешь, что этот пожар, который ты представляешь, происходит именно в Королевском колледже? Не может ли это быть другое здание, очень похожее на него? На самом ли деле твое представление столь точно; ведь может быть дюжина зданий, чьим

представлением может быть твой образ?» – Вы же говорите: «Нет никакого сомнения, что я представляю именно Королевский колледж, а не какое-либо другое здание». Но не может ли произнесение этих слов создать ту самую связь, которую мы ищем? Ибо сказать это – все равно, что написать слова «Портрет мистера такого-то» под картинкой. Может быть, в то время как вы представляете пожар в Королевском колледже, вы произносите слова «В Королевском колледже пожар». Но в большинстве случаев вы явно не произносите слов объяснения в своем сознании, в то время как у вас в сознании появляется образ. И даже если вы это и делаете, вы не проходите всей дороги от своего образа к Королевскому колледжу, но только к словам «Королевский колледж». Связь между этими словами и Королевским колледжем, была, возможно, создана в другое время.

Ошибка, в которую мы склонны впадать во всех наших рассуждениях об этих материях и ощущениях всех типов, которые в некотором смысле тесно связаны между собой, должна быть представлена в нашем сознании в то же самое время. Если мы напеваем мелодию, которую мы знаем наизусть, или проговариваем алфавит, ноты или буквы кажутся связанными между собой, и каждая, кажется, влечет за собой следующую; как если бы они были ниткой жемчуга в коробке: выталкивая одну жемчужину, я тем самым выталкивал бы другую.

И вот нет никакого сомнения, что, обладая визуальным образом нити бусин, выталкиваемых из футляра через отверстие в крышке, мы будем склонны сказать: «Эти бусины до этого были в футляре все вместе». Но легко видеть, что это лишь создание гипотезы. У меня был бы тот же образ, если бы бусины постепенно образовывались в отверстии крышки. Мы с легкостью отслеживаем различие между исходным психическим актом сознания и созданием гипотезы относительно того, что можно назвать механизмом сознания. Более всего эти гипотезы, или картины, иллюстрирующие работу нашего сознания, воплощаются во многих формах выражения нашего повседневного языка. Прошедшее время «подразумевал» в предложении «Я подразумевал человека, который выиграл сражение при Аустерлице» является частью такой картины, которые, понятые как место, где хранится то, что мы помним, сознание помещает в себя, прежде чем мы выражаем его. Если я насвистываю мелодию, которую я хорошо знаю, и если меня прервут посередине, а потом спросят: «Ты знал, как там было дальше?», я отвечу: «Да, знал». Какого рода процесс – это знание того, *как там было дальше?* Может быть, это как будто целая последовательность мелодии должна присутствовать в моем сознании, если я знал, как продолжать.

Спросите себя: «Сколько потребуется времени, чтобы узнать, как там было дальше?» Или это моментальный процесс? Не совершаем ли мы

ошибки, смешивая существование граммофонной записи мелодии с существованием самой мелодии? Не предполагаем ли мы, что когда бы ни начала исполняться мелодия, всегда должна быть своего рода граммофонная запись, с которой она проигрывается?

Рассмотрим следующий пример. В моем присутствии стреляет ружье, и я говорю: «Этот выстрел был не таким громким, как я ожидал». Кто-то спрашивает меня: «Как это возможно, чтобы в твоём воображении выстрел был громче, чем в реальности?» Я должен признаться, что это не совсем так. Тогда он спрашивает: «Тогда ты на самом деле не мог ожидать более громкого звука, но, возможно, его тень. — А откуда ты знаешь, что это была тень более громкого звука?» — Посмотрим, что в таком случае могло на самом деле произойти? Возможно, ожидая выстрела, я раскрыл рот, чтобы как-то успокоить себя и, может быть, сказал: «Это, должно быть, что-то ужасное». Затем, когда выстрел прогремел: «Ну, не так уж это было громко». — Определенное напряжение в моем теле ослабло. Но какова связь между этим напряжением, тем, что я раскрыл рот и т. д., и реальным громким выстрелом? Возможно, эта связь была создана сравнением звука с переживанием звука, который я слышал раньше.

Исследуем выражение типа «обладание некоей идеей в чем-либо сознании», «анализ этой идеи чьего-то сознания». Для того, чтобы не дать сбить себя с толку этими выражениями, посмотрим, что реально происходит, когда, скажем, в процессе писания письма, мы подыскиваем слова, которые правильно выражают эту идею, «которая брезжит» в нашем сознании. Сказать, что мы пытаемся выразить эту идею, которая весьма явственно подражает сама себя, и с которой все в порядке до тех пор, пока она не сбивает нас с толку, когда мы философствуем. Ибо когда мы вспоминаем, что реально происходит в подобных случаях, мы обнаруживаем большое разнообразие процессов, более или менее родственных друг другу. — Мы, может быть, склонны сказать, что во всех таких случаях мы по крайней мере «ведомы» чем-то, исходящим из нашего сознания. Но выражения «ведомы» и «нечто в нашем сознании» употребляются в столь же различных смыслах, сколь и слово «идея» и словосочетание «выражение идеи».

Фраза «выражать идею, которая находится в нашем сознании», предполагает, что мы пытаемся выразить в словах то, что уже выражено, но только на другом языке; что это выражение само находится перед нашим мысленным взором; и что то, что мы делаем, — это перевод из ментального языка в вербальный. В большинстве случаев то, что мы называем «выражением идей» и т. д., есть нечто, происходящее совершенно по-разному. Представим, что это происходит в одном случае так: я нащупываю слово. Некоторые слова предлагаются, и я отвергаю их. Наконец одно кажется подходящим, и я говорю: «Вот что я имел в виду!»

(Мы были бы склонны сказать, что доказательство возможности трисекции угла с помощью линейки и компаса анализирует нашу идею трисекции угла. Но доказательство дает нам новую идею трисекции, которой мы не могли обладать до тех пор, пока не было построено доказательство.) Доказательство вело нас дорогой, *которой мы и так были склонны идти*; но оно вело нас за пределы того места, куда мы стремились, и не показало нам ясно то место, где мы находились все время.)

Теперь давайте вернемся к тому пункту, когда мы сказали, что не достигнем ничего путем предположения, что тень должна занимать место где-то между выражением нашей мысли и реальностью, которую сконструировала наша мысль. Мы сказали, что если мы хотим получить картину реальности, то предложение само по себе *есть* такая картина (хотя и не похожая на реальность).

Во всем этом я пытался изменить стремление думать, что «*должно быть*» нечто, что называется ментальным процессом мышления, надежды, желания, веры и т. д., независимое от процесса выражения мысли, надежды, желания и т. д. И я хочу дать вам следующее основное правило: «Если вы озадачены природой мысли, веры, знания и т. п., замените мысль, выражение мысли и т. д.; трудность, которая кроется в этой замене и, в то же время, является проблемой в целом, такова: выражение веры, мысли и т. д. — это лишь предложение; — а предложение обладает смыслом только будучи членом языковой системы; как одно выражение внутри целого исчисления». И вот мы стремимся представить это исчисление, как будто оно является постоянной основой каждого предложения, которое мы произносим и стремимся думать, что, хотя предложение как нечто, написанное на листе бумаги и сказанное кем-то, стоит изолированно, в психическом акте мышления все равно присутствует исчисление. Психическое действие кажется таинственным спектаклем, который не может быть поставлен при помощи имеющихся у нас в запасе символов. И вот, когда стремление думать, что в некотором смысле все исчисление должно присутствовать, исчезает, то больше нет проблемы *постулирования* существования особого типа психического акта, отделенного от его выражения. Это, конечно, не означает, что мы показали тем способом, что особые акты сознания не сопровождают наших мыслей! Мы лишь более не станем говорить, что они *должны* сопровождать их.

«Но выражение наших мыслей всегда может лгать, ибо мы можем говорить одно, а подразумевать другое». Представим себе то множество различных событий, которые происходят, когда мы говорим одно, а подразумеваем другое! — Проведем такой эксперимент: попробуем произнести предложение «В этой комнате жарко», подразумевая «В этой комнате холодно». Понаблюдаем, что мы при этом делаем.

Мы могли бы с легкостью представить себе существо, которое производит свои примитивные мысли посредством приема «в сторону» и который помечает свою ложь, сопровождая произносимые слова репликами «в сторону», утверждающими противоположное.

«Но значение, мышление и т. д. — это индивидуальные переживания. Они не являются действиями, такими как письмо, говорение и т. д.» — но почему бы не существовать и специфическим переживаниям письма — мускульным, визуальным, тактильным ощущениям письма или говорения?

Проведем следующий эксперимент: будем говорить (и подразумевать) предложение, например: «Возможно, завтра будет дождь». Теперь подумайте то же самое вновь, подразумевая то, что вы только что подразумевали, но ничего не произнося (ни вслух, ни про себя). Если мысль, что завтра будет дождь, сопровождается произнесением слов, что завтра будет дождь, тогда просто проделайте первое действие и оставьте второе. — Если мышление и говорение соотносятся, как слова и мелодия песни, то мы можем отбросить слова и мыслить просто так, как мы поем мелодию без слов.

Но уж по крайней мере говорить, отбрасывая мышление, нельзя.

Конечно — понаблюдаем, какого рода вещи вы делаете, когда вы говорите, не думая. Отметим сначала, что все те процессы, которые мы можем назвать «говорением, подразумевающим то, что ты говоришь», обязательно отличаются от бездумного говорения тем, что происходят *в то время, когда вы говорите*. Если что и разграничивает эти два типа, это то, что происходит до или после говорения.

Предположим, что я умышленно пытаюсь говорить, не думая; — что фактически я при этом делаю? Я могу читать предложение по книге, пытаясь делать это автоматически, т. е. пытаясь удерживать себя от следования смыслу предложения с теми образами и ощущениями, которые оно в противном случае будет производить. Способ такого чтения состоял бы в концентрации моего внимания на чем-то другом в то время, как я произношу предложение: например, при этом я могу больно щипать себя за руку. — Попробуем так: произнесение предложения, не думая, состоит в погашении речи и погашении определенных, сопровождающих речь, элементов. Теперь спросим себя: состоит ли продумывание предложения без его произнесения в погашении (или зажигании того, что мы предварительно погасили и *vice versa*); т. е.: состоит ли продумывание предложения без его произнесения просто в сохранении того, что сопровождает слова, но при этом и в отбрасывании самих слов? Попробуй подумать о предложении без самого предложения и понять, так ли это происходит.

Давайте суммируем: если мы тщательно исследуем употребление таких слов, как «мышление», «значение», «желание» и т. д., прохождение через этот процесс избавит нас от стремления искать специфический акт мыш-

ления, который прячется в некоем специфическом медиуме. Мы более не удерживаем себя посредством достигнутых форм выражения от осознания того, что опыт мышления *может* быть просто опытом говорения, или может заключаться в этом опыте плюс некие другие переживания, которые его сопровождают. (Полезно также изучить следующий случай: представим себе, что умножение является частью предложения; спросим себя, на что это будет похоже — произносить пример умножения $7 \times 5 = 35$, продумывая его, и, с другой стороны, бездумно его проговаривая). Исследование грамматики слова ослабляет позицию определенных фиксированных стандартов нашего выражения, что удерживает нас от того, чтобы видеть факты скошенными глазами. Наше исследование пытается устранить эти раскосости, которые заставляют нас думать, что факты *должны* соотноситься с определенными картинками, включенными в наш язык.

«Значение» — одно из тех слов, о которых можно сказать, что они добавляют работы нашему языку. Это именно одно из таких слов, которые являются причиной большинства философских затруднений. Представим себе некоторое учреждение: большинство его сотрудников имеют определенные регулярные функции, которые с легкостью могут быть описаны, скажем, в уставе учреждения. Но, с другой стороны, есть несколько сотрудников, которые работают на дополнительной работе и которая, тем не менее, может быть невероятно важной. — Если что обуславливает большинство неприятностей в философии, так это то, что мы стремимся описывать употребление важных слов («дополнительной работы»), как если бы они были словами, имеющими регулярные функции.

Причина, по которой я откладываю разговор об индивидуальном опыте, заключается в том, что обсуждение этой темы вызывает призрак философских затруднений, который угрожает перевернуть все наши обыденные понятия о том, что мы обычно называем объектами нашего опыта. И если нас задевают эти проблемы, то нам может показаться, что все, что мы говорим о знаках и различных объектах, которые мы анализировали в наших примерах, можно выбросить в мусорную корзину.

Ситуация, в каком-то смысле типичная для философского исследования; и кто-то как-то описал ее, сказав, что ни одна философская проблема не может быть решена, пока не решены все философские проблемы; что означает, что пока они все не решены, каждая новая трудность делает все предшествующие результаты проблематичными. На это утверждение мы можем дать лишь приблизительный ответ, если мы говорим о философии в таких общих терминах, дело обстоит так, что каждая новая проблема, которая здесь возникает, может поставить под вопрос ту *позицию*, в которой предстают наши предшествующие, имеющие частный характер результаты в конечной картине всего исследования. Тогда гово-

рят о том, что надо переинтерпретировать эти предыдущие результаты; мы же сказали бы так: они должны быть помещены в другое окружение.

Представим себе, что мы должны расставить книги в библиотеке. Когда мы начинаем это делать, книги в беспорядке валяются на полу. И вот существует много способов сортировки и раскладывания книг по местам. Кто-то будет брать одну книгу за другой и каждую ставить на полку на подходящее ей место. С другой стороны, мы можем взять несколько книг с пола и ставить их в ряд на полке только для того, чтобы показать, что эти книги должны идти вместе в таком порядке. В процессе организации библиотеки этот целостный ряд книг переменит свое место. Но было бы неверным говорить при этом, что ставить их рядом на полку не было шагом по направлению к конечному результату. В этом случае, на самом деле, совершенно очевидно, что поставить книги, принадлежащие тематически друг другу, вместе было определенным достижением даже в том случае, если весь их ряд затем надо будет переместить. Однако некоторые из величайших философских достижений могут быть уподоблены лишь собиранию некоторых книг, которые кажутся имеющими отношение друг к другу и расстановкой их по разным полкам; ничего более существенно об их положении сказать нельзя, кроме того, что они больше не стоят рядом друг с другом. Наблюдатель, который не знает трудности задания, может подумать в подобном случае, что ничего вообще не достигнуто. — Самое трудное в философии сказать не больше того, что мы знаем. Например, мы видим, что когда мы поставили две книги рядом в правильном порядке, мы тем самым еще не нашли их окончательного места.

Когда мы думаем о связи объектов, окружающих нас, с нашим индивидуальным восприятием их, мы порой стремимся сказать, что эти индивидуальные восприятия и есть тот материал, из которого состоит реальность. Как возникает это стремление, станет ясно позже.

Когда мы думаем таким образом, мы, как кажется, теряем твердый взгляд на окружающие нас объекты. И вместо этого мы остаемся с множеством разрозненных индивидуальных восприятий различных людей. Эти индивидуальные восприятия вновь начинают казаться неясными, смутными и находящимися в процессе постоянного изменения. Наш язык, видимо, не приспособлен для того, чтобы описывать их. Мы склонны думать, что для того, чтобы прояснить философски подобные материи, наш обыденный язык слишком грубый инструмент, мы нуждаемся в более тонком языке.

Нам кажется, что мы совершили открытие — которое я могу описать, сказав, что земля, на которой мы стояли, и которая казалась твердой и надежной, оказалась рыхлой и ненадежной. — Вот это и происходит, когда мы философствуем; ибо как только мы возвращаемся к исходной точке здравого смысла, эта *общая* неопределенность исчезает.

Эта странная ситуация может быть прояснена неким примером; фактически это своего рода парабола, иллюстрирующая то затруднение, с которым мы столкнулись, а также показывающая тот путь, идя по которому, мы можем избежать данного затруднения: популярная наука говорит нам, что пол, на котором мы стоим, является надежным, твердым. С точки зрения здравого смысла мы как бы можем обнаруживать, что дерево состоит из частиц, заполняющих пространство столь тонко, что его можно назвать почти пустым. Это нас запутывает, поскольку на пути того курса, которого мы держимся, мы знаем, что пол является твердым. Или что, если он не твердый, то это только благодаря тому, что дерево, из которого он сделан, прогнило. Но не из-за того, что оно состоит из электронов. На этом (последнем) основании сказать, что пол не является твердым, значит злоупотребить языком. Поскольку даже если бы частицы были бы так же велики, как песчинки, и так же тесно прижимались друг к другу, как в грудке песка, пол все равно не был бы твердым, если бы он состоял из них в том смысле, в каком грудка песка состоит из песчинок. Эта путаница основывается на непонимании; аналогия редко заполненного пространства была неверно применена. Ибо эта картина структуры материала в большей мере предназначена для того, чтобы объяснить сам феномен твердости.

Так же, как в этом примере, слово «твердость» было употреблено неверно. И виделось, что мы показали, что в том случае ничто не является твердым, точно так же, как, раскручивая, распутывая наши загадки *общей смутности* переживаний и того, что касается процесса их постоянного движения, мы употребляли слова «движение» и «смутность» неверно, типично метафизическим способом, т. е. без антитезиса, в то время как их правильное употребление противопоставляет смутность ясности, а движение — стабильности, неточность — точности, а *проблему* — ее *решению*. Само слово «проблема», можно сказать, неверно применяется, когда оно употребляется применительно к нашим философским затруднениям. Эти затруднения, пока они видятся как проблемы, — мучительны и неразрешимы.

У меня есть склонность сказать, что только мое собственное восприятие является подлинным: «Я знаю, что я вижу, слышу, чувствую боль и т. д., но не кто-то другой. Этого я не могу знать, потому что я — это я, а он — это он».

С другой стороны, я чувствую некое смущение перед тем, чтобы сказать кому-либо, что только мое восприятие является подлинным; и я знаю, что мне ответит тот, к кому бы я обратился с этим утверждением: что он может сказать в точности то же самое о своих восприятиях. Кажется, что это ведет к глупой игре со словами. Мне также говорят: «Если ты сочувствуешь тому, кто испытывает боль, ты безусловно должен по меньшей мере *верить*, что он испытывает боль». Но как я могу даже *верить* в это? Каким образом эти слова приобретают смысл для меня? Ка-

ким образом я мог бы даже прийти к идее чужого восприятия, если нет возможности какого-либо доказательства его существования?

Но надо ли задавать этот странный вопрос? Разве я *не могу* поверить, что кому-то другому больно? Разве это так уж трудно — поверить в это? — Будет ли ответом — сказать, что вещи существуют постольку, поскольку они имеют место с точки зрения здравого смысла? — Опять-таки, нет надобности говорить, что мы не чувствуем этих трудностей в обыденной жизни. Не будет также верным сказать, что мы чувствуем их, когда мы тщательно исследуем свое восприятие посредством интроспекции или когда подвергаем их научному исследованию? Но, так или иначе, когда мы смотрим на них определенным образом, наше выражение должно заходить в тупик. Нам кажется, что то ли мы располагаем неправильными кусочками или недостаточным их количеством, чтобы сложить их вместе в прозрачный пазл. Но они все существуют только в перемешанном виде; и имеет смысл дальнейшая аналогия между прозрачным пазлом и нашим случаем: но не имеет смысла предпринимать усилия, чтобы сложить все кусочки вместе. Все, что мы можем сделать, это *внимательно* смотреть на них и стараться упорядочивать их. Существуют высказывания, о которых мы можем сказать, что они описывают факты в материальном мире. Грубо говоря, это высказывания о физических объектах: телах, жидкостях и т. д. Я не думаю здесь именно о законах естественных наук, но о любых высказываниях вроде «Тюльпаны в нашем саду полны цветения» или «Смит явится в любой момент». Существуют, с другой стороны, высказывания, описывающие индивидуальные переживания так, как субъект психологического эксперимента описывает свои ощущения; скажем, свои визуальные восприятия, независимо от того, имеются ли перед его глазами в действительности какие-либо тела, и независимо от любых процессов, которые можно наблюдать на его радужной оболочке, на его нервах, в его мозге или других частях тела. (То есть независимые ни от физических, ни от психологических факторов.)

На первый взгляд может показаться (но почему — становится яснее лишь позже), что здесь мы обладаем двумя типами миров, мирами, построенными из различных материалов; психический мир и физический мир. Психический мир фактически должен быть как бы газообразным, эфирным. Но позвольте мне напомнить вам о роли, которую газ и эфир играют в философии — когда мы представляем, что существительные не употребляются тем способом, который мы в целом называем именем объекта, и когда мы поэтому не можем помочь себе, сказав, что это имя эфирного объекта. Я имею в виду, что мы уже знаем идею «эфирных объектов» в качестве увертки, когда нас смущает грамматика определенных слов, и когда все, что мы знаем, это то, что они не употребляются

в качестве имен материальных объектов. Это проблема-головоломка двух субстанций — *сознания* и *материи* — неразрешима. Порой нам кажется, что явления индивидуального опыта в каком-то смысле суть феномены высших слоев атмосферы в противоположность материальным явлениям, которые происходят на Земле. Существует точка зрения, в соответствии с которой эти явления возникают в высших слоях, когда материальные явления достигают определенной степени сложности. Например, что психические явления, — ощущения, воля и т. д. выявляются, когда животное тело определенного типа и определенной сложности выделилось в животном мире. Кажется, что в таком взгляде есть очевидное рациональное зерно, поскольку амеба определенно не разговаривает, не пишет и не ведет дискуссий, — это делаем мы. С другой стороны, здесь возникает проблема, которую можно выразить посредством вопроса: «Может ли машина думать?» (конечно, действия этой машины могут быть описаны и предсказаны законами физики или, возможно, лишь законами другого типа, применяемыми к поведению организмов). И затруднение, которое выражено в этом вопросе, на самом деле не в том, что мы еще не знаем таких машин, которые могли бы выполнять эту работу. Этот вопрос не является аналогичным вопросу, который кто-то мог задать сто лет назад: «Может ли машина превращать жидкость в газ?» Неприятность, скорее, в том, что предложение «Машина думает (представляет, желает)» кажется чем-то бессмысленным. Как если бы нас спросили: «Имеет ли число 3 цвет?» («Что за цвет это мог бы быть, если оно очевидно не имеет цветов, известных нам?») Ибо, с одной стороны, индивидуальный опыт, далекий от того, чтобы быть *продуктом* физических, химических, физиологических процессов, кажется подлинным базисом всего прочего, что мы говорим о таких процессах. Посмотрев на дело с такой точки зрения, мы склонны употребить нашу идею строительного материала еще и на другом заводящем в тупик пути и сказать, что весь мир как психический, так и физический сделан из одного материала.

Когда мы смотрим на все, что знаем и можем сказать о мире, как на что-то, что обволакивается индивидуальным опытом, тогда все, что мы знаем, кажется теряющим всю ценность, надежность и твердость. В этом случае мы склонны сказать, что это все «субъективно», и это слово употребляется пренебрежительно, как если бы мы говорили, что какое-либо мнение является *чисто* субъективным, делом вкуса. И вот то, что этот аспект, кажется, сотрясает основы нашего опыта и знания, указывает на тот факт, что здесь наш язык стремится вновь ввести нас в заблуждение. Это напоминает нам случай, когда известный ученый пытался показать, что пол, на котором мы стоим, на самом деле не является твердым, потому что он состоит из электронов.

Мы вновь оказываемся лицом к лицу с той неприятностью, которая обусловлена нашим способом выражения.

Другая такая неприятность, родственная первой, выражается в предположении: «Я могу знать только то, что я обладаю индивидуальным опытом, но никто другой». — Назовем ли мы тогда необходимой гипотезу, что кто-то другой тоже обладает индивидуальным опытом? — Но является ли это вообще гипотезой? Ибо как я могу даже выдвигать гипотезу, если она трансцендентна всем возможным переживаниям? Как могла бы подобная гипотеза быть подкреплена значением? (Не похожа ли она на бумажные деньги, не подкрепленные золотом?) — Нам не поможет, если кто-то скажет нам, что хотя мы не знаем, чувствуют ли другие люди боль, мы определенно верим в это, когда, например, сочувствуем им. Конечно, мы не могли бы сочувствовать им, если бы не верили в то, что им больно; не является ли эта вера философской, метафизической? Разве материалист сочувствует мне больше, чем идеалист или солипсист? — Фактически солипсист спрашивает: «Как мы *можем* верить, что другим больно, что это значит — верить в это? Как может выдвижение подобной гипотезы иметь смысл?» А вот ответ философа, представителя здравого смысла (и, что не всегда то же самое, человека здравого смысла), одинаково далекого и от материализма и от идеализма, состоит в том, что, конечно, нет никаких затруднений в идее веры, думания, представления, — что этими же переживаниями обладает кто-то другой, кроме меня. С материалистом же затруднение состоит всегда в том, что он вообще не решает трудностей, которые видят его соперники, хотя они тоже не преуспевают в решении их. Ответ материалиста просто выносит вопрос из рассмотрения, ибо тот, кто рассуждает таким образом, просто игнорирует различия между разными употреблениями слов «иметь», «представлять». «У меня есть золотой зуб (Я имею золотой зуб)» означает, что зуб находится во рту А. Это можно считать фактом, что я не в состоянии его видеть. А вот случай с зубной болью, о которой я говорю, что я не в состоянии ее чувствовать, потому что она расположена у него во рту, этот случай не является аналогичным случаю с золотым зубом. Подходящая аналогия — и опять-таки — потеря аналогии для случаев, которые обуславливают наше затруднение! И это та же самая неприятная особенность грамматики, которую материалист не замечает. Можно предположить, что я чувствую зубную боль во рту другого человека; и человек, который говорит, что он не может чувствовать зубную боль другого человека, отрицает не *это*. Грамматическая трудность, с которой мы столкнулись, может быть рассмотрена ясно, только если мы сблизимся с идеей боли в теле другого человека. Ибо иначе в загадочности этой проблемы мы будем должны смешивать наше метафизическое высказывание «Я не могу

чувствовать его боль» и экспериментальное высказывание «Мы не можем обладать болью в зубе другого человека». В этом высказывании слово «не можем» употреблено тем же способом, как и в высказывании «Железный гвоздь не может разрезать стекло» (мы могли бы записать его в форме «опыт учит, что железный гвоздь не режет стекло», обойдясь, таким образом, без «не может»). Для того, чтобы понять, что возможно предположение о том, что один человек мог бы обладать болью другого человека, нужно изучить, какого рода факты мы называем критериями того, что боль локализована в определенном месте. Легко представить следующий случай: когда я вижу свои руки, я не всегда осознаю их связь с остальным телом. Так сказать, я часто вижу свою кисть движущейся, но не вижу всей руки, которая связана с моим торсом. Но я ведь не обязательно в этот момент проверяю существование своей руки каким-то другим способом. Поэтому моя рука — почему я знаю? — может быть, связана с телом стоящего рядом человека (или вовсе не принадлежит никакому человеческому телу). Предположим, что я чувствую боль, доказательством чего является сама боль, — например, с закрытыми глазами, и я называю ее болью в своей левой руке. Я делаю это и, оглянувшись, обнаруживаю, что держу руку своего соседа (подразумевается, что рука связана с торсом соседа).

Спросите себя: Откуда мы знаем, куда указать, когда нас просят указать больное место? Можно ли указание этого типа сравнить с указанием на черное пятно на листе бумаги, когда кто-то говорит: «Укажи на черное пятно на этом листе». Предположим, кто-то сказал: «Ты указал на это место, потому что ты знал до того, как ты указал на него, что у тебя болит именно здесь»; спросите себя: «Что это значит — *знать*, что у вас здесь болит? Слово «здесь» относится к локализации; — но в каком пространстве? и локализация в каком смысле? Знаем ли мы место, которое боль занимает в Евклидовом пространстве, так что, когда мы знаем, где у нас болит, мы тем самым знаем, на каком расстоянии боль находится от стен комнаты и от пола? Когда у меня болит кончик пальца и я прикасаюсь им к своему зубу, является ли теперь моя боль болью и в пальце, и в зубе? Определенно, в каком-то смысле можно сказать, что она локализуется в зубе. Является ли причиной, по которой в этом случае неверно говорить, что у меня зубная боль, тот факт, что для того, чтобы быть зубной болью, боль должна быть удаленной на шестнадцать дюймов от кончика моего пальца? Вспомним, что слово «где» может относиться к локализации в множестве других смыслов (множество различных грамматических игр, *более* или *менее* родственных друг другу, играется с этим словом, подумай о различных употреблениях числа «1»). Я могу знать, где находится некий предмет и указать на него вследствие этого знания. Знание говорит мне, куда я дол-

жен указать. Мы здесь рассматриваем это знание как условие для преднамеренного указания на объект. Так, кто-то может сказать: «Я могу указать на пятно, которое ты имеешь в виду, потому что я вижу его», «Я могу направить тебя к этому месту, потому что я знаю, где оно находится; сначала повернуть направо и т. д.». И вот кто-то склонен сказать: «Я должен знать, где находится предмет еще прежде, чем я могу указать на него». Возможно, вы почувствуете себя счастливым, сказав: «Я должен знать, где находится предмет прежде, чем я могу посмотреть на него». Иногда, конечно, так можно сказать. Но мы склонны думать, что существует некое специфическое психическое состояние или событие, знание места, которое должно предшествовать каждому преднамеренному акту указания, движения по направлению к нему и т. д. Подумаем об аналогичном случае: «Подчиниться приказу можно только после того, как ты понял его».

Если я указываю больное место на своей руке, то в каком смысле я могу сказать, что я знал, где локализуется боль, до того, как указал на это место? Прежде, чем указать, я должен был бы сказать: «Боль — в моей левой руке». Допустим, моя рука была покрыта сетью линий, пронумерованных таким образом, чтобы я мог указать любое место на ее поверхности. Было бы ли это необходимо, чтобы я был в состоянии описать больной участок посредством этих координат прежде, чем я мог указать на них? Я хочу сказать этим, что действие указания *определяет* место боли. Это действие указания, кстати, не надо путать с определением больного участка посредством зондирования. На самом деле, эти два пути ведут к различным результатам.

Можно придумать бесчисленное число случаев, о которых мы можем сказать, что кто-то чувствует боль в теле другого человека; или, скажем, в кусочке мебели, или в любом пустом участке пространства. Конечно, мы не должны забывать о том, что боль в любой отдельной части нашего тела, например, в верхнем зубе, имеет специфическое тактильно-синестетическое соседство. Подняв руку вверх на небольшое расстояние, мы коснемся своего глаза; и словосочетание «небольшое расстояние» здесь указывает на тактильное расстояние или на синестетическое расстояние, или на оба сразу. (Легко представить тактильное и синестетическое расстояние, соотнесенные способом, отличным от обычного. Расстояние от нашего рта до нашего глаза может казаться «мышце нашей руки» очень большим, когда мы передвигаем палец от рта к глазу. Подумайте, насколько большим вы представляете дупло в вашем зубе, когда дантист сверлит и зондирует его.)

Когда я сказал, что, если мы передвигаем свою руку немного вверх, мы касаемся своего глаза, я имел в виду лишь тактильное доказательство. То есть для моего пальца, прикасающегося к моему глазу, критерий заключа-

ется только в том, что у меня возникает определенное ощущение, которое побуждает меня сказать, что я прикоснулся к своему глазу, даже, если у меня нет визуальных доказательств этого и даже если, глядя в зеркало, я вижу, что мой палец касается не глаза, а, скажем, лба. Точно так же, как «небольшие расстояния», которые я имел в виду, относились к тактильному и синестетическому, так же и места, о которых я сказал бы: «не лежали на некотором расстоянии поодаль», — были тактильного свойства. Сказать, что мой палец в тактильном и синестетическом пространстве движется от моего зуба к моему глазу, означало бы тогда, что у меня были те тактильные и синестетические ощущения, которыми мы обладаем в нормальных случаях, когда говорим, что «мой палец движется от моего зуба к моему глазу». Но то, что мы считаем доказательством этих последних высказываний, как мы все знаем, без сомнения, лишь явления тактильного и синестетического порядка. Фактически, если я имел в виду тактильные и синестетические ощущения, то я мог бы отрицать истинность высказывания «мой палец движется... и т. д.» на основании визуальных данных. Это высказывание является высказыванием о физических объектах. (Но не думайте, что выражение «физические объекты» разграничивает объекты одного типа от других) Грамматика высказываний, которые мы называем высказываниями о физических объектах, ограничивает число доказательств для каждого такого высказывания. Грамматику высказывания «мой палец движется и т. д.» характеризует тот факт, что я рассматриваю высказывания «Я вижу, как он движется», «Я чувствую, как он движется», «Он видит, как он движется», «Он говорит мне, что этот предмет движется» и т. д. как доказательства истинности этого высказывания. Теперь, если я говорю: «Я вижу, что моя рука движется» — то это, на первый взгляд, кажется, должно предполагать, что я согласен с высказыванием «Моя рука движется», но если я рассматриваю высказывание «Я вижу, что моя рука движется» как одно из доказательств истинности высказывания «Моя рука движется», то истинность последнего, конечно, не предполагает истинности первого. Можно поэтому заменить высказывание «Я вижу, что моя рука движется» на высказывание «Это выглядит так, как будто моя рука движется». Но этому выражению несмотря на то, что оно показывает, что моя рука может казаться движущейся, а на самом деле не двигаться, должна еще соответствовать предпосылка, что в конце концов надо, чтобы была сама рука, дабы могло казаться, что она движется; в то время как мы с легкостью могли бы представить случаи, в которых высказывание, описывающее визуальное доказательство, побудит нас сказать, что у меня нет руки. Наш повседневный способ выражения затемняет все это. Нам препятствует в обыденном языке то, что мы должны описывать, скажем, тактильные ощущения посредством физических терминов таких, как

«глаз», «палец» и т. д.; в то время как то, что мы хотели сказать, не предполагает существования глаза, пальца и т. д., мы должны поэтому употреблять окольные описания наших ощущений. Это, конечно, не означает, что обыденный язык недостаточен для наших специальных целей, но, скорее, что он немного слишком громоздкий и порой заводит в тупик. Причина этой особенности языка, конечно, состоит в регулярном совпадении определенных выражений ощущения. Так, когда я чувствую, что моя рука движется, я в большинстве случаев также могу *видеть*, что она движется. И если я прикасаюсь к ней своей ладонью, ладонь также ощущает прикосновение и т. д. (Человек, у которого была ампутирована нога, может описать специфическую боль как боль в этой ноге.) В таких случаях мы чувствуем сильную потребность выразиться следующим образом: «Ощущение путешествует от моего тактильного препятствия к моему тактильному глазу». Я говорил все это потому, что, если вы сознаете тактильное и синестетическое окружение боли, вы можете обнаружить затруднение в том, чтобы представить, что у кого-то может быть зубная боль где-либо еще, кроме как в его собственных зубах. Но если мы представим этот случай, он просто будет означать, что мы представляем соотношенность между визуальным, тактильным, синестетическим и т. д. ощущениями как совершенно другую по сравнению с обычной соотношенностью. Так, мы можем представить человека, который чувствует зубную боль плюс те тактильные и синестетические ощущения, которые в нормальном случае граничат с лицезрением того, как его ладонь путешествует от зуба к носу глазам и т. д., но соотношенные с визуальными ощущениями его руки, движущейся по этим местам лица другого человека. Или опять-таки, мы можем представить себе человека, обладающего синестетическим ощущением движения его руки по поверхности лица, в то время как его и синестетические, и визуальные ощущения должны быть описаны как ощущения, которые испытывают его пальцы, движущиеся по поверхности его колена. Если мы обладаем ощущением зубной боли плюс определенные тактильные и синестетические ощущения, которые обычно характеризуют прикосновение к больному зубу и соседними частями лица, и если эти ощущения сопровождалось тем, что мы видели, как моя рука касается и движется по кромке моего стола, мы почувствовали бы сомнение, назвать ли это ощущение ощущением зубной боли в столе или нет. Если, с другой стороны, описанные тактильные и синестетические ощущения соотносились с визуальными ощущениями лицезрения того, как моя рука прикасается к зубу и другим частям лица другого человека, то я назвал бы это ощущение ощущением «зубной боли в зубе другого человека».

Я сказал, что человек, который считает, что невозможно чувствовать боль другого человека, не хочет тем самым отрицать, что в принципе че-

ловека может чувствовать боль в теле другого человека. Фактически он сказал бы так: «Я могу ощущать боль в зубе другого человека, но это не *его* зубная боль».

Таким образом, высказывание «У А есть золотой зуб» и «У А болят зубы» не употребляются аналогичным образом. Они отличаются по своей грамматике там, где на первый взгляд кажется, что они не отличаются.

Употребляя здесь слово «представлять», – можно сказать: «Безусловно, существует совершенно определенное действие представления того, что другому человеку больно». Конечно, мы не отрицаем этого, как и любого другого утверждения о фактах. Но посмотрим: если мы создаем образ боли другого человека, применяем ли мы его тем же способом, каким мы применяем образ, скажем, черного глаза, когда мы представляем, что у другого человека есть черный глаз? Давайте еще раз поменяем представление в обыденном смысле на создание картин (это был бы вполне приемлемый способ для определенных существ отражать свои представления). Пусть тогда человек представляет этим способом, что у А черный глаз. Весьма важным применением этой картины будет сравнение ее с реальным глазом для того, чтобы увидеть, правильно ли его изобразила картина. Когда мы живо представляем, что кто-то страдает от боли, часто в наш образ входит то, что можно назвать тенью боли, ощущаемой в месте, соотношенном с тем, в котором, как мы говорим, он чувствует боль. Но в том смысле, в котором образ есть образ, он является детерминированным тем способом, при помощи которого он сравнивается с реальностью. Это мы можем назвать методом проекции. Теперь подумаем о сравнении образа зубной боли А с его зубной болью. Как бы вы стали сравнивать их? Если вы скажете, что будете сравнивать их «опосредованно», через его телесное поведение, я отвечу, что это означает, что вы *не* сравниваете их в том смысле, в каком вы сравниваете картину его поведения с его поведением.

Опять-таки, когда вы говорите «Я гарантирую вам, что вы не можете *знать*, когда А испытывает зубную боль, вы можете лишь предполагать это», то вы видите трудность, которая заключается в различных употреблении слов «предположение» и «знание». Какого типа невозможность вы имеете в виду, когда говорите, что вы не могли бы этого знать? Не думали ли вы о случае, аналогичном тому, когда кто-то не может знать, есть ли у другого человека во рту золотой зуб, потому что он держит свой рот закрытым? Здесь то, чего вы не знаете, вы ни за что не станете представлять как то, что вы знаете; имеет смысл сказать, что вы этого не видели или, скорее, имеет смысл сказать, что вы не видели его зуба, и поэтому также имеет смысл сказать, что вы его видели. Когда, с другой стороны, вы гарантируете мне, что человек не может *знать* испытывает ли боль

другой человек, вы все-таки хотите сказать о том, что по сути дела люди не знают, но не имеет смысла говорить о том, что они знают (и поэтому не имеет смысла говорить, чего они не знают). Если по этой причине в данном случае вы употребляете термин «предполагать» или «полагать, верить», то вы не можете употреблять их как термины, противоположные термину «знать». То есть вы не настаиваете на том, что знание — это цель, которой вы не можете достичь, и что вы должны поэтому удовлетвориться предположением, что, скорее, в этой игре вообще нет цели. Как если бы кто-то сказал: «Вы не можете сосчитать все ряды натуральных чисел», то он настаивал бы при этом не на несовершенстве человеческих навыков, но на той конвенции, которой мы придерживаемся. Наше утверждение не сопоставимо — хотя всегда ложно сопоставимо — с утверждением «Для человеческого существа невозможно переплыть Атлантический океан», но аналогично утверждению вроде «В состязании на выносливость нет цели». И это одно из таких явлений, смутно ощущаемых человеком, который не удовлетворен тем положением дел, что он, хотя не может знать... может предполагать...

Если мы раздосадованы на кого-то за то, что он вышел в холодную погоду без головного убора, мы скажем: «Я не могу представить, как тебе должно быть холодно». И это может означать: «Я не страдаю от того, что тебе холодно». Это — высказывание, которому обучаются на опыте. Ибо мы можем представить, так сказать, беспроволочную связь между двумя телами, которая делает возможным, чтобы один человек чувствовал боль в голове, когда другой подставляет свою голову холодному ветру. Из этого случая кто-то может заключить, что боль принадлежит мне, потому что он чувствует ее в моей голове, но, допустим, я и кто-то другой имеют часть тела общей, скажем, руку. Представим нервы и сухожилия моей руки и руки А, связанные с его рукой. Теперь представим, что руку ужалила оса. Оба мы начинаем кричать, искажая лица, давая определенные описания боли и т. д. И вот теперь должны ли мы сказать, что мы обладаем одной и той же болью или разными? Если в обычном случае вы говорите: «Мы ощущаем боль в одном и том же месте, в одном и том же теле, наши описания совпадают, но все же моя боль не может быть его болью», то я допущу, что вы также будете склонны сказать: «Потому что моя боль — это моя боль, а его боль — это его боль». И здесь вы делаете грамматическое утверждение об употреблении такой фразы, как «одна и та же боль». Вы говорите, что не хотели бы применить фразу «у него моя боль» или «у нас обоих одна общая боль», а вместо этого, возможно, примените такую фразу, как «его боль — точно такая же, как моя?» (И здесь не найдется аргумента, чтобы сказать, что они оба не могли бы иметь одну и ту же боль, потому что кто-то, может быть, подверг анестезии или убил одного из

них, в то время как другой продолжал чувствовать боль.) Конечно, если мы исключим фразу «У меня была зубная боль» из нашего языка, мы тем самым исключим и фразу «У меня болят зубы» (или «я чувствую зубную боль»). Другая форма нашего метафизического утверждения может быть такой: «Чувственные данные человека являются сугубо индивидуальными». И этот способ выражения является более тупиковым, потому что он выглядит в еще большей степени похожим на высказывание об ощущении; философ, который говорит так, может со спокойной совестью думать, что он выражает этим научную истину.

Мы употребляем фразу «две книги одинакового цвета», но мы могли бы с тем же успехом сказать: «Они не могут быть *одного и того же* цвета, потому что в конце концов эта книга имеет свой собственный цвет, а та — свой». И это также было бы утверждением грамматического правила — правила, случайно не находящегося в соответствии с нашим обыденным употреблением. Причина, по которой кто-то вообще может думать об этих двух различных употреблениях, такая. Мы сравниваем случай чувственных данных со случаем физических тел, в котором мы производим разграничение между «Это тот же самый стул, который я видел час назад» и «Это не тот же самый стул, но другой, в точности такой же, как тот». Здесь имеет смысл сказать — и это будет высказыванием об ощущениях: «А и В не могли бы видеть один и тот же стул, потому что А был в Лондоне, а В — в Кембридже; они видели два в точности одинаковых стула». (Здесь будет полезным, если вы рассмотрите различные критерии того, что мы называем «тождеством объектов». Как мы применяем утверждения «Это тот же самый день...» или «Это то же самое слово...» и т. д.?)

То, что мы делали в этих рассуждениях, было тем, что мы делаем всегда, когда встречаем слово «может» в метафизическом высказывании. Мы показали, что это высказывание скрывает грамматическое правило. То есть мы, так сказать, разрушаем внешнее сходство между метафизическим высказыванием и высказыванием об ощущениях, а также пытаемся найти форму выражения, которая удовлетворила бы специфическую страстную борьбу метафизика, коего не удовлетворяет наш обыденный язык и который до тех пор, пока он не удовлетворен, занимается тем, что продуцирует метафизические загадки. И опять-таки, когда в метафизическом смысле я говорю «Я всегда *должен* знать, когда мне больно», это просто делает слово «знать» лишним; и вместо «Я знаю, что мне больно», я могу сказать просто «Мне больно». Другое дело, конечно, если мы придадим смысл фразе «бессознательная боль», зафиксировав экспериментальные критерии для этого случая, когда человеку больно, но он не знает этого. И если тогда мы скажем (будет ли это правильным или нет), что, по сути дела, никто никогда не испытывал боли, не зная об этом?

Когда мы говорим «Я не могу чувствовать его боль», идея непреодолимого барьера предполагается сама собой. Подумаем о сходном случае: «Зеленый и голубой цвета не могут быть одновременно в одном и том же месте». Здесь картина физической невозможности, которая предполагается сама собой, не является, может быть, барьером, скорее, мы чувствуем, что два цвета идут каждый своим путем. Каково происхождение этой идеи? — Мы говорим, что три человека не могут поместиться на этой скамейке; для этого у них нет достаточного пространства. И вот случай с цветами не является аналогичным последнему; но он аналогичен тому, как если мы скажем: «Если 3 дюйма помножить на 18 дюймов, не может получиться 3 фута». Это — грамматическое правило, и оно утверждает логическую невозможность; высказывание: «Три человека не могут сидеть на одной скамейке длиной в один ярд» утверждает физическую невозможность: и этот пример ясно показывает, почему смешиваются два типа невозможности. (Сравним высказывание: «Он на 6 дюймов выше меня» с высказыванием «6 футов на 6 дюймов длиннее, чем 5 футов на 6 дюймов». Эти высказывания принадлежат к совершенно различным типам, но выглядят как в точности одинаковые.) Причина, по которой в подобных случаях идея физической невозможности предполагается сама собой, заключается в том, что, с одной стороны, мы высказываемся против употребления определенной формы выражения, а, с другой, мы в большой степени склонны употребить их, поскольку (а) по-английски или по-немецки и т. д. они звучат нормально, и (б) потому что они являются близко родственными формам выражения, употребляемым нами в других сферах нашего языка. Мы высказываемся против употребления фразы «Они занимают одно и то же место»; с другой стороны, эта фраза в большой степени рекомендует сама себя посредством аналогии с другими фразами, так что в определенном смысле мы должны с некоторыми усилиями отбросить эту форму выражения. Вот почему нам самим кажется, что следует отвергнуть универсальное ложное высказывание. Мы создаем картину, подобную картине с двумя цветами, возникающую всякий раз, или того барьера, который не позволяет одному человеку подойти поближе к ощущению другого человека, нежели к точке наблюдения его поведения; но, взглянув на все это внимательнее, мы обнаруживаем, что можем применить ту картину, которую мы создали. Наше метание между логической и физической невозможностью заставляет нас делать такие утверждения, как следующее: «Если то, что я ощущаю, есть всегда лишь *моя* боль, что может подразумевать утверждение, что кто-то еще испытывает боль?» В таких случаях надо всегда смотреть, как слова, в которых мы сомневаемся, в *действительности употребляются* в нашем языке. Во всех подобных случаях мы думаем об употреблении отличном от того, ко-

торое наш обыденный язык производит со словами. Об употреблении, которое, с одной стороны, просто по определенной причине в большой степени подразумевает само себя. Когда нечто в грамматике наших слов кажется странным, то это потому, что мы поочередно стремимся употреблять слова несколькими различными способами. И особенно трудно обнаружить, что некое суждение, которое высказывает метафизик, выражает несогласованность с нашей грамматикой, когда слова, принадлежащие этому суждению, могут быть также употреблены для утверждения некоего факта моих ощущений. Так, когда он говорит «Только моя боль является реальной», это предложение может означать, что другие люди могут только предполагать. А когда он говорит: «Это дерево не существует, когда его никто не видит», это может означать: «Это дерево исчезает, когда мы поворачиваемся к нему спиной». Человек, который говорит: «Только моя боль является реальной», не подразумевает, что он оперирует обычными критериями, которые придают нашим словам их обычный смысл, — а другие жуют, когда говорят, что они испытывают боль. Но что его возмущает, так это употребление данного выражения в связи с данными критериями. То есть он возражает против того, чтобы использовали это слово определенным способом, при помощи которого оно обычно и употребляется. С другой стороны, он не осознает, что возражает против этой конвенции. Он видит, так сказать, способ подразделения государства, отличный от того, который используется на обычной географической карте. Он чувствует стремление, скажем, употребить слово «Девоншир» не применительно к графству с его условными границами, но применительно к области, где границы расставлены совершенно по-другому. Он мог бы выразить это, сказав: «Не абсурдно ли создавать *это* графство, очерчивать *эти* границы?» Но то, что он говорит, есть не что иное как: «Настоящий Девоншир — этот». Мы бы на это могли ответить: «То, чего вы добиваетесь, это лишь новая система обозначений, а посредством новой системы обозначений ни один географический факт не может измениться». Тем не менее, верно, что мы можем непреодолимо прельщаться или отталкиваться от некоей системы обозначений. (Мы с легкостью забываем, как много система обозначений, форма выражения значит для нас и что изменение ее не всегда просто, как это часто бывает в математике или в естественных науках. Перемена одежды или имени может изменить очень мало, а может иметь огромное значение.)

Я попытаюсь прояснить проблему, обсуждающуюся материалистами, идеалистами и солипсистами, продемонстрировав вам проблему, тесно связанную с первой. Вот она: «Можем ли мы бессознательно думать, бессознательно чувствовать и т.д.?» Идея наличия бессознательного мышления вызывает протест у многих людей. Другие вновь и вновь говорят, что

это невероятное допущение, что мышление может быть только сознательным и что психоанализ открыл «бессознательные мысли». Противники бессознательного мышления не видят, что они возражают против новых открытий психологических реакций, а путь, на котором они стоят, уже пройден. Психоаналитики, с другой стороны, введены в заблуждение собственной системой выражения в том, как они думают, что открыли гораздо больше, чем новые психологические реакции, что они в определенном смысле открыли сознательные мысли, которые были бессознательными. Противники психоанализа могли бы настаивать на своем, говоря: «Мы не хотим употреблять выражение “бессознательные мысли”. Мы хотим оставить слово “мысль” за тем выражением, которое обозначает “сознательные мысли”». Но они некорректно настаивают на своих возражениях, когда говорят: «Могут существовать лишь сознательные мысли, а не бессознательные». Потому что если они не хотят говорить о «бессознательных мыслях», то они не должны употреблять выражение «сознательные мысли».

Но разве неверно было бы говорить, что в любом случае человек, который толкует и о сознательных, и о бессознательных мыслях, тем самым употребляет слово «мысли» двумя различными способами? — Используем ли мы молоток двумя различными способами, когда забиваем гвоздь и когда забиваем кольцо в отверстие? И используем ли мы его двумя различными способами или одним и тем же, когда забиваем этот кольцо в это отверстие, а тот кольцо в то. Или назвали ли бы мы это разными употреблениями, когда в одном случае мы забиваем нечто в нечто, а в другом, скажем, разбиваем что-нибудь? Или все это использование молотка одним способом, и можно назвать другим способом только тот, при котором мы используем молоток как пресс-папье? В каких случаях мы должны сказать, что слово употреблено двумя различными способами, а в каких, что одним? Сказать, что слово употреблено двумя способами (или более) различными способами само по себе еще не значит дать какую-либо идею, связанную с его употреблением. Это только определяет способ взгляда на это употребление, обеспечивая схему его описания с двумя или более подразделениями. Было бы правильным сказать: «Этим молотком я произвожу два действия: я забиваю гвоздь в эту доску и в ту доску». Но я также мог бы сказать: «Я произвожу при помощи этого молотка лишь одно действие: забиваю гвоздь в эту доску и в ту доску». Здесь могут возникнуть два рода вопросов, в связи с тем, используется ли слово одним способом или двумя: (а) два человека могут обсуждать употребляется ли английское слово «cleave» (разрубать) лишь для разрубания чего-либо или также для соединения предметов; это обсуждение фактов определенного действительного употребления; (b) они могут обсуждать, используется ли слово «altus»,

обозначающее одновременно «глубокий» и «высокий» двумя различными способами. Этот вопрос аналогичен вопросу, употребляется ли слово «мысль» двумя или одним способом, когда мы говорим о сознательной и бессознательной мысли. Человек, который говорит: «разумеется, что это два различных употребления», уже решил употреблять схему двух способов, и то, что он сказал, выражает его решение.

Теперь, когда солипсист говорит, что только его собственные ощущения реальны, бесполезно отвечать ему: «Зачем же ты говоришь об этом нам, если ты не веришь, что мы реально слышим тебя?» Или, другими словами, если мы отвечаем ему таким способом, мы не должны верить в то, что мы ответили на его затруднения. Но не существует здравомыслящих ответов на философские вопросы. Защитить здравый смысл от атак философов можно, лишь сперва разгадав их загадки, т. е. вылечив их от стремления напасть на здравый смысл; но не оставаясь на точке зрения здравого смысла. Философ — это не человек без своих ощущений, человек, который не видит то, что видит каждый; с другой стороны, его несогласие со здравым смыслом не является несогласием научного плана, примерно как ученый не согласен с мнением человека с улицы. То есть его несогласие не основано на более тонком знании фактов. Поэтому мы должны всмотреться в *источник* его замешательства. И мы обнаружим, что замешательство и ментальная неудовлетворенность существуют не только тогда, когда наша любознательность по поводу определенных фактов не удовлетворена или когда мы не можем обнаружить закон природы, согласующийся со всем нашим опытом, но также и тогда, когда нас не удовлетворяет система обозначений — возможно, из-за тех разнообразных ассоциаций, с которыми она связана. Наш обыденный язык, который из всех возможных систем записи является одной из тех, которая проходит через всю нашу жизнь, жестко держит наше сознание в одном положении и в этом положении порой чувствуется судорожность и иные помехи. Так, мы порой хотим такой системы обозначения, которая подчеркивала бы различия более строго, делала бы их более очевидными, чем это делает обыденный язык или тот язык, который в определенных случаях используется при помощи более адекватных форм выражения, чем наш обыденный язык. Наша ментальная судорога ослабевает, когда нам показывают систему обозначений, которая удовлетворяет этим требованиям. Эти требования могут быть самыми разнообразными.

И вот человек, которого мы называем солипсистом и который говорит, что только его собственные ощущения являются реальными, тем самым не выражает несогласия с нами в любом практическом вопросе, касающемся фактов; он не говорит, что мы симулируем, когда жалуемся на то, что у нас что-то болит, он сочувствует нам так же, как и любому другому, и, в то же

время, он хочет ограничить употребление эпитета «реальный» в тех пределах, где мы называем его ощущения; может быть, он вообще не хочет называть наши ощущения «ощущениями» (опять-таки будучи во всем согласен с нами в том, что касается фактов). Поскольку он сказал бы, что это было бы невероятно, чтобы ощущения другого человека были реальными, а не его ощущения. Поэтому он должен употреблять такую систему обозначений, в которой высказывание вроде «У А действительно болят зубы (кем бы этот А ни был)», лишенное значения, попадало бы в такую систему обозначений, которая исключала бы его из множества высказываний, подобно тому, как в шахматных правилах исключено, чтобы слон ходил, как конь. Предпосылка солипсизма исходит из того, чтобы употреблять такую фразу как «это реальная зубная боль» вместо «У Смита (солипсизма) болят зубы». И почему бы нам не предоставить ему его систему обозначений? Нет надобности говорить о том, что для того, чтобы избежать путаницы, он в этом случае не должен вообще употреблять слово «реальный» в его противопоставлении слову «симулятивный»; это лишь означает, что мы должны будем обеспечить разграничение этим двум понятиям «реальный/симулятивный» каким-то другим способом. Солипсизм, который говорит, что «реально только я чувствую боль», «только я на самом деле вижу (слышу)», не настаивает на чьем-либо мнении; вот почему он так уверен в том, что говорит. Он непреодолимо стремится употреблять определенную форму выражения, но мы еще должны понять, *почему* он это делает.

Фраза «только я реально вижу» тесно связана с идеей, выраженной в суждении «Мы никогда не знаем, что реально видит другой человек, когда он смотрит на какой-либо предмет» или: «Мы никогда не знаем называет ли он “голубым” тот же предмет, который мы называем “голубым”». Фактически мы можем заключить из этого следующее: «Я никогда не могу знать, что он видит и видит ли вообще, ибо все, чем я располагаю, — это знаки различных видов, которые он мне предоставляет; поэтому гипотеза, в соответствии с которой можно сказать «Он либо видит, либо нет», является необязательной; то, что видится, я знаю только из того, что вижу сам; я могу выучить слово “видение” лишь применительно к себе». Конечно, это не вся правда, потому что я определенным способом выучил другое и гораздо более сложное употребление слова «видеть», чем то, которым я здесь занимаюсь. Давайте проясним ту тенденцию, которая руководит мной, когда я это делаю, примером совершенно из другой области. Рассмотрим такой аргумент: «Как мы можем хотеть, чтобы этот лист был красным или не был красным? Не означает ли это, что я хочу того, что вообще не существует? Поэтому мое желание может содержать лишь нечто *сходное* с существованием красного листа. Не должны ли мы тем самым употреблять другое слово вместо “красный”, когда мы го-

ворим о желании того, чтобы что-то было красным? Образ желания ясно показывает нам нечто менее определенное, нечто более смутное, чем реальное существование красного листа. Поэтому я бы сказал вместо «Я хочу, чтобы этот лист был красным» нечто вроде «Я хочу, чтобы этот лист был бледно-красным». Но если в обычной речи он сказал «Я хочу, чтобы этот лист был бледно-красным», мы, чтобы удовлетворить его желание, должны будем выкрасить лист в бледно-красный цвет — а это не то, чего он хотел. С другой стороны, здесь не возникает возражения против принятия формы выражения, которую он предлагает, до тех пор пока мы знаем, что он употребляет фразу: «Я хочу, чтобы этот лист был бледно-х», всегда подразумевая при этом то, что мы обычно выражаем фразой «Я хочу, чтобы этот лист был цвета х». То, что он сказал, на самом деле говорит в пользу его системы обозначения в том смысле, в котором обозначение может говорить в чью-либо пользу. Но он не сказал нам ничего нового и не показал нам, что то, что мы говорили ранее, было ложно. (Все это связывает нашу теперешнюю проблему с проблемой отрицания. Я могу лишь дать вам намек, сказав, что то обозначение будет возможным, которое, образно говоря, дает всегда два имени — одно для случая, когда нечто сказано о том, что есть, а другое, когда нечто сказано о том, чего нет. Отрицанием фразы «Этот лист — красный» могла бы быть фраза «Этот лист — не ветка». Такое обозначение действительно удовлетворило бы некоторые желания, которые нами отрицаются посредством нашего обыденного языка и которые порой продуцируют судорогу философского замешательства в связи с идеей отрицания.)

Трудность, которую мы выражаем, говоря: «Я не могу знать, что он видит, когда он (правдиво) говорит, что видит голубое пятно», возникает благодаря идее, что «знание того, что он видит» подразумевает «видение того, что он видит»; но не в том смысле, в котором мы делаем это, когда у нас у обоих перед глазами один и тот же объект; но в том смысле, в котором этот видимый объект был бы объектом, расположенным, скажем, в его голове, или в *нем*. Идея состоит в том, что один и тот же объект может возникать перед моими и перед его глазами, но что я не могу засунуть свою голову в его (или свое сознание в его) так, чтобы *реальный* и *непосредственный* объект его видения стал реальным и непосредственным объектом и моего видения тоже. Под «Я не знаю, что он видит» мы на самом деле подразумеваем «Я не знаю, на что он смотрит», где выражение «на что он смотрит» скрыто и он не может показать его мне; оно расположено *перед его внутренним взором*. Поэтому для того, чтобы разгадать эту загадку, исследуем грамматические различия между утверждениями «Я не знаю, что он видит» и «Я не знаю, на что он смотрит», — как они реально употребляются в нашем языке.

Иногда наиболее удовлетворительным выражением нашего солипсизма кажется нечто вроде: «Когда что-то видно (на самом деле *видно*), оно всегда видно *мной*».

Что нас смущает в этом выражении, так это фраза «всегда мной». Всегда кем? — Ибо это достаточно странно, но я не имею в виду «всегда Л. В.» Последний пункт ведет нас к тому, чтобы рассмотреть критерии тождества личности. При каких обстоятельствах мы говорим: «Это тот же самый человек, которого я видел час назад?» Наше реальное употребление фразы «тот же самый человек», а также употребление имени этого человека основывается на том, что многие характеристики, которые мы используем в качестве критериев тождества, в большинстве случаев совпадают. Я, как правило, сознаю наличие своего тела. Мое тело меняет свое обличье лишь постепенно и сравнительно медленно, так же, как и мой голос, характерные привычки и т. д. меняются медленно и в узких пределах. Мы склонны употреблять личные имена, так как мы это делаем, только вследствие этих фактов. Лучшее всего это видно, если представить нереальные случаи, которые покажут нам, насколько различные «геометрии» мы были бы склонны использовать, если бы сами факты были бы различны. Представим себе, например, что все человеческие тела, которые существуют, похожи друг на друга, что, с одной стороны, различные множества характеристик как бы меняют облик этих тел. Множество характеристик, — скажем, мягкость характера, высокий голос, медленные движения, или холерический темперамент, низкий голос, порывистые движения и т. п. При таких обстоятельствах хотя и возможно было бы дать этим телам имена, мы, может быть, отчасти были бы склонны делать это так, как будто мы должны давать имена стульям в нашей гостиной. С другой стороны, возможно, полезно давать имена множествам характеристик, и тогда употребление этих имен *приблизительно* соответствовало бы личным именам в нашем настоящем языке.

Или представим себе, что для человеческого существа обычным является иметь две характеристики: очертания человека, его рост и характеристики его поведения, периодически претерпевающие полное изменение. Для человека, обладающего двумя такими состояниями, было бы обычным, если бы он переворачивался неожиданно из одного состояния в другое. Похоже, в таком случае в этом обществе пришлось бы крестить каждого человека двумя именами, а возможно, и говорить о двух личностях в одном его теле. А вот, например, доктор Джекил и мистер Хайд были двумя личностями, или это была одна личность, которая совершенно изменялась? Мы можем сказать, что нас ничто не может заставить говорить о двойной личности.

Существует много употреблений слова «личность», которые мы можем быть склонны принять как более или менее родственные. То же са-

мое, когда мы определяем тождество человека по его воспоминаниям. Представим себе человека, у которого воспоминания каждого дня его жизни воспроизводят полностью те события, которые происходили с ним, в большой полноте, но при этом он помнит только то, что произошло в предыдущие четные дни, и затем его память перескакивает на очередной четный день, не ощущая разрывов. Если нам нравится, мы можем даже предположить, что он имеет альтернативные обличья и даже характеристики в четные и нечетные дни. Готовы ли мы сказать, что в данном случае два человека обитают в одном теле? То есть было ли бы правильно сказать, что это так, и было ли бы неправильно сказать, что это не так? Ни в коем случае. Ибо *обыденное* употребление слова «личность» является тем, что можно назвать сложным употреблением, которое удобно в обычных обстоятельствах. Если я предполагаю, что эти обстоятельства меняются, то применение к ним термина «личность» или «индивид» также должно меняться. А если я хочу сохранить этот термин и дать ему употребление, аналогичное его бывшему употреблению, я свободен выбирать между многими употреблениями, т. е. между большим числом различных аналогий. В таком случае кто-то может сказать, что термин «личность» не имеет одного законного наследника. (Рассуждения такого рода важны для математики. Рассмотрим употребление таких слов, как «доказательство», «формула» и т. д. Исследуем вопрос: «Почему то, что мы здесь делаем, называется “философией”? Почему бы не рассматривать эти занятия лишь как законных наследников различных типов деятельности, имевших это имя в прошлом?»)

Теперь давайте спросим себя, какого это типа тождество личности, если мы говорим: «Когда что-то видно, это всегда видно только мной». Что это такое, что я хочу иметь все эти случаи видения как обладающие общим свойством? В качестве ответа я должен признаться себе, что это не мой телесный облик. Я не всегда вижу все свое тело, когда смотрю на него. И не существенно, выглядит ли мое тело, которое видно среди других предметов, которые я вижу, всегда одним и тем же. На самом деле я не обращаю внимания на то, насколько оно меняется. И то же самое я ощущаю применительно ко всем свойствам моего тела, характеристикам моего поведения и даже по отношению к своим воспоминаниям. Когда я думаю об этом несколько дольше, я понимаю, что я хотел сказать примерно следующее: «Каждый раз, когда некто виден, нечто видно». То есть то, что я сказал о том, что продолжается в течение всего переживания видения, не является некой специфической сущностью «Я», но является ощущением видения себя. Последнее может быть прояснено, если мы представим себе человека, делающего солипсистское утверждение, указывая на свои глаза, в то время как он говорит «Я». (Вероятно, потому, что он хочет быть точным и хочет выразить,

что его глаза принадлежат его рту, который говорит «Я», и руке, указывающей на его тело.) Но на что он указывает? На эти определенные глаза, отождествляющие физические объекты? (Чтобы понять это предложение, вы должны помнить, что грамматика слов, о которых мы говорим, что они обозначают физические объекты, характеризуется таким же способом, которым мы употребляем фразу «то же самое то-то и то-то», где «то-то и то-то» обозначает физический объект.) Мы говорили ранее, что он вовсе не хочет указывать на определенный физический объект. Идея, что он сделал осмысленное утверждение возникает от смешения, соответствующего смешению того, что мы называем «геометрический глаз», и того, что мы называем «физический глаз». Я сейчас выявлю употребление этих терминов.

Если человек пытается выполнить приказ: «Укажи на свой глаз», то он может производить много различных действий, и существует много различных критериев, которые он принимает, чтобы указать на свой глаз. Если эти критерии, как это обычно бывает, совпадают, я могу употребить их альтернативно, в других комбинациях, чтобы показать себе, что я прикоснулся к своему глазу. Если они не совпадают, я не должен буду делать разграничений между смыслами фраз «Я прикасаюсь к своему глазу» или «Я приближаю свой палец к своему глазу». Если, например, мои глаза закрыты, я могу еще обладать характерными синестетическими ощущениями в своей руке, которые я бы назвал синестетическими ощущениями прикосновения своей руки к своему глазу. То, что мне удалось сделать это, я осознаю посредством особого тактильного ощущения прикосновения к своему глазу. Но если бы к моему глазу были прикреплены стеклянные линзы так, чтобы это препятствовало давлению на глаз моими пальцами, оставался бы еще критерий мускульного ощущения, который позволил бы мне сказать, что сейчас мой палец находится перед моим глазом. Что касается визуальных критериев, то я могу принять два из них. Существует обычное ощущение видения того, как моя рука поднимается и движется по направлению к глазу, и это ощущение, конечно, отличается от ощущения видения того, как встречаются два предмета, скажем два кончика пальцев. С другой стороны, я могу использовать в качестве критерия для своего пальца, движущегося по направлению к глазу, то, что я вижу, когда смотрю в зеркало и вижу там свой палец возле своего глаза. Если то место моего тела, которое, как мы говорим, — «видно», определяется посредством движения моего пальца по направлению к моему глазу (согласно второму критерию), тогда можно предположить, что я могу видеть то, что соответствует первому критерию — это кончик моего носа или определенные части лба; или таким же образом я могу указать на место, находящееся вне моего тела.

Если я хочу, чтобы человек указал на свой глаз (или глаза) в соответствии с одним только вторым критерием, я выражу свое желание, сказав: «Укажи

на свой геометрический глаз (или глаза)». Грамматика слова «геометрический глаз» находится в таком же отношении к грамматике выражения «физический глаз», в каком грамматика выражения «визуальные чувственные данные дерева» — к грамматике выражения «физическое дерево». В любом случае все путаются, говоря: «Это — объект *другого типа*, чем то»; поскольку те, кто говорит, что чувственное данное есть объект другого типа по сравнению с физическим объектом, не понимают грамматики слова «тип», точно также, как те, кто говорит, что число — это объект другого типа по сравнению с цифрой. Они думают, что делают утверждение типа: «Железнодорожный вагон, железнодорожная станция и железнодорожный локомотив — это объекты разных типов», в то время как их утверждение аналогично утверждению: «Железнодорожный вагон, железнодорожная катастрофа и железнодорожное право — это объекты различных типов».

Почему я стремлюсь сказать: «Если что-то видно, то это видно всегда мной», ведь я мог бы также сказать: «Что бы ни было видно, это *то*, что видно», сопроводив слово «то» жестом, включающим мое визуальное поле (но не подразумевая под «тем» определенного объекта, который мне случилось увидеть в этот момент). Можно сказать: «Я указываю на визуальное поле так, как будто там ничего нет». И это только служит подтверждением бессмысленности предыдущего выражения.

Давайте тогда отбросим «всегда» в нашем выражении. В этом случае я все же смогу выразить свой солипсизм, сказав: «Только то, что *Я* вижу (или вижу сейчас), реально видно». И здесь я склонен сказать: «Хотя под словом «Я» я не имел в виду Л. В., это будет так, если другие поймут «Я», как подразумевающее Л. В., если только я сейчас — действительно Л. В.» Я также мог бы выразить свое утверждение, говоря: «Я емь сосуд скудельной жизни»; но заметьте: существенно, что каждый, кому я буду говорить это, не будет в состоянии понять меня. Существенно, что другой не будет в состоянии понять то, «что я на самом деле *имею в виду*», хотя практически он может сделать то, что я хочу, если допустит, что я занимаю исключительное положение в его способе обозначения. Но я хочу, чтобы было *логически* невозможно, чтобы он мог понять меня, т. е., так сказать, было бы бессмысленно, а не ложно, говорить, что он меня понимает. Таким образом, мое выражение — это одно из многих, которые употребляются в различных случаях философами, предполагающими передать посредством их нечто человеку, который говорит это, хотя, в сущности, они вообще не способны передать что-либо кому-либо. И вот если выражение, призванное передавать значение, подразумевает сопровождение или продуцирование определенных ощущений, то наше выражение может иметь все виды значений, и я ничего не хочу говорить о них. Но мы по сути дела заводим себя в тупик, когда думаем, что наше выражение обладает значением в том смысле, в котором облада-

ют значением не-метафизические выражения; ибо мы некорректно сравниваем наш случай с тем случаем, в котором другой человек не может понять то, что мы говорим, потому что он не располагает определенной информацией. (Это замечание может стать ясным, только если мы поймем связь между грамматикой, смыслом и бессмыслицей.)

Значение фразы для нас характеризуется ее употреблением. Значение не является ментальным сопровождением выражения. Поэтому фразы «Я думаю, что подразумеваю под этим нечто» или «Я уверен, что я под этим нечто подразумеваю», которые мы так часто слышим в философских дискуссиях в целях оправдания употребления какого-либо выражения, для нас вообще не имеет никакого оправдания. Мы спрашиваем: «Что вы имеете в виду?», т. е. «Как вы употребляете это выражение?» Если кто-то обучал меня слову «скамейка» и сказал, что он иногда или всегда проводит линию под ним: «скамейка», и это для него имеет какое-то значение, то я бы сказал: «Я не знаю, какого рода идею вы ассоциируете с этой линией, но она меня не интересует до тех пор, пока вы не покажете, что имеется некое употребление для этой линии в том множестве, в котором вы употребляете слово “скамейка”». — Я хочу играть в шахматы, и какой-то человек дает мне белого короля с бумажной короной, оставляя употребление этой фигуры неизменной, но говоря мне, что эта корона имеет значение для него в игре, которое он не может объяснить при помощи правил. Я говорю: «Пока значение фигуры не изменится, она не обладает тем, что я называю значением».

Некто однажды слышит, что такое выражение, как «Это здесь», которое в то время, когда я его произношу, указывая на часть своего визуального поля, обладает для меня неким типом примитивного значения, хотя оно не может сообщить информацию кому-либо еще.

«Когда я говорю: “Видно только это”, я забываю о том, что предложение может казаться естественным для нас, не имея никакого употребления в нашем исчислении языка».

Подумаем об исчислении тождества « $a = a$ » и о том, как мы порой пытаемся понять его смысл, визуализировать его, глядя на объект и повторяя про себя предложение вроде: «Это дерево — тот же самый предмет, что это дерево». Жесты и образы, посредством которых я явным образом придаю этому предложению смысл, очень похожи на те, которые я использую в случае «Только *это* можно реально видеть». (Чтобы прояснить философские проблемы, полезно явным образом осознавать несущественные детали определенной ситуации, в которой мы делаем определенное метафизическое суждение.

Так, мы можем стремиться сказать: «Только это можно реально видеть», когда пристально смотрим на быстро меняющиеся обстоятель-

ства, в то время как мы, может быть, вовсе не склонны говорить это, когда смотрим вокруг во время прогулки).

Не существует, как мы сказали, возражений против того, чтобы принять символику, в которой определенный человек всегда или по временам занимает исключительное место. И поэтому, если я употребляю предложение «Только я реально вижу», это совпадает с тем, что мой приятель на основании этого организует свою систему понятий таким образом, чтобы она соответствовала моей, говоря «то-то и то-то реально видно» вместо «Л. В. видит то-то и то-то» и т. д. и т. п., что, тем не менее, неверно думать, что я могу *оправдать* этот выбор системы понятий. Когда я искренне сказал, что только я вижу, я был также склонен сказать, что под «я» я не подразумеваю реального Л. В., хотя для пользы своего приятеля я могу сказать: «Это Л. В. — тот, кто сейчас видит», хотя это не то, что я на самом деле имею в виду. Я почти мог бы сказать, что под «я» я подразумеваю нечто, что именно сейчас обитает в теле Л. В., нечто, что другие не могут видеть. (Я подразумевал свое сознание, но мог указать только на свое тело.) Нет ничего неверного в предположении, что другие предоставляют мне исключительное место в их системе понятий; но оправдание, которое я хочу дать этому — что это тело сейчас занимает место того, что реально живет, — бессмысленно. Ибо, по общему признанию, это не то, что утверждать что-либо в обыденном смысле, — это дело эксперимента. (И не думайте, что это — экспериментальное высказывание, которое только я могу знать, потому что только я нахожусь в положении человека, обладающего определенным переживанием.) И вот идея, в соответствии с которой реальное «я» живет в моем теле, связана с особенностями грамматики слова «я» и с тем непониманием, которое эта грамматика склонна продуцировать. Существует два различных случая употребления слова «я» (или «мой»), которые я мог бы назвать «употреблением в качестве объекта» и «употреблением в качестве субъекта». Примеры первого типа следующие: «Моя рука сломана», «Я вырос на шесть дюймов», «У меня на лбу шишка», «Ветер растрепал мои волосы». Примеры второго типа следующие: «Я вижу того-то и того-то», «Я слышу того-то и того-то», «Я пытаюсь дотронуться до своей руки», «Я думаю, будет дождь», «У меня болят зубы». Можно заметить различия между двумя этими категориями примеров, сказав: «Случаи первой категории включают осознание чего-либо определенным человеком, и в этих случаях существенна возможность ошибки, или, скажем так, возможность ошибки обеспечена». Возможность провалиться — не добиться успеха, не набрать очки обеспечена в игре в кегли. С другой стороны, это не из тех азартных игр, где мяч появляется на поверхности автомата, когда я кладу в него пенни. Возможно, например, я чувствую боль в руке, вижу свою оторванную руку рядом с собой и думаю, что это моя рука, в то время как она принадле-

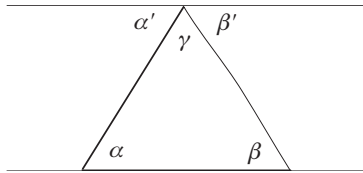
жит моему соседу. Я мог бы, глядя в зеркало, перепутать шишку на его лбу с шишкой на моем. С другой стороны, не встает никаких вопросов осознания чего-либо человеком, когда он говорит, что у него болят зубы. Спросить: «Ты уверен, что это именно у тебя болят зубы?» — было бы бессмыслицей. И вот если в этом случае никакая ошибка невозможна, то это происходит благодаря тому, что движение, о котором мы склонны думать как об ошибочном, как о «дурном движении», в этой игре вообще не присутствует (так, в шахматах мы разграничиваем хорошие и плохие ходы, и мы называем это ошибкой, когда подставляем ферзя слону, но продвинуть пешку в короли не будет ошибочным действием). И вот этот способ утверждения предполагает сам себя: «Что оно также невозможно, как невозможно то, что, делая утверждение «У меня болят зубы», я перепутал бы себя с другим человеком, это все равно, что по ошибке стонать, приняв себя за кого-то другого. Сказать «Мне больно» значит сделать не более, чем частное утверждение о частном человеке, чем стонать. «Но безусловно слово “я” в устах человека относится к человеку, который произносит его; он указывает на себя; и очень часто человек, который произносит это, действительно указывает на самого себя пальцем». Но этого было бы совершенно достаточно — указать на себя пальцем. С тем же успехом он может просто поднять руку. Было бы неверно говорить, что, когда кто-то указывает на солнце рукой, он указывает одновременно и на солнце, и на себя, поскольку, де, это *он* указывает; с другой стороны, он может, указывая, обратить внимание и на солнце, и на себя.

Слово «Я» не подразумевает того же самого, что Л. В., даже если я — это Л. В., и не подразумевает того же, что выражение «человек, который сейчас говорит». Все это означает, что слова — это разные инструменты в нашем языке.

Подумай о словах как об инструментах, характеризующихся их использованием. Как используют молоток, зубило, квадратную форму для клея в клееварении? (Также все, что мы говорим здесь, может быть понято, если человек понимает, что с предложениями нашего языка играется множество игр: отдавание и выполнение приказов; рассказывание вымышленных историй, рассказывание анекдотов (остроумие); описание непосредственных ощущений; прогнозы на будущее в физическом мире; научные гипотезы и теории; приветствия и т. д. и т. д.) Уста, произносящие «я», или рука, поднимающаяся с тем, чтобы показать, что я хочу слова, и Я, у которого болят зубы, тем не менее ни на что не указывают. Если, с другой стороны, я хочу указать на то место, где у меня болит, я указываю на него. И здесь опять-таки вспомним различие между указанием на больное место без участия зрения и, с другой стороны, указание на шрам на моем теле после его осмотра («В этом месте мне делали прививку»). — Че-

ловец, который кричит от боли, или говорит, что ему больно, *не выбирает тех уст, которые произносят его слова.*

Все это позволяет сказать, что человек, о котором мы говорим «ему больно», это — в соответствии с правилами игры — такой человек, который кричит от боли, искажает свое лицо и т. д. Локализация боли — как мы уже говорили — может иметь место в другом человеческом теле. Если, говоря «Я», я указываю на свое собственное тело, я моделирую употребление слова «я», как демонстрирующего значение «этот человек» или «он». (Этот способ высказывания двух выражений похож на нечто аналогичное тому, что иногда принимается в математике, скажем, при доказательстве того, что сумма углов треугольника равна 180° .)



Мы говорим, что « a равно a' , $b = b'$ и $\gamma = \gamma'$ ». Первые два равенства совершенно отличны от третьего).

В выражении «Мне больно» «я» не является указательным местоимением.

Сравним два случая: 1) «Откуда вы знаете, что *ему* больно?» — «Я слышу его стоны». 2) «Откуда вы знаете, что *вам* больно?» — «Я *чувствую* боль». Но «Я чувствую боль» подразумевает то же самое, что «Мне больно». Поэтому это вообще не объяснение. То, что, тем не менее, в своем ответе я склонен подчеркнуть слово «чувствую», а не слово «я», показывает, что я не по «я» склонен вычленять какого-то определенного человека (среди различных людей).

Различие между пропозициями «Мне больно» и «Ему больно» не такое же самое, как различие между «Л. В. больно» и «Смиту больно». Скорее, это соответствует различию между стоном и говорением, произнесением того, что кто-то стонет — «Но, конечно, слово “я” в “Мне больно” служит отграничению меня от других людей, потому что именно посредством знака “я” я разграничиваю говорение о том, что мне больно, от говорения о том, что больно кому-то другому». Представим себе язык, в котором вместо «Я никого не нахожу в этой комнате» кто-то скажет «Я нашел мистера Никто в комнате». Представим, какие философские проблемы возникнут в этой ситуации. Некоторые философы, помещенные в такой язык, возможно, почувствуют, что им не нравится сходство выражений «Мистер Никто» и «Мистер Смит». Когда мы чувствуем, что хотим отменить «Я» в

«Мне больно», то можно сказать, что мы стремимся сделать вербальные выражения боли сходными с выражением стога. — Мы склонны забывать, что именно специфическое употребление слова придает слову значение. Подумаем о нашем старом примере употребления слов: человека послали к зеленщику с листком бумаги, на котором написано «пять яблок». Употребление слова на практике и есть его значение. Представим, что это было бы обычным делом, если бы объекты вокруг нас имели ярлыки со словами на них, посредством которых наша речь соотносилась бы с объектами. Некоторые из этих слов — собственные имена объектов, другие — общие имена (вроде стога, стула и т. д.), названия цветов, размеров и т. д. То есть, так сказать, только ярлык имел бы значение для нас, поскольку мы определенным способом употребляли бы его. И вот мы можем с легкостью представить себе, что мы видим только ярлык на предмете и забыли то, что делает эти ярлыки значимыми — их употребление. В этом случае мы порой думали бы, что мы назвали нечто, сделав указательный жест и употребив слово вроде «это...» (формула остенсивного определения). Мы говорим, что называем нечто «зубной болью» и думаем, что слово получает определенную функцию после того действия, которое мы осуществили с языком, когда при определенных обстоятельствах указали на свою щеку и сказали «Зубы болят!» (Наша идея заключается в том, что когда мы указываем, а другой лишь знает то, на что мы указываем, он тем самым знает употребление слова. И здесь мы приведем особый случай, когда «то, на что мы указываем», является, скажем, человеком, а «знать, на что я указываю» подразумевает видеть, на кого из присутствующих я указываю).

Тогда мы чувствуем, что в тех случаях, в которых «я» употребляется как субъект, мы не употребляем его потому, что опознаем определенного человека посредством его телесных характеристик; и это создает иллюзию, что мы употребляем это слово, чтобы обозначить нечто бестелесное, что, тем не менее, имеет свое место в нашем теле. Фактически это кажется реальным его, одно из которых сказало: «Cogito ergo sum». «Что же, сознания нет, есть только тело?» Ответ: «Слово “сознание” имеет значение, т. е. оно имеет употребления в нашем языке; но сказать так, не значит сказать, какого типа употребление мы создали для этого слова».

Фактически можно сказать, что мы в этом исследовании сконцентрированы на грамматике тех слов, которые описывают то, что обычно называется психической деятельностью: видение, слышание, ощущение и т. д. И это, в сущности, то же самое, что мы сконцентрированы на грамматике выражений, описывающих чувственные данные.

Философы утверждают в качестве философского суждения или мнения, что чувственные данные существуют. Но сказать, что я верю в то, что существуют чувственные данные, — почти то же самое, что сказать, что я

верю в то, что объект может предстать перед моими глазами, даже если его нет. И вот когда кто-то использует словосочетание «чувственные данные», он должен иметь ясность относительно особенностей грамматики этого словосочетания. Поскольку идея введения этого выражения состояла в моделировании «реальности». Было уже сказано, что, например, если два предмета *кажутся* одинаковыми, то *должно* быть два *чего-либо* одинаковых; что конечно, означает не что иное как, что мы решили использовать такое выражение, как «эти два предмета — одинаковы» синонимично выражению «эти две вещи кажутся одинаковыми». Достаточно странно, что введение этой новой фразеологии подбивало людей на то, чтобы думать, что они открыли какие-то новые сущности, новые элементы структуры мира, как если бы кто-то сказал: «Я верю, что существуют чувственные данные» аналогично высказыванию «Я верю, что материя состоит из электронов». Когда мы говорим о равенстве объектов чувственных данных, мы тем самым вводим новое употребление слова «равный». Возможно, что длины *A* и *B* кажутся нам равными, а *A* и *C* не кажутся равными. И в новой системе обозначений мы должны будем сказать, что мысль о том, что объект (чувственных данных) *A* равен объекту *B* и объект *B* равен *C*, но объект *A* не равен *C*; и тут будет все в порядке, если вы не подразумеваете непосредственного употребления слова «равно».

И вот опасность, которая нам угрожает, когда мы принимаем понятие чувственных данных, — это забвение различия между грамматикой утверждения о чувственных данных и грамматикой внешне похожего утверждения о физических объектах. (С этой точки зрения можно продолжать говорить о взаимопонимании, которое мы находим, употребляя это выражение в таких предложениях, как: «Мы никогда не можем увидеть точно очерченного круга», «Все наши чувственные данные являются весьма нечеткими». Это также приводит к сравнению грамматики «положения» «движения» и «размера» в Евклидовом и в визуальном пространстве. Существует, например, абсолютное положение, абсолютное движение и абсолютный размер в визуальном пространстве.)

И вот мы можем сконструировать употребление таких выражений, как «указание на *видимость* тела» или «указание на визуальное чувственное данное». Образно говоря, указания этого вида становятся тем же самым, что прицеливание из ружья. Так, мы можем указать на что-то и сказать: «Это направление, в котором я вижу твоё отражение в зеркале». Можно также использовать такое выражение, как «видимость, или чувственное данное моего пальца указывает на чувственное данное дерева» и т. п. От таких случаев указания мы должны, тем не менее, отличать указания на то, откуда, как нам кажется, идет звук или указание на свой лоб с закрытыми глазами и т. д.

И вот, когда я говорю в духе солипсизма: «*Это* то, что реально видно», я указываю перед собой, и при этом существенно, что я указываю *визуально*. Если бы я указывал рядом с собой или позади себя — как бы на предметы, которых я не вижу, — в этом случае указание было бы для меня бессмысленным; это не было бы указанием в том смысле, в котором я хочу указывать. Но это означает, что когда я указываю на то, что находится передо мной, говоря «*Это* то, что реально видно», я хотя и делаю жест указания, все же я не указываю на один предмет в противоположность другому. Это подобно тому, как когда ты едешь в машине и чувствуешь, что едешь слишком быстро. Я интуитивно давлю на что-то впереди меня, как будто я мог бы вытолкнуть машину изнутри.

Если имеет смысл говорить «Я это вижу» или «*Это* видно», указывая на то, что я вижу, то также имеет смысл говорить «Я вижу это» или «*Это* видно», указывая на нечто, чего я *не* вижу. Когда я высказываю свое солипсистское утверждение, я указываю, но лишая указание его смысла посредством неразрывной связи того, кто указывает и того, на что он указывает. Я сконструировал часы со всеми их колесиками и т. д. и в конце прикрепил циферблат со стрелкой, которую заставил идти кругом вместе с ним. Таким же образом солипсистское «Только это видно» напоминает нам тавтологию.

Конечно, одна из причин, по которой мы склонны высказывать наше псевдоутверждение, является его подобие утверждению «Я вижу только это» или «*Это* область, которую я вижу», где я указываю на определенные объекты вокруг себя в противоположность другим, и в определенном направлении в физическом пространстве (но не в визуальном пространстве) в противоположность другим направлениям в физическом пространстве. И если, указывая в этом смысле, я говорю «*Это* то, что реально видно», мне могут ответить: «*Это* то, что *ты*, Л. В., видишь»; но нет никаких возражений против того, чтобы принять систему понятий, в которой мы употребляем для названия предметов, которые видит Л. В., — «предметы, которые реально видны». Если, тем не менее, я верю, что, указывая на то, что в моей грамматике не имеет аналогии, я могу утверждать нечто самому себе (если и не другим), то я совершаю ошибку, подобную той, когда думают, что предложение «Я здесь» имеет смысл для меня (а между прочим, оно всегда истинно) при условиях, отличных от тех весьма специфических условий, при которых этот жест имеет смысл. Например, мой голос и направление, откуда я говорю, осознаются другим человеком. Опять-таки важным является случай, когда вы обучаете значению слова посредством его непосредственного употребления. Подобно людям, которые думают, что кусочки дерева, очертания которых более или менее похожи на шахматные фигуры или шашки, если поставить их на шахматную доску, мы будем играть, даже если никто нам не объяснил, как эти фигуры используются.

Сказать «приближается к» имеет смысл даже тогда, когда это просто физическое говорение и ничто не приближается к моему телу; и таким же образом имеет смысл сказать «Это здесь» или «Он дотронулся до меня», когда ничто не дотрагивалось до моего тела. И, с другой стороны, «Я здесь» имеет смысл, если мой голос опознается и слышится из определенного места обыденного пространства. В предложении «Это здесь» «здесь» является *здесь* в визуальном пространстве. Образно говоря, это — геометрический глаз. Предложение «Я здесь», для того, чтобы иметь смысл, должно обратить внимание на место в обыденном пространстве. (И существует несколько способов, при помощи которых это предложение может быть употреблено.) Философ, который думает, что имеет смысл сказать себе «Я здесь», берет словесное выражение из предложения, в котором «здесь» является местом в обыденном пространстве, а думает при этом о *здесь* в визуальном пространстве. Поэтому он говорит нечто вроде «здесь это здесь».

Я мог бы тем не менее попытаться выразить свой солипсизм другим способом: я представляю, что я и другие люди рисуют картины или делают письменные описания того, что каждый из них видит. Эти описания лежат передо мной. Я указываю на одно из них, которое сделал я, и говорю: «Только это (было) реально видно». То есть я стремлюсь сказать: «Только это описание имеет реальность (визуальную реальность) позади себя». Остальные описания я могу назвать «пустыми описаниями». Я также мог бы выразить себя, сказав: «Только *это* было образовано непосредственно от реальности; только это описание было сравнено с реальностью». И вот имеется ясное значение, когда мы говорим, что эта картина или эта дескрипция является проекцией, скажем, этой группы объектов — деревьев, на которые я смотрю, — или что она была образована от этой группы объектов. Но мы должны посмотреть на грамматику такого выражения как на «дескрипцию, производную от чувственного данного». То, о чем мы говорим, связано с тем особым стремлением сказать: «Я никогда не знаю, что другие реально подразумевают под “коричневым” цветом или что он реально видит, когда он (правдиво) говорит, что он видит коричневый объект» — Мы можем предложить тому, кто говорит это, использовать два разных слова вместо одного слова «коричневый»: одно — *для его определенного впечатления*, другое — то, которое обладает значением, которое другие люди помимо него в состоянии понять. Если он подумает об этом предложении, он увидит, что есть нечто неверное в его концепции значения, функции слова «коричневый» и других слов. Он ищет оправдания там, где его нет. (Точно так же, как в случае, когда человек верит, что цепь причин должна быть бесконечной. Подумайте об оправдании общей формулы для представления математических операций; и вот вопрос: заставляет ли эта форма употреблять ее в данном определенном случае, как мы ее и употребляем?)

Высказывание «Я произвожу описание визуальной реальности» не может подразумевать нечто аналогичное высказыванию: «Я произвожу описание, исходя из того, что я здесь вижу». Я могу, например, видеть схему, в которой цветной кружок соотнесен со словом «коричневый», а также с пятном того же цвета; и я могу сказать: «Эта схема показывает мне, что я должен употребить слово “коричневый” для описания этого пятна». Вот как я могу производить слово, которое нуждается в моем описании. Но было бы бессмысленно говорить, что я произвожу слово «коричневый» из определенного цветового впечатления, которое я получаю.

Давайте теперь спросим: «Может ли человеческому *телу* быть больно?» Кто-то склонен сказать: «Как телу может быть больно? Тело само по себе — нечто мертвое; тело — не сознание!» И здесь опять произойдет то, что как будто мы всматриваемся в природу боли и видим, что в ее природе заключено, что материальный объект не может обладать ею. И это как если бы мы видели, что то, чему больно, должно быть сущностью иной природы, чем просто материальный объект; что фактически оно должно быть ментальной природы. Но сказать, что есть нечто ментальное — это все равно, что сказать, что число «3» ментальной, или нематериальной природы, когда мы осознаем, что цифра «3» не употребляется как знак арифметического объекта.

С другой стороны, мы можем совершенно спокойно принять выражение «это тело чувствует боль» и затем, как обычно, посоветуем сказавшему это пойти к доктору, прилечь и, может быть, даже вспомнить, что, когда у него последний раз что-то болело, это закончилось в тот же день. «Но не была ли бы эта форма выражения по меньшей мере неопределенной?» — Используется ли неопределенное выражение, когда мы говорим «Напиши “3” вместо “x” в данной формуле» вместо «Замени *x* тройкой?» (Или, с другой стороны, является ли только первое из этих выражений определенным, как думают некоторые философы?) Одно выражение не более определено, чем другое. Значение выражения зависит полностью от того, как мы собираемся употреблять его. Давайте не будем представлять значение как некую оккультную связь между сознанием, словом и предметом. И что эта связь *содержит* полное употребление слова, как, образно говоря, семя содержит дерево.

Зерно нашего высказывания в том, что то, что испытывает боль или видит, или слышит является лишь феноменом ментальной природы, что слово «я» в предложении «Мне больно» не обозначает определенного тела, ибо мы не можем заменить «я» описанием тела.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ВАДИМ РУДНЕВ

БОЖЕСТВЕННЫЙ ЛЮДВИГ

(ЖИЗНЬ ВИТГЕНШТЕЙНА)

Детство

Витгенштейн родился 26 апреля 1889 года в Вене в семье одного из богатейших людей Австро-Венгрии, сталелитейного магната Карла Витгенштейна. Дом на Аллеегассе, где Людвиг провел детство, благоухал роскошью, и ему покровительствовали музы. Витгенштейн впоследствии утверждал, что в доме стояло 9 роялей, свидетельство, в которое при всем правдолюбии Витгенштейна трудно поверить. Карл был меценат, в его доме бывали Густав Малер и Иоганнес Брамс. Младший брат Людвига, Пауль, был гениально одаренным пианистом. Когда на войне ему оторвало правую руку, Морис Равель специально для него написал знаменитый впоследствии Концерт для фортепиано с оркестром ре минор для левой руки.

Участь остальных трех братьев Витгенштейна была печальна. Они все покончили с собой. Старший брат Ганс сбежал от авторитарного отца в Америку и там наложил на себя руки. Это было в 1902 году, а через год в Берлине отравился Рудольф. Курт Витгенштейн в 1918 году, будучи офицером австро-венгерской армии, попал в окружение и застрелился. В юные годы Людвиг самоубийства близких людей буквально преследовали его. Покончил с собой кумир его юности Отто Вайнингер, автор знаменитой книги «Секс и характер». Покончил с собой гениальный австрийский физик Людвиг Больцман, у которого Людвиг собирался учиться. Витгенштейн сам на протяжении многих лет страдал тяжелым депрессивным расстройством и все эти годы был на волосок от самоубийства.

Гораздо благополучнее были сестры Людвиг — старшая Гермина (Мининг), бывшая его наставницей в детстве, средняя Маргарет (Гретль), для которой он в 1928 году построил замечательный дом на Кундмангассе, и младшая Хелена (Ленка), у которой было несметное количество детей.

В детстве Витгенштейна звали Люкерль. Люкерль, о котором впоследствии будут написаны сотни книг и тысячи статей, был слабым, болезненным, ленивым и слабохарактерным. Но уже в детстве он был философом.

Витгенштейн вспоминал: «Когда мне было 8 или 9 лет, я пережил опыт, который если и не был решающим в моей будущей жизни, то по крайней мере был в духе моего характера той поры. Как это произошло, я не помню. Вижу лишь себя стоящим у двери и размышляющим: “Зачем люди говорят правду, когда врать гораздо выгоднее”. И я ничего не мог понять в этом».

Он учился в школе в Линце. Недавно возникла версия, согласно которой в это же время там учился и будущий Гитлер. В вышедшей в 1998 году книге «Еврей из Линца» австралийский историк доказывает, что Витгенштейн и Гитлер учились в одном классе, демонстрируя школьную фотографию по принципу — пятый справа Гитлер. Но по фотографии начала века, где и тому, и другому 14–15 лет, трудно сказать что-то определенное.

Закончив школу в Линце, Витгенштейн (для того чтобы иметь возможность поступить в университет) проучился еще два года в школе в Шарлоттенбурге, под Берлином. Оттуда он поехал в Англию, в высшую техническую школу в Манчестере, где весьма успешно занимался конструированием математической модели пропеллера. Весьма возможно, что в его лице мир потерял гениального конструктора. Но Витгенштейн увлекся математической логикой, прочитал труды Фреге и Рассела и в 1911 году отправился в Кембридж, где Рассел работал преподавателем.

Бертран Рассел

18 октября 1911 года лорд Бертран Рассел пил чай у себя на квартире в Кембридже, как вдруг неожиданно «появился какой-то неизвестный немец, очень плохо говорящий по-английски, но отказывающийся говорить по-немецки. Он представился как человек, изучавший инженерное дело в Шарлоттенбурге, но на протяжении своего обучения почувствовавший влечение к философии математики, и вот он теперь приехал в Кембридж исключительно с целью слушать мои лекции».

Витгенштейн так нервничал, что забыл сказать, что он приехал по рекомендации Фреге и что он уже учился в Манчестере, и что к Фреге ему посоветовал обратиться в Манчестере известный философ Сэмюэль Александер, автор книги «Пространство, время и божество».

Рассел поначалу отнесся к приезжему чрезвычайно легкомысленно. Из ежедневных писем-отчетов, которые он писал своей возлюбленной леди Оттолине Морель из Кембриджа в Лондон, хорошо видна динамика его отношения к Витгенштейну.

19 октября: Мой немецкий друг угрожает быть сущим наказанием.

25 октября: Мой немец, который кажется, скорее, хорошим парнем, — ужасный спорщик.

1 ноября: Мой немец ужасный спорщик и чрезвычайно утомителен. Он не принимает допущения, что в этой комнате нет носорога.

2 ноября: Мой немецкий инженер, мне кажется, — просто дурак. Он думает, что ничто эмпирическое не может быть познано. — Я попросил его принять, что в этой комнате нет носорога, но он не принял.

8 марта 1912 года: Витгенштейн мне нравится все больше и больше. У него прирожденная страсть к теоретизированию. Это редкая склонность и всегда приятно обнаружить ее в ком-либо. Он не хочет доказывать то или это, он хочет обнаружить, как выглядят вещи на самом деле.

Так или иначе, но когда летом 1912 года в Кембридж навестить брата приехала Мининг, Рассел произнес знаменитую фразу: «Мы ожидаем, что следующий значительный шаг в философии будет сделан вашим братом».

Дэвид Пинсент

Витгенштейн слушал лекции Рассела, которые продолжались дома у Рассела, принимая форму ожесточенных дискуссий. Он находился в постоянном напряжении. Ему нужен был верный друг, с которым он мог бы отдохнуть, не боясь непонимания и шквальной критики. Такого друга Витгенштейн в Кембридже нашел. Это был студент математического отделения Тринити Колледжа Дэвид Пинсент, с которым Витгенштейн познакомился на одном из вечеров у Рассела.

Дэвид Юм Пинсент был по боковой линии потомком знаменитого английского философа XVIII века Дэвида Юма. В Кембридже он изучал математику, затем право и — под влиянием Витгенштейна — философию и логику. Дэвид был простым, непринужденным, искренним и во всех отношениях привлекательным молодым человеком, обладавшим развитым музыкальным вкусом, что во многом способствовало сближению с Витгенштейном.

Друзья виделись каждый день, вместе ходили на концерты в университетский Музыкальный Клуб, вместе обедали и попеременно пили чай друг у друга. Исполняли дуэтом сонаты Шуберта: Пинсент играл на фортепиано аккомпанемент, а Витгенштейн высвистывал мелодию — у него был дар виртуозного художественного свиста.

Между тем, чем более теплыми становились отношения между Витгенштейном и Пинсентом, тем более напряженными они становились между Витгенштейном и Расселом. Первого июня 1913 года Рассел писал Оттолине: «Я провел ужасные часы с Витгенштейном вчера между чаем и обедом. Он начал анализировать все, что было плохого между мной и им. Я сказал, что, по моему мнению, с обеих сторон это все нервы, а на глубине все в порядке. Тогда он сказал, что он никогда не знает, когда я говорю правду, а когда — просто из вежливости. Я разозлился и не отвечал ни

слова. А он продолжал и продолжал. Я сел за стол, взял ручку и стал смотреть в книгу, но он все продолжал. Наконец я сказал резко: «Все, что вам требуется, это немного самоконтроля». Тогда он наконец ушел с трагическим выражением на лице. Перед этим он звал меня на концерт, но сам, конечно, не пришел, и я боялся, что он покончил собой. Так или иначе, я нашел его после концерта в его комнатах (я сразу ушел с концерта, но сначала не мог его найти) и сказал ему, что я прошу прощения за жестокость и говорил с ним так, чтобы ему стало лучше».

Вообще все это последнее полугодие в Кембридже Витгенштейн чувствовал себя очень плохо и все время говорил о смерти.

Дневник Пинсента:

«Он болезненно боится умереть, прежде чем разрешит теорию типов (логическая теория Рассела, основной пункт их разногласий с Витгенштейном) и прежде чем напишет всю свою работу так, чтобы она звучала внятно для мира и принесла некоторую пользу науке Логике. Он уже много написал и Рассел обещал опубликовать работу, если он умрет. Он всегда говорит, что он определенно умрет в течение четырех лет — но сегодня речь шла уже о двух месяцах».

«Ночью он опять говорил о своей смерти, что он на самом деле боится не смерти, но панически беспокоится о том, чтобы не прожить оставшуюся часть жизни впустую. Все это покоится на его абсолютной уверенности, что он скоро умрет — но я не вижу никаких очевидных причин, почему бы ему не прожить еще долгое время».

Норвегия

В конце августа 1913 года Людвиг и Дэвид поехали путешествовать в Норвегию. Витгенштейн всю дорогу был не в духе, был упрямым и капризным. И Дэвид даже отчасти жалел, что отправился с ним в эту поездку. Каково же было его изумление, когда Витгенштейн объявил, что хочет остаться в Норвегии один и надолго. Сказано — сделано. Ошарашенный Дэвид был отправлен обратно в Англию. В Кембридже намерение Витгенштейна расценили как очередное безумство.

Витгенштейн же считал время, проведенное в Норвегии, самым продуктивным в своей жизни. Здесь он разработал многое из того, что впоследствии вошло в главный труд первой половины его жизни — «Логико-философский трактат».

Между тем, в марте 1914 года между Витгенштейном и Расселом разыгралась эпистолярная ссора. Рассел собирался ехать с лекциями в Америку, и Витгенштейн написал ему в письме следующее: «Лучшие пожелания к Вашим лекциям в Америке! Возможно, это даст Вам по крайней мере более

благоприятную возможность рассказать им о своих *мыслях*, а не *просто* сухих результатах. ЭТО именно то, что было бы наибольшей ценностью для Вашей аудитории — узнать Ваши *мысли*, а не сухие результаты».

Очевидно, Расселу не понравился менторский тон этого письма. В письме к леди Оттолине Рассел написал, что ответил Витгенштейну «в резкой манере». Что именно он ответил, мы не знаем. Но Витгенштейн после этого написал Расселу письмо, в котором объявил, что порывает с ним.

Тем не менее, в своем уединении Витгенштейн давно ни с кем не обсуждал своих идей, а он сам впоследствии говорил своему другу Морису Друри, что философ, который не вступает в дискуссию, все равно, что боксер, который не выходит на ринг. Тут-то Витгенштейн вспомнил о Джордже Эдуарде Муре, также преподавателе Кембриджа, выдающемся английском мыслителе, одном из основателей аналитической философии. Мур всегда с ним во всем соглашался, Мур не подведет, и вот Витгенштейн подбил Мура, которому уже в ту пору перевалило за 40 лет, срочно приехать к нему в Норвегию для того, чтобы обсудить сокровенные логико-философские проблемы, ибо только он, Мур, остался на всем белом свете, кто в состоянии понять его, Витгенштейна. В намерения Витгенштейна входило написать работу и передать ее Муру с тем, чтобы ее зачли как диссертацию на степень бакалавра. Мур поначалу отнекивался, но Витгенштейн был неумолим.

Первого апреля 1914 года Витгенштейн начал диктовать Муру работу под лапидарным названием «Логика», опубликованную лишь посмертно, в 1980 году, как «Заметки, продиктованные Муру».

Вернувшись в Кембридж, Мур, проинструментированный Витгенштейном, представил «Логикку» на соискание ученой степени бакалавра. Однако научное сообщество Тринити Колледжа отказалось признать эту работу «диссертательной» на том основании, что к работе не были приложены предисловие, обзор и список использованной литературы, на которой базируется подобное исследование.

Ничего не поделаешь, Муру пришлось в письме объяснять ситуацию Витгенштейну. Витгенштейн был взбешен, и, как в старые времена, когда гонцам, приносившим дурные вести, рубили головы, он разразился следующим посланием: «Дорогой Мур, Ваше письмо раздражило меня. Когда я писал Логикку, я не сообразовывался с Кембриджскими циркулярами, поэтому я полагаю, было бы справедливо, если бы вы присудили мне мою степень без всех этих бюрократических соответствий с циркулярами! Вроде Предисловия и Примечаний. Если я не могу рассчитывать, чтобы для меня сделали исключение даже в таких ИДИОТСКИХ деталях, то я вообще могу отправляться прямо к ДЬЯВОЛУ; если же я вправе рассчитывать на это, а Вы этого не сделали то — ради Бога — можете сами отправляться к нему».

Через два месяца Витгенштейн опомнился и написал Муру спокойное письмо, в котором попросил нечто вроде извинения. Но все это уже было слишком — даже для Мура. «Думаю, мне не следует ему отвечать, — написал Мур в дневнике, — потому что я не хочу его больше видеть».

Так Витгенштейн поэтапно покончил с Пинсентом, Расселом, Муром и Кембриджем — с первым навсегда, с остальными — на долгие 15 лет.

Благотворительность

В январе 1913 года Карл Витгенштейн умер. Людвиг совершенно неожиданно для себя оказался наследником огромного состояния. Вернувшись летом 1914 года из Норвегии в Вену, он совершил свое первое сугубо витгенштейновское деяние, пожертвовав огромную сумму деятелям австрийской культуры. Витгенштейн написал проживающему в Инсбруке издателю журнала «Der Brenner» Людвигу фон Фикеру письмо с предложением послать ему сто тысяч крон, чтобы тот распределил их между нуждающимися литераторами. Фикер в своем ответе поинтересовался, не шутка ли это предложение, — это были огромные деньги. В ответ Витгенштейн послал деньги.

С немецкой пунктуальностью Фикер начал распределять деньги, вычитывая, кому сколько полагается, исходя из культурной значимости реципиента и степени его потребности в деньгах. Наибольшие суммы (по 20 тысяч крон) получили трое — Райнер Мария Рильке, Георг Тракль и философствующий писатель Карл Даллаго.

Оставшиеся 30 тысяч крон были поделены между 9 литераторами и художниками (из них известность получил лишь Оскар Кокошка). Но Витгенштейн и сам ничего не знал о творчестве большинства тех деятелей австрийской культуры, кому он анонимно передавал деньги.

Война

Пока Людвиг занимался благотворительностью, в Европе разгоралась Первая мировая война. С началом войны Витгенштейн совершил второе деяние, носящее на этот раз героический характер. Он решительно вступил в австрийскую армию добровольцем. Правда, хотя Витгенштейн был безусловно патриот, его решение идти на войну было продиктовано не только естественным желанием защитить свою родину. Витгенштейн устал от постоянных депрессий и желал себе смерти. На войне это было сделать проще и почетнее. К тому же Витгенштейн хотел быть храбрым. Перед первым своим боем в 1916 году он писал: «Теперь у меня есть шанс стать *приличным* человеком».

В конце марта 1916 года Витгенштейн был отправлен в соответствии с его желанием в боевое подразделение — на Русский фронт. Витгенштейн готовил себя к тому, чтобы физиологически и духовно встретить смерть лицом к лицу. Незадолго до наступления командир предупредил его, что поскольку Витгенштейн нездоров, его могут отправить в тыл. «Если это произойдет, — писал Витгенштейн, — я убью себя». 15 апреля ему объявили, что он будет допущен к боевым действиям. Витгенштейн считал дни и молил Бога о ниспослании ему храбрости. Он выбрал себе самое опасное место — наблюдательный пост, чтобы уж непременно попасть под огонь русских. 4 мая, проведя ночь на наблюдательном посту под шквальным огнем противника, Витгенштейн написал следующее: «Только теперь война действительно начнется для меня. И — быть может — и жизнь тоже. Возможно, близость к смерти принесет мне свет жизни».

В феврале 1917 года в России произошла революция, а Витгенштейн получил серебряную медаль за Доблесть. 1 февраля 1918 года он был произведен в лейтенанты и награжден медалью за Военную Службу с Лентой и Мечами. В конце октября итальянцы захватили у австрийцев 7 тысяч боевых орудий и взяли в плен 500 тысяч человек. Среди них был Витгенштейн. Английские друзья пытались освободить его досрочно. Витгенштейн отказался от этого. Он был освобожден из плена вместе со всеми 21 августа 1919 года.

Когда Витгенштейн вернулся в Вену, его ожидало страшное известие — еще одна смерть. Его единственный и горячо любимый друг Дэвид Пинсент 8 мая 1919 года погиб в воздушном бою. Судьбе было угодно, чтобы друзья воевали по разные стороны линии фронта.

Витгенштейн безусловно принадлежал к тому типу людей, которых принято называть «потерянным поколением». После войны у него усилились депрессии. Он не знал, что делать, куда себя девать. «Логико-философский трактат» был закончен. Душа и ум были опустошены. Тогда он совершил очередной витгенштейновский поступок. От отказался от наследства в пользу семьи. Кроме всего прочего — это, так сказать, предоставляло возможность умереть от голода. Витгенштейн жил отдельно от семьи. Но он не умер с голоду, а стал искать работу. Работа, которую он себе нашел, была одним из самых экстравагантных «витгенштейнизмов» в его жизни. Но прежде необходимо хотя бы вкратце рассказать, что представляло собой его главное философское произведение, которому было суждено стать одним из самых знаменитых философских текстов XX века.

«Логико-философский трактат»

Текст «Логико-философского трактата» представляет собой примерно 80 страниц, больше всего напоминающих непомерно разросшиеся тези-

сы чего-то невероятно огромного — настолько сжато и концентрировано изложение мыслей в этом произведении.

В основе философской доктрины «Трактата» лежит представление об однозначном соответствии — изоморфизме — между языком и реальностью. Предложения языка суть картины (точные отображения) фактов. Но при этом то, в чем состоит суть соответствия между предложением и фактом (логическая форма), не может быть высказано словами. Это мистическая сторона «Трактата», важность которой Витгенштейн многократно подчеркивал.

Все предложения языка можно редуцировать в одно инвариантное предложение, отражающее смысл всех предложений. На естественном языке оно звучит так: «Дело обстоит так-то и так-то». Логически вывод такого предложения происходит путем операции последовательного отрицания всех предложений. Это, так сказать, «нигилистическая» сторона философии «Трактата».

Особую роль в доктрине «Трактата» играет интерпретация предложений логики, которые трактуются как тавтологии — возможности сказать одно и то же разными способами. Цель философии — вскрытие тавтологий, «логическое прояснение мысли». Поэтому метафизическая философия бессмысленна — она производит противоположную работу: логически затемняет мысли. Все, что может быть вообще сказано, должно быть сказано ясно. О том, что не может быть сказано ясно, — этика, эстетика, религия, — лучше не говорить вообще.

Витгенштейн закончил «Трактат» в 1919 году, незадолго до плена. Первое издание «Трактата» вышло в 1921 году и прошло незамеченным. Однако уже через год «Трактат» был переведен на английский язык и издан в Англии с восторженным предисловием Рассела. Это второе издание вскоре принесло Витгенштейну мировую известность.

Деревня

Вернувшись из плена и подготовив «Трактат» к печати, Витгенштейн стал сельским учителем начальных классов в глухих деревушках, расположенных в Австрийских Альпах. Что толкнуло его на столь экстравагантный поступок? Как и в случае ухода на фронт, причины были двух родов — объективные и субъективные. Объективно на решение Витгенштейна повлияла школьная реформа, проходившая в начале 1920-х годов. Субъективно Витгенштейн нуждался в новом психологическом испытании. И он его получил. Вначале он был на высоте блаженства. Но уже через год в письмах он отмечает пошлость крестьян, подлость учителей-коллег, а также ничтожество всего рода человеческого в целом.

Между тем, в деревушке Траттенбах Витгенштейн слыл загадочной фигурой. Он, например, совершил так называемое «чудо», как это восприняли местные жители. На фабрике остановилась паровая машина. Приглашенные из Вены инженеры не смогли ее починить. Они посоветовали разобрать ее и отправить на ремонт в столицу, чем повергли в уныние директора и рабочих. Тогда Витгенштейн попросил у фабричного мастера разрешение на осмотр машины. Мастер неохотно согласился. Витгенштейн обследовал машину со всех сторон и велел позвать на подмогу четырех рабочих. Следуя указаниям Витгенштейна, рабочие принялись ритмично постукивать по машине и, к удивлению присутствующих, она заработала.

Витгенштейн жил в убогой комнатенке, питался же он так скудно, что приводил односельчан в ужас. Он обедал в самой бедной семье, с которой его познакомил священник. Впоследствии этот аскетизм, которого Витгенштейн придерживался до конца своих дней, многих приводил в изумление. Причины, как всегда, — объективные и субъективные. Объективно у Витгенштейна всегда было маленькое жалованье (или не было никакого). Субъективно — по-видимому, Витгенштейн понимал это бессознательно, — жесткая диета помогает при депрессиях. К тому же, как и во всем остальном, большую роль играло толстовство Витгенштейна, которое началось еще во время войны, когда он купил в Кракове толстовское переложение «Евангелий».

Но самое удивительное, что этот человек, логик, автор абстрактнейших и сложнейших теорий, оказался превосходным педагогом.

Витгенштейн устраивал для учеников экскурсии в Вену. На обратном пути в Траттенбах, пробираясь через лес, дети собирали известные им по школьным занятиям камни и растения. На улицах Вены Витгенштейн обрушивал на них лавину сведений и вопросов, показывал им архитектурные стили и машины, объяснял им устройство различных приспособлений: паровой машины, шкивов и т. д. В Траттенбахе Витгенштейн рассказывал ученикам о законах рычага, а на экскурсиях учил применять их в необычных ситуациях. Очувтившись около собора Святого Стефана, они рассматривали зарисованные на уроках рельефы и архитектурные стили — готику, барокко. Во время прогулок по городу или посещения дворца Шенбрунн Витгенштейн указывал на колонны и просил детей определить, к какому ордену они относятся.

Ученики, конечно, безгранично любили Витгенштейна и ходили за ним, как привязанные, чем, естественно, навлекли на него ненависть своих родителей, которые считали, что он хочет отвадить их от будущей помощи в земледельческих работах и переманить в город.

В ноябре 1922 года Витгенштейн переехал в Пухберг, богатую и процветающую деревню, где ему было объективно лучше всего. Жители Пухберга, состоятельные благодаря тому, что это было курортное место, радова-

лись, что учитель занимается с их детьми. К тому же, во время пребывания в Пухберге вышел наконец «Трактат», и Витгенштейн познакомился с его переводчиком, юным гением-математиком Фрэнком Рамсеем, который приехал к нему в гости из Англии. Разговоры с ним растормошили Витгенштейна. На него пахло воздухом Кембриджа. Витгенштейн вновь почувствовал вкус к философским дискуссиям. Он стал говорить, что доработает до конца года и уедет из деревни, будет работать садовником (как епископ в фильме Бунюэля «Скромное очарование буржуазии») или поедет в Англию и найдет работу там (дворника, например, или извозчика).

В сентябре 1924 года Витгенштейн перебрался в последнюю из трех деревень — Оттерталь. Именно там он написал «Словарь для народных школ», где кодифицировал диалектную разновидность немецкого языка, на которой говорили в Австрийских Альпах. В отличие от «Трактата» эта вторая и последняя изданная при жизни Витгенштейна книга, вышла в свет очень быстро, в 1926 году.

Кончилась же учительская карьера Витгенштейна тем, что он просто был вынужден бежать из Оттерталя.

Завидовавшие ему учителя подали на него в суд за то, что он, якобы, избивает учеников, что на его уроках дети падают в обморок и истекают кровью. На самом деле Витгенштейн, хотя и действительно прибегал к розгам, но делал это не чаще других учителей. Чаще всего он наказывал за ложь.

Скандал разразился в апреле 1926 года. Учитель Пирибауэр, по характеру склочник, ненавидевший Витгенштейна, случайно оказался свидетелем очередного «истязания» ребенка и отправился на станцию за полицией. Витгенштейн, узнав об этом, быстро собрал вещи и уехал. Однако судебное преследование против него все же было возбуждено. Затем последовал судебный процесс с унижительным психиатрическим обследованием. Витгенштейн был оправдан, но с него уже было довольно. Учительская карьера действительно на этом закончилась.

Дом для Гретль

И тогда Витгенштейн решил стать монахом. К счастью, настоятель монастыря, к которому он обратился, был настолько умен, что отговорил его от этого шага. Тогда Витгенштейн устроился садовником в монастыре неподалеку от Вены. Когда же летом 1926 года Витгенштейн наконец вернулся в Вену, сестра Маргарет предложила ему принять участие в постройке нового дома на Кундмангассе. Архитектором дома был Пауль Энгельман, близкий друг Витгенштейна, с которым он познакомился во время войны.

Роль Витгенштейна в оформлении дома сводилась по большей части к декорированию окон, дверей, оконных ручек и радиаторов. Но это были

не такие мелкие детали, как может показаться на первый взгляд, поскольку именно они придавали дому его неповторимую прелесть. В сущности, любой дом состоит из деталей, и Витгенштейн руководил их построением почти с фанатической скрупулезностью.

Маргарет могла въехать в новый дом в конце 1928 года. По мнению Гермины, Гретль вошла в новый дом, как рука входит в перчатку. Дом был продолжением ее личности — и в этом, конечно, была заслуга Людвига.

Несмотря на все эти качества, или благодаря им, дом на Кундмангассе имел несчастливую судьбу. Менее чем через год после того, как Гретль въехала в него, началась Великая Депрессия, и хозяйка вскоре была вынуждена принимать гостей не в величественном зале, а на кухне. В 1938 году, после Аншлюса Австрии, она уехала в Нью-Йорк, оставив дом пустым (за ним присматривал единственный слуга). В 1945 году, когда в Австрию пришли русские, дом использовался как бараки для солдат. Гретль вернулась в 1947 году и жила в доме вплоть до своей смерти в 1958 году. В 1971 году дом был признан национальным памятником; ныне в нем располагается департамент культуры Болгарского посольства.

Маргарита

После постройки дома на Кундмангассе Витгенштейн был втянут своей сестрой Гретль в Венское общество. Ее старший сын Томас только что вернулся из Кембриджа и работал над диссертацией на степень доктора философии, которую он собирался получить в Венском университете. В Кембридже он встретил девушку из Швеции — Маргариту Респингер — и пригласил ее в Вену. По-видимому, это была единственная женщина, в которую Витгенштейн был влюблен, с которой у него был серьезный роман, длившийся до 1931 года, и на которой он даже собирался жениться.

Маргарита была живая, артистичная молодая леди из богатой семьи, не имеющая ни интереса к философии, ни той набожной серьезности, которую Витгенштейн считал необходимой предпосылкой всякой дружбы. Первоначально их отношения подбадривала Гретль, несмотря на то, что другие знакомые и родственники были, скорее, озадачены.

Маргарита впервые увидела Витгенштейна, когда он, повредив себе ногу на постройке дома для Гретль, лежал, выздоравливая у нее в семье. Она входила в группу молодых людей, которая включала Томаса, кузенов Витгенштейна братьев Сёгренов, Талле и Арвида, собиравшихся вокруг витгенштейновой кровати послушать, что он читал вслух. В тот вечер он читал что-то из шведского писателя Хебеля, и она сказала: «Благодаря вашему чтению я вновь почувствовала себя дома».

После этого Витгенштейн и Маргарита начали видеться почти ежедневно. Будучи в Вене Маргарита посещала художественную школу, а после уроков шла на Кундмангассе, туда, где строился новый дом для Гретль, чтобы встретиться там с Витгенштейном. Они шли вместе в кино, смотрели вестерн и заходили в кафе закусить — яйца, бутерброды и стакан молока. Эта была, по правде сказать, не та еда, к которой она привыкла. И для нее, respectable молодой дамы, требовалась определенная доля мужества, чтобы постоянно находиться в обществе Витгенштейна, одетого в шерстяной жакет, рубаху с открытым воротом, пузырящиеся брюки и тяжелые ботинки.

В это время Витгенштейн работал в мастерской скульптора Дробиля (с которым он познакомился в итальянском плену). Он слепил бюст молодой женщины, моделью которого была Маргарита. Но это был не ее портрет, как утверждал и сам Витгенштейн, и не произведение искусства в полном смысле слова, это было «прояснение» для Витгенштейна того, что делал Дробиль, стилия его работы. Эта скульптура была как бы воплощением цитаты из книги Вайнингера: «Любовь к женщине возможна только тогда, когда она не касается ее реальных качеств, и тогда становится возможным заменить подлинную физическую реальность другой, воображаемой реальностью».

В конце 1929 года отношения между Маргаритой и Витгенштейном стали менее равными. Когда он первый раз приехал из Кембриджа в Вену провести Рождество в своей семье, она даже не захотела поцеловать его. Однако отношения на этом не закончились. Их заключительный аккорд звучит в чисто витгенштейновской тональности. В начале лета 1931 года Витгенштейн пригласил Маргариту в Норвегию, чтобы подготовить ее, как он полагал, для будущей совместной жизни. В его намерения входило, чтобы они проводили время по отдельности, размышляя над тем серьезным шагом, который им предстоит, чтобы подготовить, так сказать, духовную почву для совместной жизни.

Соответственно Витгенштейн жил в своем доме, который был построен для него еще в 1914 году, а Маргарита — в соседнем. На протяжении двух недель Маргарита видела Витгенштейна очень мало. Распаковав свои вещи, она обнаружила там Библию и письмо, в котором особо подчеркивалось значение рассуждений апостола Павла в Первом послании к коринфянам о природе и ценности любви. Но вместо медитаций, молитв и чтения Библии, — в которых несомненно проводил время Витгенштейн, — она гуляла по окрестностям, купалась во фьорде, понемногу знакомилась с крестьянами и учила норвежский язык. Через две недели она попросту уехала к подруге в Рим. Не только она не хотела жить той жизнью, которую предлагал ей Витгенштейн, но и он не согласился бы жить той жизнью, которую мог-

ла бы предложить ему она. К тому же Витгенштейн не хотел иметь детей, считая, что это означает приносить еще одно существо в мир страданий и несчастий. Визит в Норвегию положил конец идее женитьбы, но не дружбы, которая продолжалась еще два года, пока Маргарита не влюбилась в Талле Сегрена и не вышла за него замуж в 1933 году.

Венский кружок

Пока Витгенштейн учил в деревнях крестьянских детишек арифметике и чистописанию, идеи его «Трактата» потихоньку распространялись в обществе. В 1920-е годы в Вене образовался так называемый Венский логический кружок, куда входили философы, математики и физики. Именно Венский кружок окончательно и наиболее последовательно сформулировал доктрину логического позитивизма. «Трактат» Витгенштейна стал для них чем-то вроде Библии, что отчасти было основано на недоразумении. Витгенштейн не был логическим позитивистом, хотя в «Трактате» и содержалось несколько параграфов логико-позитивистского толка.

Председатель кружка Мориц Шлик решил познакомиться с Витгенштейном. Летом 1924 года Шлик написал Витгенштейну в Пухберг большое письмо, в котором подчеркивал, какое впечатление произвел «Трактат» на него и на его коллег. В заключение Шлик просил аудиенции у Витгенштейна в Пухберге. Витгенштейн милостиво согласился.

Можно представить себе абсурд ситуации, когда университетский профессор со своими самыми избранными студентами прибыл в резиденцию великого философа, зарабатывающего на хлеб уроками в начальной школе, и им сообщили, что господина учителя нет дома, ибо он в эти часы находится в школе, где исполняет свой служебный долг.

Шлик был в восторге, когда в феврале 1927 года Гретль пригласила его на ужин, где будет присутствовать сам Людвиг Витгенштейн! Правда, тут было очень печальное для Шлика условие. Витгенштейн отказывался обсуждать философские проблемы. Тем не менее, после встречи с Витгенштейном, как вспоминает жена Шлика, «он возвратился в состоянии экстаза, говорил мало, и я чувствовала, что не надо задавать вопросов».

Вскоре после этого Шлик и Витгенштейн стали встречаться для дискуссий регулярно. Летом 1927 года Витгенштейн посещал группу, которая встречалась по понедельникам и составляла тщательно препарированную Шликом избранную часть кружка. Сюда входили Фридрих Вайсманн, Герберт Фейгль и Рудольф Карнап. Успех этих встреч был обусловлен тем, что Шлик тщательно контролировал ситуацию. Карнап впоследствии вспоминал: «Перед первой встречей Шлик настоятельно просил нас не затевать дискуссии того типа, которые приняты в Кружке, потому что

Витгенштейн в таких обстоятельствах этого не захочет. Мы должны были быть так же осторожны, задавая вопросы, потому что Витгенштейн очень чувствителен и его легко можно вывести из себя прямым вопросом. Лучшее всего было бы дать Витгенштейну говорить, о чем он хочет, а потом с осторожностью задать вопросы, необходимые для дальнейшего прояснения проблемы».

Шлик уговорил Витгенштейна посещать эти встречи, сказав, что дискуссии не будут носить сугубо философский характер, что он может говорить, о чем угодно. Витгенштейн, воспользовавшись этой *carte blanche*, порой позволял себе просто издеваться над ними. Так он мог повернуться спиной к собранию и начать читать стихи, подчеркивая этим — при обсуждении «Трактата», — что гораздо важнее то, что не высказано. Так, он читал им мистические стихи Робиндраната Тагора, популярного тогда в Вене. Вскоре членам Клуба стало ясно, что Витгенштейн ни в коей мере не является логическим позитивистом, что его установки во многом противоположны их установкам.

Отношения с Клубом закончились, как водится, ссорой и скандалом. Карнап летом 1932 года опубликовал статью «Физикалистский язык как универсальный язык науки». Витгенштейн обвинил Карнапа в том, что тот использовал его идеи, о которых он рассказывал в беседах с членами клуба. В дальнейшем Витгенштейн обвинял в плагиате и Шлика.

Так или иначе, Венский клуб вместе с Фрэнком Рамсеем разбудил в Витгенштейне философа. А философией он мог заниматься только в Англии. И Витгенштейн на 40-м году жизни вновь отправился в Кембридж.

Кембридж: 1930-е годы

Витгенштейн приехал в Кембридж 18 января 1929 года. Приехал не так, как первый раз в 1911 году, — «плохо говорящим по-английски немцем». В этот раз его ждали, в честь него устраивали обеды, он был не просто известным на весь мир мыслителем, он стал, выражаясь современным языком, «культовой фигурой». Но Витгенштейну все это было безразлично — Фрэнк Рамсей был для него единственным человеком, с кем можно всерьез обсуждать философские проблемы.

Первые два триместра Витгенштейн числился «продвинутым студентом» (что-то вроде аспиранта), пишущим диссертацию, которую он должен был представить на соискание степени доктора философии. Официальным научным руководителем ему назначили Фрэнка Рамсея, который был на 17 лет моложе своего подопечного. Экзаменаторами же (так сказать, оппонентами) были назначены Рассел и Мур. Защита состоялась 18 июня 1929 года. Когда Рассел вошел в экзаменационную комнату вмес-

те с Муром, он улыбнулся и сказал: «Никогда в моей жизни не было ничего более абсурдного». Экзамен начался беседой между старыми друзьями. Затем Рассел, смакуя абсурдность ситуации, сказал Муру: «Продолжай, ты должен задавать ему какие-то вопросы — ты же профессор». Затем последовала короткая дискуссия между Расселом и Витгенштейном по поводу витгенштейновской теории невыразимости логической формы. Разумеется, Рассел не убедил Витгенштейна ни в чем, и кончилось это сугубо торжественное заседание тем, что Витгенштейн поднялся, похлопал каждого из экзаменаторов по плечу и покровительственно заметил: «Да не волнуйтесь вы: я знаю, что вы этого никогда не поймете».

Однако удачи чередовались с потерями. В начале 1930 года Витгенштейн узнал, что Фрэнк Рамсей неизлечимо болен. У него был тяжелый вирусный гепатит (болезнь Боткина). 19 февраля в возрасте 26 лет Рамсей умер. Смерть как будто ходила за Витгенштейном по пятам, отнимая у него самых близких друзей.

На следующий день после смерти Фрэнка Витгенштейн должен был читать свою первую лекцию в Кембриджском университете — он читал их с несколькими перерывами в общей сложности почти 20 лет.

Манера, в которой Витгенштейн читал лекции, описывалась много раз вплоть до самых невероятных легенд, рассказывавших, что Витгенштейн лежал на полу и, глядя в потолок, бормотал что-то неразборчивое. Лучшее описание его лекций дал ученик Витгенштейна, американский философ Норман Малкольм: «Читая лекцию или же просто беседуя с кем-то, Витгенштейн всегда говорил отчетливо и очень выразительно. Он говорил на отличном английском языке — так, как говорят образованные англичане, но с вкраплением отдельных германизмов. Витгенштейн сидел в центре комнаты на простом деревянном стуле. Он часто чувствовал, что зашел в тупик. Нередко у него вырывались такие выражения, как “Я дурак”, “У вас ужасный учитель”, “Сегодня я очень глуп”. Иногда он выражал сомнение в том, сможет ли продолжать лекцию. Он был очень нетерпелив и легко раздражался. Если кто-нибудь чувствовал несогласие с тем, что он говорил, Витгенштейн настойчиво требовал от оппонента, чтобы тот четко сформулировал свое возражение. Однажды, когда Йорик Смидис, старый друг Витгенштейна, не смог облечь свое возражение в слова, Витгенштейн грубо сказал ему: “С таким же успехом я мог бы говорить с этой печью!” Жестокость Витгенштейна была, как мне кажется, связана с его страстной любовью к истине. Он постоянно бился над разрешением сложнейших философских проблем. Решение одной проблемы влекло за собой другую. Витгенштейн был бескомпромиссен: он должен был достичь *полного* понимания. Он был в неистовстве. Все его существо находилось в величайшем напряжении. Ни от чьего взгляда не могло укрыться, что эта работа требо-

вала предельной концентрации воли и интеллекта. Это было одним из проявлений его абсолютной, беспредельной честности, которая распространялась как на него самого, так и на окружающих, и была причиной того, что он действовал на людей устрашающе и часто был просто невыносим и как учитель, и в личных отношениях с людьми».

Самым близким и верным учеником Витгенштейна на протяжении всей его кембриджской жизни был ирландец Морис Друри. Будучи преподавателем философии, Витгенштейн отговаривал всех без исключения своих учеников от профессиональной философской деятельности, так как считал ее бессмысленной и вредной. Друри сразу проникся идеями Витгенштейна. Он покинул философский факультет и нашел свое призвание, став врачом-психиатром.

Близким другом Витгенштейна был также студент-математик Фрэнсис Скиннер. Фрэнсис обладал двумя особенно заметными качествами — крайней застенчивостью и бесконечным благородством. Под влиянием Витгенштейна Скиннер оставил занятия в университете и стал механиком. В 1941 году он тяжело заболел полиомиелитом и умер. Это был третий близкий друг Витгенштейна, умерший молодым. Первое, что приходит на ум в этой связи, это сравнение с доктором Фаустусом Томаса Манна. И хотя, скорее всего, Витгенштейн не заключал договора с дьяволом, тем не менее в середине 1930-х годов у него возникла идея, что он должен исповедаться перед всеми друзьями в своих грехах.

Исповеди

С «римской прямоотой» в ноябре 1936 года Витгенштейн разослал письма наиболее близким друзьям, где просил позволения у каждого встретиться с ним для особого разговора. Из всех кембриджских исповедников воспоминания об этом событии оставили Роланд Хатт и Фаня Паскаль.

Для них обоих исповедь Витгенштейна была тяжелым испытанием. В случае с Хаттом дело происходило в кафе, Витгенштейн сидел напротив него и перечислял свои грехи громким монотонным голосом. Эпизод, который поведал Витгенштейн Хатту, был связан с Первой мировой войной: когда командир приказал ему перенести бомбы под мост через ручей под огнем противника, он почувствовал страх. Витгенштейн победил свой страх, но сознание первоначальной трусости мучило его все годы.

О том, как происходила исповедь с Фаней Паскаль, рассказывает она сама: «Вспоминаются два “греха”, в которых он исповедовался: первый касается его еврейского происхождения, второй — проступка, совершенного им в бытность сельским учителем в Австрии. По поводу первого он сказал, что понял, что большинство знавших его людей, включая и дру-

зей, воспринимают его на 3/4 арийцем и на четверть евреем. На самом деле пропорция обратная, а он не предпринял до сих пор ничего, чтобы предотвратить это недоразумение. “Слегка еврей”, – сказала бы моя бабушка. Самая болезненная часть исповеди шла в конце. В то недолгое время, когда он учительствовал в деревенской школе в Австрии, ему случилось ударить и поранить девочку из своего класса. Когда она пожаловалась директору, Витгенштейн стал отрицать свою вину. Этот случай, когда он солгал, навсегда отяготил его сознание».

Как и во всем, идя до конца, Витгенштейн решил искоренить свои грехи радикально, и исповедей ему казалось не достаточно. Он поехал в Оттерталь и просил прощения лично у тех учеников, которых он 12 лет назад наказывал или обижал, в частности, у дочери Пирибауэра, который в 1926 году донес на него полиции. Все это было мучительно для обеих сторон, но помогло мало, – весь 1937 год Витгенштейн чувствовал себя неважно. Он делал ошибку, достаточно типичную для большинства людей, страдающих тягостными депрессивными расстройствами. Ошибка эта заключается в том, что они психологический план своего состояния переводят в этический. Витгенштейн от этого в разной степени страдал практически всю жизнь. Однако, возможно, что именно это креолизовалось в его столь своеобразном философском творчестве, в частности, в идее о том, что этика невыразима.

Поездка в Россию

В 1934 году Витгенштейн попытался осуществить самый безумный и эффектный из своих экзистенциальных проектов. Он решил уехать на постоянное жительство в Советский Союз. Политически Витгенштейн был настроен достаточно левым образом. Он одобрял коммунистический режим, хвалил Сталина за то, что тот «дал людям работу». Вполне позитивно он отзывался и о Ленине, говоря, что несмотря на то, что философские сочинения Ленина – бред, «он все же хотел что-то сделать». В Москве ему очень понравился Мавзолей – он как профессионал хвалил архитектуру этого сооружения.

«Русский проект» Витгенштейна заключался в следующем. Он собирался в Ленинграде обратиться в Институт народов Севера и отправиться в экспедицию к этим народам на манер Миклухо-Маклая. Начал же он с изучения русского языка. Как человек способный, он очень быстро добился таких успехов, что мог читать по-русски Достоевского и Толстого. Его учительница Фаня Паскаль уже после смерти Витгенштейна обнаружила роман «Преступление и наказание», где в каждом слове было проставлено ударение.

В 1935 году, когда Витгенштейн уже всерьез готовился к поездке в Советский Союз, он настолько хорошо овладел русским языком, что мог общаться с советскими функционерами. Когда Посол СССР в Великобритании Майский спросил Витгенштейна, как у него обстоит дело с русским языком, тот ответил: «Испытайте меня». После разговора на русском языке Майский похвалил Витгенштейна, сказав, что он говорит совсем неплохо.

Витгенштейн отправился на пароходе в Ленинград 7 сентября 1935 года. Он прибыл в Ленинград 12 сентября. Здесь он посетил Институт народов Севера, а также отдал визит университетскому профессору философии Татьяне Горнштейн. В университете ему предложили читать курс философии.

В Москве состоялась встреча с профессором математической логики Софьей Яновской, с которой он потом переписывался и посылал ей (она была больна диабетом) лекарства из Англии. Когда он пришел на философский факультет Московского университета и представился, Яновская воскликнула: «Нет, не может быть, неужели тот самый великий Витгенштейн?!» После продолжительной дружественной беседы, посвященной актуальным проблемам современной философии, Софья Яковлевна вздохнула и посоветовала Витгенштейну «больше читать Гегеля».

Яновская потом вспоминала, что Витгенштейн отзывался одобрительно о диалектическом материализме. Но если хочешь найти работу, отзывешься положительно о чем угодно. Да и о чем ему еще было положительно отзываться? О Гуссерле? В Москве ранней осенью 1935 года одобрительных отзывов о Гуссерле не поняли бы. Между тем, Витгенштейн утверждал, что через Яновскую ему предложили (это уже какой-то снежный ком!) *кафедру* в Казанском университете, куда он ездил, чтобы побывать в университетском городе, где учился Толстой, а также — место преподавателя в Московском университете. Витгенштейн не соглашался, говоря, что ему бы что-нибудь попроще, землицы в Костромской губернии или фрезерный станок на заводе Лихачева, но русские товарищи дали ему понять, что в качестве рабочего и колхозницы он в России не нужен (своих девать некуда), и если не хочет кафедру в Казани, то пусть лучше едет обратно в Тринити Колледж к английским товарищам.

После возвращения в Англию Витгенштейн ни с кем не обсуждал свою поездку в Россию.

Последние годы

Во время Второй мировой войны Витгенштейн работал санитаром в одном из госпиталей Лондона. Не будучи в состоянии идти на фронт (ему было уже больше 50 лет), он полагал бессмысленным и позорным преподавать

философию, когда Лондон бомбили немцы (после того, как Гитлер захватил Австрию, Витгенштейн принял английское подданство). Официально должность Витгенштейна в госпитале называлась «аптечный носильщик» (dispensary porter). В его обязанности входило разносить лекарства из больницы аптеки по палатам. Работая санитаром, Витгенштейн продолжал оставаться философом. Он разносил лекарства по палатам, а затем советовал пациентам не принимать их. Когда руководителя Витгенштейна по аптечным делам через много лет спросили, помнит ли он Витгенштейна, тот сказал: «Конечно, отлично помню. Он пришел к нам работать и, проработав три недели, подошел ко мне и объяснил, как лучше организовать место. Видите ли, это был человек, который привык думать».

После войны Витгенштейн ушел с профессорского поста в Тринити колледже на пенсию. Всю свою энергию он посвятил завершению основного труда второй половины своей жизни – «Философских исследований». За 20 лет в Кембридже Витгенштейн очень много написал, но ничего не опубликовал. Все рукописи, а также записи лекций после его смерти постепенно были опубликованы его душеприказчиками.

Под конец жизни Витгенштейном, как в юные годы, овладела депрессия. Но экстравагантных поступков совершать уже не было сил. Все силы отдавались подготовке окончательной редакции главного сочинения – «Философских исследований». Закончить его Витгенштейн не успел. В 1950 году врачи поставили ему смертельный диагноз – рак простаты. Последние месяцы жизни Витгенштейн жил в доме своего врача доктора Бивена. Когда ему объявили, что у него рак, Витгенштейн ужаснулся не тому, что он обречен на скорую смерть, а тому, что ему придется умирать в больнице. Тогда доктор Бивен сказал, что Витгенштейн может перед смертью поселиться у него. Последние пять недель перед смертью у Витгенштейна вдруг наступило просветление, у него была ясная голова, и он много работал.

О кончине Витгенштейна рассказывают следующее: «В пятницу, 27 апреля, после обеда, он гулял. Ночью ему стало очень плохо. Он был в сознании, и, когда доктор сказал ему, что он может прожить только несколько дней, он воскликнул: “Боже!” Перед тем как потерять сознание, Витгенштейн сказал миссис Бивен, которая оставалась всю ночь у его постели: “Передай им, что у меня была прекрасная жизнь”». 29 апреля 1951 года Витгенштейн умер.

Прибывшие к его одру друзья Смедис и Друри после недолгих колебаний похоронили его по католическому обряду.

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

АЛЕКСАНДРА ПОГОРЕЛЬСКОГО

Издательский дом «Территория будущего» представляет
книгоиздательскую программу на 2005 год:

Международный ежегодник по философии культуры «Логос»
1910–1914, 1925. Тт. 1–9 (+ 1 том дополнительных материалов:
библиография, история проекта, рецензии 1910-1914 гг. и т.д.).
Полное репринтное воспроизведение журнала, выходившего под
редакцией Ф. Степуна, И. Гессена, Б. Яковенко и др.

Серия «Философия»

Эдмунд Гуссерль. Избранные сочинения («Идеи к чистой
феноменологии»; «Парижские доклады»; «Амстердамские
доклады»; «Интенциональные предметы» и др. С предисловием
Виталия Куренного)

Эрнст Мах. Анализ ощущений (С предисловием А.Ф. Зотова)

Людвиг Витгенштейн. Избранные работы («Логико-философский
трактат» в переводе и с комментариями Вадима Руднева;
«Коричневая книга»; «Голубая книга». Биографический очерк
Людвига Витгенштейна)

Журнал «Логос», 1991-2005. Избранное.

Серия «Социология. Политология»

Питирим Сорокин. Социология революции (С Приложениями и
комментариями)

Серия «Экономика»

Вернер Зомбарт. Избранные сочинения (Строй хозяйственной жизни; Идеалы социальной политики; Почему в Соединенных Штатах нет социализма?; Евреи и их участие в образовании современного хозяйства; Народное хозяйство и мода; Предисловие А.М. Руткевича)

Карл Менгер. Основания политической экономии. Исследования о методах социальных наук и политической экономии в особенности

Мишель Оглеата, Андре Орлеан. Деньги между насилием и доверием

Серия «История. Культурология»

М.Ф. Владимирский-Буданов. Обзор истории русского права

Людвиг Витгенштейн
Избранные работы

Оформление серии *В. Коршунов*
Верстка *С. Зиновьев*
Корректор *А. Заиченко*

Формат 70×100 1/16. Бумага офсетная. Печать офсетная
Усл. печ. л. 35,5. Уч.-изд. л. 28,2
Заказ №

Издательский дом «Территория будущего»
125009, Москва, ул. Б. Дмитровка, 7/5

Отпечатано в ГУП ППП «Типография «Наука»
121099 Москва, Шубинский пер., 9